

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

2000

11

2000

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

**ДО КОНЦА 2000 ГОДА И В 2001 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Диверсант (роман);

БОРИС АКУНИН. Новый роман;

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть); Затеси;

Рассказы;

СЭМЮЭЛЬ БЕККЕТ. Мерсье и Камье (роман; перевод с английского Михаила Бутова);

АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);

ЮРИЙ БУЙДА. Меконг (роман);

МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

АНДРЕЙ ВОЛОС. Недвижимость (роман);

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Голос жизни (повесть);

БОРИС ЕВСЕЕВ. Отреченные гимны (роман);

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);

АНАТОЛИЙ КИМ. Остров Ионы (роман);

МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);

ОЛЕГ ЛАРИН. Пятиречье (сцены из захолустной жизни);

БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;

ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Любовь к отеческим гробам (роман);

АНДРЕЙ НЕМЗЕР. Империя от Павла I до Николая I в зеркале новейшей историографии;

(См. на обороте)

ВЛ. НОВИКОВ. Филологическая поэзия; Высоцкий (главы из книги);

ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);

ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Новые рассказы;

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Новый роман;

ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. Бог в городе (повесть);

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. «Гамбургский счет»: возможность и действительность;

МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман); **Спецэффекты в жизни и в литературе** (эссе);

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания (часть третья);

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. Гостиница «Океан» (повесть);

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаныч (повесть);

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Фрагменты книги «Музыкальный запас»: композиторы, проблемы, случаи;

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. Уйти по-английски (рассказы);

ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. Лапландия (история одной болезни);

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Моление о Еве (повесть);

ВЛАДИМИР ЮЗБАШЕВ. От бумажной к реальной архитектуре нынешнего дня;

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, ДАНИИЛА ГРАНИНА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО, АНТОНА УТКИНА;** стихи **МАКСИМА АМЕЛИНА, ТАТЬЯНЫ БЕК, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА;** статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, ИРИНЫ СУРАТ, СЕМЕНА ФАЙБИСОВИЧА, МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ** и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2000 и 2001 годах: \$ 14,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.

E-mail: nmir@aha.ru



Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2001». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на первое полугодие 2001 года — 240 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на первую половину 2001 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман», «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Чистый переулок, 6).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

ОЛЬГА СУЛЬЧИНСКАЯ — Ветхий дождь, стихи	7
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ — Ужас победы, повесть	11
ИЛЬЯ ПЛОХИХ — Экспедиция, стихи	79
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ — Купавна, роман. Окончание	85
МАРИНА ТАРАСОВА — Птица на красном, стихи	129
ИЛЬЯ КОЧЕРГИН — Алтынай, рассказ	133
СЕРГЕЙ НОВИКОВ — У земных переправ, стихи	143

ИЗ НАСЛЕДИЯ

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Стариковские записки. Публикация Марии Мушинской	147
---	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ — Холодная рука циклопа. Из дневниковых записей 1983 — 1984 годов. Публикация и примечания Т. Ф. Дедковой	151
--	-----

ОПЫТЫ

ЛЮБОВЬ СУММ — Римский стык	171
----------------------------	-----

ПО ХОДУ ДЕЛА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — Старый месяц Бог на звезды крошит	181
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — «К. р.», или Прощание с юностью	185
--	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Майя Кучерская. Внутренности кузнечика	203
Валерий Шубинский. Незримая граница любви	205
Евгения Свитнева. Ганимед и Паламед	207
Евгений Ермолин. Свободные люди на рабьей земле	210
Алексей Машевский. Полнота высказывания	214
Ирина Роднянская. Внятная речь	216
Ольга Славникова. Из Свердловска с любовью	220

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ — I. Уго Перси. Звуки на перекрестке. II. Серена Витале. Ледяной дом. Двадцать маленьких русских историй. III. Джованна Спендел. Москва 20-х годов. Мечты и утопии целого поколения	226
--	-----

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА	229
-----------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Книги (составитель Сергей Костырко)	235
Периодика (составитель Андрей Василевский)	238
Сетевая литература (составитель Сергей Костырко)	248
SUMMARY	256

**ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИГОРЯ ИВАНОВИЧА ВИНОГРАДОВА
С 70-ЛЕТИЕМ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИГОРЯ ПЕТРОВИЧА ЗОЛОТУССКОГО
С 70-ЛЕТИЕМ!**

**Сетевой журнал «НОВЫЙ МИР»
(http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi)
зарегистрирован как электронное периодическое издание
в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовой коммуникации
(свидетельство Эл № 77-4013 от 26 июля 2000 года).
Для входа в сетевой журнал удобно пользоваться одним
из следующих простых WWW-адресов: <http://www.nmir.da.ru>,
<http://www.novmir.da.ru>, <http://www.novymir.da.ru>**

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала «Новый мир».

ОЛЬГА СУЛЬЧИНСКАЯ

*

ВЕТХИЙ ДОЖДЬ

* *
*

Огонь тороплив, словно пальцы любовников
в застежках отныне излишнего платья,
ложатся бескровные ветви шиповника
к горящим березовым братьям в объятия.

В стаканах вино веселится согретое.
Согрейся и ты, моя сладкая Гретхен,
покуда за окнами лето раздетое
прикрыться пытается дождиком ветхим...

* *
*

Как мне плотнее прижаться к тебе,
как подобраться поближе
к влажноизнаночной нижней губе,
к ямке ключичной, к холодной судьбе
в Риме, Берлине, Париже.

Может быть, где-то в Варшаве земной
или в небесной Варшаве
ты повстречаешься снова со мной,
чьей-то любовницей, чьей-то женой,
с девочкой чьей-то на шаре.

Если какой-нибудь город опять
нам подвернется и случай
где-то полжизни еще признать,
крепче прижаться, надежней обнять,
ты подскажи мне, не мучай.

Песня

тебя я наверно совсем не любила
тебя я наверно совсем не хотела
иначе зачем я так скоро забыла
поющие руки прохладное тело

наверно тебя я любила не больше
 чем рощи нежаркое солнце рассвета
 чем эхо звенящий вдали колокольчик
 чем август свое уходящее лето

* *
 *

Твоей, любовь, старинной жажды
 Не утолить одним глотком.
 Она уходит, чтоб однажды
 Вернуться в облике другом,

Бегучий трепет узнаванья
 В голодном теле запалить,
 Всю кровь отдать в переливанье
 И — никого не утолить.

Подражание Ходасевичу

Текут закатные огни,
 Теряет небо позолоту.
 Будь осторожен, не спугни
 Звезду — и первую дремоту

Мою — но наклонись ко мне
 И прикоснись во сне губами,
 Пока в вечерней вышине
 Все звезды не зажглись над нами.

Московские Лимерики

1

Жил-был странный старик из Чертаново.
 По утрам он вставал очень раново,
 Умывался и брился
 И обратно ложился.
 И скажите мне, что же здесь странново?

2

Я, с тех пор как живу на Планерной,
 Стала скверной, коварной и вздорной.
 Позови меня снова,
 Дорогой мой, в Перово —
 Буду любящей, тихой, покорной.

Научитесь жить с этим!

Как и к боли в суставах, не легко и не сразу.
 Но даже к собственной глупости со временем привыкаешь,
 И к тому, что ум застревает, зайдя за разум,
 И к тому, что кашляешь, и к тому, что икаешь.

Научитесь жить с этим — с энурезом и диабетом,
 С диатезом, рожей и псориазом,
 С долгой зимой, холодным летом,
 Со своей женой, с пьющим соседом, танцевать с протезом
 И дышать углекислым газом.

Песня о Карлосе Кастанеде

Ты видишь ее за моим плечом?
 Она за моим плечом.
 Она не с косой, она не с мечом,
 Не входит в палату печальным врачом,
 Не шарит в замке вороватым ключом,
 Она не стоит за углом с топором
 И вниз не летит кирпичом.
 Можно делать вид, что она ни при чем.
 Но она всегда за твоим плечом,
 Она за твоим плечом.

М. Д. 29.10.99

Проживаешь жизнь — и она тебе не нужна.
 Остаются даты, события, имена,
 Номера телефонов, почтовые адреса,
 Фотокарточки, тапочки, времени полчаса...

Проживаешь жизнь — и она уже не твоя.
 Остаются любимые, родственники, друзья,
 Сослуживцы, соседи, сограждане, вся страна,
 Вся Европа, Америка, Африка... не нужна.

Проживаешь жизнь, и больше тебя в ней нет.
 Ты проходишь насквозь, как сквозь пыльные окна свет.
 И уходишь в себя, и там, глубоко внутри,
 Открывается смерть и говорит: «Смотри!»...

* *
 *

А возле морга день осенний
 Так солнцем радостно лучится,
 Как будто это воскресенье
 И не могло беды случиться,

Как будто есть еще надежда,
Лазейка, выдумка, уловка...
Но на покойнике одежда
Надета странно и неловко.

И все завалено цветами...
К рукам уже не подобраться.
Зато ботинки со шнурками...
И говорят: «Пора прощаться!»

Гроб закрывают осторожно,
Несут его в автобус ставить...
И оторваться невозможно,
И ничего нельзя исправить.

Пирогово

Дождемся дождя и поедem с тобой в Пирогово.
Людей там не будет. Из дуба мы выдолбим сами
Огромную лодку. Когда она будет готова,
Столкнем ее в воду и ветер возьмем парусами,

Как верхнюю ноту. И тронется наша пирога,
А мы неземными с тобой запоем голосами —
И дождь перед нами расстелется, словно дорога,
Ведущая вверх, где вода пополам с небесами.

* *
*

Черно-белая ночь стрекочет свое кино,
белый мелется снег, превращается в хлеб зерно,
мертвые нас прощают, они вины
за нами не числят, даже не видят сны,
потому что как кровь легко превратить в вино,
так и наоборот, это, в общем-то, все равно,
и что бы там ни было, все оно просится в рот,
над равнинами снег, в городе новый год,
принесенные в жертву прощают своих убийц,
и мы плачем, обнявшись, над супом из голубиц;
хвоя, хвоя, стелись, мелется белый мел,
киноплёнка пестрит помехами, кто успел,
тот свое получил, а кто нет, так тех
белый мех укроет, в поле один на всех...



ВАЛЕРИЙ ПОПОВ

*

УЖАС ПОБЕДЫ

Повесть

КРЕЩЕНЬЕ

Помню горячий воздух, застоявшийся в кустах после жаркого дня и вылетающий, как птица, когда во тьме заденешь ветку.

Помню, как я впервые появился над Мысом, выпав из тесного автобуса на шоссе, мягкое после дневного жара.

Далеко внизу струилась лунная рябь, проткнутая темным и острым, как скрученный зонт, кипарисом. Рядом с этим сгустком тьмы смутно белело высокое здание — международный молодежный лагерь «Спутник», куда я стремился. Будоража теплую долину, снизу вдруг поднялся хриплый и страстный вопль. Потом, увидев павлина, надменного красавца, закованного в узоры, я не мог поверить, что это он так кричит.

Но сейчас, не вникая, я издал почти такой же вопль и рухнул с шоссе в колючий, пружинистый кустарник. Я падал то ногами вперед, то вниз руками. Сотни игл вонзались в меня, а я чувствовал лишь ликование. Конечно, можно было найти плавную дорогу — но зачем?

Потом в душной тьме что-то засветилось. Узкое жерло вулкана, на дне его клокотала лава. Танцы! Мне сюда.

Я выкатился в круг, как колючий шар перекасти-поля, как шаровая молния, но никто не шарахнулся, не испугался — тут все были такие!

Потом музыка стала замедляться, танец стал увязать сам в себе, и вот — все остановились. Спустилась тьма, тишина.

— В горы! В горы пошли! — вдруг понеслось по площадке.

И лава вылилась через край. И я спокойно и весело двинулся со всеми. Я успел уже разглядеть, что на эстраде играют вовсе не мои друзья, на которых я тут рассчитывал, а совсем незнакомые ребята, более того — негры. Но мысль, где же я буду ночевать, совершенно не беспокоила меня тогда: столько счастья и веселья было вокруг... Как где? Здесь — где же еще?

Продолжая приплясывать, мы поднимались горячей толпой по узкому, завивающемуся вверх шоссе. Потом свернули с него и полезли вверх, в колючие душные кусты. Это было мне уже знакомо!

Остатки дороги, какие-то археологические обломки тут были, но обрывались в самом буквальном смысле то и дело. Мы заблудились бы в этом каменном хаосе, если б не наш вожак — мускулистый, голый по пояс, в пиратской косынке, с высоким коптящим факелом в руке. Он явно напоминал легендарного Данко, поднявшего свое горящее сердце и осветившего путь. Такие аналогии вполне годились для комсомольского лаге-

Попов Валерий Георгиевич родился в 1939 году в Казани. В 1963 году закончил Ленинградский электротехнический институт, в 1970-м — сценарный факультет ВГИКа. Печатается с 1965 года, автор многих книг. Живет в Петербурге. Лауреат премий «Золотой Остап», «Северная Пальмира», имени С. Довлатова. Постоянный автор «Нового мира»

ря. Правда, оступаясь, он явственно матерился, но это не смущало общего веселья, а, наоборот, подстегивало его.

И наконец путь наш оборвался, причем в самом буквальном смысле: мы оказались над бездной. Замерев, мы стояли на краю, потом наш вожак безвольно разжал пальцы и выпустил факел: кидая искры, тот запрыгал по таким кручам! И, высветив рябь, погас в море.

Да-а. Мы стояли потрясенные. Чувствовалось, что номер сей отработан и Данко демонстрирует его не впервой... но... величествен-но!

Все стали распознаться по склону, закачались, кидая огромные тени, костры.

— Жоз! К нам иди! — Все звали вожака, он благосклонно обходил костры, и я вдруг заметил, что он целеустремленно и стремительно напивается — видимо, это было заключительной, неизбежной и наверняка самой приятной стадией его еженощного подвига. Его суровое лицо помягчело, нижняя твердая губа отшмякнулась, глазки посоловели... впрочем, таким он мне нравился больше! Я оказался с ним у одного костра.

— Ты... черепастый! Чего скучаешь — давай к нам! — Он сам вдруг меня позвал, окрестив почему-то «черепастым» на все время нашей с ним истории, оказавшейся длинной.

Рядом с ним в волнах света был симпатичный длинноволосый бородач и смуглая, могучая красавица — библейского, почему-то хотелось сказать, облика. Плечо ее грело не хуже пламени... так что... пусть только погаснет костер!

— Соня... А ты? — хмельно улыбаясь, проговорила она.

— Жоз... Жаирзиньо по-настоящему! — Вожак резко вклинился в наш интим и сжал своей лапищей мою ладошку: все понял?

Ясно было, что он местный парень, пробавлявшийся ночной романтикой среди пыльных будней, — мне, впрочем, эта романтика могла выйти боком: пальцы долго не могли расклеиться — даже рюмку не взять.

— У нас тут строго! — проговорил Жоз. — Вон отец Кир у нас батюшка... вроде как священник, при нем нельзя!

Соня среагировала, криво усмехнувшись, длинноволосый поднял ладошку:

— Кирилл вообще-то.

А не вообще? Плечо Сони грело все явственней. И вся такая горячая?

Жоз, оценив ситуацию и поняв, что Соня, эта Магдалина сих мест, выходит из-под его контроля, нашел мудрое решение, которое одобрил и я. Как окончательный приговор, не подлежащий обжалованию, Жоз протянул мне в отблесках костра стакан водки, и я мужественно, как Сократ цыкуну, выпил ее и погрузился в блаженство... Кто-то тряс меня — наверное, Соня... Потом, потом!

Проснулся я снова над бездной — уже яркой, сияющей, но оттого не менее страшной. Ноги мои свисали с обрыва, лишь под мышкой струился какой-то кустик с горько пахнущими цветами. Ствол, царапая кожу, явно утекал из-под мышки, и — другого тормоза не было! Я отчаянно закинул голову... лишь бездонное небо с парящим высоко соколом... Зачем я не сокол? Запоздалый вопрос!

— Эй! — неуверенно крикнул я.

— Не шевелись! — донесся неземной голос.

Волосам стало вдруг больно, но зато я поехал вверх. Наконец ноги уперлись, и, тяжело дыша, я уселся. Море поднималось лазурной стеной, светлея кверху. Да-а... сейчас бы реял в этом просторе! Спокойнее было глядеть перед собой. Оказывается, я катился на бутылках по наклонной плоскости — и изрядно-таки вмял их в грунт. Бутылки до добра не доведут. Я обернулся. На коленях — так, видно, было удобнее — стоял Кир, снимая с пальцев мои волосы.

— Спасибо! — прохрипел я.

Кир улыбнулся. Склон, поросший кустиками, был весь усыпан телами, напоминая поле битвы. Жоз во сне лениво обнимал Соню. Не для Бога берег, значит, — для себя! Нормально. Я встал. Ноги дрожали. Руки, впрочем, тоже.

— ...Похмелиться? — Кир выковырял из земли бутылку, в которой плескалось.

— Не-а! — бодро ответил я.

— ...Так ты на самом деле, что ли, священник? — не удержался я от вопроса.

Мы спускались с горы, навстречу солнцу.

Кир поморщился. Ясно, что вопрос: «А на самом ли деле было?» — самый нестерпимый для верующих.

— ...И воздвиг он в душе своей Храм, — как бы про себя, не для моих неблагодарных ушей, бормотал Кир. — И были стены этого Храма прочней сотни крепостных, и достигали они небес...

— А... настоящий храм... есть? — снова не удержался я от бестактности.

Кир глянул на меня с сожалением: настоящий Храм должен быть в душе! — но тем не менее кивнул на пыльный купол, поднимающийся над крышами поселка. Но что-то я не заметил там креста.

«Механический цех, наверное», — подумал я.

В те годы многие храмы были механическими цехами.

Спустившись, мы шли по пыльной улице. Кир молчал. Потом он распахнул калитку в высоком заборе, и мы вошли в заросший дворик, поднялись на крыльцо. В полупустой комнатке пыльный луч солнца косо бил в пол. Мы постояли молча.

— Вот здесь... в этом луче... я и увидел, — выговорил Кир.

Я изумленно поглядел на него... нормальный вроде парень? И Кир четко просек мой взгляд, усмехнулся:

— Да... абсолютно нормальный парень... в университете учусь... — С последним словом он явно замешкался, не сказать ли «учился». — И вдруг!.. Отдыхать приехал... вот эту комнатку у Жоза снял...

Мы молчали. Надо было говорить дальше, но я испугался, верней — разволновался. С чего бы это? Да просто мне понравился Кир, из пропасти, можно сказать, вытащил меня... А теперь, боялся я, начнется что-то мучительное — придется кивать и улыбаться. С трудом. Вряд ли «знамение», о котором порывается рассказать Кир, окажется качественным, наверняка что-нибудь несусветное и при этом ужасно банальное: золотые одежды... полный любви взгляд... что-то есть в этом невыносимое.

— А почему, кстати, — Жоз? Что за имя? — «заинтересованно» воскликнул я.

От этого «кстати» Кира покорило. Ничего себе «кстати»!.. Явно — ни в грош не ставят его слова!

— ...А-а... чушь! — после долгой паузы ответил Кирилл. — В футбол он играл за местное «Торпедо». Жаирзиньо прозвали его. Жоз, короче.

Кир отводил глаза, явно обиженный моим отношением. Но что я мог? С горящим взглядом выслушивать его, страстно поддакивать? Это и ему бы показалось дурным вкусом!

— В общем, был я в местной епархии... — Закрывая тему, Кир безнадежно махнул рукой.

Вот и хорошо! Я давно уже переминался с ноги на ногу, мечтая выскочить.

— Вопрос, наверное, неуместный... но сортир где?

— Во дворе, разумеется, — холодно сказал Кир.

Прямо через заросли я устремился к «скворечнику».

— Эй, черепастый! — донеслось до меня. Помнит, оказывается!

Я послушно застыл. Жоз входил в калитку.

— Вербовал? — Он кивнул на окно постояльца.

Что я мог ответить ему?

— Сонька тоже говорит — креститься... Но ее я понял: у нее венчанье на уме!

Я только знаю, что у меня на уме.

— ...А что команда скажет?! Тренер? — напирал Жоз.

— Так передай ему... — Он кивнул на окна Кира и характерным жестом стукнул по сгибу руки.

Почему я должен «это» передавать?!

К счастью (оказывается, и счастье ходит рядом), Кир сам вышел на крыльцо и все увидел.

Жоз, неожиданно смутившись, начал чесать сгиб руки.

— Ну что... может, опохмелимся? — Кир неожиданно вынул из сумки бутылку. Вот это гуманный жест!

Потом я все же добрался до «скворечника», сидел там, пытаюсь отвлечься, с куском газеты в руках: «Когда же коммунист станет настоящим хозяином производства?!» Тоже вопрос! Мне-то казалось, что он давно уже стал!

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Оно было в начале у Бога.

Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.

В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей.

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

Кир бормотал это безо всякого выражения. Все в липком поту, мы поднимались с ним по спиральной дороге, никуда не сворачивая, и наконец уткнулись в железные ворота с табличкой: «Санаторий „Горный воздух“». Управление делами ЦК КПСС».

— Мне кажется, мы не туда идем, — сказал я, но Кир не прореагировал.

Он уверенно вошел в калитку, помахав пальчиками женщине в будке, и я за ним. «Вход в Иерусалим»?

Тут было совсем другое дело! Песчаные желтые дорожки, окаймленные цветами, повсюду строгие стрелки: «Терренкур № 2», «Терренкур № 8» — просто разбегались глаза!

К счастью, никто из членов ЦК навстречу нам не попался, а то пришлось бы бухаться на колени!

Зато вдруг выскочил, весь красный, как клюквинка, лысый маленький человечек в шароварах и тапочках — гораздо более известный, чем любой член ЦК, — знаменитый актер-режиссер Марат Зыков. Этот-то везде!.. Но действительно — гений! Мы с восхищением глядели, как он сбегает с горы, быстро переставляя крохотные тапки. МБЧ — маленький большой человек — так звали его в кругах интеллигенции и, может быть, еще где-то.

— Не курить! — пробегая, вдруг рявкнул он мощным басом, и мы с Киrom, восхищенно откинув челюсти, выронили папироски.

— За водкой помчался! — Глядя ему вслед, Кир усмехнулся. Он все, похоже, тут знал.

Меня появление МБЧ тоже взбудрило — все-таки «наш человек», хотя признает ли он нас за «своих» — довольно спорно!

Мы поднялись наконец на плоскую проплешину горы, к затейливому дому, окруженному террасой с витыми колоннами. Тут, видимо, само Политбюро и отдыхает? Куда идем?

Кир тем не менее уверенно поднялся, открыл высокую витражную дверь: светлый деревянный кабинет, уставленный стеклянными медицинскими шкафчиками, за столом сидела Соня в белом халате и писала. Нас она приветствовала, лишь подняв бровь. Волевая девушка!

— Ну что? — проговорила наконец она, бросив ручку.

— Я — глас вопиющего в пустыне, — улыбнулся Кир.

— А-а... Я поняла — бесполезно все это, — подумав, сказала Соня.

— О какой «пользе» ты говоришь? — саркастически усмехнулся он. — Я предлагаю тебе Вечную благодать, а не «пользу»!

— С этим... говорил? — хмуро осведомилась Соня.

— Как-то ты слишком утилитарно... принимаешь веру!

— А кто тебе сказал, что принимаю?

Я тоже не понимал Кира: зачем вербовать верующих в санатории Политбюро? У них своя вера! Лишь потом, узнав Кира поближе, понял, что главное для него — быть на виду.

Дверь открылась, и в кабинет ввалился сам Плюньков — лицо его было слишком знакомо по многочисленным плакатам. Сейчас он дышал прерывисто, по квадратной его плакатной рыхе струился пот, челка растрепалась и прилипла ко лбу.

— Ну как... Софья Михайловна? — пытаюсь унять дыханье, выговорил он. — Теперь вы верите... в мое исправленье? — Он робко улыбнулся.

— Будущее покажет! У вас десятидневный курс! Идите, — жестко произнесла Соня.

Вот это да! Послушно кивая, Плюньков вышел.

— В общем, не созрела! — почти так же жестко, как Плюнькову, сказала Соня. — Созрею — позову!

— Я не какой-то там... член ЦК... чтоб ты мной помыкала! — Губы Кира дрожали.

— Ты соображай... все-таки! — гневно произнесла она, многозначительно кивнув куда-то вбок, где, видимо, отдыхали небожители от изнурительных тренировок.

— Я здесь вообще больше ни слова не скажу! — Кир гневно направился к двери. Я за ним. Мы почти бежали вниз по тропинке.

— Ты... крестить ее хочешь? — наконец решился спросить я.

— Это наше с ней дело! — проговорил Кир обиженно.

«Пришел к своим, и свои Его не приняли»... Я тоже Книгу читал!

— Может, она начальства боится? — Я попытался ее оправдать. Но Кир, как понял я, больше обижен был на свое «начальство».

— Если бы Христос ждал... разрешения местного начальства... мы до сих пор жили бы во тьме! — произнес Кир, и мы вышли за калитку.

Да-а-а... Высокие его порывы явно не находят пока поддержки — даже среди близких.

— А я... в этом качестве... не устрою тебя? — вдруг спросил я неожиданно для себя.

Кир остановился.

...Теперь уже просто так мне не выбраться отсюда! Умею влипнуть! Однажды на Финляндском вокзале какой-то человек дал мне ведро в руки и просто сказал: «Держи!» И я держал, пока он не вернулся, и даже не сказал «спасибо» — а я из-за него опоздал на электричку.

«Нет добросовестнее этого Попова!» — говорила наша классная воспитательница с явным сочувствием, и от слов ее — начиная с первого класса — веяло ужасом. Подтвердилось!

Проснулся я в комнате Кира. Судя по наклонному лучу солнца, было утро. Как раз в этом пыльном луче, по словам Кира, он видел Знамение. А я отвечай! Я с отчаянием глядел на луч. Мне-то он явно «не светит»! Я не готов. Я спал в брюках, на полу, на тонком матрасе. В бок мне вдавливалось твердое: финка! Этой весной мы ехали из Мурманска, где с представителями нашего КБ плавали, размагничивая подводные лодки, — такая суровая профессия мне досталась от института. На обратном пути на

станции Апатиты в вагон сели вышедшие уголовники и стали довольно настойчиво втучивать нам свою продукцию — выточенные в лагере финки с прозрачными наборными рукоятками. Да, тут они были мастера — нож, как говорится, просился в руку. С той поры я с финкой не расставался. Ради чего? С этим ножом, как и с подводными лодками, впрочем, мне страстно хотелось разлучиться — и как раз с этим отпуском я связывал смутные надежды. Сбылось? Я смотрел на луч. И вдруг по нему прошла волна — золотые пылинки полетели вбок воронкой, словно от чьего-то выдоха! Я застыл. Стало абсолютно тихо. Потом в голове моей появились слова: «На пороге нашего дома лежат дым и корова». Что это? Я оцепенел. Пылинки в луче сновали беспорядочно. Сеанс окончен. «Дым и корова». Откуда они? Похоже, пришли *оттуда*, и специально для меня. Кто-то уже произносил это на земле? Или я первый?

«И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины», — вспомнил я. Накануне почти до утра читал книги, которые дал мне Кир. Готовился! «Нет добросовестнее этого Попова». От этого не отвязаться уже, как и от «дыма и коровы».

Дверь скрипнула. Вошел Кир.

— Ну... все готово! — проговорил он.

Выйдя на крыльцо, я бросил финку, и она, кувыркаясь, улетела в бурьян.

Церковный двор неожиданно понравился мне. Хмурые мужики с ржавыми трубами проходили мимо, на сваленных в углу досках выпивали хулиганы. Все настоящее! Жизнь, а не декорация, не ладан и не елей, а пипиросный дым!

Мы вошли с Киrom внутрь. Совсем недавно еще — или до сих пор? — это был механический цех: по стенам стояли тяжелые верстаки с привинченными тисками. Местами напоминает камеру пыток — для нас, первых христиан, вошедших сюда. Мы с Киrom точно первые после огромного перерыва.

Над пустым алтарем висел плакат: «Делись рабочим опытом!» Делимся.

Зябко как-то! Что скажет начальство? Явно не одобрит: земное начальство уж точно. И в большей степени это крещение для Кира, чем для меня.

Впрочем, какие-то прихожанки тут уже были — явно равнодушные к Киру, молодому длинноволосому красавцу, и, похоже, — ко мне.

— Ишь какой сокол к нам пожаловал! Я б с ним пошла! — сказала одна старушка другой, и это мне понравилось. Уважают!

Соня и Жоз следовали за нами, тоже явно волнуясь, хотя волноваться в первую очередь надо было мне. Что я, впрочем, и делал!

Главное — тут еще пилили и колотили. Но, поглядев на наше шествие, рабочие переглянулись и вышли. Святое дело им было явно по душе.

— Встань тут, сын мой! — проговорил Кир торжественно. Он был одет соответственно, хотя и не во всем положенном облачении: мы подпольные христиане, нам можно и так. Но действительно: можно ли? Это нам предстоит решить. И Ему. Откликнется ли? Я почему-то чувствовал, что — да. Впрочем, это чувствуют все, кто этого хочет. И механический это цех или церковь — не так существенно!.. Я настроился.

Кир с тихим бряканьем установил подставку, уложил книгу. Какой-то мальчик принес светлую купель с заклепками, явно сварганенную в этом цеху. Потом туда звонко полилась вода.

Я стоял не двигаясь. Наверное, торжественно и надо стоять?

Последний раз я волновался так, когда меня исключали из комсомола. Но тут вроде бы не исключают, а принимают? Куда? Уже когда мы подошли к церкви, Кир сообщил мне, что «прежний» я сейчас умру и возникну новый. Раньше бы надо сказать! Жалко прежнего-то.

— Стой спокойно, сын мой! — проговорил Кир благожелательно. — Символ веры ты знаешь хотя бы?

— Учил, — ответил я растерянно, как первоклассник.

— Тогда разуйся. И засучи штаны.

Присев на скамью, я разулся и уже босой встал с ним рядом.

— Я буду творить молитву, а ты повторяй. И когда я произнесу: «Отрекохося!» — повторяй с чувством!

— Хорошо, батюшка!

И пошла молитва. Какие странные, тревожные слова! Смысл их вроде бы понятен, но они гораздо глубже смысла и страшней... «Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым»...

— Отрекохося! — прогудел Кир.

— Отрекохося! — повторил я.

Потом, сделав паузу, он вынул из шкатулки пузырек и кисточку, обмакнул и липким, сладким, душистым веществом сделал крест на лбу, на устах, на запястьях и сверху — на стопах. Каждый раз я вздрагивал.

Потом вдруг, приблизив лицо, крестообразно подул мне на лоб. Про это я раньше не знал — и разволновался особенно.

Потом он велел приблизиться к купели и сперва, зачерпнув ладонью, поплескал водой мне за шиворот, на грудь, а потом весело и как-то лихо вдруг макнул меня головой, надавив на затылок. Потом я ошеломленно распрямился, изумленно озирался. Неожиданно было! И словно глаза промыло: все стало светлей!

Потом мы выходили из церкви. От капель, оставшихся в ресницах, все вокруг сияло. Я посмотрел на купол — креста не было, и вдруг солнечные лучики там скрестились и ясно сверкнул крест!

Потом я вытащил из брюк ручку, бумажку и записал: «На пороге нашего дома лежат дым и корова». Кир умильно смотрел на меня, думая, что я записываю какую-то молитву.

Бутылка на столе опустела.

— Ну... что теперь делаем, народ крещеный? — Кир, чуть заметно зевнув, поднялся.

...Уже все? А я-то думал, что мы с ним теперь все дни будем проводить в душевных беседах. Всегда я так: лечу куда-то с восторгом, и — мордой об столб!

Кир демонстративно мыл рюмки. Все правильно. Теперь он будет многих крестить — с моей-то легкой ноги, и что же: теперь каждого поселять у себя?

Я тоже поднялся. Как ни странно, наиболее расстроенным выглядел как раз «народ некрещеный» — Соня и Жоз. Начиная с церкви они глядели на меня не сводя глаз и явно чего-то ждали: то ли я превращусь в зверя какого-нибудь, то ли сразу в ангела? Отсутствие внешних изменений будоражило их: как же это? Соня чуть было карьеру свою не поставила на карту ради этого... ради чего? Я старался, как мог, — глядел радостно, улыбался светло: вот, мол, что сразу же делается, буквально на глазах!

Они были явно озадачены: что-то, конечно, есть... но вот он сейчас уедет и увезет разгадку с собой, так и не узнаем, было ли что?

Но чем я им мог *сразу* помочь?

Уже чувствовал себя виноватым... Да ну их! Поеду!

— Так ты куда теперь? — Кир вложил в этот вопрос всю свою душевность, оставшуюся на мою долю.

— Я?.. Да в Крым, наверное, махану! — проговорил я беззаботно.

Не болтаться же тут у них под ногами, позоря полученное звание... А так — останется светлая тайна.

— Мы с тобой! — неожиданно заявил Жоз. — ..В смысле — до паррома проводим.

Надо же, как *их* проняло!

И Кир тоже решил проводить. Все-таки я у него первый, и неизвестно, будет ли второй? Оделся почему-то как хиппи — не скажешь, что батюшка... «Батюшка» он пока что лишь мне. А Соня, наоборот, гляделась торжественно — изысканный наряд «от купюр», Жоз тщательно причесал свою буйную голову. В последний путь, что ли, провожают меня?

Мы томились на асфальтовом пяточке. Развернулся автобус. Из кабины вылез крупный, основательный мужик в белой рубаше и черных нарукавниках... тоже, что ли, принарядился? Окстись! Ничего особенного не происходит — вон полно народу помимо тебя! Жоз подошел к водителю:

— Здорово, Богун!

Тряс ему руку, при этом многозначительно, как мне казалось, поглядывая на меня, потом на водителя: гляди, мол, кого везешь! Кого — кого!..

Скорей бы это кончилось — с ходу напьюсь, расслаблюсь, сброшу с себя эту эпитрахиль — тем более не знаю, что это такое!

Богун все же что-то почувствовал, внимательно глядел на меня. Я быстро влез в автобус — дайте спокойно уехать, не терзайте меня. Тут, наверное, половина крещеных, судя по возрасту... причем — нормально крещенных, не то что я!

— Подвинься, что ли!

Жоз! И вся компания тут же! Что им от меня надо? Слово?.. не созрело еще! Почему я главный-то оказался? Вон пастырь, Кир, — к нему обращайтесь... но он как-то увернулся, с усмешкой на меня поглядывает: ну-ну... Запрят!

Сейчас что-нибудь отчебучу, и все — коту под хвост! Дождетесь! Подмигнул игриво Соне, но ответный ее взгляд был суров и требователен: работай!.. Кем? Много на меня повесили — все проблемы свои. Я их должен решать? Сами креститесь — и вперед! Подопытный кролик! И для Кира, судя по его взгляду, — тоже. Ну, поехали, что ли? Чего стоим?

Наконец задрезбужало! С глухим завыванием в утреннем тумане тянулись в гору. Все, прикорнув, досыпали. Я один, значит, должен быть начеку? Но постепенно все просыпались, поднимали голову, недоуменно гляделись... Что это? Сперва выскакивали еще иногда из тумана темные грани скал, камни у дороги, но все постепенно заволокло. Некоторые даже резко привставали, словно скидывая с себя остатки сна, — надеясь, что это им снится... Да нет! Соня и Жоз поглядывали на меня с тревогой: на небо, что ли, забираешь нас, так сразу? Ждали чуда — и получите! Пожлуйста. Умиротворенно прикрыл глаза. А они стали с тревогой смотреть на Кира: ты тогда ответь. Но Кир сидел отрешенно-умиротворенно — мол, я свое сделал. Дальше — он. Почему это? Туман стал абсолютно непроницаемым, глухим, сипенье двигателя доносилось еле-еле. Ощущение, что и он куда-то уходит от нас, а мы тут остаемся. За что? Тут, я думаю, каждый, и крещеный и некрещеный, тайно молился: вывези куда-нибудь! Молитвы были услышаны — туман стал лететь отдельными клочьями, потом из мглы вылезло окно. Мотор, хрюкнув, замолк. Двери с шипением разъехались. Куда прибыли? Похоже, Богун этого тоже твердо не знал. Выпрыгнув из кабины, закинул руки за голову, несколько раз прогнулся, потом огляделся. Потом стал подниматься — видимо, на крыльцо: голова скрылась. Исчез.

Нашего человека, тем более на Кавказе, трудно чем-нибудь испугать. Народ стал выходить, закуривать — но разговаривали негромко, словно кого-то побаиваясь. Вошли в туманный зал. Нормальная как бы станция. Предлагаю считать ее нормальной! Вон даже буфетчица, буфет!

Показывая всем пример, взял чаю, уверенно сел за стол. Никакой мистики... Нормальный ход. Впрочем, все и беспокоились об обычном:

— Чего встали? Надолго? Ну а что нам туман?

Водитель сидел не отвечая, грел руки о стакан. Потом снаружи приблизился ритмичный стук. Оборвался. И тишина. В окне появился белый череп. Мотоциклетная каска. Вошел гаишник в белых нарукавниках. Оглядевшись, увидел Богуну, подсел к нему и что-то шептал ему на ухо. Шепот шелестел на всю комнату, но был неразборчив. Все смотрели туда не отрываясь. Шепот оборвался. Богун сидел неподвижно, опустив голову. Потом поднял глаза, поглядел на милиционера. Потом встал. Гаишник как-то слишком радостно хлопал его по плечу. Так радуются, когда снимают с себя ответственность и вешают на другого.

— Поехали, — вяло сказал Богун и вышел, стукнув дверью.

На ощупь нашли автобус. Влезли в него. Молча расселись. Тихо задрезало.

— Просьба пристегнуть ремни! — рявкнул Жоз, и все неуверенно хохотнули.

Самым правильным, конечно, было остаться. Все это понимали... но почему-то все послушно поехали. Завывание мотора, тихое, осторожное, то выныривало, то куда-то проваливалось. Вдруг пролетело «окно» — и лучше бы оно не пролетало: все увидели, что мы катимся по краю пропасти с еле видной пенистой речкой на дне.

Все рванулись в эту сторону — поглядеть, также дружно испуганно отпрянули.

— Сидеть... твою мать! — рявкнул водитель.

И слева «окно» показало пропасть! В обычную погоду это привычно... но сейчас!

Вдруг все явственней стала проявляться какая-то гирлянда — словно повесили в облаках огромную елку. Прояснялось: скопление машин! Что случилось? Мы въезжали в «гирлянду»... Пожарные! «Скорые помощи!» Все ринулись к правым окнам. Автобус явственно накренился, легко и головокружительно.

— Сидеть, твою мать! — заорал Богун.

Все отпрянули, но успели увидеть: на дне пропасти, уткнувшись в речку, лежал автобус. Уткнулась, точнее, лишь задняя половина — передняя ваялась отдельно. Мощные струи лупили вниз, рассеиваясь на склоне, — и это, похоже, было единственной пока связью между теми, кто наверху, и теми, кто внизу. Все застыли в креслах: больше заглядывать туда никто не хотел. Под нашими окнами проплыл гаишник, равномерно размахивающий палочкой: проезжайте, проезжайте! Он проплыл медленно, его палка успела помахать во всех окнах. Проехали. Потускнели сзади огни, и снова вокруг не было ничего, лишь тихое, сиплое, настойчивое, иногда как бы вопросительно замедляющееся зудение мотора. Он словно спрашивал: может, дальше не стоит? Ведь не видно же ничего! И Богун словно подстегивал его: надо!

Во я влип. Ехал бы один — другое дело. А так — Соня с надеждой вцепилась в руку! Кир глядел строго и требовательно: ну, мол, показывай себя! Но я бы предпочел сохранить конспирацию: даже перекреститься — не поднималась рука! И никто не крестился. Во люди! Отчасти это восхищало меня.

Беременная женщина у заднего стекла вдруг заговорила и говорила уже непрерывно. Никто не перебивал ее, хотя впечатление было жуткое. Никто и не вслушивался в смысл, да смысла и не было, что-то вроде: «Закрой форточку, Валя простудится! Опять ты поздно пришел»... Мы плыли в этом ужасе, и никто не решался его прервать: казалось, от резкого движения и даже звука можем опрокинуться. Наступило полусонное успокоение: пока говорит — едем... едем, пока говорит! Туман стал вдруг оседать, лежал волнами под окнами. Или, может, это мы взлетаем? Вид как из окна самолета! Под тучами — гигантская пустота? Женщина вдруг

умолкла, и по салону словно прошла волна холода. И тут же из тишины вынырнул мотор — бодро сипящий и словно бы отдохнувший!

«Молоко» было разлито абсолютно ровно, но что в нем скрывалось? Даже в затылке водителя мне почудилась неуверенность: каких это просторов мы достигли? Не бывает — во сне даже — дорог такой ширины!.. Не дорога это!.. А что? Тем не менее мы тихо катились. Какая-то уже апатия: будь что будет! Вдруг водитель приглушил двигатель, остановил автобус, сцепил кисти на затылке и сладко потянулся. Мы стояли.

— Что там... что еще? — понеслось по салону. И — волна счастья!

Под нашими окнами из тумана торчали кудрявые бараньи головы, похожие на маленькие завихрения тумана, готовые вот-вот рассеяться. Но они не рассеивались! Они обтекали нас с двух сторон, причем широкой полосой. А там, в отдалении, торчит голова лошади... Ровное место!

Лошадь дважды неуверенно прыгнула... Стреножена?

— Доктора!.. Есть тут доктор? — заговорили сзади.

Беременная женщина вырубилась, повесив голову.

— Откройте двери! Все из салона! Нужен воздух... или помогите вынести! — Соня уже командовала вовсю.

Когда мы подъехали к Морскому вокзалу, было уже темно — и словно огромный яркий дом опускался за горизонт: паром полчаса уже как ушел!

Поглядев ему вслед, все потянулись к вокзалу: придется тут ночевать, следующий — утром.

Но у входа в эту величественную стекляшку возникла вдруг статная женщина в форме с погончиками — и никого не пускала внутрь.

— У нас *дневной* вокзал, у нас не ночуют! — горделиво говорила она, будто бы звание дневного вокзала дается за выдающиеся заслуги и ей есть чем гордиться. — Я же объяснила вам! — корректно повторяла она особенно непонятливым.

«Неужто эта темная масса не может отличить дневной вокзал от ночного? — В глазах ее была скорбь. — Когда же мы воспитаемся?»

Автобус стучал мотором, но почему-то не уезжал. Я представил его ночное странствие — и не позавидовал ему.

И тут, впрочем, было несладко. Пошел дождь — сперва отдельными каплями, потом сплошной.

«Говорящая женщина», видно не очень все понимая, полезла под протянутой рукой «стерегущей», которой та перекрывала дверь.

— Остановитесь, гражданка, имейте же человеческое достоинство! — гордо произносила «стерегущая», но потом, «потеряв всяческое терпение», крикнула: — Вася же!

«Вася же» выскочил, натянул покрепче милицейскую фуражку, потом взял голову лезущей напролом женщины, резко сжал ее под мышкой, явно что-то хрустнуло — может быть, *его* кость? Потом мильтон поднял руку, чуть отстранился и пихнул ее в лоб — она попятилась и безжизненно упала.

— Я говорила же вам! — торжественно произнесла дежурная, указывая на упавшую тетку как на неоспоримое доказательство собственной правоты.

— Ну вот... — проговорил кто-то рядом.

Я и сам чувствовал, что «ну вот». Господи, если бы я не крестился, не взял бы на себя эту радостную ношу... сказал бы что-нибудь и ушел! А так... я тяжело вздохнул, нагнул, взял с пляжа (тут все было пляжем) мокрый булыжник, поднял в руке, завел его за спину... Какой-то участок мозга работал трезво, насмешливо спрашивал: «Ну и что? И куда?.. В дежурную?.. В мильтона? Просто в стеклянную стену?» На краю плоской крыши стояли буквы «СЛАВА КПСС!». Ну уж точно, что не туда! Но обратно его уже не положишь! А-а-а! Куда бог пошлет, как говорили мы в детстве, кидая мячик. Куда бог пошлет! Но просто так здесь стоять мне уже нельзя!

Рука мощно пошла вперед и вдруг в последний момент, почти на грани расставания с булыжником, словно наткнулась на какую-то скользкую горку и взмыла вверх — даже плечо хрустнуло: не вывихнулось ли? Булыган, взлетев, звонко вдарил по букве К в заветном слове и, упруго отскочив, пролетел над плечом дежурной и рухнул к ее ногам. Вася, опомнясь, кинулся ко мне, ухватил за волосы, собираясь и мою голову раздавить под мышкой.

— Не надо... я сам! — проговорил я быстро.

Легкая тяжесть... легкая тяжесть... — бормотал я. — Легкая тяжесть...

Откуда она взялась? Вдруг среди ночи откуда-то появились эти слова, причем без каких-либо причин или объяснений, но при этом было сразу же абсолютно понятно, что они не отвяжутся, пока я их не пристрою куда-нибудь. Такие «видения» являлись мне часто, и все они хотели, чтобы я их пристроил. Но куда их пристроить-то? Я ж ничего не пишу! Честно! Волновался некоторое время, потом забывал. Но если честно — все помнил, хотя с легким недоумением: что есть они? Вот «легкая тяжесть» вдруг появилась, а у меня еще «дым и корова» не пристроены! «На пороге нашего дома лежат дым и корова»... И что?

Я заерзал на унитазах. Хотя особо на ём не поерзаешь — чугунный. Видимо, чтоб я не мог его разбить и осколками вскрыть себе вены. По-видимому. По-быстрому. Удивительная какая-то бодрость — абсолютно не хочется спать, хотя обстановка вполне располагает. Легкая тяжесть. На нижних нарах привольно похрапывает мускулистый тип в наколках. «Гера» — по бицепсу. Можно было бы ему подколоть две буквы — будет «Геракл», но по коже писать не решаюсь — я и бумаги-то боюсь!

Легкая тяжесть... Может, ситуация моя — легкая тяжесть? Я бы не сказал: с этими буквами на крыше я, похоже, влип! И кто толкнул под руку? Кто — кто!.. Зря я, похоже, с ним связался: он играет по-крупному — а я больше по-мелкому люблю!

И вот тут пытаюсь уйти от ответственности, на нары принципиально не ложусь, ночью на унитазах. На нары лечь — значит, почти признаться в злом умысле, а так — я абсолютно ни при чем, случайно сюда зашел. Просто люблю, видите ли, на унитазах ночевать, а что такое нары — даже не понимаю. Совершенно неуместный тут оптимизм... Легкая тяжесть, легкая тяжесть... куда ж тебя деть?

Вот утро придет — будет тебе «легкая тяжесть»! Ну что ж. Считаем — пристроил. Я спокойно уснул.

— Да, паря, задал ты нам задачу! — Чубатый следователь (а может, дознаватель?) почесал у себя в кудрях. Второй, абсолютно лысый, хоть молодой, смотрел на меня, как мне показалось, с сочувствием. Да, их тоже можно понять: дело не из заурядных! Мне надо «легкую тяжесть» куда-то пристроить, им — меня! Не зря я связывал с моим отпуском большие надежды! Сбылось! Хотя что именно — не ясно пока.

Конечно, им со мной явно нелегко: кинул камень, причем не в блудницу, а в достойную женщину, наверняка члена партии, причем кинул еще таким извращенным методом — отпружиня от КПСС!

— А может, нет политической окраски? — попытался взбодриться. — Не видел никто!

— Скажи лучше, кто подначил тебя? — спросил чубатый.

Есть окраска!

Сказать им — Кто? Все равно не достанут!.. Но начинать отношения с Ним с доноительства? Вряд ли тогда полюбит!

— На что... подначил-то? — заныл я.

— Не дури! — рывкнул лысый. — Твои же дружки расскажут нам... что ты допускал... неоднократные выпады в адрес КПСС.

Да я и слова-то такого не знаю! — хотел воскликнуть я, но не воскликнул. Усугубит!.. Ну, дядя, подвел Ты меня! — я глянул вверх. В политику вмешался? А говорил, что лишь небесный царь нас интересует. Сказать? Тогда чем я буду лучше Иуды? Ничем! Охо-хо, тошнехонько! — как мой земной батя говорит. Лысый, шепнув что-то на ухо чубатому, быстро вышел. Чубатый, к моему изумлению, проводил его ненавидящим взглядом. Потом вдруг пригнулся ко мне и зашептал:

— Ты правильно сделал! Молоток! Я сам ее, суку, ненавижу!

Я в ужасе отпрянул. Кого... он ненавидит? Я похолодел. Не целил я ни в какие буквы, случайно рука подвинулась, камень швырял абсолютно аполитично.

— Кого... ее? — произнес я шепотом минуту спустя. Неудобно, наверное, оставлять без ответа его горячий порыв?

— Ее, суку... Совдепию нашу! — произнес чубатый почти вслух.

А-а-а... Совдепию... Я вытер внезапный пот... это полегче, наверное, чем КПСС... хотя не намного.

— Я тебя вытащу, — шепнул чубатый.

Ч-черт! Такого горячего взаимодействия я не ждал! То есть слышал, конечно, что они парами ходят: один следователь злой, другой — добрый... но не в такой же степени? Я даже засмутился — его любви я вряд ли достоин: аполитично ведь кидал, честное слово!.. Но ему неловко, наверное, это говорить? Значит, обмануть его в лучших чувствах?

Я вздохнул. Явился лысый, бодрый и веселый.

— Ну вот, с друзьями твоими побеседовали! — Он потер ладошки. — Подпишут как миленькие все, что надо! Но ты их должен понять! — Вдруг обнаружилось, что и он добр. — Твой дружок Жоз... без футбола — пустое место. А Кир твой... в священники метит! Так в патриархию уже вызывали его — дали понять, что в ближайшем будущем!.. Сам понимаешь, без нашего благословения... — Он развел маленькие ручонки. — Вот так. Ну а девка твоя, — (моя?) — сам понимаешь, своей работой повязана!

Он налил из пыльного графина воды и с наслаждением выпил.

— Ну, а ты как? — Он дружески глянул на меня.

— Я как? Да пока никак... — промямлил я.

— Поможем! — бодро проговорил лысый и, что-то шепнув чубатому на ухо, вышел. Тот с ненавистью поглядел ему вслед и прошептал:

— Сталинист херов! Хочет пресс-хату тебе прописать!

— А... что это такое... пресс-хата? — пролепетал я.

— Да примерно то же самое... что просто пресс! — Он жалостливо глядел на меня, словно прикидывая: выдержу ли?

— Ну ничего... я все тебе сделаю, — шепнул он тихо настолько, что мне как бы и померещилось.

Что — все? Все для пресс-хаты? С этим вроде бы и лысый справляется?.. Расспрашивать было неудобно.

— Уведите заключенного! — подняв трубку, вдруг рявкнул он.

Приученный уже к шепоту, я вздрогнул.

Полуголый тип с татуировкой «Гера» явно теперь проявлял ко мне интерес: видно, проинструктирован.

— Ни за что взяли? Понятно! — абсолютно издевательски повторял он.

Стукнула, откинувшись, дверь, и вошел еще один — ничуть не лучшая харя... «Не лучшая харя» — это я запомню. Надо запомнить! Какая-то просто болдинская осень в тюрьме!

— Шо... этот? Тю! — проговорил вошедший разочарованно, увидев меня.

— Ничего... меньше работы, — усмехнулся Гера.

— Наверх давай... оттуда падать будешь! — скомандовал вошедший.

Я покорно полез. Ну что ж... если хочет Бог, чтоб я пострадал по политическим мотивам, — пострадаю по политическим... Хотя логику Его отказываюсь понимать! Почему-то вместо радости — всякие гадости! Ну хорошо. Как надо падать?

Две пары добрых глаз всплыли у койки.

— Нам велено тебе кости переломать, — проговорил ласково Гера. — Но ты нравишься нам... Мы по-другому сделаем.

Как?

— Полотенчиком обвяжем тебя, — прошептал он. — Видок будет что надо... зато кости целы.

Что-то все тут перешли на шепот.

— ...Полотенчиком? — обрадовался я неизвестно чему.

— Полотенчиком! — ласково подтвердил Гера.

Он вытащил из-под своего матраса вафельное полотенце, «выстрелил» им, растянув резко, как бы демонстрируя, словно фокусник: ничего нет. Потом он вдруг открыл «барашек» на трубе, пустил в унитазе воду, окунул туда полотенчику, поболтал им.

— Извини, что из параши, из крана плохо текет!

С неослабевающим интересом я смотрел за их приготовлениями... зачем мочить-то?

— Сейчас мы тебе железную маску сделаем... но ты не бойсь! — проговорил напарник Геры.

Не бояться? А что, интересно, другое они мне предложат?

— Не бойсь... зато своими ногами уйдешь! — успокаивающе шепнул Гера. — После нас это редко кому. Ну... спустись.

— Как... самостоятельно? — поинтересовался я.

Переглянувшись, засмеялись. Значит, самостоятельно.

— Садись!

Я уселся. Надо настроиться — будто я у зубного врача.

— Без этого, сам понимаешь, не обойтись! — дружелюбно проговорил Гера, вытягивая из сапога финку.. точно такую, как я выбросил в бурьян!

— А... зачем? — Я не мог отвести глаз от этого предмета.

— Дырки проделывать!

— Зачем?

— Ну... дышать ты собираешься, нет? — дружески заржали.

— И для глаз дырки сделаем, если хочешь! — расщедрился Гера.

— Н-не надо.

— Ну... прощай! — насмешливо произнес Гера.

В каком смысле? — хотел было спросить я, но не успел. Кто-то один — не успел разглядеть, кто — положил лапу мне на голову, удерживая в неподвижности, а второй натянул на лицо мокрое вонючее полотенце и, перехлестнув сзади узлом, стал затягивать.

— М-м-м!

— Он что-то рано начал мычать! — глухо донесся голос, кажется, Геры. Засмеялись. Веселые палачи.

— М-м-м!

А воздух?!

— Чего он мычит, не знаешь?.. А-а, да!

Острие финки зашарило по полотенцу, проткнулось! Соленый вкус крови.

— От тьяк!.. Язычок, звиняйте, пришлось подпортить!

— Ну все! Ложись отдыхай! — устало, как заслуженный хирург, произнес Гера.

Резко встав, я стал нащупывать свою полку.

— Э-э, да он шконку найти не может! Может, проколоть все же глазки? Я заматал головой. И быстро забрался.

Ах вот он, самый эффект! Ссыхаясь, мокрое полотенце сокращается и жмет. Умельцы! Хрящ, похоже, сломается. Такой боли ни в какой драке не имел — это что-то особенное.

Прерывисто дыша, я резко уселся, скинул ноги. Надеялся — может, такое мое дыхание их разжалобит?

Храпят хлопцы — один внизу, другой напротив. После трудного дня.

— С-с-с-с! — просвистел от боли. Глухо!

Ухватил сзади за узелок... мертво затянулся. Все, кранты!

И главное, не забывать надо, что это все — большая удача, что если полотенце сорву — по-настоящему уделают! Милостив Бог! Но несколько странен. Со всеми, что ли, так? Да нет, не со всеми: мне еще повезло! Другим кости ломают, а мне...

Я с ужасом ошупывал свою голову. Это не моя голова! Размером с апельсин и, наверное, будет уменьшаться! Полотенце-то еще влажное... и жутко горячее!

Я спрыгнул с полки... Пойду прогуляюсь... на прощанье с самим собой... Фамилию, видимо, изменить придется. Красота! Возьму, например, фамилию Кьерк-егоров! Все равно никто уже прежнего не увидит меня! Или — Успрыгин! Бодро, динамично. Можно Маша Котофеева взять — все равно пол мой больше не заинтересует никого! Ну ты... Котофеев! Стой!

Ротмистр Полотенцев — был такой персонаж в революционном фильме! Я глухо захохотал.

Надо заболтать это дело, отвлечься! Языком ты владеешь, надеюсь? И тут уж никто тебе не будет мешать! Свобода!

Какую же фамилию мне теперь подобрать — к уменьшенной голове?

Умыцкий. Бульдоцкий. Мамкер. Валерий По? Максим Канистров... С-с-с-с! — сипя, обхватив голову руками, метался по камере. Не дай бог — разбуду богатырей, решат доработать... Блукаев. Гунун. Ядоха. Горпеня...

Утро тут бывает вообще?

...Мистер Дут-с Нафталахов... Бег мой замедлялся... Цвиримба... Бжхва. Ущельев. Граф Поскотини!.. Ресничко... Гниюшкин.

Телефонную книгу я тут создам!

Узеев, Пужной, Мхбрах!

Я почувствовал, что кто-то деликатно трогает сзади мой узелок.

— Ну вот... вроде нормально, — довольный шепот Геры.

По-ихнему — хорошо?! Ну и ладно! Отдирают полотенчику почему-то с волосками... Свет! Утро пришло! Переплыл ночь на фамилиях!

И осталось еще! Вольноплясов, Сферидзе... Надо еще? Вьетнамец Во-Во... на вьетнамца, наверно, похож? Узнать бы! Но вместо зеркала в моем распоряжении лишь бездонные очи моих друзей — туда вглядываюсь... Но восторга не вижу, скорей — ужас.

— Да-а... проспали мы с тобой... — Гера проговорил.

— Да-а-а... есть маленько! — друг подтвердил.

— Ну что там... что? — нетерпеливо хотелось спросить тоном хорошей дамочки, выходящей из парикмахерской.

Но, видно, они напрямую со мной общаться не хотели. Стеснялись. О чем-то тревожно зашептались, поглядывая на меня. Производственное совещание.

Лицо стало стремительно расширяться — чувствовал это по уменьшению глаз. Тряслось как тесто, если кивнуть.

Затворы забрякали.

— Выходи!

— Что с вами? — лысый вскричал.

Да, впечатление, видать, сильное!

— С нар упал, так удачно! — ответил я. И губы не мои!

— Посмотрите на себя! — проговорил лысый отрывисто. Слишком отрывисто... Совесть прихватила? Выдвинул ящик стола, вынул зеркало с резной ручкой (девичья услада), резко мне протянул. Видно, держал этот инструмент специально для таких случаев.

Глянул. Точно, не я. Какая-то баба. Рыхлость, точней, опухлость бордово-фиолетовая, причем еще в мелкую клеточку от вафельного полотенца... Но, в общем, я худшего ожидал. Сверкнул глазами. И вышло! Нет, ничего...

— Благодарю вас! — Зеркальце вернул.

Они, видимо, тоже большего ожидали. Лысый вздохнул, да и второй не смог сдержать вздоха разочарованья — видно, большего ужаса от ненавистой Совдепии ждал. Но, как говорится, — чем богаты!..

— Ну что нам скажете? — лысый спросил.

— О чем?

— Он не понял еще! — за неимением других собеседников обратился он к чубатому, но тот разгневанно молчал. И гнев его, похоже, относился и к напарнику, и ко мне — мало я пострадал за идею, по его меркам. Знать бы еще, что за идея.

Так что с лысым, похоже, лучше у нас отношения.

— У тебя ж отличная специальность есть — подлодки! На хер ты в это словоблудие полез? — посочувствовал лысый.

— В какое?

— В политику!

— Вот уж нет!

— А... куда?

— Ну... слова люблю.

— Слово есть Бог! — лысый произнес. — А ты кто?

Ну да. Слово есть Бог. И КПСС!.. А ты не суйся!

— Нас не только политика интересует! Мы вообще обязаны слово оберегать... от пачкунов разных! — он пояснил.

— Ну... и на что я покусился, по-вашему? — Голос мой дрожал.

— Да лучше политику пришить тебе... чтобы ты заткнулся! — решил он.

— Ну уж это-то совсем не за что!

— Ладно. Мы не на диспуте! — поднял трубку. — Давай!

Жоз, Соня и Кир появились. Вот это настоящее зеркало — по лицам их действительно ощутил, как я выгляжу.

— Упал, говорит! — лысый пояснил. — Ну, что скажете... допускал ваш друг антисоветские высказывания? Или продолжим? — Он кивнул на меня.

Я стал подмигивать, особенно Киру, хотя лицо плохо меня слушалось. Мол, то, что вы видите, это, наоборот, — очень хорошо, большая удача, совсем не то, что должно было быть. Большая удача! Но они неправильно поняли меня, а от подмигиванья даже вздрагивали — решили, очевидно, что голова моя не только снаружи пострадала, но и внутри.

Нет, не взбодрить их. Явно — дрожат!

— Ты учти, — лысый к Жозу обратился, — что сегодня на матче сам Ездунув будет. Понял, нет?

Жоз покорно кивнул.

— Ну... а с твоей работой, — повернулся к Соне, — решается вопрос.

Соня дерзко сверкнула своими очами, но не ответила ничего.

— Ну а святому батюшке, — к Киру повернулся, — совсем стыдно в эту грязь лезть!

Кир потупился.

— Вот и волосы уже у вас отросли подходящие, — от насмешки лысый не удержался, — так что дело за малым!

Тишина.

— Ваш прямой долг... заявить, что судьба вас случайно... случайно, подчеркиваю, свела с ярым антисоветчиком, который пытался вас вербовать, — попытожил он.

— Куда? — Кир смело поднял голову.

— Это мы напишем! — Улыбаясь, лысый шлепнул по бумажной стопке. — Свободны!

Слегка запутавшись в дверях — кто первый? — друзья мои вышли. Могли хотя бы бросить прощальный взгляд, но, видно, неблагоприятное я произвел на них впечатленье.

В камере я один оказался — красота! — но скоро и хирурги мои вернулись, злые как дьяволы.

— Хер мы получили с тебя! — в сердцах Гера доложил. — Начальство недовольно!

— Чем же не угодили мы им?

— Да вид, говорят, у тебя больно цветущ! И держисься нагло! — Гера поделился: — Даже добрый и тот недоволен! Велели по-настоящему делать тебя.

Мои Пигмалионы явно были не в духе! Но потом отошли.

— Ладно... попробуем еще раз... по-человечески! — Гера произнес. — Но немножко уж.. пожестче придется! — Он растянул полотенце, и друг его финкою кусок отхватил — треть примерно. По-божески.

— Ну давай твою личность... незаурядную! — с улыбкой Гера произнес.

Вот это боль! До рассвета точно не доживу! И если я связан.. с Высшим Разумом... то что-то важное у Него надо попросить. В последний раз. В первый, можно сказать, по-настоящему раз — он же последний! Ну что?

Судя по некоторому просвету в глазах, я обратился к лампочке.

Для себя, я думаю, поздно что-либо просить — даже если выживу, головой свихнусь. За друзей просить надо.. Слушай.. если Ты есть. Им помощи! Ведь если они... расколется — то целыми не будут уже! Так, осколки. Им помощи остаться!.. Как? Уж это Тебе видней! Но сделай, чтоб не превратились они в дерьмо! Ладно?

Нет ответа!.. И вдруг — лампочка явно мигнула!

Ответ! И снова мигнула! Явный ответ! Но какой конкретно? Да — нет? Да — нет?

Узнаем. Я лег с чувством выполненного долга. Хорошо поработал — даже боль ушла!

— Вставай! Подарочек тебя ждет! — голос Геры.

Я вскочил. Кто-то содрал с лица полотенце вместе с волосками.

В камере стояли мои друзья! Кир! Соня! И не только! Центром сцены, несомненно, был МБЧ, маленький большой человек из санатория ЦК «Горный воздух».

— Вы позорите звание чекиста! — рявкнул он на лысого. — Что вы сделали с человеком?! — (Человек — это я, видимо.) — Сейчас не прежние времена!

В подтверждение этих слов чуть сбоку стоял молодой генерал в распахнутой шинели, с юным, благородным лицом (потом он сделался нашим премьером), рядом был примкнувший к нему чубатый следователь. Победа! Ко мне кинулся Кир, побритый наголо.

— Видал? — Он торжествующе шлепнул ладонью по темени. — Получили они меня?!

— И меня. — Жоз сделал соответствующий жест.

Соня скромно сияла.

Но именно ей я был обязан своим освобождением! Увидев, как она потом выразилась, «вместо морды сырой бифштекс», она тут же метнулась

к себе в «Горный воздух», где как раз отдыхал прогрессивный генерал, и МБЧ, знаменитый актер и режиссер, тоже в стороне не остался.

— Вон отсюда! — брезгливо произнес МБЧ, и мы вышли.

...И Жоз тоже не подкачал: на матче с «Динамо» забил решающий гол, под стон и ликование народа подбежал к ложе, где сидел сам Ездунув, приспустил трусы и показал ему нечто.

С футболом теперь покончено — зато душу сберег!

...Кир наголо обрился и так явился в епархию: вот вам поп! Не нравлюсь? А почему?.. Друзья мои! Мы вышли на волю, смотрели вверх...

И вдруг — с неба пришло дуновение, крестообразно осенив мой лоб!

Потом мы стояли на скале: Кир, поп-расстрига; Жоз, бывший футболист; Соня, бывшая функционерка... Друзья мои!

Солнце вылезло из-за плоской горы и осветило туманную долину под нами. Крохотные лошадки внизу кидали гигантские длинные тени...

— Личные табуны Ездунова! — усмехнувшись, сообщил Кир.

Вдали над морем затархтел красненький вертолетик, неся под собой на невидимых стропях гигантскую К — буква раскачивалась, слегка отставая от аппарата. И вдруг стропы отстегнулись, буква стала падать и исчезла в перламутровом море.

— На подводный кабель их устанавливают, — пояснил Жоз.

Я глядел, прощаясь... Друзья мои!

Из-за горизонта поднимался паром...

ПОДАРОК

— Какая качка — все время падаю! — Рыжая веснушчатая девушка, пролетя по палубе зигзагом, обняла вдруг меня.

— Но ведь... море же спокойное, — смущенно произнес я, тем не менее не спеша выбраться из ее объятий.

— Да? — Она весело смотрела снизу вверх. Потом вдруг икнула. — Ой! Что-то сразу между нами возникло.

— Давайте я отведу вас вниз, — не зная, что тут делать, пробормотал я. — Там меньше качает!

Я вдруг заметил, что тоже качаюсь.

Мы спустились по трапу. В сумрачном салоне рядами сидели люди. Я усадил ее в кресло, отводя свои глазки от ее голых ног, а сам опустился на свободное место впереди. Между сиденьем и спинкой был промежуток, и она сразу же просунула туда ступню и стала щипать меня пальцами ног.

Я обернулся.

— Очень хочется плевать! — деловито сообщила она.

Я подошел к ней, стал поднимать. Да, знаменитых южных вин она напробовалась изрядно!

Пожилая интеллигентная женщина, сидевшая рядом с ней, вдруг сверкнула в мою сторону очками:

— Я хотела удержаться, но не могу не сказать... какая прелестная у вас девушка!

Да? Мы зигзагами добрались до гальюна. Действительно, что ли, качало?

Она закрылась в гальюне прочно и надолго — я по коридору вышел на палубу. О, уже подходим к пристани. Крым! Толпа пошла по коридору, выкинула меня на берег. Я, приподнимаясь, озирался... Потерял!.. Ну и ладно.

— Я здесь, здесь! — Она ткнула меня кулачком в бок.

Так я встретил мою жену.

Мы жили у ее родителей, отгородясь в проходной комнате огромным буфетом. Это был не буфет — целый город, с площадями, дворами и переулками. И когда у нас родилась дочь, мы положили ее в буфет.

В конце длинного коммунального коридора была тухлявая темная лестница куда-то вниз. Однажды жена, будучи слегка навеселе, рухнула туда. Вылезла она вся в пыли, но радостно-возбужденная:

— Какая-то подпольная типография!

Я взял фонарик и спустился, там все сохранилось с дореволюционной, видать, поры. Наверно, Поляков, бывший хозяин-адвокат, известный своими симпатиями к социал-демократам, держал типографию. И вот чего добился — огромной дикой коммуналки! Впрочем, кое-чего он добился. Для меня.

Я счел это знаком, уволился с работы и рано утром, крадучись мимо комнаты тещи, направлялся туда. Окон там не было, только светила тускло раскаленная «свеча Яблочкова», мерцали тяжелые буквы в клетках-касах. Кое-что начал набирать...

Потом — дочке исполнилось пять — случилось еще одно происшествие: тестю и теще, как участникам войны, дали отдельную квартиру — но однокомнатную. Решительная теща сказала, что заберет внучку — в новом районе и ванна, и сад... «И нормальное питание», — могли бы добавить мы. Я из подвала не приносил ничего, кроме тараканов, жена еще училась.

— Уж в школу она пойдет у нас! — Это мы решили твердо.

Но когда подошла школа, вдруг выяснилось, что лучшую школу, английскую, перевели как раз в тот район. Ладно! С третьего класса! С пятого!

Годы быстро шли, как бы проходили гигантские перемены — но у нас на глазах ничего не менялось. Мы «заправлялись» в выходные у тещи, скромно забирали продукты. То было смутное, неясное время. И это касалось не только нас. Старые власти прекратили что-либо делать, а новые еще не взялись. Единственное, что произошло точно, — исчезли продукты.

Помню, мы грустно поехали с женой за город, вышли на какой-то незнакомой станции... В привокзальной роще, закинув головы, легли на желтую траву. На бледно-синем осеннем небе не было ни тучки, дырявые листья трепетали на ветках из последних сил. Мы полежали, вздыхая, потом поднялись.

Мы шли по хрустящим тропам, по муравьиным трупам. И лист то с ольхи, то с дуба вдруг падал к ногам, как рубль. И вышли мы к сизым рельсам. На них лист осины грелся. Качается бабье лето. Кончается бабье лето. Пожалуйста, два билета.

По совершенно случайным каналам (честно говоря, по радио) я узнал, что в Доме творчества писателей в Комарове проводится совещание молодых литераторов. Ринулся туда.

Маститый седовласый классик У., слегка размякший от наступившей «оттепели», добродушно журил выступающих. Я прочел «Мы шли». У. долго молчал. Потом, вздохнув, произнес:

— Листья с дуба редко падают — большей частью остаются на ветвях на всю зиму. А лист осины не может греться на «сизых рельсах» — он и так ярко-красный, горячий. Жизни вы не знаете... и не видите! — И, не удержавшись, добавил: — Вот говорят: лучше пусть едят, чем пьют... Так я вам скажу: лучше пейте!

Я вышел из хохочущего зала. Вот так приголубил!

Печатаю черные следы по тонкому снегу, дошел до станции.

Зашел за железный барьер, ограждающий рельсы, и, повернув голову влево, увидел сквозь легкий занавес снега, что сюда, гоня перед собой

вьюгу, летит поезд... как раз и барьерчик такой поставили, чтоб в эти минуты за него не заходить. Я остался, прижавшись спиной к холодной трубе, лишь слегка откинув голову: может быть, я такой гордый? Вагоны летели под носом. Были бы усы — точно бы зацепились! Но усы вырасти не успели. Вагоны летели вперемежку с платформами, груженными лесом. Ну?.. Одно скособоченное бревнышко — и все! Ну?.. Ненавидишь меня?.. Давай! Стук резко оборвался, настала тишина... Гуляй!

Жена сидела на кухне морща лобик, загибая пальцы, что-то бормоча.

— В этом месяце сколько дней? — повернулась она ко мне. — Тридцать?.. Ну — тогда-то проживем!

— Тридцать один.

— Ну, тогда-то не проживем! — бодро сказала она.

— Да, вчера Кир звонил, сегодня к нам заедет! — вставая рано утром, радостно сообщила она. Ее трудности жизни не сломили. Меня — да.

Я долго лежал неподвижно. Инспектор, значит, пожалуй, с духовной миссией? Ну-ну.

— Вставай! — донесся ее голосок с кухни. — Все г.! Открой ф.!

Так получалось бодрей. Это она избрела.

Брякнул звонок. Явился! Мы молча прошли на кухню. Кир строго смотрел на Нонну — хоть и не впервые, но изучая. Да, вот такая она! Держа сигарету наотлет в своей тоненькой лапке, вызывающе пустила в его сторону дым.

— Ну ладно. Я все поставила. Давайте!

Слегка уже выпила с утра. Бодрость так легко не дается.

Да, умеет Кир вовремя нанести визит!

Впрочем, теперь у нас почти всегда «вовремя» — и что делать, я не знаю, ничего другого, радостного, предложить ей не могу.

Мы молча сидели над дымящимися сардельками.

— Да... Тебе послано испытание! — проводив жену взглядом, тихо сказал Кир. Я оставил это без комментариев, но он добавил торжественно: — Значит, Он помнит о тебе!

— ...Ешь! — Я подвинул сардельки к нему, может быть, чересчур резко.

Вздыхнув, он поднялся и отошел. Намекает, что сейчас какой-нибудь пост и уважающие себя верующие не едят скоромного... А мы жрем! И в церковь не ходим!

Впрочем, было известно, что «во храм Божий» отец Кир не ходит тоже, окончательно завязав со всеми епархиями и даже письменно обвинив их, что под рясами у них всех погоны. Однако это не мешало, как неоднократно подчеркивал он, верить в Бога и блюсти Закон!.. Так что с его неприятием официоза он даже выиграл... во всяком случае, к нему потянулась интеллигенция, с наступлением «оттепели» повернувшая к Богу, но ленившаяся ходить в церковь... Удобный вариант!

Я чувствовал, что злобничаю... А чего он не ест? Мы сардельки эти на Новый год берегли, обычно другим питались... а он!! Главное — возвеличиться? Без меня! Я тоже поднялся.

— Средства не позволяют... блюсти! — Я кивнул на сардельки. Теперь не долежат уже до Нового года — зря загубил.

— Не в средствах дело, — кротко произнес он. — Дело в вере... и немного — в смирении.

Смирение свое он демонстрировал, однако, очень активно: контача с одноклассницей-стюардессой, то и дело прилетал со своих югов в наш великий город... и небескорыстно, как дальнейший опыт показал. До ненависти довел меня посредством своей кротости и смирения!!

— Главное — веру иметь, — произнес он чуть слышно.

— А я имею!

— Да?

— Да!

— ...Хотелось бы как-то в этом убедиться!

— Пошли.

Мы двинулись в конец коридора... Вот черт — ведь не хотел же говорить ему! Именно ему!! Проболтался. Слабый ты человек! Теперь распотчет.

Мы слезли по лесенке. Я включил медленно накаляющуюся «свечу Яблочкова»... и из тьмы выступила моя тайная типография — верстальный станок, прокатные валики, банки свинцовой краски.

— Вот, — проговорил я уже растерянно... знал, что не впечатлит!

— И ты уверен, что эта... связь, — он кивнул наверх, — надежна?

— А другой у меня нет! — проговорил я нагло. — Но мне достаточно!..

Буквой можно все сделать... все изменить!

— Об этом даже в Библии сказано. — Кир усмехнулся.

— Не знаю, не читал... Но знаю. Скажем, спрашиваю, поругавшись, жену: «В каком ящике мои кальсоны лежат?» — «В первом!» — отвечает она. И все! Настроение резко прыгает — веселье, доброта! В одной букве!

— К сожалению, по всем правилам грамматики эта буква тут не стоит. — Кир вздохнул сочувственно.

— Это у тебя не стоит! — ответил я грубо.

Мы молчали разрозненно.

— А это что? — указал он своим перстом...

Всегда заметит, сволочь, самое неприятное! Всегда не прав он в его правоте!

— Это?.. А-а! Ценники! Печатаю их для проживания и пропитания. Что дают, то и печатаю. Что печатаю, то и дают. Вот: «Когти орлиные, 70 копеек кило!» Цельный месяц их ели. И хорошо! Жаль, что ты тогда не пожаловал на когти. А сардельки — это мой взлет, совершенно случайно с твоим приездом совпавший. А так... Вот «Веки орлиные». Но это мне еще в будущем обещают. Заезжай!

— Понятно, — поднялся со стула, собираясь уходить.

— Но ведь можно не только ценники печатать! — разгорячился я. — Вот недавно в метро я разговорился. Симпатичный парень. Спрашиваю его: «А кто ты по профессии?» — «А инженер!» И в этом «А» все его легкомыслие, и характер, и судьба, и портрет. Одной буквой можно все сделать!

Кир задумчиво поднимался по лестнице.

— Стой! Не сюда!

Кира, с редким его обаянием, в дом больше не допущу! По двору погуляем — пусть свое обаяние немного развеет! Вышли через подвал, выбрались из кучи угля.

— Странно ты меня принимаешь! — стряхивая угольную пыль с чресел, Кир говорит.

— Что же здесь странного? — удивился я.

Пошли через двор, по схваченной морозцем грязи. Вошли в магазин — парад моих этикеток. Но, к сожалению, из бутылок — только темные бутылки укуса красовались.

— Ну что? Может, укусу тяпнем? — я предложил. — Один тут тяпнул. Прославился, говорят.

Кир оскорбленно дернулся... Чем-то обидел я его.

— Хватит тебе и того испытания, что есть, — проговорил он скорбно, но не совсем понятно.

Пошли по отделам. В те годы отсутствие товаров на полках почему-то сопровождалось обилием грязи на полу — казалось бы, чего тут расхаживать, носить грязь? Но все усердно носили. Более того, для лучшей конси-

стенции сюда подкидывали лопатами опилки, что увеличивало массу грязи и, несомненно, улучшало ее качество. Где же брали опилки в те годы повального дефицита, так и осталось загадкой. Мы добрались до выхода.

Во дворе мы увидели следующую замечательную сцену: от магазина удалялся мужик, в сапогах и ватнике, на спине его почему-то красовалась цифра «9». Но не это самое удивительное. На голове, как зубчатую корону, он придерживал двумя руками букву М размера почти такого же, как он сам.

— Метро провели? — обрадовался Кир.

Вложив всю душу в новое, он как бы отвечал за него.

— Да нет... — Обернувшись, я показал наверх. На плоской крыше магазина остались буквы «ЯСО». Все, увы, ясно!

Мы молча побрели через двор. Буквоносец, вырвавшись вперед, задолго до нас подошел к пивной очереди и стал всем предлагать Букву — видимо, незадорого, поскольку многие соблазнились, пробовали ее на зуб, пытались сломать через колено... Не поддается! Метафоричность этой картины потрясла меня. Это и есть, в сущности, мое дело — продавать людям Буквы, пытаясь их (людей) при этом обогатить!

Кир, поняв аллегоричность, резко отвернулся.

После я провожал его на самолет. Аэропорт был тогда самым элегантным местом в городе: пахло кофе, коньяком. Тускло сияли игровые автоматы вдоль стен.

— Я же делаю для тебя что могу! — воскликнул Кир с болью, глянув туда.

...Ах вон оно что! Сердце прыгнуло. Да! Очень редко, в минуты крайней нужды и отчаяния (подарки на день рождения дочки), я подходил к этим сияющим «алтарям», покупал «токен», впихивал в щель. Крутились на барабанах картинки — красные колокольчики, желтые лимоны, лиловые сливы, и всегда — всегда! — останавливались три одинаковых в ряд, и всегда — всегда! — в поддон гулким золотым дождем сыпались жетоны!

Такая «ласка» смущала меня, а тем более теперь, когда Кир ясно и недвусмысленно дал понять, что это благо с его рук, что это он, и именно он, носит мне передачи от Господа Бога!

— ...Все! — вдруг произнес я.

— Что? — Кир мягко улыбнулся.

— Не надо этого больше! — Я глянул на автоматы.

— Отрекохося? — произнес Кир торжественно.

— Отрекохося... — повторил за ним я. И, чувствуя, что этого мало, встал на слабые свои ноги, подошел к автомату, купил «токен»... опустил. Барабаны закрутились. Замедлились. Встали... Все! Полный разницей! Сухо!

Я похолодел. С бодрой кривой улыбкой вернулся. Вот так!

— Все! — услышал я свой голос. — Только в Букве — мой Бог! И ничего иного не надо мне! Буквой можно все сделать... все изменить!

И тут же это подтвердилось: вместо кофе с молоком принесли кофе с молотком!

...Утром умывался, и буквы проявились: «Мыло в глаз попало. Это лишь начало!» Не в бровь, а в глаз! День отвратно прошел. Да, слово не воробей. Слово — сокол. Если привяжется — заклюет.

Да-а-а... Буква не всегда благо... но отказываться уже нельзя!

«Согласился», видите ли! А у букв ты спросил согласия? Нет? Этот табун невозможно укротить! Лучше бы так ты и шел по линии пищи... А теперь! Неожиданно, словно лягушки, они начали вдруг «спрыгиваться» в какие-то фамилии, абсолютно мне незнакомые и даже неприятные: Дву-

полов (?!), Опятьев, Коврижный, Зубенников, Маша Котофеева (эта хотя бы баба!), Успрау (это тоже баба, надеюсь?), Борис Закивак (это точно не баба), Ксения Безбрежная (таких немного, боюсь), Иван Мертвецовский (чур, чур, чур!), Аркадий Бац, Леня Швах и Максим Свинк (эти у меня математики), Двусмертян, Клеенкина, Что, Тассияблоцко, Ксения Арбуз и Валерий Вытрись... Смотрел с ужасом на это нашествие. Теперь я должен их кормить — по крайней мере духовно! Чем?!

Время от времени спускалась жена — и в слезах поднималась. Чем я мог ей помочь? У меня Котофеева понесла от Закивака. Причем без любви!.. Полное отчаяние!

Сколько так прошло лет? И вдруг люк с веселым стуком откинулся, и по лучу света съехал Кир.

— Ну? — благодушно произнес он. — Пересидел тут самые трудные годы? Вылазы!

РАЙ

Вот оно, счастье! Бескрайний серебристый простор под иллюминатором — Атлантика, говорят! Это после полуподвала-то! К счастью, место справа от меня свободно оказалось, и я, спросив разрешения у стюардессы, к окошку пересел! Бескрайняя серебристая рябь. Оторвался от Атлантики, внутри салона повернулся. Сначала было темно, после глаза привыкли. Вон Кир — через проход улыбается — тоже счастлив. А если закинуть голову чуть назад — Соня сияет черным глазом. И Жоз! Пышные рыжие бакенбарды себе отрастил. Соня, смело разоблачив нравы привилегированного «Горного воздуха», известной журналисткой стала. А Жоз — тот вообще прославился: когда к ним на Юг прибыл последний наш Генеральный секретарь, смелый и прогрессивный, но выжигающий виноградники с целью изгнания Зеленого Змия, Жоз сквозь толпу встречающих пробился в первый ряд — и показал Генеральному выдающийся свой «инструмент». Жоза скрутили, ясное дело, в психушку уволокли. Но Соня и тут себя показала — всю мировую общественность подняла, и Жоза выпустили. Так что теперь он — знаменитость, едет на Конгресс!

Кир ко мне пересел — так все стремительно вышло, что даже с ним и не поговорили. Кир доверительно мне сообщил, что прежняя церковь окончательно скомпрометировала себя: реформы не поддерживала и вообще сеет реакцию... Кончилось терпение! Кир легкой досадой в голосе показал, что и его личное терпение тоже кончилось — именно потому столь энергичные меры предпринимаются! А какие меры? Летим за океан, на Всемирный Конгресс Новой Церкви — правильной, прогрессивной! Хватит, не зря боролись (это Кир уже добавил лично от себя) — теперь только новое право на существование будет иметь!

Уже и неторопливый Кир все объяснил, полностью перевернул, можно сказать, мое сознание: а мы еще и половины не перелетели — зеленый контур нашего самолетика на экране, а рядом — остров... Гренландия!

Жоз рядом плюхнулся: крепко врезавший.

— Говорят, эротизм теперь надо развивать...

— Ну ты, эротизм! — могучая Соня над нами нависла. — Пойди погуляй — мне с человеком поговорить надо, сколько не виделась.

— А я не человек, да?

Соня села рядом. Это она меня тогда спасла!.. И сейчас, оказывается, тоже.

— Этот и не вспомнил про тебя! — мотнула головой в сторону Кира. — Я про тебя вспомнила: что-то, значит, в тебе есть!

Смотрели друг на друга.

— Ну как жизнь?

Ожидал от нее радостного ответа, а она говорит:

— А-а, погано! Мужиков нормальных нет!

— Да? А иностранцы?

— А! Был тут один у меня. Красавец, миллиардер. Раскатала губки. А он, видишь ли, еще и альпинистом оказался. Пришлось и мне прикинуть-ся. На гору пошли! И только там, в «Приюте одиннадцати», на высоте шести тысяч метров, ввел! При минус двадцати! Кончил снегом. Потом сказал, что на меньшей высоте его женщины не возбуждают! Его проблемы! А мне, сам понимаешь, каждый раз за этим делом на такую высоту карабкаться не с руки! Вот так вот. Ну ладно, пойду приводить морду в порядок — должны же мы прилететь когда-то!

И вот уже Соня душу распахнула и уже ушла, а мы все висим над океаном и вроде не двигаемся. Лишь МБЧ, который тоже летел с нами, уныния не ведал — непрерывно звал стюардессу, требовал «дринки», хохотал. Маленький Большой Человек ушедшей эпохи — впрочем, как выяснилось, и теперешней тоже: делегацию-то нашу он возглавлял! Все, что хочешь, играет, все эпохи прожигает, как раскаленный гвоздь, и на нем ни царапины: младенческое его темечко все так же сияет!

Вашингтон! Вышли — и словно в парилку попали! Испуганная пробежка до автобуса — прохладный «кондишн», от автобуса до аэровокзала — метра три, но как по раскаленной лаве. И это — рай? Короткими перебежками добрались до отеля... Вот где рай! Среди маленьких прудиков с лотосами по островкам и мостикам нарядные люди ходят — отглаженные, сладко пахнущие... Но где ж тут Новая Церковь? Народ-то все больше пожилой... но цепкий, как сразу чувствуется! Только МБЧ, один из нас, тут не растерялся, сновал в толпе, как ерш среди плотвы, — вдруг, хохоча, стройного седого сенатора с размаху поддых бил — сенатор вымученно смеялся, потом МБЧ каких-то важных дам ниже талии щипал — те по-лошадиному строго улыбались.

— Все старые бляди тут! — сообщил МБЧ.

Но для нас-то они новые!

Закинули вещи свои — окна из номера в зимний сад — и нетерпеливо в город рванули, хотя МБЧ, уже зверски пьяный, предупредил:

— Не хрена там делать!

— Как?

— А так!

— В столице прогрессивного человечества?

— А да!

Я подошел к негру-портье, долго расспрашивал на ломаном, куда тут пойти. Тот, словно извиняясь, предложил проехать в Джорджтаун, аристократически-богемный пригород, вроде села. А так... Он задумчиво закатил свои выпуклые очи, пожал плечом. Приехали! И главное — уже как бы я получаюсь поводырь, отвечаю за то, чтобы Вашингтон нам понравился! Кир сразу же надменно устранился, я всех вывел из «кондишна» на жару. И как бы за жару уже тоже я отвечаю — все на меня злобно поглядывают. Почему я? Как говорила классная наша воспитательница Марья Сергеевна: «Нет добросовестней этого Попова!» И вот — результат! За Вашингтон теперь отвечаю!

Но — странный город: все улицы похожи! Абсолютно одинаковые «сталинские» дома, колонны с каменными «гроздьями» наверху... такие у нас строили пленные немцы после войны... Но тут разрухи вроде бы не было — так в чем же дело? Им видней! А отвечать приходится мне!

— И тебе нравится? — Кир презрительно говорит.

Я, что ли, это построил?!

— Хорошо... но душно, — деликатно сказал я.

Прилипая к асфальту, обливаясь потом, шли... абсолютно одинаковые улицы... пока нашли метро — дважды к отелю вернулись!

Наконец пахнуло затхлостью... Подземная дыра!

— Что — еще в метро спускаться? — Кир глянул на меня.

Да, виноват! Рядышком экзотический Джорджтаун не смог разместить! Вниз полезли. Тьма! Стен вообще не видать, не говоря о каких-либо художественных барельефах. Какие-то вагоны, похожие на грузовые. Сели.

— Правильно едем-то? — теперь Соня разволновалась.

А я что — был тут?

— Правильно, правильно... — а сам прислушиваюсь.

Проехали несколько таких же темных станций, вдруг слышу голос: «Некст стейшн — Фрогс пул!» — «Лягушачье болото!» Нам, значит, выходить!

Поделился этой радостью, хотел даже посмешить — «Лягушачье болото», но все сморщились брезгливо. Будто я это болото устроил!

Вышли наверх.

— И никакого болота нет! — Соня обиженно губы выпятила.

Опять не угодил!

— Ну, куда теперь? — уже устало Кир меня спрашивает.

От площади с каким-то конным бронзовым генералом расходятся улицы... Куда? Отчаяние почувствовал! Наверняка куда-нибудь не туда их приведу и буду растоптан окончательно.

— Сюда!

— ...Сюда? — Кир надменно бровь поднял. Сюда — он показал явно своим взглядом — самый глупый ход. Но раз «этот» командует — он снимает с себя всякую ответственность... Снимай!

Шли некоторое время в раскаленной жаре.

— ...А ты уверен? — Соня тяжело выдохнула.

— Ты что — разве не понимаешь? — Кир остановился, пот вытер, рукой махнул. — Он же пишет очередной свой абсурдистский рассказ с нашим участием!

— О да!

Прошли еще милю.

— Ну все — это уже издевательство! — Кир говорит.

Уже до издевательства я дошел!.. Но должен же быть где-то Джорджтаун? Что же такое? Гляжу на них — высокую веру проповедуют, а сами даже в близкий Джорджтаун не верят!!

— Уже близко! — бодро говорю.

Качнулись вперед, переставляли ноги... И вдруг — повеяло!

За поворотом — речка. Мост через нее. Игрушечные сказочные домики, залепленные цветами... Пруды... Прохлада!

Я помню, как однажды, малышом,
Я лез в заросший пруд за камышом.
Тяжелый жук толчками пробегал
И лапками поверхность прогибал.

Я жил на берегу, я спал в копне.
Рождалось что-то новое во мне.
Как просто показать свои труды.
Как трудно показать свои пруды

Я узнаю тебя издали:
По кашлю, по шуршанию подошв.
И это началось не с пустяка.
Наверно, был твой пруд на мой похож!

Был вечер. Мы не встретились пока
Стояла ты Смотрела на жука.
Тяжелый жук толчками пробегал
И лапками поверхность прогибал

Заседание вяло шло — старушки что-то вяло бормотали, потом главный проповедник этой Церкви, кореец Е, по-корейски на всех кричал — но переводчики не успевали, слабо знали корейский... Осталась тишина.

И тут на трибуне, как чертик из табакерки, МБЧ появился — крохотная, яростно налитая, как клюквинка, головка. Но голос мощный, все заполняющий:

— Россия гибнет! Коммунисты оставили после себя пустыню! Идеалов нет! Наша церковь скомпрометирована! В России — духовный сифилис! Бог может к нам прийти только с Запада!

— На большую деньгу, видать, нацелился! — шепнул мне Жоз.

МБЧ сбежал с трибуны под бурные овации! Для этого, видимо, и вызывали нас?

И вдруг я оказался на трибуне. Что вынесло меня? Никогда бы такого о себе не подумал! Президиум недоуменно переглядывался: не предусмотрено было!

— Мой уважаемый друг и любимый соотечественник, — (поклон в сторону МБЧ), — на мой взгляд, крупно ошибается!

Дождался, пока на все языки перевели, включая корейский.

Кореец недоуменно вытаращил свои узкие глаза.

— У нас никогда не было — и нет — ни духовного вакуума, ни духовного сифилиса!

— У вас была коммунистическая идеология! — выкрик почти без акцента.

— Не было у нас коммунистической идеологии!

Слегка отстающий, как эхо, перевод... недоуменный ропот зала.

— И не надо нам заполнять вакуум — у нас его нет! Мы отлично живем, лучше вас!

Тишина... И вдруг как чертик из табакерки, но на этот раз уже в зале, МБЧ вскочил, бешено зааплодировал. Подхватили!

Все по бокам меня хлопали, пока я шел к своему месту. МБЧ впился поцелуем:

— Ты молоток! Правильно им врезал! Я сам так думаю! Со мной будешь работать!

Да?

Ночью мы шастали с ним по Вашингтону, искали центр сексуальной жизни в этом городе, но так и не нашли. Темные пустые улицы, иногда — старые бездомные негрятки, на скамейках сидят, почему-то поставив ступни в картонные ящики с напиханными тряпками.. Для тепла?

Зато когда мы вернулись в отель, оказалось, что Соня и Жоз закрылись в номере еще до ужина и выходить не хотят, даже чтобы выпить. Вот где центр сексуальной жизни оказался — у нас!

Прямо из «Шереметьева-2» бешеный МБЧ умчал меня на длинной черной машине в подмосковный монастырь, работающий теперь по международной программе и поэтому переоборудованный в кемпинг... Я понял так.

МБЧ бухнулся на колени на краю обрыва, размашисто стал креститься. Вдаль уходили просторы: рощи, церкви, поля. Переламываясь и выпрямляясь вновь, летела тень облака. МБЧ вскочил, скрылся за мощной стеной, снова выбежал — уже в какой-то полурысе, темной шапочке... А мне как?

Программа христиан-международников (на которую он все же вырвал в Вашингтоне деньгу) называлась с размахом — «Битва Архангела с диаво-

лом», и МБЧ страстно исполнял обе роли. По программе, которая мне случайно попала в руки (губы после селедки вытирал), выходило, что монастырь этот под завязку наполнен святыми и грешниками. Но он справлялся один!

Такой истовости в грехе и молитве вряд ли кто-нибудь мог достичь, кроме него! Блистательную свою карьеру в кино он начал с роли пьяницы монаха в знаменитом фильме — и в таком духе и продолжал. То и дело в монастырь приезжали съемочные группы — борьба архангела с дьяволом в одном лице еще снималась, оказывается. В нескольких сериалах одновременно! В основном мы проводили время в бане, не выходя из образа, изгоняя беса, временами принимавшего вполне конкретные соблазнительные формы!

С трудом вспомнив наконец, что у меня есть семья, я добрался до телефона, набрал полузабытый номер. Тишина.

— Алле, — наконец тихий сиплый голос жены.

— Меня тут... похитили в рабство! — сообщил я.

— ...В Америке? — как-то безразлично поинтересовалась она.

— Нет... тут!

Молча повесила трубку.

Изгнание дьявола продолжалось. К моему возвращению в парилке оказался толстый человек с нежной кожей, пошедшей розовыми пятнами, похожими на листья клена. МБЧ яростно хлестал его веником и словами:

— Ну ты, сука! Подмял под себя все средства печати! А вот, — он кивнул на меня, — гений подышает с голоду!

На подышающего с голоду я мало походил — скорей от чего-то другого... Но МБЧ продолжал страстно хлестать магната:

— Вот тебе!!

Толстяк наконец рухнул в предбаннике, и мы остались с глазу на глаз.

— Что ты все — МБЧ, МБЧ! — Он не унимался. — Маратом меня зови! Мои родители-революционеры не знали, что их сын ренегатом будет!

Зарыдал. Революционную страстность он, однако, от них унаследовал.

Изгнав магната, он исхлестал себя веником до крови, потом орал на меня, я на него. Полусожрали друг друга и слегка затихли, заночевали в предбаннике. Впрочем, ночевали мы тут с той самой ночи, как появились. Полностью очистились!

Ночью я проснулся от вопля.

— Батьку! Слышишь ли меня? — вопил МБЧ, стоя на коленях, как Остап Бульба перед четвертованием.

— ...Слышу, сынку! — вдруг донеслось откуда-то.

И его, значит, слышит? Я был потрясен.

Утром как ни в чем не бывало приехал отвергнутый нами информационный магнат, привез выпивку, закуску, посуду. Тарелки были платиновые, рюмки золотые. Бабы, которые появились ближе к вечеру, были фарфоровые.

Заснул я головой на подоконнике. Чутко проснулся. Обрыва за монастырем не было видно. Восход был — кровь с молоком. МБЧ на коленях быстро бежал за бабой с ведрами и почти догонял.

— Нет, — понял я. — Так писать, чтобы так жить, я не смогу.

Стал одеваться.

С замиранием сердца вошел в дом. Брякает на кухне... Слава богу! Ноги мои от счастья подкосились: жена мирно пила чай — на меня, естественно, слегка дулась.

— Возьми ватрушку, — указывая пальчиком, сказала она.

АД

Однажды гуляли с ней в любимой нашей роще. Осень была, листья спрессовались уже, пачками пружинили под ногами. Перепрыгнув канаву, пошли по улице серых облезлых дач.

— Эх, хорошо бы нам здесь дачку получить! — Она вздохнула. — Тогда бы мы Настю могли на лето забирать! На воздух бабка отпустит ее, точно! — Для убедительности она кивала маленькой расчесанной на прямой пробор головкой. — Точно!

На самом облезлом домике синела вывеска «Дачный трест».

— А что? Зайдем, может? — расхрабрился я.

Выпихивая друг друга вперед, прошли через коридор к драной двери: «Директор треста Скубенная Е. Х.».

Скубенная Е. Х., закутанная в платок, с изумлением смотрела на нас.

— Вам дачу? Зачем?

— А мы дочку хотим на лето от бабки забирать! — сияя, сообщила жена.

Скубенная улыбнулась.

— А вы видели наши дачи? — спросила она. — Это ж не дача! Сортир! Хуже даже! Ни окон, ни дверей — все выбито!

— Мы согласны! — улыбалась жена.

Скубенная явно подтаяла.

— Симпатичные, вижу, люди. Но — не обещаю: очередь на пять лет!

Радостные, приехали домой, пихаясь, вошли в квартиру, помечтали и легли спать.

Утром нас разбудил звонок. Жена схватила трубку. О, слезки покатились из глазок, выставленная вперед челюсть затряслась.

— ...Нам отказали! — всхлипнула она.

Снова звонок! Я с надеждой схватил трубку: может, что-то исправилось?

— Ну, здорово, — сиплый голос.

— Здорово, — неуверенно ответил.

— Не узнал?

— Н-нет.

Знакомый голос, но из какого-то прошлого. Причем неприятного.

— Сейчас узнаешь! Это Герка звонит.

— Герка?

— Да! Гера Гузов, который голову тебе бинтовал в тюряге, «лицо» тебе делал!

— А! — вспомнил, и голова сразу заболела: с той поры регулярно болит. Снова пришло его время?

Жена с надеждой на меня смотрит! Помахал ладошкой: не то! Ну а что же?

— Теперь вспомнил, падла?

— Слушаю тебя.

— А ты не слушай, ты отвечай! Как чувствуешь себя?

— Н-н-н-нормально.

— Сейчас будет ненормально. Я освободился только что, в очередной раз.

— Поздравляю.

— погоди поздравлять!

Но хотелось бы поздравить. И — все!

— Ну, вышел я и стал думать, а что хорошего я в жизни этой сделал? И знаешь, что вспомнил?

— Меня?

— Угадал, умник! Тогда мне срок обещали скостить, если я тебя изуродую. А я — полотенцем!

Послышались глухие рыдания.

— Ну, спасибо тебе!

— Погоди со спасибо-то! Дело есть!

Полотенце тянется через века.

— Я вообще занят. Не могу тебя принять. Сложные дела дома.

— А кто сказал, что я приеду к тебе? Ты ко мне приедешь!

Абсолютная уверенность: мол, сделал я тебе доброе дело — теперь твой черед.

— Куда?

— Спиртозаводск. Баба тут у меня. Решил попробовать с нею жить.

— А я-то здесь при чем?

— Хочу, чтоб ты на нее глянул!

— Так тебе с нею жить!

— Хочу, чтоб ты глянул на нее. Ты мужик добрый — если уж тебе не понравится!

Последняя, значит, инстанция? Довольно это тяжело!

— Кроме тебя, у меня никого! Эти дружки, сам понимаешь... Хорошего от них не жди!

А мне-то где взять хорошее? Самому хватает с трудом!

— Ну хорошо, я приеду. Говори адрес.

— Спиртозаводск. Улица Пленных Металлистов, дом шесть. Отдельная хата.

— Поздравляю.

— Погоди поздравлять. Дуй на вокзал.

— Слушаюсь, — повесил трубку.

Жена смотрит. Я «сделал лицо».

— Кто это?

Рассказал.

— И ты поедешь?!

— Ну а как же быть? Человек надеется!

— Да плевать он хотел на тебя. Позвонил спьяну!

— ...Нет.

— А я как тут останусь?

— А что ты?

— Вот именно: я — «что»?

— Всю жизнь только с тобой куковать?

— Не кукуй! Не кукуй! Езжай!

Поезд в Спиртозаводск прибыл в пять утра.

Среди каких-то дряхлых бараков нашел улицу Пленных Металлистов — насквозь, кстати, деревянную. Спрашивается — при чем здесь металл? Иначе все представлял. Ноздри от холода слипаются изнутри. Ничего! Сейчас с Герой забракуют бабу — и пойдем вместе по лагерям!

Нашел наконец дом шесть — между двадцатым и тридцать четвертым.

Это нормально для нас!

Стучал в глухую ватную дверь, потом в окна. Зашевелились. Открыли наконец! В темных сенях стоит Гера и как-то без восторга смотрит. Видимо, более значительным меня представлял.

— А, это ты, — проговорил вяло. — Ну, проходи.

Энтузиазм дружбы, видно, прошел, пока я ехал. Сколько раз я повторял себе: не все, что говорится и обещается, надо делать! Много, наоборот, в словах гораздо лучше смотрится, дело все только портит! Говорил себе — но напрасно! «Нет добросовестнее...» дурака!

Зашли в хату. Жена — альбиноска. Маленькая, но, чувствуется, с характером. В горнице очень чисто, чисто, никелированная кровать, пирамида подушечек, салфеточки с кружевами.

Эх, чувствую — не удержит она орла!

На меня злобно зыркнула. Приняла, естественно, за уголовника, который приехал увлекать ее мужа в преступный мир

Гера несмотря на ранний час в строгом черном костюме, белоснежной крахмальной рубашке, бабочке, волосы прилизаны бриллиантином. Чувствуется — и не ложился. Тем уголовники и отличаются от прочих людей, что расписания не существует для них.

Сели за стол. Жена шваркнула мне на тарелку кусок пирога. Странное изделие — со всех сторон торчат острые рыбы хвосты, не подступиться. Сунулся пару раз — и положил обратно.

— Выйдем-ка! — Гера нетерпеливо говорит.

Вышли в холодные сени.

— Ну что... нравится она тебе? — спрашивает, заранее с угрозой.

Чувствуется — не понравятся ему оба ответа.

— М-м-мда! Нравится!

И тут же искры у меня из глаз полетели — страшный удар!

Такой, чувствуется, человек. Не терпит неправды. За правду, видимо, всю жизнь и сидел. Но правда, думаю, его тоже бы не порадовала.

Держась за стеночку, я поднялся. Ну что... экспертизу можно считать законченной?

Оделся, вышел. Гера, осерчав на мою лживость, даже не провожал. К вокзалу я словно слепой шел, закинув голову, прижимая к переносице снег. Ну что? Долг свой выполнил. До обратного поезда еще сутки. В вокзальном туалете провел их. Смотрел в тусклое, зеленое, облупленное зеркало. Вот она, морда добра! Но по сравнению с той отбивной, что Гера мне сделал в прошлый раз, — это уже здорово, большой сдвиг. То есть ничего не сделал почти, по его меркам. Так, глядишь, и человеком станет!

И вот уже на поезд я шел, а мысль глодала: на хрена я приезжал? Ну, исполнил свой моральный долг... как понимал его Гера, — а еще? Что-то должно быть еще — у меня-то? И когда по платформе уже шел, на вокзал оглядываясь, вспыхнуло: Спиртозаводск! В действительности город немного иначе назывался. Не зря съездил. Спиртозаводск!

Входя в прихожую, загрохотал пустыми бутылками. Та-ак!

Жена лежала, распластанная, поверх одеяла, почти уже прозрачная.

— Я не могу жить без Насти! — зарыдала.

— А без этого? — поднял бутылку с тумбочки. — Можешь?

Упала ничком. Хотел я метнуться в ванную — но там кто-то был. Булькал солидно. Дверь распахнулась. Кир появился как немой упрек.

— Если так продолжится, — проговорил он сухо, — она скоро исчезнет! Совсем!

Проводил Кира до метро, шел обратно. Какой-то желтый желвак в тучах прорезался. Вскинул голову туда.

— Послушай... Клянусь! Никогда больше *ничего* не попрошу у Тебя! Только спаси ее! Помоги!

Огляделся — кругом мусор, грязь, коробки после торговли... увидел старинный лок с чугунной молнией, опустился на одно колено.

— Вот видишь? Стою! И прошу Тебя!! Клянусь, больше не встретимся! Ни по какому поводу! Единственный раз! Честно!.. Буквы? Возвращаю Тебе! Без них обойдусь! Теперь веришь? Спаси ее!

Приблизился, галдя, какие-то горцы, я быстро с колена встал, прошел мимо них и еще раз торопливо на колено припал.

Чувствовал — зацепилось, а?! Домой ворвался. Жена, приподнявшись, мутно глядела на меня. Я снова глянул вверх:

— Ну... договорились?

Ворвался в свой подпол — там все гуртом на меня накинудись: Узеев, Мхбрах, Пужной, Маша Котофеева с ребенком, Канистров, Умыцкий граф Поскотини, доктор Ядоха, Вадим Сопло, Соватти, Блукаев, Аев, Кумстон, Металлиды, Горихвост... Что делать? — у всех вопрос.

Все! Прощайте! Покидал все тяжелые буквы в чемодан, доволоч до выхода! Все! Снова на небо глянул — вот!.. Отдаю! Только спаси ее.

Оставляя черную метку по снегу, до помойки доволоч. Кинул в уголок. Уходя, пару раз обернулся. И все! Глянул наверх: доволен? Больше у меня ничего нет.

Теперь каждое утро долго лежу. Спешить некуда.

— Ты спишь, что ли, или притворяешься?

Ее голос. Сиплый, грубый стал. Теперь, когда с утра выпивает, уже не веселая, а злая! Что же Он там решил?

— Хотя бы помойку выкинь. На это ты способен, надеюсь?

При слове «помойка» сердце сладко забилося. Как они там — буквочки мои? Да поди уж, наверное, украли красавиц моих!

Вон как дверью жажнула! Ожила? Зато я умер.

Поднялся. Схватил целлофановый мешок, набитый мусором. Хорошо, что хоть мусор пока есть, — скоро и он кончится. До помойки добрел. С размаху мешок в бак зашвырнул. В нем бутылки брякнули, замаскированные шелухой.

Сердце обворвалось... Все напрасно? И чемодан вон с буквами стоит, не нужный никому! Ничего не вышло.

Опустился в помойное кресло в стиле рококо, с торчащей щетиной. Вот так. Здесь буду теперь. Король помойки. Уютное, в сущности, местечко: такой домик из кирпичиков баки окружает, правда без крыши. Комары вдруг налетели, вражеские парашютисты, — несмотря на снег. Но нас не запугаешь!

Старушка с ведрышком подошла — из моих, значит, подданных? Постучала ведрышком по баку и — ко мне:

— Ты сочинитель, что ли?

Вот она, слава! Знает народ!

— А что? — гордо спрашиваю.

— Написал бы ты про них, супостатов!

— Про всех?

Мне одного Геры хватило — желвак теперь на всю жизнь.

— Да хотя б про местных! — вдруг засмеялась.

Это не мой масштаб!

— Вон стояк водопроводный голый у нас! Утепление-то сгорело, и как зима — вода замерзает! Говно нечем смывать!

Да, это было. Но это не мой масштаб. И вообще — буквы выкинуты... Вон стоят. Однако в голове замелькало: «Стояк... Стояк...» Самая первая рифма, которая приходит в голову, явно не годится. Надо подумать.

Мелко кивая, подобострастно, старушка ушла. Я гордо выпрямился на троне своем, озирая окрестности. Но недолго процарствовал.

Вдруг, черные следы по двору оставляя, трое интеллигентов подошли, двое даже в очках, но на вид озверелые.

— Ты чего это расселся тут?

— А что — нельзя?

— В темпе отсюда!

— Пач-чему?

— Это наша помойка!

— У вас... есть какие-то права?

— Права?!.. Сейчас будут!

И вдруг тот, что без очков, зашел сзади и в спину меня пихнул. Я упал вперед на руки, ладонями по слизи проскользил. Поднялся, не оборачиваясь пошел. Колени в грязи, но отряхивать их такими руками навряд ли стоит! Один раз обернулся только: буквами не интересуются ли? Не интересуются! Хотел стать королем помойки. Совестью ее, заявления людям писать, доносы... Не сложилось!

— Иди, иди!

Трон так и этак мой вертят, отпуская довольно тонкие искусствоведческие замечания.

Ушел. Даже помойка слишком шикарна для тебя! И домой — нет смысла, не вышло там ничего! Куда? Есть, говорят, такое место, куда можно всем сирым и убогим: там ждут всех. Но это уж — на крайний случай! А у тебя какой?.. Пойти, что ли, попробовать? Хотя не чую Его! Он мои ужасы видит, но не реагирует как-то.

Постоял на ступенях среди нищих. Вверх поглядел. Снежинки светлее неба. Тают на устах. Вошел под своды. С той поры, как крестили меня, не был в церкви ни разу. Стесняюсь чего-то... Наверное, этого... просить! Пламя колышется от пения. Толпа свечей. Свою, что ли, поставить? За что? За ее спасение!

В притворе, где разным церковным товаром торгуют, купил тоненькую кривоватую свечку — какую уж дали! — подошел к общему пламени, постоял. «Прикурил» своей, кривоватой... Старался прямо держать. Огонь греет лицо. Потом горячий воск каплей на палец стек, прижег, потом кожу стянул, застывая. Воткнул свечку в дырочку. Пошел.

В притворе церковную газету купил. «Нечаянная радость». Может, дома прочту? Хотя жена будет издеваться.

Вышел с листком на крыльцо. Вроде посветлело маленько? Буквы даже видны! Глянул наискосок, и — обожгло как бы. «Завет старца Силуяна». Не ожидал такого. Вот это да! «Держи ум во аде — и не отчаивайся!» Вот это да! Думал, благостно скажут они: «Не держи ум во аде». А тут... Молодец, Силуянушко! Я и держу. И не отчаиваюсь!

Мимо помойки легко шел. Снег вдруг в дождь превратился. Отличный климат у нас. Да и люди не подкачали! К счастью, феодалов тех не было на помойке... Я и не отчаиваюсь!

А буквы мои стоят! Только резанули ножом по боку чемодана, раскидали несколько — А, Я, Ж. А все — не подняли! Да и кому это по плечу?

Ладно, вверх быстро посмотрел — если Тебе не надо, я заберу! Поволок, оставляя след. Вот какую работу иметь надо — чтоб никому было не украсть!

Жена ликованием встретила:

— Скубенная звонила! Нам дачу дают!

Ожила!

Подошел к оконостасу. Снег идет.

— Так это мы летом поедem, наверное? А сейчас зима. До лета еще дожить надо.

— Я справлюсь... справлюсь, — кивала маленькой головкой в зеркало, убеждая себя.

ДЕНЬ ПЕРЕЕЗДА

Дожили! Вот и лето пришло!

— Сегодня Настя приезжает, а ты опять?

— Что я «опять», что «опять»? — воинственно выставив подбородок, завопила жена.

Ну все, хватит! Терпения больше нет! В такой день — и все равно она!.. Выскочил, хлопнув дверью. И застыл на площадке. Стой! Далеко не уйдешь! За спиной сухо стукнулось и что-то посыпалось. Долго стоял не двигаясь, потом обернулся. Та-ак! Как и следовало ожидать: последнее время все у меня складно идет! Часть стены рядом с притолокой отвалилась от удара двери — насквозь почти! Это уж слишком! Бежать отсюда! Сделал шаг Далеко собрался? В том-то и ужас, что далеко не уйти. Мак-

симум на десять минут — вот-вот Настя приедет. Такая у тебя теперь степень свободы! Да и то ты погорячился, пожалуй. Ни секунды у тебя нет! Если и есть несколько минут до приезда дочери, то их надо срочно употребить на то, чтобы стенку заделать! А то приедет она с радостными надеждами: наконец-то к родителям переезжаю, — а тут грязь, разруха, дыра в квартиру и главное — ругань. Быстро все залатать. Как? Устало сел на площадку. Откололась стена. Новую стену, что ли, откуда-то принесу?! И времени — семь минут относительной свободы. И надо уложиться. Как?! Глянул в окошко на сумрачное небо. Помогите! Давно не обращался к Тебе. И больше не буду!

Но и мне тоже надо немного пошевелиться, дать Ему шанс пойти навстречу. Минута, быть может, осталась! Спустился на пролет вниз, и вот — чудо! Стоит почти полный, чуть надорванный мешок цемента. Услышал! «Погиб!» — вдруг глухой, страшный голос во мне... Почему погиб-то? Я нормально живу, ничего не требую: один только раз, в виде исключения? Глянул в окно... Хорошо там, даже солнышко! Вбежал домой, звонко выхватил таз. Спустился вниз, натрусил в него цемента, снова в ванную, водички подлил. Замешалось! Вышел на площадку, стал швырять с размаху сочные жмени в дыру... лепятся! Выпукло налепил, с запасом, стал придавливать ребром доски, которая тут же на площадке валялась. Заметил: когда рука что-то просит, страстно вытягиваясь, скажем, во тьму кладовки, — тут же желанный предмет сам образуется, идет в руку, как этот вот кусок доски, справный мастерок! Отлично! Залюбовался гладкой, сочной поверхностью. Счастье. Цемент, оказывается, такое умиротворяющее существо: когда его лепишь, потом старательно размазываешь, разглаживаешь, прикусив язык, настроение сразу успокаивается, улучшается, достигает ликования... От тьяк! Склонив голову, залюбовался... Впрочем, любоваться тут некогда, скоро дочурка приедет, а потом и Кир с машиной... День переезда!

Вернулся в квартиру, осторожно защелкнул замок — чтобы никто ни о чем не догадался, отнес тазик в ванную, беззвучно поставил — и в прихожей, ожидаючи, сел — чтобы сердце не билось, успокоилось. Какие волнения, стрессы? У нас все в порядке! Брякнул звонок.

— Откроешь? — крикнула с кухни жена.

— Открою! — кинулся открывать.

Стоит, смущенно сутулясь, дочурка, на голову выше последней зарубки на двери.

Жена, всплеснув ладошками, наконец-то выскочила. Обнялись.

— Ну, так мы едем или не едем? — Дочь поставила в прихожей неказистый бабкин чемодан.

— Едем, едем! — радостно закричали мы оба.

— Сейчас Кир заедет с машиной, — солидно добавил я. — Укладывайтесь пока!

Стали все выкидывать из шкафов на кровати.

Звонок. Кир появился: точно, как обещал!

— Ну? Вы готовы?

— Минутку! Давай на кухне посидим!

Пожал плечом: да, необязательные вы люди!

— Сейчас! Пошли! — Буквально затащил его в кухню, стал метать угощение, чтобы, не дай бог, не обиделся и не ушел!

— Вот! — гордо поставил блюдо.

— Опять твои любимые креветки? — с легким упреком говорит.

— Ну почему сразу — «любимые»? Мы просто дружим!

— Мама!.. Ты опять? — Дочуркин бас из комнаты.

Да, умеет Кир вовремя появиться! Впрочем, ты же сам его зазвал — сегодня по крайней мере.. а у нас — каждый день «сегодня»!

— Ну как дела? — спрашиваю бодро.

— Должен, к сожалению, тебя огорчить.

Ну огорчай, раз должен. Давай!

— Статья, которую ты для нас сделал, нам не подошла!

Не подошла?.. Вот и хорошо. Так оно и задумано. Еще один способ моего унижения: заказывает мне статьи на острые политические темы, которые при здравом уме и даже остатках совести написать невозможно. Однако — пишутся и жадно читаются. Когда добро бьет зло — это прекрасно. Когда зло бьет добро — это ужасно, но естественно. Но когда зло бьет зло с помощью возвышенной и благородной правды — это невыносимо. Но именно это почему-то сейчас высшим классом журналистики считают. Вот где самые благородные сейчас пасутся, и Кир — из первых. Имя сделал себе. Нет, никогда мне не набрать столько бесстыдства, чтоб сделаться таким благородным, как он!.. А он что думал — у меня получится? Не такой я человек! А он — пусть гордится! Все-таки друг.

— Я... боюсь! — признался Киру.

Для него это признание — чистый елей. А сказать, что гораздо раньше испуга отвращение меня охватывает, — это неблагородно. Благородно — как он! Поэтому и в мэрии сейчас работает, ведает Словом. Тем, что правители с городом говорят.

Недавно козырек над входом в метро обвалился — пять тонн бетона. Нескольких убило, многих изувечило. Что сказать? Начальство смотрит на Кира, и он выдает: «Разрушишь церковь — пожнешь кровь!»

В том смысле, что не надо было разрушать церковь и строить метро... Будто сам он этим метро сто раз не пользовался!.. Церковь на этом месте ему подай, благородному. А так — кровь! Немножко не ясно, правда, почему абсолютно случайные люди должны отвечать — жизнью своей — за чей-то грех? Но — звучит благородно: «Разрушишь церковь — пожнешь кровь!» На Бога, безответного, групповое убийство повесили, перемешали его с некачественным цементом, что пошел на козырек. Но — все благородно. Кир сказал. И начальство — благородное, которое это озвучило: Бога чтит! А кровь — за грехи коммунистов. Непонятно, правда, кто выбрал жертв... Да, никогда мне не набрать столько бесстыдства, чтобы сделаться таким благородным, как он! Ужас победы.

— Что с тобой? — спрашивает Кир.

— А что такое со мной? Ну да, — покрывлся немножко коростой забвения и лишаем корысти. Но мне нравится.

— Ты думал, что с рейтингом твоим?

— Да моим рейтингом можно орехи колотить! Недавно кореец Е приезжал, который в Вашингтоне нас привечал... Две строки мои перевел на корейский. Ай плохо?

— С тобой трудно разговаривать!

Я подтвердил не без гордости:

— Да уж, нелегко.

Тем более — есть основания собой гордиться! Взлетел я все же на Букве! А на чем еще, собственно, мог я взлететь? Никаких других шансов не оставил я Богу, читай — судьбе, читай — себе. Только лишь Букву оставил! И взлетел.

Однажды сидел на чердаке, в мастерской моего друга, художника Зуя, читал ему мои «минимы». Вдруг он, даже не дослушав «минимы», лихорадочно вскакивает, начинает все убирать со стола.

— Ты чего? — обиделся я. — Хотя бы «миниму» дослушал!

— А ты не врубаешься? — Зуй говорит. — Лифт грохнул. Заказчики идут!

— Ну и что? — выдал ему одну из «миним». — Водка же прозрачная. И стаканы прозрачные. Никто и не увидит, что мы пьем!

Зуй поглядел на меня изумленно:

— А ведь ты прав!

И буквально через месяц — я уже и забыл об этом — звонит Зуй:

— Принимай гонорар!

Глянул я в оконце — и обомлел: приехали мои буквы! Огромные! Никогда еще их такими не видал! Огромный белый трейлер-холодильник разворачивается, буквально перегораживая весь двор, и на нем — мои Буквы: «ВОДКА „ПРОЗРАЧНАЯ“, И СТАКАНЫ ПРОЗРАЧНЫЕ. НИКТО И НЕ УВИДИТ, ЧТО МЫ ПЬЕМ».

Метров десять в длину занимают — весь белый борт! Вот это да! Ай да буквочки мои!

— Два ящика выдадут тебе. Ну давай, думай дальше. Вся твоя! — Зуй трубку бросил.

Вот это здорово! Как же я два ящика дотащу?!

Но — выскочил. И — понеслось! Однажды на радостях дома не ночевал неделю. Возвращался утром, посинел и весь дрожал. Купил жене половник — может, простит? И тут меня осенил стих: «КОГДА ОТ ПЬЯНСТВА ПОСИНЕЕШЬ — КУПИ, НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ!»

Зуй (с ним, собственно, и пьянствовали) по высшему баллу оценил!

— Так это же — на любой товар годится! — восхищенно сказал.

На многие предметы пошло — от нагревательной батареи до зубной пасты. А мне с каждой продажи — процент!

Тут неожиданно старый наставник мой, классик У., прорезался, который, помнится, мне советовал пить, но не писать... Стал вдруг уговаривать, чтоб не губил я свой талант. Какой «талант», извините? Ни о каком таланте, насколько я помню, у нас с ним речи не заходило — и вдруг!!

Потом сам лично явился, предложил роман совместный писать, сказал, что какие-то исключительные у него архивы!

— Не губите свой талант, — У. настаивает. — Пишите роман!

Видимо, интересуется, как бы ему и свой талант так же загубить, как я свой. Но ему это недоступно, увы!

— Ну попробуем, — благожелательно говорю. — Не возражаете, если мы назовем это «Плевок из тьмы»?

— Замечательно! — У. воскликнул.

— А не возражаете, надеюсь, если я псевдоним возьму: Валерий По?

— Нет, разумеется!

Нас с женой в гости пригласили. Были у У.! Могли бы мы раньше о таком мечтать? Так что с рейтингом все в порядке — можно орехи колотить! А фраза «Купидон, купи дом!» вообще полностью обогатила меня! Стал на золоте есть! Утром завтракаю интеллигентно: молоко и ко-ко-ко! «Ну, — жене говорю, — я пошел». — «Когда будешь?» — «Видимо, к вечеру». — «Значит, видимо или невидимо, вечером будешь?» — «Видимо, да».

Кроме домашних заготовок еще кое-где подрабатываю. На Сенной. Сжавшись, мимо метро прохожу. Козырек над ступеньками, что обрушился, восстановивать не стали и то место замазали уже. Не без помощи Кира. Да-а-а — туда гляжу, — никогда мне не набрать столько бесстыдства, чтобы быть таким благородным, как он! Ныряю в гущу жизни — а может быть, в жижу... Надписи кругом. «ПРИПАЯЮ». «СОГНУ». Да, поразбежались нынче буквочки, разрезались! И, как раньше, их не соберешь. Теперь никого не объявишь гением, единственным буквовладельцем. Все владеют ими — и никому не докажешь теперь, что он почему-то хуже. «Почему»? Раньше чуть одна буква стояла не так, и — уже сенсация, сбегались все. А теперь как хочешь расставь — никакого внимания. «АРЕСТУЮ ЗА УМЕРЕННУЮ ПЛАТУ». Раньше бы сбегалась толпа, а теперь — равнодушно мимо проходят. Вздешевели буквы.

Вхожу в харчевню мою. Подрабатываю тут. Жадность душит — нет сил! Лапша «Ша». Суп «Руп». Назвал — съел. И другие бойко берут. Идти по линии пищи — это я верно решил. Хозяин, Джафар, мною доволен. Пища с названием лучше идет. Котлета «Дантес», уха «Ха-ха», компот

«Пол Пот», холодец «Молодец!» Так что теперь не в стол работаю, как раньше, а в стул. И главное, как договаривался: только Буква! Ничего больше не прошу! Так что все отлично у меня. И Джафар, кстати, не ограничивает абсолютно мой участок свободы!

«Эй, сутулый! Пельменей с акулой!»

...Жена появилась, сияя:

— Мы готовы!

Едем меж сосен. Вот она, наша дача! Да-а... управляющая трестом, Скубенная Е. Х., абсолютную правду нам сказала: сортир! Ни окон, ни дверей! Набекрень крыша. По гнилым ступенькам осторожно вошли... Да-а, кое-кого все-таки жилище это интересует: на каждом квадратном сантиметре висит по комару!

— Ну... осваивайтесь! — говорю бодро.

У жены — слезки потекли.

— Мама! Прекрати! — дочка пробасила. — Ты опять?

— Что «опять»?

— Ты сама знаешь!

— Вы хотите сказать, что я выпила? — на меня поглядела. — Клянусь вам — ничего!

Смотрел на нее долго: может, не врет? Но дочь — отвернулась... Как тут оставить их? Снял с плеча свою сумку.

— Папа! У тебя дела в городе! Поезжай! — Дочка строго глянула на мать. — Мы разберемся!

Стали раскладывать вещи, тихо вздыхая.

— Ну хорошо... — пошел нерешительно.

Жена провожала меня до авто.

— А когда приедешь?

— В субботу, видимо.

Послушно кивнула. Из домика доносились звонкие шлепки — накинулись, вражеские парашютисты!

Резко повернулся, в дом вбежал.

— Эй! Комары! Вперрьод! В атаку! За мной!

Виляя, побежал между сосен. Жена и дочка смеялись.

— Ну все! — Посуровев, сел в машину. — Держитесь тут! — хлопнул дверцей.

— «Плевков из тьмы», про генерала Етишина, лучше и не читай! — Киру, пока ехали, исповедовался. — Самого тошнит!

Надоело все время подтянутым быть, улыбаться, показывать всем пример... Сколько можно?! Могу я расслабиться, наконец? Хотя бы одно дело сделал, хотя бы чисто формально: жену с дочкой на даче соединил... Могу теперь пожаловаться — пока их нет?

— А ты знаешь, — из бутылки прихлебнул, — из чего эту «Прозрачную» гонят? Отруби! А из чего холодец «Молодец» делается? Из наших ногтей! А котлета «Дантес»? Это вообще! Только названием и берет! Долго не мог я понять, из чего она, пока Джафар меня, как доверенное свое лицо, заведующего фактически здешней идеологией, в подвал к себе не позвал, где у него огромная мясорубка стоит. Грязь, пыль, мрак. «Что у тебя за санитария?» — Джафару говорю. «Тс-с!» — Джафар палец к губам поднял, потом ткнул резко в кнопку на стене. Мясорубка взвыла, и тут же к вою машины присоединился совсем жуткий вой, многоголосый, *живых* существ. Хруст. Вой обрывается. Пошел фарш. «Вот, — Джафар мне говорит. — Это вечный двигатель. Я изобрел! Мясорубку, в которой всегда есть мясо! Можно не класть — само приходит! Главное — мясорубку не мыть!»

- Да-а-а, — проговорил Кир потрясенно. — Далеко ты ушел...
 — Откуда?
 — От того... с чего мы когда-то начинали!
 — Да.

Помолчали. Только гудел мотор.

Вспомнил я, как, выходя из храма, с крещения, почувствовал вдруг на потном лбу прохладное крестообразное дуновение... Где оно?

— ...Что я могу для тебя сделать? — Кир спросил.

— Не знаю.

Молча въехали в город.

— Когда у тебя будет окно?

— Это смотря куда.

— ...В светлое прошлое. — Кир улыбнулся.

— Как ты скажешь! — Я глядел на него.

ПАРК ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Всю ночь вспоминал, как они стояли на дороге. на тоненьких ножках, постепенно уменьшаясь...

Ну все! Хватит! Выглянул в иллюминатор. Снижаемся Раннее утро. Как давно я тут не был! В долинах между гор длинные дымы тянутся, бросают тень.

— Это не виноградники снова жгут?

— Да нет! — Кир улыбнулся. — Просто мусор.

— А-а.

Вышли слегка покачиваясь. К длинному зданию аэропорта подкатила черная «Волга»

— Из «Горного воздуха»? — Я обрадовался.

— Ну!

Поехали берегом — море тихое, перламутровое. Отражая низкое солнце, сияет стеклянный Морской вокзал.

— Помнишь нашу битву тут? — Кир улыбнулся.

«Нашу» — не совсем это так... Ну ладно! В такое утро не спорить же!

— Теперь, надеюсь, круглосуточно пускают сюда?

— Ну! — Кир гордо говорит.

— Не зря, выходит, бились?

— Ну!

Утро радости. И надпись, в которую я булыган запустил, исчезла! Не зря, выходит, живем?

Кир молча пожал мне запястье. Не зря!

И как раз в розовом утреннем свете от берега паром отходил, на котором я жену свою встретил, и особая жизнь пошла. Проехали уже — а я все смотрел вслед парому, чуть голову не отвинтил!

На пологом склоне наверху показались тяжкие стены монастыря — здесь я провел не лучшие свои часы: тогда там функционировала тюрьма. Я глянул на Кира — он скорбно вздохнул: пока да.

— Надеюсь, с этим я больше не столкнусь?

«Столкнешься», — вдруг явственно произнес какой-то голос. «Как это — столкнусь?» Я встревоженно озирался. Кир глядел отрешенно-возвышенно... Нет, это не он сказал.

И вот — за поворотом, над зарослями колючего кустарника — купол! Это же церковь моя, где я крестился!

— Узнал? — Кир улыбнулся.

— Конечно!

Едкие слезы потекли. Вспомнил вдруг идущее с неба холодное крестообразное дуновение в лоб. Где оно?.. Со мной, конечно, где же еще?

Поднимаемся серпантинном в горы, все выше. «На рыхлом оползневом склоне, — Кир показывает, — деревца насадили». Все люди вышли, как один, в надежде на новое будущее! «Остановим оползень старой жизни!» — такое настроение было у всех! И смотри, деревца еще тоненькие, а оползень держат, не дают засыпать новую жизнь! ППП. «Парк переходного периода» — все жители чуть насмешливо, но ласково этот склон называют. А при прежнем, реакционном, режиме обвалилось бы все!

Объехали гору, и — знакомые ворота! Только теперь тут вместо вывески «Санаторий „Горный воздух” Управления делами ЦК КПСС» другая совсем: «Центр Духовного Возрождения»! Вот так!

Архангел Петр в пятнистой робе открывает ворота... Въезжаем! И от знакомого палаццо с витыми колоннами, изрядно уже одряхлевшего, бегут, радостно подпрыгивая... Соня! Жоз! МБЧ! Обнялись.

«Жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно превралась»!

— Ну, отдыхай! — МБЧ наконец оторвался от меня, жадно разглядывал. — Герой. Герой!.. Через час совещание.

Кир по железной винтовой лестнице меня в светелку отвел. Три окна: два на гору, одно вниз, на море.

— Ну давай. Какую берешь койку?

— А вторая — твоя?

— Нет, к счастью. Ну давай!

— Да-а. Бедновато. — Я огляделся.

— Тебе все «бедновато»! — Кир улыбнулся. На самом деле я — ликовал!

Он вышел. Я развесил в шкафу свои пожитки, прилег на койке у окна.

Освещенная зарей, гора нависала. Но нас этим не запугаешь! Наверху, на самой седловине, ретранслятор поставлен, как ящер на задних лапах, весь покрытый чешуей тарелок! Будем вещать!

Для чего сюда меня вызвали? Помню, я так же вот, в минуту отчаяния, в Москву поехал, решил узнать у тамошних умников — как жить? И что же ты думаешь? Все набились в мой номер, жадно чего-то ждали от меня! Вот так. Сладко потянулся. Поглядел на часы. Сколько еще до совещания-то?

Настораживает немножко, конечно, что МБЧ главный здесь — но вроде бы он угомонился после Вашингтона и того монастыря, где он на коленях за бабой бегал? Архангел, видать, все же победил в нем дьявола... Не зря международные фонды столько денег в него вбухали! Кроток! Перевоспитали хотя бы одного — но зато какого!

Кир конечно же будет доставать своим благородством... и моим. Но это нормально!

О чем же, интересно, совещание, раз тут теперь «Центр Духовного Возрождения»? Ну ясно, об этом и пойдет. Говоришь — знаешь что-то? Во всяком случае, в Вашингтоне тогда обещал, говорил, что все у нас замечательно. Что? Почесался. Духовная благодать — вот что главное! И это у нас есть, надо только ее увидеть, а для этого — смотреть.

Бодро пошел на совещание. Все уже собрались. Причем настолько все, что некоторые тут даже лишними мне показались, на старинных резных креслах, с ножками такими же витыми, как и колонны террасы, сидели кроме моих друзей еще какие-то смутно знакомые мне люди. И смутность та была какой-то неуютной: не этих людей я хотел бы тут видеть, как-то не монтируются они с теми светлыми надеждами, которые я тут испытывал — раньше и теперь. Но других людей, видимо, нет — только такие. Золотые кирпичи не будут выданы никогда — строй из тех, что есть!

Вот этот статный, даже дородный, в простонародной расшитой косоворотке — ведь это Ездун, бывший секретарь крайкома, которого Жоз в свое время своеобразно приветствовал, за что поплатился — вылетел из футбола... Ездун нужен здесь? Говорят, идет в губернаторы — сидит тут, впрочем, в шестерках, у подножия шикарного стола, за которым единолично восседает МБЧ. Из этого ясно следует, что «Горное гнездо», то есть теперь, тьфу, «Центр Духовного Возрождения», более важными делами ведает, чем местные делишки, и Ездун — это так, городничий, для поддержания порядка.

Другой больше беспокоит меня — вот этот чубатый, смутно и неприятно знакомый... откуда он? Просто, сияя, приветствовал меня и, если бы не начавшееся совещание, наверняка кинулся бы целовать. Лицо мое вдруг дико зачесалось. К чему бы это? Явно он имеет какое-то отношение к моему лицу. Я спрятался в тень между двух окон.

— Ну? — МБЧ строго глянул на Ездуну. — Как идет реставрация?

— Солею подняли, Марат Иваныч, а на алтарь цемента уже нет.

— Ну, — гневно произнес МБЧ, — если Он не хочет, чтобы к престольному празднику храм открылся, — Его дела!

Я слушал с изумлением... «Он» не хочет... «Его» дела... Кого это он так резко теребит? Неужто Самого? Что же тут это за центр такой?

— Не знаю. Я чудесами не ведаю! — резко, по-партийному сказал Ездун. И все вдруг повернулись ко мне. Я, что ли, ими ведаю?

Я глянул на Кира. Рассказал он, что ли, им, как Бог послал мне мешок цемента — починить дверь к приезду дочери?

— Вот, — Кир торжественно на меня указал, — первый, кто крестился в этом храме у нас. И первый, на кого тут сошло Божье благословение — дуновение в лоб!

И тут сразу вспомнил я с ужасом, что Божье дуновение в лоб было вовсе не после храма, а после тюрьмы. И чубатого тут же узнал! Тот радостно замахал мне, порывался встать, но МБЧ осадил его взглядом. Крепко задумавшись, шеф смотрел на меня, потом — на Кира.

— А что делать? — обиженно проговорил Кир. — Вы сами знаете, что известный вам телемагнат всю элиту перекупает прямо в воздухе! Спасибо, хоть этого провез!

Я не сказал бы, что это лестно. Из неперекупленной элиты — только я? А почему не перекупили?

— Ну все! Работаем! — МБЧ, шлепнув по столу ладошкой, выбежал.

— Это ты зря, — подошел я к Киру, — рассказал про цемент-то! Может, он там случайно оказался. На лестнице-то? Наверняка!

— Но должен был я хоть что-то про тебя рассказать!

Иначе кому ты нужен? — такое продолжение легко читалось. Кир явно был оскорблен недовольством начальства, да еще и моими придирами!

Да, скумекал я. Вот они чем занимаются! Ну и контора тут! Чтob Ездун, хозяин края, не мог мешок цемента найти? Не это их цель. Взять быка за рога, Бога за бока — вот их задача!

И Жоз полностью подтвердил мне это! Я нашел его в кочегарке, за горами угля — он сидел перед потухшим котлом на сломанном стуле, олицетворяя собой недовольный народ.

— Делают что хотят! — страстно проговорил он, пыхтя папироской. — И раньше тут этим же занимались, хотя за оградой под атеистов косили! «Самого» доят! Церкви якобы реставрируют. Хошь, покажу?

Стул его свалился — так резко он вскочил. Мы с треском стали карабкаться по заросшим склонам, через заросли «ежевика цепкой», «бересклета навязчивого» (так гласили таблички), «самшита тяжелого». Выбрались, вытряхивая колючую шелуху из-за ворота и карманов на широкую бетонную площадку. Притулившись сбоку к ней, скромно стояли мешки цемента.

— Вот она, «церковь»! Понял, нет? — проговорил Жоз яростно. — Виллы их!

Из угла площадки, как три кобры, упруго торчали три кабеля разных расцветок.

— Энергия, вода, канализация — все подведено! На это и работаем!

— А я... что же делаю здесь?

— Ты? — Жоз как бы впервые увидел меня, цепко оглядел, оценивая. Народ-то, конечно, народ... но и народ тут не очень простой. — Пристяжным пойдешь!

— К... кому?

— А кто больше сена кинет. Ну, не тебе, ясное дело!

— А.

После такого урока политграмоты нужно было проветриться. Я спустился с горы мимо пятнистого омовца, который глянул, как я выхожу, явно косо, но не решился остановить.

Пошел по набережной, ловя ветерок. Да-а-а, изменилось все! Вот ограда, за ней раньше был молодежный международный «Спутник», из-за которого я, собственно, здесь и появился. Жизнь тут бурлила, как лава! Какие были танцы!.. Полное запустение! Двинулся дальше... Прежде вся набережная была занята огромными общественными столовыми, на которых обязательно висел плакат вроде такого: «Здесь проходят практику ученицы Сумского кулинарного училища», и крепкие молодые девочки сновали в белых халатах на голое тело. Теперь тут были сплошь частные закусочные, нависающие бетонными полукругами над пляжем. Все уже — семейные: мать — тучная горянка-повар, сын-красавец хозяин, невестка-официантка. И блюда стали национальные — айран, хычын. Да, частная семейная инициатива сплоченной нации побеждает все!

Я долго патриотично шел согласно указателям на «Казачий рынок», но и там были лишь горцы и горянки.

На обратном пути, приустав, я присел в таком маленьком национальном кафе на легкий пластмассовый стул. Заказал усатой хозяйке хычын с картошкой и стал ждать. У раздачи сидела тоненькая задумчивая девочка с черной косой. На бетонный барьер, поднимающийся над пляжем, забралась мощная баба в купальнике, вся красная, слегка шелушащаяся от загара. На ее руке я с удивлением увидел повязку с надписью «Контроль». Она зорко оглядела посетителей, потом, повернувшись к хозяйке, рывкнула:

— Вы почему родную дочь не кормите?

Девочка с косой грустно улыбнулась.

— Не ест! Влюбилась, наверное, — улыбнулась и хозяйка, нежно глядя на дочь.

— Как торговля? Все, надеюсь, в порядке? — спросила контролерша.

— Нэ совсэм! — вздохнула хозяйка. — Вон видите... У моря? Женщина с сумкой, в длинном платье? Ребенок рядом с ней, за юбку держится? Пирожки на пляже продают — видите сумку у нее!

Тут как раз один из сплошной массы тел на пляже поднял руку за пирожком.

— Сейчас! — рыкнула контролерша и, спрыгнув на гальку, пошла к кромке моря, воинственно выпячивая грудь и живот.

Дул сильный ветер, и слов оттуда было не разобрать, но все было ясно: контролерша показывала длинной худой женщине с сумкой, с малышом, вцепившимся в юбку, своей мощной дланью вдаль, за мыс, замыкающий бухту и слегка расплывающийся в знойной дымке. Женщина что-то долго говорила, контролерша кивала, но после снова грозно указала на дальний мыс. Женщина с еле успевающим за нею дитём пошла поперек пляжа, подсадив ребеночка, поднялась на парапет.

Контролерша, еще более раскрасневшаяся, вернулась сюда.

— Говорит, беженка, осталась одна с ребенком, — как бы вздохнув, сообщила контролерша. — Но что делать? Порядок есть порядок! Я указала ей, где она может торговать!

— Спасибо, Лариса Захаровна, — скромно проговорила хозяйка.

Да, жизнь не проста. Пойду расстраиваться. Но тут хозяйка подала мне на промасленной бумаге хычын — большой пирожок с картошкой, такой горячий, что я долго не мог прикоснуться к нему.

За крайним столом у входа сидели три грозных небритых горца. Два молодых и один пожилой, громко гортанно переговаривались, всячески показывая, что они хозяева здесь. Огромный белесый богатырь в узкой майке-борцовке, отобедав тут с пышной женой и маленькой дочкой, прошел мимо горцев и — случайно или намеренно? — опрокинул пустой пластмассовый стул за их столиком. И даже не повернувшись к ним, медленно и могуче удалялся по набережной, держа дочку за крохотную ручку.

Юные горцы яростно глядели ему вслед, потом впились взглядом в старейшину: что сделать с этим? Зарезать? четвертовать?

— Ай, что за стулья стали делать? — весело проговорил старец. Он говорил теперь по-русски. Чтобы и я понимал? — Раньше такие стулья были, что и не сдвинешь, а теперь — сами от ветра падают!

Горцы с облегчением рассмеялись. Обкусав хычын, я поднялся и пошел в мой ад.

И только я уселся в кресле, как раздался вкрадчивый стук в дверь. Вошла прелестная горничная, в передничке и наколке.

— Вы обед у нас пропустили. Кушать будете?

Я поглядел на нее, аппетитную.

— Да.

— Столовая закрыта уже. Я сюда у них попрошу.

— Ага! — Я встал.

Некоторое время спустя, открыв дверь очаровательной ножкой, она вошла с подносом, поставила тарелку на столик и неожиданно вдруг уселась в кресло, одергивая платице на коленках и тем самым, несомненно, демонстрируя их.

— Можно вас спросить? — робко проговорила она.

— Мммм-можно, — благожелательно произнес я.

— Вот вы скажите по-честному, Марат Иванович... Вы его МБЧ зовете... Он человек или нет?

— Ммм... не знаю! — откровенно признался я.

— Я такая на него злая!

— ...Да?

Тут взгляд мой привлекло то, что было в тарелке, и оторваться от этого я уже не мог... даже коленки не отвлекали... Буквы! В жирном, с золотыми звездочками бульоне плавали буквы! Буквы-лапша! Я зачерпнул ложкой, жадно разглядывал: П, Д, Ы, Р, П, Т! Кир сообразил? Я ж говорил ему, что *сюда* не взял букв. Да нет, Кир слишком величествен, чтобы так суетиться. Кто? Я глянул в окошко на стены тюрьмы, бывшего монастыря, под нависающим склоном. Именно там я впервые почувствовал Его дуновение... Он?

— Спасибо, — пробормотал я.

Обиженно забрав поднос, она вышла.

Я торопливо взял с ложки на палец букву Т. Клеится! Тут же я вспомнил, что видел на шкафу, когда вешал одежду, рулон обоев. После ремонта остался? Как знать. как знать! Я быстро взял со шкафа обои, отвернул внутреннюю сторону. Послунив ее и мысленно перекрестившись, прижал к листу буквочку Держится! Вот он, мой свиток летописца!

Раздался стук. Я быстро свернул обои и закатил их под кровать. Вошли Кир и Соня, старые друзья.

— Ну как ты тут... устроился? — кокетливо-многозначительно спросила Соня.

— ...Нормально, — несколько настороженно ответил я.

— Ты работать вообще собираешься или нет? — взволнованно произнес Кир, приступая к своим обязанностям.

— ...Кем? — пробормотал я.

— А кем ты еще можешь?

— А кем я уже могу?

— Ладно... не цепляйтесь! — добродушно произнесла Соня, заполняя своей красотой все широкое кресло. Загляделся на нее!

— А ты знаешь ли, — вернул меня к жестокой реальности Кир, — что друг твой, Гера-уголовничек, в губернаторы тут идет — причем с огромной поддержкой?

— Как?! Он вроде в Спиртозаводске?! — Я даже о Соне на мгновение позабыл. Значит, призвали меня сюда как главного специалиста по Гере?

— Гляди! — Кир величественно указал в окно. Я посмотрел на стену тюрьмы и обомлел — на стене, словно парус, как раз натягивали на веревках огромный портрет Геры — под ветром он кривлялся и подмигивал так же, как в жизни. Вот это да! Что я мог на это сказать?!

— А мы Ездунова, что ли, поддерживаем? — пробормотал я.

— А что нам — этого, что ли, поддерживать? — выкрикнул тот яростно.

Не-ет! С Герой слишком бурно проходят контакты! Харю до сих пор свербит.

— Ну так ты будешь работать? — жестко спросил Кир.

— Неудобно... — пробормотал я. — Секретарь крайкома...

— Старый конь борозды не портит, — загадочно улыбаясь, сказала Соня.

— Неудобно? А на казенной даче всей семьей — удобно? — съязвил Кир. Так это он?

Я готовился что-то ответить, но тут от удара ноги распахнулась дверь, и появились в обнимку Жоз и МБЧ, с головы до ног абсолютно черные. Углем, что ли, закусывали?

— Нам уголь нужен! — впившись в меня взглядом, произнес МБЧ.

Вчера еще только были горы! Съели уже?

— И цемент! — явно предавая вчерашние идеалы, вякнул Жоз.

Спелись! Спились! Никаких преград не существует, оказывается, в нашей стране.

— Вы что-то путаете, вероятно! — проговорил я. — ...Какой уголь? Какой цемент? Роман «Цемент» не я написал. Федор Гладков, кажется. А я написал «Сталь и шлак», кажется.

— Ты перед народом-то не вышкуривайся! — рявкнул МБЧ.

— А знаете, между прочим, — вспылил и я, — что моя способность к чудесам... появилась вовсе не после крещения, — я глянул на Кира, — а после тюрьмы!

— Почему не сказал?! — Своими буравчиками шеф впился в Кира.

— Я много раз вам об этом докладывал, Марат Иванович! — дрожащим, обиженным голосом произнес Кир.

— Напоминать надо! — рявкнул МБЧ и перевел взгляд на Соню. Та вытащила блокнот и записала.

— Чтобы завтра уголь был! — рявкнул Жоз и даже приосанился. Идея диктатуры пролетариата ему явно нравилась. перевел тяжкий взгляд на Соню. потом на меня. — Ты поосторожнее! А то тут водится такая змея Козюлька. Любит к мужикам в постель забираться. Укус смертелен!

Вспыхнув. Соня вскочила и выбежала.

— Ну... беспокойной ночи тебе! — МБЧ захохотал.

Стукнув дверь, герои вышли. С тяжким вздохом: «О Боже, с кем приходится работать!» — Кир поднялся. Раздался, удаляясь, сиплый хохот МБЧ... Кто-то все же его чем-то порадовал.

— Ты, разумеется, понимаешь, что принципами мы не поступимся! — Кир вышел.

Алая горбушка солнца казалась частью горы. И вот она исчезла. Стало темно.

«Держи ум во аде — и не отчаивайся!»

И тишина. И букв лапша.

Проснулся я от солнца, встал, полюбовался плоскими цистернами мадеры на склоне, уже нагретыми солнцем согласно технологии. Нет, в качестве тупого балласта я тут охотно поживу!

Не вышло! Пришел на завтрак в общую столовую и ошалел: на завтрак опять буквы! Причем с мозгами! Точней, мозги с буквами. Это намек? Не будем уточнять: запастись главное! Набрал полный рот букв, соображал лихорадочно: все ли взял? Й, кажется, нету? Добрал. Рта я, естественно, после этого не открывал и не глотал, разумеется... но посидеть тут надо для приличия. Молча и сдержанно всем кивал. Выдержав норму, наверх к себе убежал, выплюнул алфавит на тарелку, жадно глядел... Гласных мало! Ну ничего, попробуем. Долго наслаждался.

На летучку с опозданием шел. Страсти там уже кипели.

— Нассы ему в постель! — кричал МБЧ. Надеюсь, это относится не ко мне?

Когда я скромно сел, на меня демонстративно не смотрели. Наказывали? Видимо, напортачил что-то во сне?.. Точно!

— Ну как наши дела, Сергей Васильич? — Даже не глядя в мою сторону, МБЧ обращался только к Ездуну. — Что-нибудь есть?

Своего друга Жоза утром, протрезвев, сюда не позвал! Хитер!

— Так нет же! — с отчаянием произнес Ездун. — Ночью, правда, на «тягуне», на склоне, оторвалась от состава цистерна с цементом, к нам пошла... но на вираже с обрыва на...вернулась. Оттуда ее не вытянешь!

Все вдруг поглядели на меня. Все-таки я, видимо, Федор Гладков, автор романа «Цемент». Нет, помню, там есть одна хорошая сцена, как Глеб, вернувшись из армии, пытается овладеть своей женой. Но про цемент ничего не помню... а про уголь там точно нет!

— Не слушайте вы их! — почему-то перейдя со мною на «вы», звонко выкрикнул Кир. — Мы тут за духовное возрождение боремся! Духовное — и только!

— Ну, духовное, ясно дело... но с наполнением, — смущенно произнес Ездун.

— Так если ты готов... — МБЧ радостно глянул на меня.

— К чему?

— Ну, духовно возрождаться. Сам-то ты хочешь?

— ...Да.

— И когда думаешь?

— Как это можно знать? — спросил я.

На это МБЧ нетерпеливо махнул ладошкой:

— Херня! Петро, у тебя все готово?

Чубатый Петро, мой давний друг по застенку, ретиво вскочил:

— Все готово, Марат Иваныч! — Он нырнул по локоть в свой пузатый портфель и вдруг выхватил оттуда... какую-то портянку и гордо продемонстрировал. Ужас поднимался почему-то снизу вверх и достиг лица. Оно как-то одеревенело... Полотенце! То самое, которым мне умелец Гера-уголовничек делал «компресс», после чего меня долго было не узнать. Но зато потом было Дуновение... Универсальный метод? Я глядел на короткое

вафельное полотно... даже выпуклости моего лица сохранились! Стереоплашаница.

— Это теперь главный имиджмейкер тут... Работайте! — МБЧ деловито вышел.

Петро подошел ко мне с некоторым стеснением и одновременно — горнором.

— Вам, наверное, не нравится, что это мы, опять мы, всюду мы... Но если серьезно глянуть, то кто ж еще?! — Он поднял полотенце. — У нас же хранится все! Где-нибудь еще, вы думаете, сохранилось бы это, да еще в таком состоянии? — Держа за кончик, он слегка повертел изделие, демонстрируя выпуклости. — Даже сам Сахаров признавал, — с гордостью добавил он, — что наша организация — наименее коррумпированная. А информации у нас уж побольше, чем у прочих! Так что кому же, как не нам? — Он умолк, все еще слегка обиженный. Возле нас сгрудились участники совещания. Вот — два приятных молодых интеллигентных бородатых лица. Вселяют буквально надежду!

— Мы восхищаемся вами!

— А... кто вы? — смущенный таким успехом, спросил я.

Познакомились. Степан Шварц и Иван Шац, умы из Костромы. Стали рассказывать, как еще в самое темное время, в гнусном-прегнусном НИИ, под тайным покровительством академика Мамкина ночами работали над тем, что строжайше марксизм запрещал, — соединяли духовное с материальным. Тогда им, ясное дело, не дали развернуться. Теперь тоже, и материальное обеспечение уже не то, и к духовному интерес у населения угас, но они упорно продолжают работу, даже в этих скромных условиях проводят опыты, и кое-чего уже удалось добиться. Во-первых, вывести в колбе ушастую змею-козюльку, почему-то на редкость ядовитую (видимо, тяжкое наследие ВПК), а также воспитать плеяду говорящих ежиков, которые непрерывно молотят всякую чушь. Но... опыты продолжаются.

Искренне поздравил их.

— Разрешите... с вами сфотографироваться? — произнес Степан Шварц.

— Ну зачем же, — проговорил я, — у меня все, собственно, в прошлом...

— За нами будущее! — шепнул мне Шац.

— Ну... пожалуйста. — Я приосанился.

— Только у нас просьба...

— Да.

— Не могли бы вы... в этом быть? — Иван кивнул на повязку в руках Петра.

— ...В этом? — Я вздохнул.

Так вот их, оказывается, что волнует! Не лично я, а моя «ролевая функция» — так, кажется, это называют? Но ради них, молодых романтиков, на все пойду.

— Ладно, давайте... Только, наверное, можно не мочить? — спохватился я.

Петр уже мочил повязку в фонтане.

— Ну как же не мочить-то? — воскликнул счастливый Петр. — Сухая она на вас и не налезет. Только мокрая! После, ссыхаясь, стягивается. В этом вся идея!

Идейный товарищ! Страхивая излишнюю влагу, зашел сзади. Стал натягивать. Бр-р-р! Я торопливо — не забыл, оказывается! — языком проверил дырочку для рта. Стянуло пока не очень сильно... Пока! Наступила тьма.

— Ну вот так примерно. — Петр отошел. Судя по голосу, он любовался мной, точнее — своей имиджмейкерской работой.

— Ну так давайте же! — с некоторым нетерпением произнес я.

Рука одного молодого новатора легла на плечо. Ну а второй где же? Поодиночке решили? Вспышка даже сквозь тряпку ослепила меня.

— Спасибо!

Другой новатор прилег на другое мое плечо. Вспышка.

— Ну спасибо вам!

Ушли к своим ежикам.

— Все... снимайте. — Я покрутил головой, ища Петю.

— Ну, смотрите... второй раз так удачно не ляжет! — обиделся Петр.

— А чего... смотреть-то?

— Вас вообще сегодня многие ждут!

— Многие? — удивился я.

— Мы вообще-то с народом работаем! — Обида прочно, кажется, укоренилась в нем. — Если вас это не интересует...

Главное тут, похоже, — угодить ему.

— Ну хорошо... А... где?

— Да тут... — Судя по движению воздуха, он засуетился. — Да мы с вами такого наделаем! — радостно сказал он. — Понимаете, главное в нашей работе — имидж. — Он бережно прикоснулся к полотенцу. — Создать его нелегко, — снова в нем заиграла гордость, — а разрушить, особенно в наши дни...

«Когда нет ничего святого», — должно, очевидно, следовать за этим?

Он уже меня куда-то бережно вел.

— Тут осторожней, пожалуйста!

Опять мне за всех отвечать! Хотя Петр вроде все знает наперед (или — на назад), но надо, я думаю, его подкорректировать...

Сели на что-то мягкое. Аромат бензина. Качнуло сначала назад, потом вперед.

— Куда едем-то?

— К морякам, военным.

— Ого!

— Вот тебе и «ого!» — проговорил Петр ликуя и на радостях перейдя на «ты»

Зачем военные моряки-то?.. Революционные матросы? Видать, Петро сразу решил взять за рога ситуацию в регионе.

Имидж только зверски болит!

— Можно сказать — земной шарик держат в руках! — с треском переключая скорости, сообщал Петр. — А зачем — не знают!

Придется им объяснять?

— Зажмурься теперь!

— Зачем? Повязочки мало, что ли?

— База секретная все-таки!

— А.

Соленым ветром подуло, потом обрезало. Вошли в какое-то помещение, поднялись по крутой лесенке... видно, на сцену.

— Волнуетесь?

— Да.

Громогласное объявление по трансляции: «Всем свободным от вахты собраться в зале. Приехал лектор». Сразу уж — лектор! Пытался волосики, которые из-под полотенца торчали, слегка пригладить.

Гулкий зал. Шум — как волны. Петро стал рассказывать морячкам, что я как бы железная маска, которая поклялась вечно (!!) носить повязку, напоминающую ей (мне?) про годы (!!) унижения и позора (!!), испытанные мной при прежнем режиме. Но сегодня, в такой день, она (я?) решила снять повязку и показать свое лицо. Жидкие аплодисменты. Торжественно смотал с моего лица портянку. Аплодисменты еще более жидкие. Судя по сбивчивым Петровым объяснениям, все, похоже, надеялись бабу увидеть. Ничего, поправим.

В зале негусто совсем сидят матросики, в основном в отдалении, в полутьме, — к лектору вовсе не рвутся. Все в будничных, застиранных, сероголубых фланелевых робах (сам на флоте служил), на левом кармашке пришиты тряпочки с указанием БЧ — боевой части, — на корабле их несколько. Впереди только один матросик сидит, бледно-рыжий, БЧ-2. Это, кажется, радиолокационная?

— Савелий! Ты чего вперед вылез? В артисты метишь? — цеплялись к бледно-рыжему, он бойко всем отвечал: чувствовалось, что он у них лидер и клоун по совместительству, поэтому выставился.

Глядя на него, я начал рассказывать, как десять лет назад тут в тюрьму загремел, правда ненадолго. И направили меня в «пресс-хату», чтоб уголовники из меня выбили нужные показания. Но главный там, Гера, вдруг проникся ко мне и решил не бить, а «компрессик» сделать — вот этим полотенчиком. Лицо как бы все избитое, но кости целы. Так что и там хорошие люди оказались!

— Так ты за Геру нам тут агитируешь? — встал в глубине зала мичман, видимо воспитатель.

И Петро крикнул испуганно: не на того работаешь!

— Нет. С Герой я вам встречаться не советую!

Смешки в зале — уже в мою пользу.

— Тем более в роли губернатора!

Хохот. А у меня ужас: Гера узнает наверняка, что я выступил против него, — и «имидж» мой доработает до точки! Но — надо сказать!

— А в тюрьге за что оказался? Спер что-нибудь? — Рыжий брал реванш.

— Да нет... не спер.

Стал рассказывать, как при прежнем тоталитарном режиме в роскошный Морской вокзал, построенный к какому-то юбилею Брежнева, не пускали ночевать народ, чтобы мебель не пачкали. И пришлось мне вспылить, когда беременную женщину из дверей выпихнули.

— От тебя хоть беременная-то? — крикнул рыжий.

— ...Нет. Но мне она понравилась.

Засмеялись.

— А как вы... вспылили? — вдумчивый, интеллигентный парнишка спросил.

— Булыжник кинул... И попал — случайно, наверное, — в «СЛАВУ КПСС!».

— Так нарочно — или случайно? — пристал рыжий «затейник».

— Честно... случайно! — ответил я.

— А сейчас хоть... пускают в вокзал ночью? — неожиданный чей-то вопрос.

Тут я растерялся:

— Пускают... наверное.

Вы лучше нам вот что скажите, — вьедливый мичман просил. — Вот вы, диссиденты, боролись с нашей системой за лучшую жизнь. Так почему же она такая паршивая стала?

Все почему-то радостно захохотали.

— Ну почему ж она такая паршивая? Такая, как вы сделаете.

Рассказал вдруг про трех горцев, перед которыми наш богатырь стул уронил, а старец, подумав, сказал, что это так, ветром опрокинуло. Простил.

— Это потому, что мы врезали им! — крикнул мичман.

— Да нет... Доброта, я думаю, не оттого появляется у человека, что ему врезали. Она раньше бывает, чем злость! — ответил я.

— Ладно, про доброту ты нам не заливай! — воскликнул мичман. — Ты на мой вопрос не ответил: почему жизнь паршивая?

— Печальная — да. Ну а паршивой... мы сами ее делаем. Да, несчастий в жизни хватает. но от нас уже зависит. как мы горе свое будем пить. Из красивого сосуда... или из грязной лужи.

- А это уж как получится! — сообщил рыжий.
- Из какого сосуда-то? Не понял! — гаркнул мичман.
- Ну... можно с горем в грязи валяться...

— А можно — на трибуну подняться! — Рыжий на время вернул себе успех.

Но я вдруг расчувствовался почему-то перед матросами, которых никогда раньше не видел и вряд ли увижу еще когда... Не важно! Главное — самому себе это сказать.

— Вот я сейчас... очень бедно живу, — услышал я вдруг свой голос, — и часто, проходя мимо помойки в нашем дворе, ловлю вдруг себя на том, что завидую, какие хорошие вещи там иногда валяются. Пальто... посуда... антиквариат. Но, стиснув зубы, заставляю себя мимо проходить. Все-таки я человек семейный, с образованием... когда-то уважали меня. Стараюсь туда не глядеть. Но однажды, уходя из дома, глянул: какой красивый стул стоит! Резная спинка, витые ножки, удобное сиденье... Вот бы мне на каком работать, подумал, а не на том тупом, фабричном, на котором сейчас! Но по делу спешить было надо. Подумал — потом заберу.

Сделал паузу, глотнул слюну... не перебивают.

— Обратно иду через два часа, гляжу — какие-то типы уже там возятся: быстро, сноровисто разбирают картонные ящики, складывают плоско, упаковывают. Один в такой ящик аккуратно сует почти новый чайный сервиз — сам бы пил из такого с удовольствием!

Матросы засмеялись.

— Но главное — их руководитель, в тельняшке... — продолжил я.

— Это ты, что ли, Борисов? — крикнули рыжему.

— Нет, другой... Облапил мой любимый стул — уносить собирается. И тут вся моя гордость испарилась куда-то — прыгаю, хватаю мой стул, пытаюсь вырвать. «Ты чего это?» — тот удивился. «Это... мой стул!» — «Нет уж — теперь мой!» — выдернул из моих рук. «Я... давно уже заметил его!» — кричу. Кинулся снова — тот, как тореадор, увернулся, я в бак вмазался. Тут на меня его дружбаны накинулись, выпихнули: «Иди, пока цел!» К дому шел в отчаянии: «Господи, до чего я дошел? Когда-то меня женщины любили, друзья уважали!»

Я вдруг отчаялся здесь больше, чем на помойке. Помолчал. Поймал ртом слезу. Матросы молчали.

— А потом, к дому подходя, засмеялся: это же я, как Киса Воробьянинов из «Двенадцати стульев», пытался стул свой отнять! Надо же, обрадовался, на знаменитого литературного героя похож! Молодец! И стало гораздо легче. Можно размазаться по помойке, как мусор, и мозг свой зарсать, а можно — с чем-то ярким сравниться. То есть не из луж страдание свое пить, а из сосуда. Книжки — такие сосуды! Вот. В них все то здорово сделано. Страдание оформлено... в красивый сосуд. В каждой хорошей книге... гигиена страданий — вот что важно. А от страданий и несчастий не денешься никуда!

Матросы долго молчали. И я. Главное — чего это я так расстроился сам? Тем более со стулом все выдумал, и не я даже, а Ильф и Петров.

— Какая же гигиена тут, раз дело на помойке? — пытался взять реванш бледно-рыжий Борисов, но поддержки не нашел.

Я пошел за занавес, слегка запутался в нем. Потом спустился по лестнице в коридор, шел наобум. Петр, растерянный, догнал меня.

— Ничего, а? — Он заглядывал сбоку мне в глаза, сильно уже опухшие («намордничек» свое дело сделал!).

Щеки щипало. Довел себя до слез.

— Неплохо вроде? — поспешая за мною, бормотал Петр.

— Понятия не имею! — ответил я.

— По-моему, ничего, а? — Петро, душевный хлопец, разволновался не меньше меня.

— Не знаю, как там матросы твои, а мне плакать хочется! — сказал я.

Но осуществить эту богатую идею не удалось — Петро завел меня в большой кабинет со старинными знаменами по углам, портретами флотоводцев по стенам. За столом сидел бравый капитан первого ранга в полной форме.

— Командир базы Чашечкин! — браво представился он. В репродукторе на столе шуршал, затихая, шум зала. Слушал мое выступление? — Спасибо вам за то, что воспитываете нашу молодежь, сеете доброе. Но то, что вы говорили сегодня им, — это так, сопли без адреса!

— А какой у добра может быть адрес?

— Где вы видели таких добрячков, про которых рассказываете?

— Да тут вот... на набережной! — Я показал в окно на мыс, за которым должен быть, как я думал, поселок.

— Слышал я ваш анекдот про хороших горцев, — усмехнулся он. — Отдыхали небось после теракта!

— Значит, мне повезло! — сказал я.

Петро стал тяжело вздыхать, теряя уверенность.

— Ну, это до поры до времени! — сказал командир. — Иллюзиями питаетесь!

— Нет, встречаются иногда все же люди, — сказал я. — Вот недавно... (ей-богу не вру!) хотели мы поменять квартиру, на центр... — (Зачем я Чашечкину это гуторю? Ему другое нужно!) — И пришел к нам человек. Менялись. Достал клеенчатый сантиметр, стал комнаты мерить, потом стену на кухне, сантиметр свой прижал за концы... и вдруг уши его заалели, как фонари! Стало ему вдруг почему-то стыдно, осознал вдруг какой-то обман. «Извините!» — пробормотал и вышел. Разве это не хороший человек?

— А может, он понял, что это вы его обманываете? — усмехнулся он.

— А что? — Я согласился: — Очень может быть. Но не сказал ведь. Постеснялся! Хороших людей полно! Главное, как ты сам смотришь!

Каперанг задумался.

— Хотите командный пункт посмотреть? — предложил вдруг он. Наверное, это самое щедрое, из глубины души?

— Но ведь нельзя, наверное?

— Со мной — все можно! — отчеканил Чашечкин.

Петро шел за нами, волоча «боевое полотенце», наше знамя. Душа его, чувствовалось, то ликовала, то ужасалась. Не ожидал, наверное, что так его заберет? Наверное, запретить должен посещение КП? Буквально разрывался. Мы подошли к белой узкой башне вроде тех, что торчат в аэропорту, поднялись на лифте вместе с Петром, растерянно утирающим полотенцем пот. Все то же многострадальное вафельное полотенце!.. Хорошо, что не кафельное.

— Да, жизнь не та стала на флоте! — Пока мы поднимались, расчувствовался и каперанг. — Раньше, помню, в девятибалльный шторм в Африку шли — в полстапьятом году! А сейчас — хоть вообще в море не выходи! Оружие таким стало, что прям отсюда, от стенки, куда хошь достаем! Избаловался народ!

— Идеалов нет! — Петро утер пот. Видимо, предчувствует головомойку от начальства: контроль за ситуацией утерять!

— Идеалы прежние! — рявкнул Чашечкин.

Вышли из лифта. Светлая восьмиугольная площадка. Сверканье моря с трех сторон. С потолка свисали два коленчатых перископа.

— Смирня! — скамандовал дежурный. Все встали за пультами. — Вахтенный офицер Рубанцук! Вахта идет по графику. Цель нарабатывается.

— Вольно. Хотите глянуть? — Чашечкин кивнул мне на перископ.

У Петра пот выступил градом. Полотенце уже насквозь промокло. Гуляет Чашечкин — похоже, недолюбливает за что-то Петра.

— Куда... глянуть? — неуверенно спросил я.

— А хоть к себе домой! — лихо произнес командир.

— Как?

— А так. — Он кивнул на глазные резиновые присоски перископа. — Берешь и смотришь! Через спутник — любая площадка на ладони!

— А можно тогда — на дачу? Комары! Деревенька под Петербургом. Песчаная улица, дом шесть.

— Рубанцук!

— Е! — откликнулся Рубанцук, прилип скулами к присоскам перископа, как на флейте, поиграл кнопками. — Е! — отлип с легким шелестом и почему-то с изумлением уставился на меня: — ...То ваша жинка?

— Что там? — Я кинулся к перископу. Рубанцук продолжал изумленно смотреть на меня. Я прилип к окулярам... Нет... Все ничего вроде... Ничего.

Я увидел нашу дачу и жену с дочкой. Окруженные радужным, чуть размытым силуэтом-повтором, они стояли на высоком подоконнике и мыли окна. Из таза шел пар. Да-а-а. Видно, холодно у них! При этом они о чем-то спорили — у дочки даже ноздри побелели. Что ж такое?!. Ну вот, улыбаются... Слава богу!

Я отлип от потных присосок, вздохнул, выпрямился. Слеза, что ли, жжет щеку? Торопливо утерся. И снова — пока не переключили — припал к окулярам.

О! Новое дело! У сосны, ниже подоконника, стоит какой-то маленький коренастый мужчина и спрашивает у жены что-то трудное, судя по тому, как напряженно она морщится, сосредоточиваясь. Вот, улыбнулась! Поняла? Что именно, интересно? Радостно закивала. Мужик повернулся в профиль, и хотя профиля у него почти не оказалось, я мгновенно узнал его — именно как раз по этому! Кореец Е, который в Вашингтоне конгресс возглавлял, а потом однажды сюда приезжал, перевел две строки из моих сочинений на корейский. Меня ищет! Неужели эта дура не понимает? — заерзал, но от присосок не отлип. Пусть хоть неполная информация, но будет... Меня ищет! А эта никак не может ничего объяснить ему, крутит красными от воды ладошками, выгибает их, показывает куда-то за угол хибары. Что там?.. Да-а, крупно повезло мне!

Весь извертелся, и почесуха мной овладела, но даже не почесаться — за трубу руками держусь.

Кореец за угол ушел!.. Нет, это невозможно!

Отлип, стал чесаться, потом на Чашечкина взглянул.

— А со звуком нельзя?

— Не... со звуком нам ни к чему! — Командир как-то странно раскраснелся, покачивался и немного икал. Успел, похоже, выпить, пока я так страстно глядел в пространство.

— Вижу цель! — вдруг гаркнул Рубанцук, прильнувший к соседнему перископу.

«Цель»?!. Это что — «цель»? Я снова согнулся к присоскам, сдвинул даже самого командира. Тот — чувствую его плечо! — прильнул к соседнему, оттеснив Рубанцука.

И за стеклышками уже — ни корейца, ни дачи!

Серая стальная граница неба и моря, и на ней — длинный приплюснутый силуэт танкера.

— Товсь! — отрывистая команда каперанга.

За пультами защелкали тумблерами, завьли какие-то движки... На картинку опустилась цепочка из крестиков — самый большой крест наполнил на танкер.

— Пли!

Прошла секунда — может быть, все это не правда? — и вдруг точно на крестике, на середине танкера, вспыхнуло пламя и поднялся дымок.

— Цель поражена!

Как жестяная мишень в тире, корабль стал переламываться, задирая нос и корму и проваливаясь серединой.

Я отлип от присосок, желая глянуть в глаза Чашечкину или Рубанцуку, но им было не до меня: они радостно глядели в глаза друг другу! Все, что досталось мне, — это не очень уверенный взгляд Петра.

— Знал бы ты, чью нефть они возят! — воскликнул Петр.

— Чью?!

Петр открыл рот... потом захлопнул. Понял, что, даже узнав, «чья нефть», я не успокоюсь.

— Ну... все?..

— Э! Это куда ты? — Петр, догнав меня у лифта, ухватил за плечо.

— До хаты.

— Нас люди ждут!

Опять — «люди»?.. А заменить их на что-нибудь нельзя?

— Сейчас уже... сладкое будет! — Петро лихо подмигнул.

Друзей наших уже не оторвать было от перископов. Мы ушли. Выйдя, я оглянулся на башню — эта «доставаемость» любой точки земного шара взволновала меня. Наверняка скоро «достанут» что-нибудь не то — из-за чего и башне не поздоровится: Чашечкин не угомонится.

— Маленько опаздываем! — сказал Петр.

— Ну, тогда надо было их попросить, чтоб нас в ракету зарядили!

— Да нет — тут близко! — Петро, сочтя этой шуткой, захохотал.

Мы сели в машину.

— Имидж-то будем делать? — Петро поднял полотенце.

— Закинь эту портянку куда подальше! — крикнул я.

— Да нет, эта штука теперь поглавнее нас будет! — Петр бережно убрал «портянку» в портфель.

На его дребезжащей «Ниве» полезли в гору.

На высокой точке хребта вдруг остановились.

— Глядите... Вас ждут! — указал он вниз.

Полная, даже переполненная чаша стадиона, и со всех сторон еще спешают люди, шустрые, как муравьи! Я изумленно посмотрел на Петю. Вот это да!

— Фирма веников не вяжет! — гордо произнес Петр.

Помчались — чем ниже, тем становилось жарче. И — уже движемся в толпе.

— Все жаждут вас. — Петр остановил авто. — Давайте все же наденем. Они ж вас «в образе» ждут!

— А что вы... пообещали им? — проговорил я уже гнусаво, сквозь тряпку, смутно различая сквозь нее лишь блик солнца. — Что я им... могу-то?

— Ну, это... планируется... как бы «Снятие со креста». Типа «Вознесения».

— Ну и что ж должен я? Пойти странствовать... кое-кому являться? И все?

— Да не только! — деловито сказал Петр. — Тут вот дождя нет вторую неделю. Только перекасти-поле растет. В это время мальцами мы в степу уже такую касатку брали: торчат два листика, как ласточкин хвост. А в земле клубень, сладкий. Так нет даже ее — про поля не говорю!

— Ну... это мне вряд ли по силам!

— А в Америке, говорят, весь стадион молится — и пошел дождь!

— Кто это сказал тебе?

— МБЧ!

— Вот пусть он и молится!

— Да он сам сказал, — Петр усмехнулся, трогая машину, — что на нем пробы ставить негде!

— Это верно!

— Да не волнуйтесь вы. все уже подготовлено!

Интересно — что?

Мы въезжали в низкий проем под трибунами. Стало темно, потом — вспышка света и — оваций!

Во влип!

...То же самое, наверное, и Он думал.

Хрюкнув, мотор заглох.

— Ну.. вылазим, — проговорил Петр. — Уж покажите им! Помните... такое... преображение было, когда Он показал им четко, ху из ху!

Да. Нелегкая задача!

Мне бы такую веру!.. Я имею в виду — хотя бы такую, как у Петра. А у Него Самого, может, и не было, до самого конца?

«Оросим родные поля»?

— Осторожнее... тут ступеньки, — шепнул Петя.

«Вознесение» пошло?

Поднялись на какую-то невысокую трибунку... в центре поля, судя по ветру. Доски скрипели, гнулись. Как бы не провалиться... Но как было бы хорошо: в темноту свалиться и отлежаться там.

Вдруг за локоть меня схватили. Знакомая рука.

— Ты не бзди! — сиплый голос Жоза. — У меня — такой же вариант!

Что значит — «такой же»? — подумал я ошеломленно... И почему Жоз? Не знал, что он праведник. Умело он это скрывал.

— Сейчас мы им врежем! — прошептал Жоз.

Я вообще-то не собирался «врезать».

— Кому? — пробормотал я.

— А кому и всегда! — проговорил Жоз азартно. — Только впервые это нормально называется: Долина играет против Гор!

— ...Футбол, что ли? — проговорил я.

— Ну... как тогда было — битва гладиаторов, — блеснул эрудицией Петр. — Или — львы рвут христиан!

— А я, что ли, жертва?

— Наоборот. Ты — торжественная часть. Ну, давай, только по-быстрому! — Жоз трясся от нетерпения.

Так вот откуда оно, скопление народа! Битва гладиаторов... Футбол! Ну, тогда-то энтузиазм их понятен.

Все вдруг удалилось куда-то. Глуше доносилось. Или отключалась слышаемая голова? Глухо донеслась до меня сбивчивая речь Ездунова — мол, совесть порой нам подсказывает, что ее как бы нет, но на самом деле, если глянуть поглубже, врасплох ее застать, то она как бы есть.

— Во резину тянет! — нетерпеливо шептал Жоз.

— ...И вот она, совесть ходячая, — перед вами! — ухватил ускользнувшую было нить Ездунув.

Глухие (сквозь «вафлю» полотенца?)... да нет, сами по себе слабые аплодисменты. Футбола все ждут! А митинги уже остоюбилеили всем!

Да, мероприятие подготовлено лучше предыдущего, а идет хуже.

Я вздохнул, надеясь, что хоть удавку с лица снимут, но сценарий другой оказался. Кир сочинял, сука? Или Петро?

Вдруг раздался нарастающий грохот барабанов! Сюда идут?.. Точно!

— Пионеры, что ли? — с ужасом у Жоза спросил.

— Эти, бля... как их... бойскауты! — Жоз оборвал свою речь резко, чтоб, как я понял, что-нибудь более грубое не сказать в микрофон.

Барабанный треск прекратился. Два раза дружно топнули ноги — и тишина.

Главный, видать, бойскаут, бойко топоча, взошел на трибуну и звонко (Ездунув говорил гораздо глуше) рассказал десяткам тысяч собравшихся, что это именно он, Алексей Выходцев, был во чреве матери в тот момент, когда его мать, ныне покойную, сатрапы режима выталкивали, беременную, из здания Морского вокзала, созданного лишь для показухи (голос

его становился все звонче) под дождь! И из всех присутствующих там сотен тысяч (!) людей лишь я один вступился и накинулся на охранников, а потом, отлично зная (!), что меня ждет, поднял камень с земли и швырнул (голос его просто сверлил ухо — хоть затыкай) в символ ненавистного режима — в надпись «СЛАВА КПСС!».

Удивительный хлопец! Знал бы я, что он там... все, может, было бы иначе. После паузы (боролся с рыданиями) он заговорил еще звонче. Мол, сейчас они борются за то, чтобы их организации присвоили мое имя (с кем борются-то?), а также собирают деньги на Памятник Подвигу и уже собрали... двести тонн (!) цветного металла и триста восемьдесят тысяч долларов!

Тут меня сильно качнуло... Сколько?.. Да, бойкий получился паренек! Знал бы я тогда!.. И что б сделал? Но хотел бы заглянуть сейчас в его ясные глаза. Триста восемьдесят тысяч долларов! Далеко пойдет. Знал бы я тогда!.. Впрочем. Проехали. Но в очи его бездонные хочу заглянуть! Повязку, однако, не снимают. Видимо, не созрел.

— Известный скульптор Дук из Благовещенска уже создал проект памятника, — продолжил мой бойкий крестник, — и произведение это — грандиозное!

Лучше бы деньгами мне дали.

— Гигантская статуя из вольфрама — (!) — стоит напротив здания вокзала, и в поднятой руке — камень!

Оружие пролетариата.

— В голове — маленький громоотвод.

Это славно.

— Мы хотим, чтобы сам Бог... участвовал в его открытии!

Я обомлел: широко шагают!

— Мы надеемся, что в день открытия памятника... соберутся тучи...

Вот как?

— И если Он нас благословит... в громоотвод ударит молния...

А ведь ударит! — с отчаянием подумал я. Он может все! Поэтому надо ограничивать... Хотя бы себя! Ведь ударит, точно! И их благословит! Что Он — слепой, что ли? Я огляделся. Что можно увидеть во тьме? Одно ясно: надо лиять!

— И если Он наградит нас, — бойскаут продолжил, — своим небесным электричеством...

Наградит, наградит... Что дальше?

— То в плечевом суставе скульптуры сработает электромагнитный датчик, и Он метнет камень в ненавистную надпись!

Хилые аплодисменты. Но тогда и ненавистную надпись придется восстанавливать? — подумал я.

— Конечно, — в голосе бойскаута вдруг появилась горечь, — мы понимаем *очень* хорошо, что *живым* людям памятников не ставят...

Та-ак! Я похолодел. И что же он предлагает?

Хотелось бы глянуть в его ясные очи! Но, видимо, рано еще — речь продолжается.

— Мы знаем, что коневодство, древний наш промысел, возродит наш край!

Тут я подумал, что ослышался. Коневодство-то тут при чем? Потом вспомнил — а! Ездун коневодством увлекается!

— Мы также знаем, — в голосе его появилась дружеская насмешка, — что Валерий, — (какое панибратство), — в детстве занимался в конно-спортивной школе!

Да, информация налажена.

— Поэтому мы дарим ему коня!

...Который и должен меня угробить! Теперь более-менее все ясно. Изящный пируэт.

— Точней, кобылу.

На трибунах — впервые — оживление.

— Кобылу старинной ахалтекинской породы, разведением которой и славился когда-то наш край!

Молодец хлопец, во все стороны пасы дает!

— Зовут ее Буква.

— Как? — нагнулся я в сторону, где Жоз стоял.

— Буква вроде... — он пробормотал.

Кир продал? Сказал, что я люблю?

— И мы надеемся, что именно на Букве, — голос звенел, — он доедет до полной своей...

...гибели...

— ...победы!

Ну, это другое дело!

...Оказывается — не все еще.

— Эту красавицу, — видимо, она уже показалась в кадре, — сегодняшней и, мы надеемся, завтрашний хозяин нашего края Сергей Васильич Ездунوف подарил нам, нашей детской конно-спортивной школе.

Но?

— Но мы решили подарить ее...

Голос его звенел уже где-то в поднебесье — похоже было, он сам сейчас взлетит!

— Мы решили подарить ее...

Снова пауза.

...нашему Великому Слепому?..

— ...нашему Замечательному Гостю! Именно ему мы обязаны тем, что к нам пришла Свобода! Его борьба, его страдания не пропали даром! И не случайно именно он стоит сейчас на этой трибуне плечом к плечу с Сергеем Васильевичем Ездунувым, отцом и кормильцем нашего края!

Да уж, не случайно! Это точно!

— И пусть первым Всадником Свободы станет именно наш гость, нашедший время посетить места своей славы!

Зарапортовался хлопец!

— Подведите Букву!

А вот это уже конкретно. Но что — я так и поеду вслепую? Далеко не ускачешь.

— И именно сейчас мы снимем с его глаз повязку, чтобы он увидел..

Что увидел-то?

— ...нас, продолжателей его дела.

Далеко пойдет!

— И, может быть, Небо... И, может быть, Всевышний в трудах своих..

Все-таки замахнулся.

— Заметит и это знаменательное событие и прольется на нас долгожданным и благословенным дождем!

Свист и аплодисменты приблизительно равной силы.

— ...замечет нас, предателей его дела, — пробормотал я.

Ну? Что? Вообще хорошо. Но душно. Упрел.

— Ну... давайте, Сергей Васильич, — прошептал бойскаут.

Грубые пальцы зашарили у меня на затылке, и вот — спала пелена! Некоторое время я стоял зажмурясь... Чего-то, оказывается, все-таки боюсь?.. А вдруг?.. Но никаких «вдруг», естественно, не случилось.

Пополам — аплодисменты и свист. Причем одни и те же и хлопали, и свистели.

Ну давайте действительно глянем — ху из ху? Лицо болело и чесалось.

Вплотную с моим оказалось почему-то небритое и сильно пьяное лицо Ездунова. То-то он в своей речи со словом «совесть» никак распутаться

не мог. Никакого Божьего дуновения в мой потный лоб, естественно, не последовало — хорошо, хоть не плюнул!

Зато над высокими трибунами, закрывая небо, реял плакат... То-то я контакт с небом не могу установить! Там Ездун стоял красивый и гордый, в простонародной косоворотке, за ним простирались долины, цветущие поля, табуны лошадей и тут же бодро дымящие заводы, а вот это с краешку... ей-ей, стоит стройная баллистическая ракета, и двое матросиков в робах зачем-то драют ее до блеска — чтобы, очевидно, она понравилась там, куда они ее сейчас пошлют. Ничто, в общем, не забыто. Но самое главное — мы! По обеим сторонам от Ездунова стояли мы, сцепив с ним поднятые руки: слева я, почему-то еще с вафельным полотенцем на морде (так, наверное, проще было рисовать), справа — МБЧ, в рясе и монашеской шапочке, как в лучшей из своих ролей, олицетворяя собой связь краевого лидера и с искусством, особенно с важнейшим из всех искусств, и в то же время — с религией, о чем несомненно свидетельствовал монашеский наряд Маленького Большого Человека, и также, несомненно, и с пьянством, что тоже немаловажно: взгляд его слегка был затуманен, но лучист. Прелестная троица! По животам нас обвеивает лента с надписью: «Старый конь бороды не испортит!» Понятно кто.

Затем я обратил свой взгляд к земле, точнее — к нашей трибуне... Это, что ли, наш юный барабанщик с ангельским голосом? Я был потрясен! Во-первых, если он ангел, то почему в темных очках? Во-вторых, на вид ему лет тридцать, да еще подозреваю, что он моложаво выглядит. Так что во чреве том, которое я защищал от сил реакции, он никак не мог быть — разве что находился там уже двадцатилетним. А главное... не мог я Это защищать!

— Ну! — уставясь на меня черными окулярами, шепнул он.

В смысле: рожай!.. кто-то тут обещал мелкий дождичек?.. не я!

Однако я честно поднял очи горé. На небе ни облачка! Жара и пыль! Все правильно. Ни малейшего дуновения — как и следовало ожидать! Я виновато глянул на Петю... провалился его, как теперь принято выражаться, «проект»! Ну ничего, у него еще все впереди. Главное — огромная база данных! Откровенный уже свист на трибунах!

— Футбол давай!

— Уезжайте... быстро! — безглаголиво глянув на нас с Петей, прошептал юннат, то есть, тьфу, бойскаут.

Ездун, как опытный политик, тут же мгновенно откололся от нас. Как говорят сейчас — дистанцировался.

— А теперь, — заговорил он, простонародно улыбаясь, как бы вместе со всем народом презирая только что опозорившуюся публично «торжественную часть», пытавшуюся «впарить» простым людям непонятную заумь, — мы переходим к более приятной части... нашего мероприятия.

«Ну сука!» — подумал я.

— Футбол! — рявкнул Ездун. — Долина против Гор!

Восторг на трибунах! Вот оно как с народом-то надо: сперва кислое, а потом сладкое! Пьян, да умен!

— И открыть сегодняшний матч имеет честь... — проорал Ездун.

Что значит — «имеет честь»? Жоз рядом со мной азартно переступал с ноги на ногу, играл крепкими ягодицами в атласных трусах.

— ...известный в прошлом футболист...

— Ну сука! — Жоз озвучил мою мысль.

— ...Жора Золотов, известный в народе как Жаирзиньо, или Жоз!

Жоз вскинул вверх сомкнутые руки. Вот это овации — особенно на фоне меня!

— Уезжайте же скорей! — Распоясавшийся юннат уже откровенно спихивал нас с Петей с трибуны.

А я еще его, такого, во чреве защищал!

— Уезжайте же, пока...

Это верно — пока не закидали.

— Так на чем же? — пробормотал я.

— А вы не видите... Вот же!

Действительно — вот же оно! Прямо под трибуной юная полуобнаженная красotka держала под уздцы великолепную Букву. Белую грациозную кобылку, нервно вздрагивающую тонкой кожей на крупе, с огромными темными глазами, почему-то испуганно косящими. Она-то чего боится? Что чует? Да у нее, видно, тоже проблемы! И почему белая Буква? Белую Букву не видно на листе! Ладно: дареному коню...

— Ну... поехали! — Я взял за локоть Петра.

— Так не влезем! — засомневался он.

— Влезем!

Я спрыгнул прямо в седло, он примостился сзади на крупе. Буква испуганно покосилась: мол, начинаются ужасы?

— Н-но!

Под свист трибун мы протрюхали к воротам. Позор!

Надсадно екая селезенкой, Буква везла нас по каменистой тропке в гору, к «Горному гнезду». Собираю манатки — и все!

Несколько раз я вырывал из ослабевших рук имиджмейкера портянку-полотенце и зашвыривал подальше в колючий кустарник. Петр с воплем: «Да ты что? Это же реликвия!» — отчаянно кидался туда, вылезал все более разодранный и кровоточащий, но с неизменной портянкой в руках. Кстати, в ней с каждым разом добавлялось терний, ядовитых, возможно, колючек... К чему бы это? Я сказал: завязал! Для чего все, собственно? Что у нас за паства? Футбол ей подавай!

Метров пятьдесят крутого подъема я терзал себе этим душу: что за жизнь у нас?! Пророки — кому нужны? Этим людям? Но тут вдруг пришла удачная мысль: сам-то хорош! Взятчик! Кобылу у детишек увел! Эта спасительная мысль о собственном низком моральном уровне как-то вдруг успокоила меня, сняла напряжение и даже сделала меня счастливым. Сам-то хорош! Гармония абсолютная! «Неявление Не-Христа не-народу!» Я радостно захохотал.

Петр мрачно глянул на меня и пробормотал:

— А вдруг измена?

Я буквально похолодел в седле:

— ...Чья?

— Разберемся.

Я испуганно оглянулся. Да, с таким имиджмейкером надо держать ухо востро!

— Ясно! — вдруг рявкнул Петр, спрыгнул с лошади и с треском стал падать с обрыва сквозь колючие кусты. К счастью, вместе с полотенцем. Буква пошла веселей.

— Ясно! — гулко донеслось со дна пропасти.

Я подъехал к ограде. Впервые обратил внимание на табличку с адресом: Гефсиманский тупик, дом 2.

Апостол в пятнистой форме открыл ворота. Мое появление на Букве встретил равнодушно, зевнул даже — видимо, спал.

— Извините, — сказал я.

Он солидно кивнул: хорошо, мол, что хоть вину осознаете!

Заокали по асфальту. Нигде ни души. Видимо, все спали? Сиеста. «Послеполуденный отдых фавна».

У террасы я спрыгнул с Буквы, расседлал ее, вытер вспотевший круп рубашкой за неимением лучшего, снял уздечку и уздечкой стреножил ей ноги — а то ускачет.

— Пасись! — Я подтолкнул ее в сторону газона. Благо его давно не брили. Говорят — безвременье.

Пошел к себе, завалился. Глубокий, освежающий сон!

...Движение началось с вечерней прохладой, слетевшей с гор. Движение, причем бурное.

Протопал вниз, пробегая, ножками в крохотных, словно детских, кроссовках быстрый МБЧ. Увидев меня в окне, почему-то победно вздел руки:

— Молодец!

Кто — молодец? Не в курсе провала нашего?

Он показал на бегу пальчиком на Букву.

— А...

Буква, надо отметить, все время шарахалась и глядела на окружающее почему-то все с большим ужасом. Видимо, все еще впереди.

Только я выкатил из-под кровати обои, чтобы поклеить на них буквочки, как дверь вдруг с грохотом распахнулась, ввалились Ездун, абсолютно пьяный, да еще с бутылкой в руке.

— Ты мужик! Ты меня понял!

Со вторым тезисом можно поспорить, да и с первым тоже. Но зачем?

— Давай выпьем?

— А почему нет?

— ...У меня папаха есть, — через четверть часа лопотал он, — ягненок, поседевший от ужаса в чреве матери!

Ужас, видимо, он организовал.

— Все у меня есть!

Я глядел на него.

Что? Идем к провалу? А для чего же мы тут уродуемся, ночей не спим? С грозной песней Ездун убыл.

Потом вдруг явилась Соня — вся на босу ногу, на голое тело.

— Надоело все! — плюхнулась на мою лежанку.

Поглядел на нее... нет, видно — не все! Не все надоело ей, судя по поведению!

— Сколько можно тут париться?! И зачем, главное?! — спросила она.

Я, что ли, тут главный энтузиаст?

— Да нет... Все вроде нормально, — бодро сказал я.

— Идиот ты! — проговорила она ласково. — За это я тебя и люблю.

...Мария Магдалина? Я глядел на нее с ужасом, как Буква глядела на меня.

— Ты даже самого главного не заметил!

— Чаво?

— ...Ты не почувствовал даже, что вторую ночь проводишь в моей койке!

— Как?

— А так! — Она расстегнула верхнюю пуговку.

— А где же ты ночевала? — пролепетал я, отводя глазки.

Да, нога-то богата!

— Везде! — ответила она, швыряя халатик в кресло.

Буква под окном ревниво заржала.

— погоди! Я поглядеть должен! — к окну метнулся.

— Стоять!

— Ладно.

— Теперь мы будем спать с тобой в одной кровати.

— Не понимаю, — пробормотал я. — ...По очереди, что ли?

Снова ржанье!

— Нет! — Глаза Сони разгорелись. — Лучше не так! Швыряем матрас на пол!

Швырнула.

— Не понимаю... — Я почесал лоб. — А сами без матраса, что ли, будем спать?

— Сволочь ты! Но от меня не уйдешь. Ты как любишь?

— ...Что?

Буква ржала уже с всхлипыванием и визгом. Видно, сбывались ее худшие опасения. Угоняют?

— Извини! — Я кинулся вниз.

Угнали-таки! Круп Буквы был пока виден в темноте, далеко внизу — потому что белый... А мне еще не нравился ее цвет! Говорил — Буква-Невидимка. Но кто скакал на ней — кто-то темный, — было уже не видеть... Впрочем, какая разница? Тут на это способен любой.

Я вернулся. Соня улыбалась цинично, но халатик не надевала. Впрочем, никакого «но» тут и нет. Красавица, увлекающаяся конокрадом. Это бывает. Видимо, тут у них крупнейшая конокрадческая ферма.

— Я думаю, спорт учебе не помеха? — Она взялась за следующую часть туалета, но... с грохотом распахнулась дверь (хорошо, что она оказалась в этом помещении!). Жоз — как ангел, отводящий от греха Святого Евстрахия:

— Кыш!

И Соня, подхватив халатик, обиженно вышла. А нога-то богата!

— Дело есть! — стукнул о стол бутылкой.

Вот это — дело!

— ...Опротестовали, суки! — выпалил Жоз.

— Что?

— Матч!

— А...

— Признали голы мои недействительными, матч не засчитали.

— Кто?

— Комитет.

— Какой?

— ...Сам знаешь!

— А, — понял я. Видно, Жоз знал все. Как мальчик на печке из романа «Война и мир», который подслушал знаменитый кутузовский «Совет в Филях».

— Хотят, чтобы Горы с Долиной покруче сошлись. Чтобы дружба победила — но с кровью. И ты завтра — снова участвуешь!

— Кто тебе сказал?

— Петр твой — кто же еще?

— Все еще не уgomонился?

— Эти не уgomонятся, пока... А ты у них вроде прокладки.

— Отлично!

— Он и кобылу твою угнал. Завтра будешь опознавать ее кости!

— Как?

— Как вещей Олег! Решили на классику упор сделать — народ любит ее!

— И — змея? Козюлька? — догадался я. Отличником все же был!

— А то!.. Но я-то им завтра вмажу! Придумал уже как! А тебя я предупредил! Все! — Жоз поднялся. — Насчет Соньки не беспокойся — она у меня уже! Ждет!

— Точно ждет?

— ...В позе ласточки!

Стукнув дверью, Жоз вышел.

Я скрутил обою. Заметался по комнате. Та-ак. Надо срочно отсюда бежать, пока не уокошили. Та-ак. Все вроде? Обою под мышку. Побег.

— Э-э! Куда!

Проклятый омоневец.

— ...Казенным имуществом интересуемся?

— Да!

— Давай лучше выпьем! — предложил он.

— Давай!

— ...А ты знаешь, как я тут живу? — уже через три минуты говорил он. — Вот о чем надо писать! Ни бронжилета не выдают, ни маски, ни каски! Голый, как жопа, стою тут!

Он упал лицом на стол, обессиленный. Смежил веки. Теперь можно было уже выйти... но — нельзя?! Не подводить же героя?

Я вернулся. Утро вечера мудренее. Тут еще появился Кир — я уже вальялся на полу на матрасе, он навис надо мной.

— Скажи, ты веришь в это дело? — спросил он.

— Да!

— А я — нет! — произнес он с горечью.

— А я — да!

— Тогда давай поглядим в глаза друг другу!

— ...Давай! — я охотно согласился.

Долго пытались это сделать, но не смогли. Все время промахивались.

— Ну ладно. — Кир встал. — Пошли тогда купаться.

— Нет! То есть — ты иди. А я тут немножко еще поползаю.

УЖАС ПОБЕДЫ

Проснулся от топота. Открыл один глаз. Лежу-таки на полу, а мимо ежики топают. На иголках у них вместо листьев сухих — стодолларовые бумажки! Серьезные ребята! Где взяли? Тут, ясное дело, — где же еще? Шурша, стали вить под кроватью гнездо из стодолларовых бумажек. Сухо, тепло.

Но странно. Откуда такие валютные потоки? Как старый друг животных, с боем отнял у ежей деньги, к себе положил. И не успел еще дыхание перевести, как, отворив дверь прелестной ножкой, новая горничная вошла. Вежливо поклонившись, поставила поднос на стол. Я пригляделся к нему — золотой! Чашки стоят серебряные. Ложки — платиновые. Сама — пригляделся к ней — фарфоровая. Все ясно! Телемагнат приехал, на месте тут всех перекупать! Надо валить отсюда, пока он меня не перекупил. Собрал манатки, рулон обоев выкинул для маскировки из окна в кусты. Сбежал вниз, огляделся. Буквы, естественно, нет — будто корова языком слизнула. Ведь знал, что, раз Буква белая, стало быть, будет невидимкой. Как в воду глядел.

Штаб уже клокотал.

— Все! — кричал МБЧ в трубку. — Бери его! Я ясно сказал тебе — бери! Интеллигентность моя? Все, кончилась моя интеллигентность!.. Будет тебе транш!

Телемагнат кричал в другой телефон — видимо, мобильный:

— Да, я смотрел! Смотрел! Отличные могилы! Да! Я просто любовался ими. Говорю тебе: лю-бо-вался! Да!

Я вошел, сел. Еще один сюрприз: демократы, то есть Соня и Жоз, демонстративно, я думаю, отсутствовали, как говорят, блистали своим отсутствием, зато тут оказался неожиданный гость. То есть ожидаемый, но не очень: кореец Е сидел в углу по-турецки, занимая весь кожаный диван. Он же меня разыскивал, спрашивал у моей жены — я в перископ видал! — но на появление мое здесь почему-то абсолютно не реагировал, даже не повернул головы. Я рвался к нему, но сам же себя одергивал: сиди! Явно не видит он тебя. Похоже, накачался барбитуратами.

Тут вдруг с треском ворвался Ездун, так с вечера и не протрезвевший, но зато в своей любимой папахе из насмерть испуганного им ягненка. Набросился на телемагната, ухватил его за жилет, стал бить головой об витражи. Витражи с мелодичным звоном осыпались.

— Ах ты фарфоровая твоя душа! — орал Ездун.

Телемагнат, будто все это его не касалось, продолжал разговаривать по телефону:

— Да-да! Искренне рекомендую. Как друг тебе советую! Могилы прекрасные... Да!

Я тоже, несмотря на трудную ночь и странное утро, чувствовал себя хорошо, легко и остро. Самозаточился во сне.

— ...Все! Будет тебе транш! Давай! — МБЧ бросил трубку так, что она подпрыгнула, и тут же кинулся к бойцам, распахнул своими маленькими, но сильными ручками Ездунова с телемагнатом. Брек!

— Все! Могилы твои! — Телемагнат закончил разговор, захлопнул телефончик и спокойно уселся.

Ездунов рухнул на табурет и внезапно икнул.

— Ну? — МБЧ грозно глянул на Ездунова, потом на меня. — Просрали кампанию? Какой-то дождик не могли сделать? — Снова взгляд на меня. — Почему вы, мудаки, никогда ничего не можете? Почему этот все может? — МБЧ радостно ткнул суперкорейца кулачком в живот. — Почему, я спрашиваю? — Снова резкий тычок в живот. Кореец пружинил, но больше никак не реагировал, видимо погруженный в нирвану. — Почему? — (Удар.) — Почему, я спрашиваю? — (Удар.) — Почему?! — (Кореец пружинил.) — Почему он собирает стадион у себя в Вашингтоне, заставляет всех молиться — и идет дождь?! И сегодня здесь это сделает... Но кому это уже достанется — большой вопрос! — Взгляд на магната.

— Наш стадион — это не их стадион, — вынужден был я заметить.

— Это верно, — вскользь одобрил мою мысль МБЧ и накинулся на Ездунова: — А если ты будешь пить как лошадь, то мы можем на хер бросить тебя! Нам твои выборы, понимаешь сам, — дело десятое! У нас, сам понимаешь, — поднял глазки к небу, — другое на уме! Так что — прикинь... — МБЧ вдруг задумчиво умолк, уставившись на Ездунова. — Продай папаху!

Ездунов безвольно снял папаху и отдал МБЧ. Тот протянул ему доллар. Е вдруг изменил позу — поднял вверх палец — и снова застыл. Телемагнат поставил перед ним золотой поднос и стал выкладывать пачки денег. Всё. По-моему, я тут лишний. Я поднялся и вышел. Никто даже не повернул головы — все понятно куда смотрели.

Я нашел в кустах свой рулон, перешвырнул его через ограду и перекинулся сам. Посыпался по едкому известковому склону, царапая все, что можно, затормозил наконец на каком-то относительно пологом месте, отыскал рулон, отдышался. Еж с козюлькой во рту вдруг подбежал:

— Перекусить не желаете?

— Нет. Пока нет. Спасибо.

Он деловито затопал в гору. Он-то прав. А я — точно не в ту гору пошел. Но это уже в прошлом! Валишь!

Но не вышло. Только перевел дыхание — пошел сверху треск, и Соня с Киром ссыпались словно снег на голову.

— Смотри-ка, — насмешливо проговорил Кир, отряхиваясь. — Оказывается, совесть у него есть!

Соня молча погладила мне макушку. Так. Уходим в партизаны?

— Все же совесть в нем заговорила! — не унимался Кир.

Как заговорила, так и замолчит. Надоел уже!

— Мы сейчас с Соней идем на радио. Устроила она по своим каналам, хотя магнат всех перекупил. Но полчаса студия будет наша. Пойдем?

— М-м-м-нет!

— Боишься?

— М-м-мда!

Но не уточнил, правда, что его и боюсь, — чтоб Кира не обидеть.

— Да, боюсь. Но пойду!

— Люблю я этого гада! — воскликнула Соня.

— Ну... прямо так? — Я указал вниз по склону. — Пешком?

— Пешком он отвык уже! — съязвил Кир.

Тоже мне — «глас народа»! Своеобразный у нас получится дуэт! Такой и получился. Когда мы прокрались на радио через какой-то хоздвор, забытый мешками цемента (видимо, основная тут валюта), и вошли на цыпочках в глухую, полутемную студию, Кир сразу же подгрел микрофончик к себе и больше фактически с ним не расставался.

— Мы хотим вспомнить о том, — заговорил он проникновенно, — о чем сейчас не принято вспоминать, — о доброте, порядочности, сострадании...

— Почему же? — чуть было я не вставил. — Все только об этом и говорят!

Но плавную речь Кира нельзя было перебить: из тридцати отведенных нам минут двадцать девять с четвертью говорил он, причем об особой необходимости именно в наши дни порядочности, сострадания, терпения и взаимопонимания, — мне не дал и слова сказать, хотя и упомянул меня вначале. Думаю, нормальные люди, которые это слушали, поняли, какое отношение к состраданию имеет он! Не умолкая ни на секунду, он говорил, какие гуманитарные программы он внедрил бы, если бы ему дали такую возможность: центр изнасилований, дискотека с госпитализацией, шоу инвалидов. В самом конце уже, сообразив, что как-то глупо выгляжу, я открыл рот, чтобы как-то уравновесить поток прекрасного, но успел только произнести: э-э-э — и был тут же перебит поборником справедливости, который в оставшуюся минуту говорил о сострадании к одиноким детям, одиноким матерям, старикам-ветеранам... Финиш! Соня подняла скрещенные руки! Да, хорошая вышла передача о доброте, сострадании и взаимопонимании особенно. Все, думаю, поняли. Я встал, посмотрел на взъерошенного, раскрасневшегося Кира. Молодец. Битва добра с добром закончилась со счетом тридцать — ноль в пользу добра же!

— Пусть наконец услышат! — проговорил Кир. — А тебе что — сказать было нечего?

Тут — нечего. И слава богу! Сказала бы — не так выразительно получилось. А так поняли все! Самая гнусная ложь — это та, которая состоит целиком из правды, которую Кир тут выложил, раздавив меня. Все удачно!

— Выйдем через главный вход! — горделиво произнес Кир. — Пусть теперь видят!

Но никто так и не увидел. Мраморная «купеческая» лестница была фактически пуста.

— Финансирование практически прервано! — гордо сказала Соня.

Ничего, скоро наладится, скоро правда всем понадобится: дорогой товар.

Кир шел почему-то с обиженным лицом. Что еще, интересно, надо ему? Compliment? Запросто.

— Про доброту это ты правильно подметил. Доброта нынче во как нужна!

— Да. — Кир, так и не удовлетворенный, кинул на меня злобный взгляд. — Особенно это странно от тебя слышать!

— Пач-чему?!

— Читал я твои обои! — Кир кивнул на рулон.

Я заметался по площадке. Читал? Куда бы спрятать? Под рубаху?

Кир демонстративно ушел вниз. Я, чтоб дать ему продемонстрировать это, задержался.

— Ну что же ты? — с отчаянием сказала Соня. — Я с таким трудом пробивала тебя! Все были против! А ты хотя бы слово вякнул.

— О чем? Все же было.

— Ну... о дружбе, например. О верности. О любви, которая выдерживает все испытания... Ты что же — не веришь в это?!

— Не-а.

— Я тоже, если честно, не верю! — тесно прижавшись ко мне, жарко шепнула Соня.

Мы прошли через пустой холл, как пророки через пустыню, оказались на крыльце. Вот тут-то нас как раз ждали — особенно почему-то меня.

— Беру, Петро! — рывкнули сразу два крепыша в душных черных костюмах, схватив меня под руки. Меня-то за что? Я же ни-че-го не сказал!.. Это меня и выдало? Раскусили? — Беру, Петро! — поволокли меня под руки к машине.

— Я бы тебе помог! — Кир бежал рядом. — Но совсем не представляю, как это делать. Ты же знаешь — я непрактичный человек!

Непрактичность, доходящая до хамства.

Орлы впихнули меня в машину — сами корректно остались.

Петро, друг! Но держался суховато.

— Где ты шляешься?

— Да тут по радио не выступал, в знак протеста.

— Радио давно отключено — пора бы это знать! — вздохнул устало — мол, всем приходится заниматься. — У нас куча дел!

— Куча как-то не вдохновляет.

— Ты бы лучше там, где надо, разговаривал!

— А где?

— «Песнь о вещем Олеге» помнишь?

— А.

— Едем опознавать кости.

— А.

— Все «а» да «а»! Лучше б сам написал что-нибудь подобное!

— Ну зачем же? Уже ведь есть.

— Можно вообще пробудить в тебе что-то человеческое?! — вспылил Петр.

— Сложно будет! — вздохнул я.

— Тормози! — сказал Петр.

У небольшого раскопанного холма стояла аккуратная толпа. Сверкали телекамеры.

— Можешь хотя бы слезу пустить? Истлела уже Буква твоя, кем-то зверски убитая, — и мы знаем кем! Ну, будет слеза?! — рывкнул Петр, уже заметно зверея.

— Ну... как выдаст глаз, — сказал я скромно.

Мы пошли к толпе. Толпа расступилась, зажужжали камеры.

В свежей, черной выкопанной земле желтели лошадиные кости.

— Вот... Один юннат случайно нашел, — проговорил Петр.

Знаем мы этого юнната.

— Всем отойти от скелета! — скомандовал Петр. Мягко подтолкнул меня: — Иди!

Я пошел к скелету. Что они сделали с Буквой, сволочи? Череп лежал с краю, нижняя челюсть отскочила в сторону.

— Пошла слеза! — крикнул Петр.

...Что они сделали с Буквой, сволочи?! Я присел на корточки — и чуть не захохотал. То не Буква! То какая-то старая кобыла! Я тоже юннатом был, и в ночное ездил, и знаю хорошо: у молодой лошади зубы круглые. А треугольными они становятся лишь в глубокой старости, как у этой. Недоработали ребята. Но ликование свое не стал выдавать — все же у вешего Олега другая задача.

Тут из черепа полезла козюлька, шевелия ушками. Э-э! Буква фальшивая, а козюлька настоящая? Нет! Я отпрыгнул. Такой ымыдж мне ни к чему!

Тут, грязно матерясь, выбежал ежик, схватил козюльку за тулово и, громко хрумкая, съел. Привет от Шаца и от Шварца? Я вытер холодный пот. Чуть не погиб, а главное — зазря! Мы, конечно, любим классику, но не настолько же!

— Что — и это тебя не трогает? — процедил Петр.

— Не-а. — Я зевнул. Тоже вариант памятника! Со змеей на ноге, возле скелета лошади. Новый медный всадник без головы.

— А еще нас называют бесчувственными! — произнес Петр.

— Ну так я пошел? — Я сделал шаг.

Петя швырнул меня к машине:

— Сидеть! — Распахнул дверку. Я покорно сел. — Я из тебя сделаю человека! Люди молиться на тебя будут! — с угрозой произнес он.

Машина поехала. И тут мой имиджмейкер окончательно меня потряс.

— Тебе Гера велел кланяться! — прошептал он. — Сказал: если у тебя что получится, то остальное — его забота!

— Да он уже обо мне заботился. А вы с ним теперь?

— Да, человек он не простой судьбы, — проговорил Петя мужественно. — Но не то, что эти суки! Он за народ! Эти сволочи фальшивую кость тебе подсунули, а Букву загнали за триста тысяч баксов!

— Кому?

— Это мы уже знаем!

Я был потрясен: сделали меня дураком, к тому же еще и вещим!

— А козюлька-то настоящая была?

— Козюлька-то настоящая! На это они денег не жалеют! То есть ты был бы сейчас труп!

— Что-то я не заметил, чтоб ты мне помог!

— Нет уж! Пусть они думают, что я на них пашу! — зловеще усмехнулся Петр.

Да, доказательство было бы убедительное. Если бы не Шварц. А может, это природный ежик? Нет, он же явственно матерился.

— Ну так ты с нами или нет?

— Пряма глаза разбегаются! — сказал я.

— Тебе этого, — назад указал большим пальцем, — мало еще?

— Нет. Этого мне много. Чувствую некоторую слабость.

— Не время сейчас слабость чувствовать! На карту поставлено все.

На какую карту-то?

— Сейчас кореец будет дождь вызывать, — сказал я.

— Корейца мы взяли, слава богу. Сидит. А мы сами вообще можем что-либо или нет?

— ...В каком смысле?

— А хоть бы в каком!

— На стадион я не пойду больше.

— Пойдешь! Если дождь сделаешь — Гера озолотит тебя. До самого верха с ним дойдете!

— Туда? — Я показал пальцем в небо.

— ...Может, и туда, — прошептал он. — Останови!

Машина остановилась, и те же крепкие хлопцы впихнули в машину Жоза, почему-то с разбитой мордой. Да, имиджмейкеры трудятся не покладая рук.

— Вот еще один непонятливый, — проговорил Петр. — С вами добром пытаешься, а получается кровь. Ведь святое дело делаем! Общее!

Общее с кем?

— Ну ладно. Слушай меня, — заговорил Петр деловито. — Выведут вас в наручниках. Рожи разбитые...

Он сказал — «рожи»? Я не ослышался?

— Народ вас поддержит.

А кто его знает, этот народ.

— Может, еще стреножить нас? — проговорил Жоз дерзко.

— А чем ты будешь мяч вести?

— ..! — ответил Жоз.

Но по лицу неожиданно получил я.

— Я сделаю из тебя человека! Кровь из носа! — сообщил мне Петр.

Это уже есть.

— И с него ты пример не бери! Он сам уже с себя пример брать не хочет! Правильно, Жоз?

— ...Правильно, — хмуро ответил тот.

— А ты выйдешь в повязке. — Имиджмейкер повернулся ко мне: — И что она в крови будет немного — это даже хорошо!

Это даже отлично.

— Но сорвешь ее! И, смело ею размахивая, побежишь в центр поля.

— В наручниках буду размахивать-то?

— Ладно. Тогда без них.

— Тогда и он, — я указал на Жоза, — без них.

— Кто же тогда на трибунах переживать-то за вас будет? — вздохнул Петр. — А выше? — Он показал пальцем — ...Тем более! Есть в вас что-то святое или нет? — воскликнул он. — Работать с вами — вспотеешь материться! И проигрывать будете: понял, нет? — Он поднес кулак к носу Жоза. — Чтоб вчерашних шуток не повторял. Проигрывать будете с треском! — Он потряс кулаком — ...И тогда, если есть у людей души и если Он хоть чуть их слышит, — хлынет дождь! Да еще какой! И судья матч отменит. Ему проплачено. Ясно все? — Грозно, но весело он глянул на нас. — Второе пришествие фактически делаем! — торжественно произнес он. — Иди с ними в раздевалку, — сказал он водителю. — Я, тьфу, тьфу, сглазить боюсь! Этому, — на меня указал, — надень тоже командные трусы. Чтобы он тоже ассоциировался, — (грамотный имиджмейкер, а с трудом выговорил), — с нашей командой. Ну... идите! — Он стер непрошеную слезу. — ...Родина вам доверила, — хрипло произнес он. И повязал мне полотенце, утыканное терниями.

Загнали Бога в западню? Ну нет уж!

— Понял, — сказал шофер. — Выходи.

— Р-р-р-я! — азартно выкрикнул Жоз.

...Очевидно, что-то не поняли мы. Выскочили с Жозом на поле, размахивая атласными форменными трусами, и более никакой одежды на нас не оказалось. Я, впрочем, был не совсем гол: прихваченный полотенцем, болтался рулон обоев — приличия мы все ж таки соблюдали! Трибуны встретили нас овацией... Наконец-то победа! Мы обежали полный круг, и тут-то, опомнившись, нас стала ловить милиция, но от нее мы отбились. Им главное было — выкинуть нас со стадиона. Удалось затеряться в народе. Бомжи помогли нам переодеться к ужину...

Ночевали мы с Жозом на Морвокзале, из-за которого, в общем, все это и началось. Тут тоже победа полная: народ ночевал теперь абсолютно свободно, я бы сказал, чересчур — даже лежа на батареях. Нам, фактическим освободителям, нашли местечко только лишь в туалете, в углу, на кафеле, на полу. Grimасы свободы. Спалось не особенно сладко, душили запахи — и мысли. Конечно, не все произошло так, как мечталось, хотя все сбылось. Но как-то не думал я, что окажусь тут в такой роли... В какой?! Дождя, естественно, не было — даже вода в туалете прекратилась. Лежи уж на завоеванном месте, а то и это займут! По-братски расстелив обои, мы задремали. Но кое-что отвлекало! Не то, что вы думаете, — это как раз естественно тут. Странно другое — тоже веяние времени, жесткое коммерческое использование площадей, — по-нашему, по-капиталистически, даже в уборной теперь стояли игровые автоматы, у стенки, свободной от писсуаров. И автоматы эти, что удивительно, вызывали ажиотаж значительно больший, чем те, что были в зале ожидания, — какие-то коммерческие тонкости... Люди ерзали на маленьких стульчиках, лупили по клавишам, зыркали на экране. Там открывались карты: тройки, семерки, дамы.

Мы с Жозом ворочались. Конечно, можно было заночевать в степи, но — за что боролись?

— ...Мимо! Семен, у тебя сколько?

— Девяносто. А у тебя?

— Сто десять!

— Да. Похоже, тут нечего больше ловить.

Что интересно, эта пагубная страсть охомутала людей самых разных: и зачуханного интеллигента, и вальяжного бизнесмена, и стриженного амбала.

— Ну что... пошли, что ли?

— Мне некуда отсюда идти!

Интересное признание из уст вальяжного бизнесмена!

— Говорили, тут можно еще!

— Кто говорил-то?

— Кто — кто! Ерема, кто же еще!

— Так где же он, сученыш!

— ...Обещал.

Разговор про Ерему возобновлялся каждые пять минут. Какой же он, Ерема? Я уже не замечал неудобств. Когда-то я и сам блистал в этой отрасли — но потом, тщеславно возомнив себя литератором, отказался от этой малины ради Буквы. И чего достиг?

— Так где же он? — общий стон.

К сожалению, не обо мне. Все они, попавшие в одну беду, жадно ждали какого-то Ерему, а он все не шел. В моем распаленном воображении он представлялся уже высоколобым интеллектуалом, сияющим гением... И, видно, кичась своим величием, он пренебрегал нами, не шел к нам...

— Ну, Ерема! Ты даешь!

— Наконец-то!

Я протирал глаза кулаками — хотя на кафельном полу уснуть было трудно. Да-а-а! Явившись наконец, Ерема оказался изможденным, оборванным подростком лет двенадцати, явно детдомовского вида. Кочковатая, криво постриженная голова в пятнах зеленки, тонкие бледные руки торчат из тесной мятой курточки. Жидкие отечественные джинсы с вьющимися на обшлагае нитками. Однако величия его это не умаляло — наоборот, небрежность в одежде лишь подчеркивала его величие.

— Ерема! Глянь! — заскулили все наперебой.

Затягиваясь поганым чинариком, он неторопливо приблизился. Скучая, глянул на крайний автомат.

— Этот оставь. Пусто.

— Ну как же! — взвыл уважаемый бизнесмен. — Я же в тюрьму пойду! Я же думал...

— Иди, — произнес безжалостный виртуоз, уже приглядываясь к следующему автомату. Стукнул по клавише. — Тут половить можно.

Зачуханный интеллигент расцвел.

— Много не наловишь, — припечатал Ерема.

Но тот все равно сиял, тряс костлявую Еремину руку.

— Пусто, — проговорил Ерема, чуть глянув на следующий экранчик.

— Ерема! Ну погоди! Куда ж ты?

Этот юный Моцарт, похитивший у меня инструмент, когда-то рабски покорный мне, вызывал у меня восторг — и жгучую зависть: ни в одном деле я его славы не достиг!

К тому же за нами, кажется, пришли.

— Встать! — прогремело над нами.

— О! — Жоз поднял голову. — Вдруг откуда ни возьмись...

Мы кинулись к выходу, но и там нас ждали. Меня жестко отбили, как бильярдный шар, а Жоз — прорвался.

— Лови! — Высоко под потолком я кинул ему рулон обоев.

Пусть они долетят.

— Ты, Серж, не лютуй особенно-то! — посоветовал Петр.

Лысый Серж усмехнулся. И я сразу его вспомнил, хотя десять лет прошло с нашей встречи: Серж как раз был злой следователь, а Петр — тот добрый.

— Возьми... может, пригодится. — Заботливый Петр протянул ему мой «терновый венец».

— Кто же мне даст в наши дни особенно-то лютовать? — произнес Серж, и усмешка его ох как мне не понравилась. У него небось тоже «имиджмейкеры» уже наготове. — Поведение в общественном месте... с особым цинизмом... это еще не расстрел! — приободрил меня Серж. — Ну ладно... пошли. Там тебя один старый друг заждался.

Сердце екнуло. «Старый друг»? Неужели Жоза повязали? Но это не означает — «заждался». Кореец? Обрадовался: может, несколько моих строк на корейский переведет?.. Нет, оптимизм твой неизлечим! — понял я, пока шли мы по глухому коридору. Наверяд ли... Так кто же тогда, лицемерно себя спрашивал, хотя уже, в общем, догадывался кто.

Затхлая камера. С нижней шконки (так называется в тюрьмах приспособление для сна) свисала мощная голая рука с буквами.

— Ну что, совсем уже забыл Геру?

— ...Н-нет.

Гера, сонно щурясь, уселся на шконке, злобно глядел на Сержа.

— Ты что вообще лепишь? Я тебе велел его посадить, — кивнул на меня, — а ты что же? Меня сюда? Совсем, что ли?

— А это чтобы вам беседовать было сподручнее! — Серж улыбнулся. — А за тебя, Гера, отдельно заплачено! Кстати, — он повернулся ко мне, — что там у вас творится? Где транш?

— Вот тебе транш! — Гера мощной рукой врезал Сержу.

Тот отлетел в угол камеры, сполз по стенке, но повел себя, в общем-то, миролюбиво, пробормотав только:

— Ты не очень-то.

— Ладно... иди. — Гера выхватил у него из рук мою «плащаницу с терниями», кинул на шконку, повернулся ко мне. Серж вышел, обиженно сморкаясь.

— Ну что... будешь работать на меня? — спросил Гера задумчиво.

— Н-нет.

— Зря! Нам сейчас хорошие люди во как нужны!

— Зачем?!

— ...Тайна, понял?

— Нет. Не могу.

— Брезгуешь?

— Нет! Просто... меня телемагнат перекупил. Вот.

— Врешь, сука! Тебя невозможно купить!.. И знаешь почему?

— ...Почему?

— Потому что ты ни хрена не стоишь!

— Вот видишь? — обрадовался я. — Так зачем я тебе?

— ...А чтоб было! — Гера взял со шконки полотенце, несколько раз «выстрелил» им, растянув в своих лапах. — Ничего, что с колючками?

— ...Но должен же быть какой-то прогресс! — сказал я.

— Вот. Люблю тебя за это, — проговорил он и, опустив полотенце в унитаз, повернул «барашек». Вытащил, стряхнул.

— А помнишь... у тебя друг был... Где он? — спросил я дрожащим голосом.

— В могиле, — равнодушно ответил Гера. — А с тобой мы поднимаемся — ого-го! Ну... делать? — Он бережно поднес полотенце к лицу, как заботливый парикмахер подносит компресс...

Кто-то глупо сказал, что второй раз трагедия повторяется в виде фарса. Нет, я глядел в тухлые его глазки: к фарсу он явно не способен. Да, в тот раз Гера был исполнителем, исполнял чужой и даже вынужденный заказ, а теперь он сам и исполнитель, и заказчик «проекта» — так что сделает от души!

— Чужие слова на тебя не действуют — ты свои только слышишь! Так что мы более надежный способ испробуем! — Он стал затягивать на моем лице полотенце. — Ну... пойдешь с нами? — Чуть-чуть ослабил.

— Куда?! — страстно промычал я.

Гера, устыдившись минутной своей слабости, стянул так, что хрящи захрустели.

— Ладно, — пробормотал он. — Ты сперва испекись маленько... А потом погутаим.

Исчез в наступившем мраке.

Стала сдавливать боль. Вспомни, чем ты спасался тогда? Буквами, чем же еще? Чем же еще ты можешь спастись?! Умыцкий. Бульдоцкий. Максим Канистров. Мамкер. Валерий По! Все, оказывается, тут остались в моей, хоть и уменьшенной, голове. ...Блукаев. Гунун. Ядоха. Горпеня... Все со мной тут... Не бросили друга! Слезы изнутри обмочили полотенце: по горячей температуре их определил.

Мистер Дутс. Нафталахов. Цвиримба! Все тут! Бжхва. Ущельев.

Хватит ли до рассвета?

Узеев, Пужной, Мхбрах! Граф Поскотини. Ресничко... Гниюшкин...

Все, боль распугала всех! Разбежались.

Зато главный друг тут.

— Ну как ты чувствуешь себя? — заботливый вопрос Геры.

— Ничего. Нормально.

— Если что будет нужно — ты скажи.

— Обязательно.

Маша Котофеева пришла, своею лаской обдала. Ротмистр Полотенцев, Кьерк-Егоров. Успрыгин. Вольноплясов. Сферидзе.

— Выходи.

— Минутку...

Успрау, Закивак, Иван Мертвецовский (чуть-чур-чур), Аркадий Бац. Леня Швах и Максим Свинк (эти у меня математики), Двусмертян, Кленкина...

— Выходишь или нет?

— Иду. Извините... не вижу ничего.

— Пора уж знать на ощупь! — реплика Сержа.

И — запах моря! И резкий, я бы сказал, показательный срыв «лицевой обмотки» с хари... могли бы помедленнее, помягчей — но не так эффектно!

С «портянкой» в откинутой руке, немного напоминая фокусника, стоял прогрессивный генерал, тот же, что и десятилетие назад, но теперь уже — министр! Снова «кстати» тут оказался! Яростный взгляд на Сержа:

— Вы позорите звание чекиста! Сейчас не прежние времена!

Интересная у нас жизнь! Все время говорят, что не прежние времена, а потом они опять оказываются прежними! Петр, приоткрыв дверцу машины, приглашает к сотрудничеству. Нет!

МБЧ, как шарик ртути, не мог стоять на месте. Бегал туда-сюда, нетерпеливо взглядывал на небо.

— Ну? — пробормотал МБЧ.

Я поднял свое воспаленное, растерзанное лицо... Прохладная капля на лоб! Потом — на щеку! Заплакал Он! Все-таки довели!

Ясно, понял я. Он дает все. Значит, наша задача — ограничивать себя! Но никак сейчас было не ограничить. Каждая холодная капля была блаженством. Вот сюда, пожалуйста... чуть поворачивал свою личность. Спасибо!

— Опять он думает только о себе! — голос Кира.

Я открыл глаза. Дождь рухнул стеной. Пожалуйста. Мне не жалко.

— По машинам! — разнеслось.

Министр и МБЧ уехали. Сварганили дело!

— Надо бы во Храм войти... на всякий случай. Поблагодарить все-таки! — укоризненный голос Кира.

— Нет! — грубо ответил я.

— Но хоть что-то святое есть у тебя? — вздохнул Кир.

— Все тебе отдал!

— Нет... зайти надо! — произнес Петр уверенно.

Не отстанет! Теперь тем более!

С ними — в Храм? Ну разве что по-быстрому.

Храм изнутри медленно реставрировался... но очень уж медленно. Да я и сам не ахти!

— Смотри-ка — он не крестится! — язвил Кир. — Рука не поднимается?

— Видно, камень в ней держит! — кротко произнес Петр.

— Ну, — произнес я. — ...Выходим?

— Не нравится ему.

Дождь разошелся, летел какими-то порывами — словно это Он Сам рыдал.

— Ладно... садись. — Петр отомкнул машину. — Отвезу давай... Надо тебе отдохнуть! Завтра будет круто.

В этом я не уверен.

Мы с трудом ехали по серпантину — вода шла вниз метровым слоем вперемешку с грязью.

— Видно, склон, бля, размыло! — яростно двигая рычагами, бормотал Петро. — Ну удружил! — Не меня ли он имел в виду? Было не ясно.

Парк Переходного Периода смыло начисто!

С трудом доплыли, как подводная лодка, до родной базы. Ворота с трудом открылись: вода вся ушла, грязь густела. Все Духовное Возрождение залило грязью, даже наш офис: компьютеры и телефоны — словно из глиняного века. Ретранслятор на склоне сдуло, он валялся, как опрокинутый треножник, тарелушки с него раскатились. Видимо, это означало: хватит!

Радостный МБЧ бегал по офису, голый, покрытый засыхающей глиной.

— Во, в жилу! — радостно вопил он, шлепая себя по голому пузику. — Грязь-то лечебная! Во сила! — Шлепок, брызги во все стороны. — Мы тут такое устроим! — Он обмазывал себя всего грязью, даже из остатков волос соорудил рожки. — Ты с нами, надеюсь?

— ...Не знаю.

— Ты молоток! — пихнул меня грязной ладонью. — Так и держи! Ни-кому не подавайся!

— Я, наоборот, вроде бы всем поддался.

— Вот за это мы и любим тебя! — произнес он строго и стал звонить кому-то по глиняному телефону: — Приезжай, быстро!.. Ты понял? Не пожалеешь, говорю!

Я тоже почувствовал себя гордым. Как правильно говорил великий Мичурин: «Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее — наша задача». Взяли! Вот он, ужас победы!

Петро убыл на глиняной машине, и я поспешил воспользоваться неожиданной свободой, подошел к своему окну... Светелка занята, вероятно?

— Эй! — крикнул я неуверенно.

Выглянул голый (по крайней мере по пояс — точно!) Жоз.

— А...

— Чего там делаете?

— А... — ответил Жоз вяло. — Половой акт ведем.

— А. Ну тогда хорошо.

— Чего хорошего-то? — Жоз зевнул. — Сейчас спустимся.

Они с Соней, оба явно чем-то недовольные, спустились.

— Ну, — сказал я. — ...Может быть, больше не увидимся!

— Ушел-таки, сволочь! — улыбнулась Соня.

— Иди отсюда! — сурово рявкнул Жоз.

— Нет, это ты иди! — пихнула его Соня. — Мне еще все это безобразия, — обвела все взглядом, — надо расписать!

— Ну... будь здоров! — Она неожиданно щелкнула меня по совершенно неожиданному месту и, улыбнувшись, ушла наверх.

— Тоже мне... пиардесса! — Жоз страстно глядел ей вслед. — ...Вчера об нее зуб сломал! — вдруг поделился он.

— Замечательно!

— Ладно...

Мы обнялись.

— погоди! — Вдруг Жоз спохватился: — У меня для тебя подарочек! Сквозь бои пронес!

Неужто?

Есть Бог! Жоз появился в окне с рулоном в руках.

— Надоел уже мне. Но в степи — им укрывался. Этот продать просил! Вот хрен ему!

Кто «этот», я не стал уточнять. Поймал рулон.

— Сейчас спущусь к тебе! — пообещал Жоз, но так и не спустился.

Вот и слава богу! Я взял рулон под мышку, сел на мокрую глину и покати. Глиняный бобслей. Во как кидает!

Навстречу, екая селезенкой, все более покрываясь грязью, скакала Буква с телемагнатом на спине. Телемагнат кричал по телефону:

— Ну!.. Ну!

Жива Буква, значит! Так я и знал! Обрадовался. Но в ногах телемагната долго она не протянет. Скинет его?!

Скрылись за поворотом — то ли я, то ли она.

Разогнавшись, чуть-чуть только подруливая, въехал на ракетную базу, никто не остановил. Тут тоже все залито — не до меня.

— О! — воскликнул вахтенный, тот самый бледно-рыжий матрос. — Явился? А мы скучаем за тобой!

— Поглядеть можно? — Я кивнул на трубу.

— Тебе твое семейство? Координаты вроде есть! — пощелкал на компьютере. — Давай.

Я прильнул к окулярам. Опять к чему-то успел. Жена стоит перед синим умывальником, прибитым к высокой сосне, и кто-то ей из-за кадра протягивает руку с письмом... Причем обшлаг какой-то форменный... Почтальоны вроде не в форме у нас?

— Пошире нельзя?

— Сделаем!

Не почтальон это — милиционер! Душа рухнула. Видно, какую-то повестку вручает. Кому? Мне? И там уже поджидают? Или кому-то из них? Что они там натворили?

Жена, как всегда ни о чем плохом не догадываясь, радостно улыбается мильтону... и тот, что интересно, тоже улыбается. Она показывает ему пальцы — мол, извините, мокрые, не могу взять конверт. Встряхивает руками смеясь. С пальцев летят золотые капли. Протягивает наконец руку к письму. Берет. Благодарит радостно — ни о чем таком не догадываясь. Из леса выходит дочка с корзинкой — и тоже улыбается.

Жена разрывает конверт — и лицо ее застывает. Слеза потекла. Утирает маленьким кулачком.

— Слушай! — отлипнув от потных присосок, повернулся к рыжему. — А забросить меня туда нельзя? Срочно надо!

— Сделаем! — улыбается он. — Ты ребятам понравился. Главное, что без понтов. Для тебя сделаем! Учебной ракетой! Помягче сделаем — в воду опустим тебя, около Кронштадта. Лады?

— Куда идти?

Стали спускаться.

— А... сотрясения не боишься?

— Чего?

— ...Всего.

— Не боюсь!

Учебной так учебной! Век живи — век учись.

И вот я уже бегу по Финскому заливу, по мелкой воде, выбивая ногами протуберанцы. Вот за тем мысом — дача.

Они неподвижно сидели на скамейке, горестно глядя в письмо. Я выхватил его, запыхавшись, сел рядом.

— Ты? — воскликнула жена.

— Я, кто же еще?

«В связи с предстоящим капитальным ремонтом ведомственных дач, принадлежащих Дачному тресту, уведомляем Вас о необходимости освободить занимаемые Вами помещения. Просим Вас сделать это немедленно по получении этой бумани».

«Бумани»? Я не верил своим глазам. «Бумани»! Все-таки Он улыбнулся! Я держал письмо перед ними.

— Смотрите — тут написано: «бумани»! — Дочь засмеялась.

Ну что же — все верно. Лишь Букву ты просил у Него — лишь Букву и получил!

Пошел золотой дождь.

Бог покажется только дождем,
Не окажется больше ничем.
Потому-то Его мы и ждем так спокойно:
Он нравится всем.

После, когда мы съели лапшу с обоев, снова проблема возникла: что есть?

Киру позвонил: мол, работы не найдется? Что-нибудь типа высокого оправдания обрушивания метро.

— Да нет, — Кир со вздохом ответил. — У нас принципиальность сейчас в дефиците. По-моему, ты не слишком уважаешь ее?

— Вот черт! А я-то думал — вам как раз беспринципность требуется!

— Нет, этого здесь хватает! — вздохнул Кир. — Извини, я немного занят — заканчиваю годовой доклад.

— Ну, счастливо!

Все крупное — у них! Только мелочи остались у нас!

Джафар меня в свою забегаловку все же взял — старые блюда по-новому переименовывать, — но требует теперь большей художественности: книг начитался. Салат «Закат»! И когда я стою теперь на раздаче, клиентов зазывая, заведующая производством Зинаида Петровна привечает меня так: «А-а-а. Сегодня этот стоит! Значит, у попрошайек не будет проблем!» Но почему-то не прогоняет.

Недавно ехал я в метро и вдруг увидел прелестную сцену: вошли двое подвыпивших парней и, рухнув на сиденье, заснули полуобнявшись. Но было это не просто так: один спал с высоко поднятой рукой, и в ней, как копьё Георгия Победоносца, сияла ручка! У второго, который сполз чуть ниже, был в вытянутой руке... журнал с кроссвордом. Композиция эта не уступала Лаокоону: вот сейчас ребята немного передохнут и продолжат свой интеллектуальный подвиг!

Весь вагон был счастлив, глядя на них.

Да-а-а, давно Ты не радовал меня, был суров — и, видимо, справедливо... И вдруг сразу — такой подарок... Балуеть, Батя!

Вот и длится Его торжество,
Никаких не встречая помех, —
Потому что Он радует всех.
Даже тех, кто не верит в Него.



ИЛЬЯ ПЛОХИХ

*

ЭКСПЕДИЦИЯ

* *
*

Я, добывая деньги
знанием закона Ома,
сбором металлолома,
прочю ерундой,
все ж обладаю ухом,
чутким к каким-то волнам,
где-то в эфире темном
движущимся ордой.
Как археолог зорко,
через песок и глину,
кругло согнувши спину,
вдруг разглядев фрагмент,
спину не разгибает
больше, пока предмета —
вазы или скелета —
не извлечет на свет,
так, уловив обрывок,
хрупкий комок чего-то
выхватив из полета,
тщательно от трухи
чищу его и клею
с кисточкой и пинцетом.
Сам удивясь при этом,
я нахожу стихи.

Экспедиция

*Беспечным студентам
второй половины 80-х посвящается...*

В общежитье студенты
снаряжались за пивом,
собирали монеты
и посуду всем миром.

Не скрывали студенты
банок громкого звона,
несмотря на запреты
«сухого закона».

Плохих Илья Николаевич родился в 1965 году в Свердловске. По профессии инженер-электрик. Студент-заочник Литературного института им. А. М. Горького. Стихи публиковались в коллективном сборнике «Среда» (Челябинск), «Антологии уральской поэзии», журнале «Знамя». В «Новом мире» публикуется впервые.

Как по тропам Афгана
проходил караван.
Не стеснялись декана —
перетерпит декан.

Подпевая сигналам
атаманского свиста,
боевым барабаном
громычала канистра.

* *
*

Я дворник. Вот моя лопата.
Вот телогрейка, видишь, вата
видна в ее глубоких ранах.
Есть у меня крупа в карманах,

поскольку я зиме плачу
пшеном — заботой о синицах.
За елки праздничной свечу,
за иней на твоих ресницах.

* *
*

Мама!
Петь не могу.

В. В. Маяковский.

Мама, у меня драма,
мне нужно тебе открыться:
мне каждую ночь, мама,
девушка одна снится.

Кто — непонятно даже:
как-то не прояснились
черты, но одна и та же,
а раньше — разные снились.

Приветливей были лица,
сны — легкими, во хмелю,
а эта, мам, как приснится,
так говорит: «Не люблю».

Спокойно, мам, так и прямо.
Молвит — и тает в ночь.
А у меня сразу — яма:
сердце вынуто прочь.

Ты ворожишь, и травы
ты собираешь, мать,
дай мне такой отравы,
чтоб никогда не спать.

* *
*

Хорошо гулять с собакой
в нашем парке поутру,
веской палкой, сучковатой,
с ней поддерживать игру,

далеко в кусты бросая
и на длинные скачки
снисходительно взирая
сквозь солидные очки.

* *
*

Когда спаниели
выходят за двери,
не знаю я, птицы они
или звери:

если они разбегаются,
уши у них развеваются
и (наблюдаю сквозь пыль я)
двигаются, как крылья.

* *
*

Мы теряли ключи, мы теряли зонты,
мы считали ворон городской суеты,
но при этом совсем не считали потерь
и не знаем вообще-то, что делать теперь.

Потерялась любовь, где-то бродит одна,
позабывшая наши с тобой имена,
в мешанине вечерних огней и машин.
Отчего мы за нею скорей не спешим?

Потерялась любовь, где-то бродит одна,
заходя в совершенно чужие дома,
узнавая себя в стылых стеклах витрин.
Отчего мы на месте так долго стоим?

Потерялась любовь, где-то бродит одна.
Вот опять показалось, что это она
в уходящем метро промелькнула на миг,
но наш город для этого слишком велик.

Песня

По Волге в дни весенние
эскадрой на юга
уходят льды последние,
последняя шуга,

а в дымке различается,
что взмахами руки
к нам кто-то обращается
с той стороны реки.

Заброшены слободкою
обычные дела,
и каждый занят лодкою:
кипит в ведре смола,

и в дымке различается,
что взмахами руки
к нам кто-то обращается
с той стороны реки.

И в мыслях ясно грезится
от пристани стезя,
ведь очень нужно встретиться,
не встретиться — нельзя,

ведь в дымке различается,
что взмахами руки
к нам кто-то обращается
с той стороны реки.

Костры

1

Славный танец!
Станный танец.
Я еще не африканец,
но уже не европеец —
у костра ночного, греясь,
наша кружится орда.

Пламя жарящее близко,
не считая долей риска,
в черноту за искрой искра
улетают, в никуда.

Кем мы были?
Где мы жили?
Отчего мы позабыли
даже то, что так любили?
Неужели — навсегда?!

2

Просидели всю ночь у костра
первобытные брат и сестра.

Первобытные слушая трели,
в первобытное небо смотрели,

рассуждали о том, что есть доля
правды в Общей теории поля.

* *
*

С той стороны на Луне есть кратер,
названный в честь Пастера.
Там средь обломков комет и вмятин
темная есть пещера.

На фотоснимке ее глазница
благ не сулит нисколько,
но почему-то мне поселиться
хочется в ней — и только.

На островах в океане племя:
все как один — рахиты.
Там я на дочку вождя-пигмея
тайно имею виды.

Из каннибалов хотя девица,
кожей черна, как ночка,
я почему-то хочу жениться
только на ней — и точка.

Так что имею два интереса,
вкупе — одну химеру,
что согласится со мной принцесса
в кратер лететь, в пещеру.

* *
*

Ночью волк на светило молится,
излагая заботы вслух.
И луна для него — как Троица.
К основному инстинкту глух,
волк рискует семьей и логовом,
но нездешнему всякий раз
вновь поет о своем, о волковом,
и с прицелом в иконостас,
не имея, как люди, рученок,
мордой тянется, и зане
всякий волчий святой и мученик
умиляется в вышине.

* *
*

Нужно будет дождаться,
когда ты войдешь,
после этого взяться
с улыбкой за нож,
и вполне ощутить,
как велик его вес,
и себе прочертить
между ребер разрез,
а потом, полотенцем
заткнув эту брешь,
протянуть тебе сердце,
как яблоко:
ешь!



АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ

*

КУПАВНА

Роман

7

В Сибири и на Дальнем Востоке, на севере и на юге, в степях, в горах и в тайге Колюня, когда вырос, побывал, видел с обоих берегов и Тихий, и Атлантический океаны, изъездил пол-Европы и почти всю Америку, однако в Чили так и не попал, и загадочная, узкая эта страна, похожая на шпагу, острие которой пронзает пески самой безводной на планете пустыни Атакамы, а эфес упирается во льды Антарктиды, осталась им не узнанной. И хотя с годами страсть к пылающему континенту и его героям стала казаться смешной и жалкой, мечта однажды увидеть приворожившую в детстве землю томила душу уже вполне зрелого, патриотически настроенного и демократически мыслящего литератора. Она казалась неисполнимой, подобно мечте вытащить из хрустальных вод старого песчаного карьера зеркального карпа — но мало ли чего не бывает с человеком, о чем он только не смеет загадывать и какие невероятные, фантастические проекты не исполняются в его судьбе.

Так в те далекие, восторженные скаутские годы настало лето бабушкиного триумфа и реванша, когда именно ее худосочному, но по сезону загорелому внуку, срочно вызванному из Купавны звонком из Дворца пионеров, поручили после доброжелательного собеседования с главой пионерской организации и будущей главной женщиной страны Алевтиной Федуловой открывать Первый Международный детский фестиваль «Пусть всегда будет солнце!», а потом поехать в пионерский лагерь «Артек». Вместе с незнакомой тоненькой светлой девочкой с красивым удлинненным лицом и нежными смеющимися глазами, имя которой в памяти не сохранилось и которую в «Артек» почему-то не позвали, Колюнчик сначала долго и утомительно репетировал, а потом под аплодисменты шести тысяч детей нес по сцене Кремлевского Дворца съездов, куда его всего два года назад не допустили, символический золотой ключ от фестивальных врат.

С этим деревянным, покрытым желтой краской ключом, у которого во время генеральной репетиции отломился зубец и пришлось срочно зубец приклеивать и придерживать рукой, мальчика показывали по телевизору на всю огромную страну и на земли ее далеких и близких спутников. А назавтра малость подретушированная фотография, где в несчастное штучное изделие вцепилось человек десять специально подобранных разноцветных детей со всех континентов и Колюня среди них, была напечатана на первой странице «Пионерской правды», и все были счастливы, а больше всех бабушка.

В дачном домике телевизор давно сломался, и, надев выходную косынку с плывущим, как белая лебедь по синему шелку, крейсером «Аврора», Мария Анемподистовна ходила смотреть трансляцию в деревню к молочной тете Маше, у которой старший сын был алкоголиком, а младший закончил Бауманский институт, и одному Богу ведомо, о чем могла думать сгорбленная, маленькая деревенская старуха в белом платке, глядя на это кино. Дули губки, сплетничали и злословили купавнинские невестки, гадая, по какому благу Колюнчик попал в телевизор и чьим внуком для этого назвался, и даже пронизательный и всеведущий дядя Глеб отказывался поверить, что причиной всему была случайность, внезапная нехватка надежного ребенка пионерского возраста или, напротив, судьба, не подвластная мелким человеческим страстям, тщеславию, зависти и расчету и нуждавшаяся в новых преданиях и мифах, без которых захирела бы вся родовая сага, так что даже захоти родители устроить сыну карьеру, у них ничего бы не вышло.

Все это надо было для чего-то другого. Быть может, для того, чтобы несколько лет спустя, оказавшись в компании молодых бородатых людей, которые в Колюнины революционные годы собирались в селе Коломенском у реставратора Петра Дмитриевича Барановского и толковали о родной стране и старине, но совсем не так, как на уроках истории и географии в английской спецшколе, восстанавливали деревянные храмы, учились не по-советски, а по-русски смеяться и плакать, потянувшись к ним и почувствовав сердцем их правоту, повстречав в разговорах и прогулках по древним московским кладбищам и монастырям, по сырому Замоскворечью и засыпанной листьями Ивановской горке, в не прочитанных прежде книжках Лескова и эмигрантских изданиях Шмелева, в студенческих поездках в Кашин и Дмитров, в Кириллов и Киев, в пешем паломничестве в Троице-Сергиеву лавру и первых всенощных бдениях в Страстной четверг в тесноте Скорбященского храма на Ордынке очистившийся образ уже умершей к тому времени бабушки, Колюня испытал невероятный стыд, вспоминая космополитичное и атеистическое детство.

Дивный Дворец пионеров с его игротеками, кружками, хорами, киностудиями, зимним садом и стеклянным куполом над ним показался ему чудовищным призрачным местом, где детей ненавязчиво отучали от настоящей и неказенной родины, подзуживая ее ненавидеть и презирать. Он легко бы мог осыпать его проклятиями, а заодно задаться вопросом, кому это было выгодно и кто работал тогда в комитете молодежных организаций, Цэ-ка Вэ-эл-ка-эс-эме и прочих зловонных местах, какая только мразь, состоявшая из лавочников, спекулянтов и мародеров, не выходила с углового здания на Маросейке и Старой площади и впоследствии распродавала богатство Колюниной державы, но сделать так — значило бы упростить и измелчить прожитое, сведя все к одной плоскости, и отречение все равно бы не отменило того факта, что в душе прорастали плевелы, выдернуть которые невозможно, душе не навредив.

А кроме того, как бы ни был суров и непримирим ко всякой иностранщине повзрослевший и абстрактно русофильствовавший на новом витке сентиментального патриотизма Колюня, в его благодарной и непослушной памяти сохранился гул пестрой, разноголосой, разноязыкой толпы, бродившей по набережным Черного моря, куда перебрался из Москвы детский праздник, фейерверки теплых ночей, песни и пляски, карнавал, гомон, перепачканные сажей девичьи лица, ребячий смех, бодрый старичок Бенжамин Спок, по которому воспитывала детей и горя не знала огромная легкомысленная страна, радостное возбуждение, костры, и все это странное, удивительное прикосновение к многообразию и величию мира, здесь собравшегося, и неясное понимание, что славянский мальчик из дачного местечка под Москвой есть только крохотная частица людской вселенной.

Позднее сходное ощущение довелось купавнинцу пережить, когда он работал переводчиком колумбийской делегации на Фестивале молодежи и студентов в опустевшей летней Москве и так же мотался с одного мероприятия на другое, что-то доказывал, шутил, обсуждал нового, молодого и энергичного Генерального секретаря с пятном на голове, ходил на встречу с потрепанным Евтушенко, сидевшим в вышитой русской рубашке рядом с маленькой Никой Турбиной и глядевшим на всех насупленно и сердито; пил вино и ругался с пожилой, очарованной спокойной и тихой столицей поэтессой о реальном социализме и революции, слушал рассуждения зрелого вкрадчивого падре о религиозности советского народа, пришедшие католическому священнику на ум после посещения Мавзолея Ленина, в котором благодаря чужестранцам Колюня первый и единственный раз безо всякой очереди побывал, а до этого вести мальчика на поклон к вождю родители побоялись, должно быть помня о его детских страхах, а впрочем, идею хранить высокопоставленную мумию папа вообще не одобрял, хотя по обыкновению и не высказывал своего отношения к трупу вслух, — и где испанисту запомнился вполне живой и интеллигентный, все понимающий мужчина в офицерской форме с голубыми погонами госбезопасности, изящно и прудумованно помогавший застегивать перед входом в поганое капище пуговицы на чересчур открытом наряде одной из посетительниц — настоящей южноамериканской негритянки из прибрежного колумбийского города Кали, уже в пятнадцать лет способной свести с ума любого мужика, бескорыстно своими прелестями всех дразнившей и невероятно очарованной ловкостью холеных пальцев подземельного особиста.

А еще он увлекался и ускользал от другого, переодетого занудного молодого, большееротого и, по-видимому, более важного гэбиста, приставленного к их делегации и вызывавшего каждый вечер переводчиков к себе в номер для долгой беседы на предмет того, не замечали ли гиды подозрительного в поведении гостей из наркотической мафиозной страны, чей пороховой образ всего через несколько лет замаячил перед Колюниной державой.

— Нет, нет, — бормотал, слегка робея, *el interprete*¹, мечтая поскорее отправиться на прогулку с пусть не такой эффектной, как маленькая негритянка, но все равно хорошенькой и отзывчивой смуглой активисткой индейских кровей из молодежной революционной партии Кармен Маргаритой.

Однако необыкновенно похожий на одного из будущих президентов, если только это не был он сам, чекист томил душу, никуда не отпускал и разяснял беспечному студенту всю сложность работы с представителями и представительницами самой северной южноамериканской страны, с которой одной рукой Колюнино государство вело успешную торговлю троллейбусами, а другой поддерживало прямо или косвенно могучее партизанское движение в вечнозеленых горах, вследствие чего от переводчиков требовалось не переходить тонкую дипломатическую грань и не нарушать баланса государственных и партийных интересов.

Все это было действительно чрезвычайно важно и в дальнейшем отозвалось куда более ближней и кровавой новой горной войной, решительным человеком затеянной, однако кто мог тогда в возможность подобной нелепицы поверить? — и первым безалкогольным горбачевским летом влюбчивый двадцатидвухлетний юноша, отпущенный наконец на волю, беседовал с маленькой зеленоглазой партизанкой отнюдь не на политические, троллейбусные или военные темы, а изучал в убогом гостиничном номере отеля «Измайлово» испанские слова и любовные фразеологизмы, которые ни в университетских учебниках, ни тем более во Дворце пионе-

¹ Переводчик (*исп.*).

ров у прекрасной Елены Эммануиловны не встречались, и строил неосуществившиеся планы, как бы вывести узкую метиску хоть на один день в Купавенку и в благодарность за нежные и умелые уроки показать ей настоящую Россию.

Суровый русофил в Колюниной башке заставлял пустомелю интернационалиста от сомнительного мемуарного груза и места выбора подлинной Руси отказаться, тянул ленивого и размягченного двойника к надменному аскетизму и твердил, что хотя Чили и Колумбия не одно и то же, и было в той детской страстности и готовности отдать жизнь за далекого чужого что-то от евангельского «за други своя» неподдельное и благородное, хотя был по-русски человеком чести великодушный идалго Альенде, и не случайно именно эту страну, ее шахтеров, рыбаков, крестьян, поэтов, певцов, удивительных женщин и их великого президента запечатлел карандашом и маслом тогдашний идеолог русского движения Илья Глазунов, у которого на квартире близ Арбата кто только не собирался и не находил приюта, в том числе и самый любимый Колюнин писатель, — несмотря на все — грустная вещь вспоминать, как тебя лишали твоей собственной родины, ее лица, музыки, родной речи, веры, а в сущности, и самого детства, превратив в посмешище и чучело, да еще увековечив это превращение в детской газете с ее многомиллионным тиражом.

Стыдно сознаваться, что все детство он мечтал поменять и имя, и дурацкую круглую русскую внешность, посмуглеть физиономией и почеркнуть волосами, назвавшись на сей раз Альбертом в честь корвалановского сына. Но другой, дурашливый и до всего любопытный переводчик внутреннего комиссара не слушал, глядел со смехом на детские фотки и забавы, разбирал кидовский архив, листал тетрадки и дневники, припоминая горький вкус колумбийского кофе без сахара по рецепту одинокого полковника Аурельяно Буэндиа, по-русски веснушчатую, темноокою чилийскую девочку Валентину, нареченную в честь первой земной космонавтки, и свою очередную безнадежную влюбленность, потому что после артековского медового месяца Валентина уехала в Прагу, где проживала с отцом, представителем чилийской компартии товарищем Уго Санчесом в хорошо известном нашему мальчику журнале «Проблемы мира и социализма».

Он помнил и ее, и толстого незрячего негра, председателя стойкой, не замешанной ни в оппортунизме, ни в ревизионизме американской компартии Генри Уинстона, и страшного бабника, американского же эмигранта певца Дина Рида, стиравшего перед посольством в Сантьяго звездно-полосатый флаг, величественную чернокожую красавицу Анджелу Дэвис и улыбчивых, безликих не то камбоджийских, не то лаосских товарищей, а еще задумчивого безымянного седого аргентинца, которого водил с экскурсией по Дворцу пионеров, и на прощанье гаучо подарил вышколенному гиду открытку с видом великолепного ночного Буэнос-Айреса, а на обороте написал: «Однажды ты станешь коммунистом и поймешь, что нет большего счастья, чем отдать жизнь за свободу своего народа». И хотя коммунистом Колюня так и не стал, все равно не жалел, что все это ему не приснилось, но было наяву.

Увлекательное занятие искать тех, кто плел вокруг моего героя заговоры и интриги, соблазнял, шантажировал, подкупал, вовлекал в свои тайные ложи и пытался использовать в нечистых целях; логично предъявлять им запоздалый счет, объясняя их ядовитым влиянием его переменчивость и шаткость, забавно вспоминать, как, рожденный на демографическом всплеске для счастливой жизни при коммунизме, подросток из правоверной партийной семьи ломал голову над словами влюбленных в чилийских террористов двух отчаянных девочек, компаньерш Санчеса и Рохаса из кружка испанского языка, запальчиво заявивших однажды своему невинному одноклубнику камараде Альберто, что родная их сторонюшка еще хуже пиночетовской Чили, а политзаключенных и страшных лагерей в ней

будет наверняка, ох, поболее, чем во всей Латамерике, и вообще ничем она не лучше, чем была при царях. А посему, если уж так приспичило ему освободить униженных и угнетенных, то начинать надо отсюда.

Презрев длинный эскалатор, они спускались по крутому склону Ленинских гор к тогда еще не закрытой станции метро невдалеке от места, где давали клятву первые кидовцы империи Герцен и Огарев, и по-хорошему с девицами друживший, готовый взять их в своих электрических фантазиях за линию невидимого фронта, чтобы всем вместе заделать на другом краю земли р-революцию, Колюнчик опешил и не находил слов. Он не понимал, как можно даже сравнивать фашистский бесчеловечный режим, а тем более ужасную эпоху царизма с его вот уже шестьдесят лет как человеколюбивой, пусть даже немножко скучной, заплесневелой, но все равно самой прогрессивной и свободной советской страной, где встречались отдельные недостатки и отдельные нехорошие люди, но изменить светлой сущности Родины они не могли, отгонял прочь лукавые мысли и приписывал злопыхательство девичьей звонкой дурусти, но что-то грызло его, недомолвки, маленькие неточности, ставившие под сомнение все грандиозное и стройное сооружение окружающего мира, которому верой и правдой, не рассуждая, служил Колюнин отец, к которому приспособился и научился извлекать маленькую пользу один дядюшка и из-за которого погибал другой.

— А члена КПСС знаешь как зовут? — не отставала развязная, с обветренным лицом и вечной лихорадкой на влажных чувственных губах грубоватая Санчес, которую Колюнина непроходимая девственность и пионерская тупость по-женски злили.

— Какого члена?

— Любого! — хмыкнула она и торжествующе выпалила: — Ка-пэ-эсэ-совец!

Тотчас же он подумал об отце и почувствовал себя лично задетым, как давным-давно в автозаводском детсадишке, где, играя в Октябрьскую революцию, никто из пролетарских детей почему-то не хотел быть Лениным и где какой-нибудь злой и глупый мальчишка подхватывал фразу, начинавшуюся с «а мой папа», и орал во всю глотку: «Работает в гестапо!» Тогда у маленького купавнинца, говорившего о своем отце без конца, сжимались кулачки, он бросался на обидчика и бился до крови — но не драться же было «guerillero»² с девчонкой, как когда-то дрался на зеленой дачной улице на потеху пятнадцатилетним пацанам Колюня с пухлой Иришкой.

Она была гораздо неприятней той темноволосой самолюбивой дачной девочки, эта глупая, насмешливая и злая Санчес в американских джинсах, курящая сигареты и жующая американскую жвачку, она дразнила его и надсмехалась, и еще не догадывающийся о будущей индианке Маргарите Колюня не понимал, что находили в ней смуглые латины, отчего вертелись вокруг и провожали до дому вместо того, чтобы потолковать с серьезным человеком про чилийское подполье и работу классика «Детская болезнь левизны...», а ей ни Чили, ни революция, ни Че нужны не были, и искала она здесь другого — но да что про нее говорить? — он ведь и сам против воли замечал неладное.

Почему в Центральном комитете комсомола, куда Колюню однажды позвали в числе наиболее отличившихся кидовцев и он гордо нацепил свой лучший самодельный коллекционный значок с ликом Сальвадора Альенде, жирный молодой начальник с синими, как гэбистские погоны, круглыми глазками презрительно посмотрел на вытянувшегося пионера и брезгливо ткнул в детскую гордость на лацкане потертого школьного пиджачка:

² Партизану (исп.).

— Это еще что? Немедленно снять!

Почему в пионерском лагере «Артек», куда мальчика отправили в награду за безупречно сыгранную роль счастливого советского ребенка, начальник дружины «Лесная», заслуженный пионервожатый всяя Руси, подготовил с детьми композицию в честь страдающего народа Чили, и измученные репетициями вместо утренних морских купаний дети стояли вокруг Колюниного любимого трехцветного флага с белой звездой, а потом весь «Артек» собрался смотреть спектакль, и зрелище получилось волнующим и прекрасным; продирая ребячьи сердца, начальник-профессионал был доволен, им долго хлопали и хором кричали: «Венсеремос!»³, а через несколько дней в лагерь привезли «Пионерскую правду» с репортажем о фестивальных буднях и в том числе об их лицедействе, — так вот, почему вместо чилийского флага на фотографии в газете оказалось нежданно-неожиданно красное советское знамя с желтым серпом и молотом, к которому и тянул разноцветные руки детский интернационал?

Быть может, так было надо, правильно и нужно из высших государственных и партийных соображений, быть может, ради подобной фотки и было затеяно дорогостоящее мероприятие с фейерверками на деньги, отнятые у вологодских крестьян, и циничный пионерский начальник, презрительно говоривший вожатым во время подготовки к митингу, пусть, дескать, латины поорут, пар повыпускают, совершил политическую ошибку, объединив детей вокруг не того флага, или оказался, например, дальтоником, а то и вовсе не государственно мыслящим человеком — но зачем же лгать и передергивать, для чего подменять знамена и что могли подумать несоветские, ко всему привычные детки в клетке, но чистые сердцем, лишенные родины чилийцы, которым и вожатые, и дети стыдились глядеть в глаза?

А с другой стороны, если Колюнина страна лучшая на Земле, то как же получается, что чилийская девочка Валентина может путешествовать с родителями по миру, а для Колюни и его семьи закрыты все города и страны, находящиеся за жирной линией на сестриной карте, и величайшим достижением считались мамины поездки в Польшу и Чехословакию, где, пройдя десяток собеседований в парткомах и райкомах, школьная учительница преподавала летом русский язык как иностранный, а и папа, и бабушка, и дети и вовсе были этого лишены?

8

Еще больше усилились терзания недотепы после того, как чья-то умная голова устроила в КИДе встречу со стареньким поэтом Алексеем Эйсером, приятелем Марины Цветаевой и ветераном испанской войны. То, что увезенный в юном возрасте родителями сразу после революции во Францию, поднявшийся там похлеще Колюнчика на дрожжах коммунистических бреден, ринувшийся в Испанию на гражданскую войну и, наконец, отправившийся из нее в ни разу не виданный им, но заранее обожаемый Эс-эс-эс-эр доброволец Двенадцатой интернациональной бригады и личный адъютант генерала Лукача отсидел по приезде на неласковую историческую Родину пятнадцатилетний срок, пригласившие в расчет не приняли. Зато сам приглашенный помнил хорошо, и, когда официальная часть встречи, посвященная неудачной иберийской кампании и легендарному венгерскому генералу Мате Залке, окончилась и вокруг остались самые любопытные и дотошные детишки, семидесятилетний холерик понес красногалстучным слушателям про их великую страну и ее героическое прошлое такое, отчего запылало революционной гвоздикой все Колюнино личико.

³ Мы победим (исп.).

Это были не две глупые, нахватавшиеся чужих слов девицы — вспльчивый и желчный человек, похожий на безумного изобретателя детских игр, тети Музиного мужа Давида Ивановича, произносивший во дни молодости коммунистические речи на всех парижских перекрестках, а потом с ужасом от них отрекшийся, знал, что говорил, и ему, по-видимому, уже нечего было терять и некого бояться, а ошарашенный вид мальчика, в котором легко мог узнать Эйснер себя самого полувековой давности, бывшего зека лишь распаял. Его спрашивали про Хемингуэя и Эренбурга, но он отмахивался и глядел на одного Колюню, ничего не видя, кроме расширенных детских глаз на бледном лице, и продолжал лупить про Колыму. Никто не мог старика остановить, и хорошо воспитанный домашний ребенок оказался застигнутым врасплох: он привык во всем слушаться взрослых и не подозревал, что среди них могут оказаться не просто больные люди, но настоящие враги, для которых в мире нет ничего святого: ни Коммунистической партии, ни пролетарского интернационализма, ни Всемирного национально-освободительного движения.

Надо было либо вставать и уходить, либо вступить за поругаемые яростным гостем ценности, но, как отличник на уроке, как обманутый любовник, пионер продолжал завороженно внимать рассказам про тюрьмы, аресты, пытки и лагеря на родной земле, не понимая, где находится, кого слушает, не снится ли ему это и как дальше жить, если все правда.

Когда же, задумчивый и смущенный, он вернулся в тот вечер домой, то не стал ничего рассказывать папе про странного запальчивого человека. Он не мог объяснить почему, боялся ли, что отец отругает его за молчание, или же испугался, что запретит ходить сыну в КИД, а того хуже, начнет выяснять, зачем позвали к детям антисоветчика, и устроит скандал на всю пионерскую республику, а может быть, просто родителя пожалел и не захотел вносить в его тихую душу смуту.

Эйснеровские рассказы отчасти совпадали с тем, о чем шептались на терраске бабушка с дядей Юрой, на что намекал в своей обыкновенной манере летними вечерами дядюшка Глеб, близко общавшийся со счастливым сидельцем профессором Первушиным и однажды рассказавший за бутылкой коньяка, как где-то не то в Забайкалье, не то на отрогах Верхоянского хребта видел идеально сохранившийся, точно мамонт в мерзлоте, заброшенный лагерь с бараками, проволокой и вышками. Но когда Колюня пытался прояснить намеки и узнать про тайное прошлое родной страны, вмешивалась бабушка, и дядюшка высокомерно отстранялся: пусть тебе твой папаша обо всем рассказывает! Но отец сомкнул уста и хранил тайну, как хранят люди горестные семейные предания, не желая раньше времени ранить детские души, а злобный и неприятный, нетерпеливый старичок, ничьего разрешения не спросивший, дождался своего часа и выдал на полную катушку, что знал.

Колюня чувствовал его правду лихорадочно бьющимся сердечком, хотя лучше бы Эйснер врал, не мучил прежде времени дурацкими вопросами, в которых надо было хочешь не хочешь разобраться. Душа сопротивлялась обману и страдала от неудобства, но рано извращенный, лукавый ум придумывал объяснения вроде того на площадке у ворот, где играли в «жопки». Прав был старичок или нет, его неправильная правда не сулила выгод, была опасна и вредна, и отравленный ядовитым воздухом подросток догадывался, что игра не закончилась, а просто стала более сложной и замысловатой, у нее изменились правила, и если он хочет отдохнуть в пионерском лагере у моря, пожимать руку товарищу Корвалану, если мечтает поехать на Кубу на Международный фестиваль молодежи и студентов, стать президентом КИДа, а это очень серьезная и ответственная должность, после которой ему дадут прекрасную характеристику в любой вуз, то должен нехитрые правила понимать и принимать. Ведь не чета же он двум распущенным девицам, которые ходили обнявшись с иностранцами,

а может быть, делали с ними что-нибудь похуже, о чем целомудренное, запуганное домашним бабьим царством тургеневское дитяtko просто страшилось думать, и не важно, что иностранцы были дружественными и приехали учиться в Высшую комсомольскую школу.

Давно пора повзрослеть и научиться понимать, кто наши друзья, а кто — только полудрузья, кому доверять можно, а кому не стоит. Ему внушали, что он способен все сделать и его искренность тому порукой, только для этого надо быть чуть поразборчивее в знакомствах и не слушать развесив уши обиженных судьбою злопыхателей, тем более его подружек исключили из КИДа и сообщили родителям и в школы, где они учились, об их позорном поведении, и сотрудница, отвечавшая за культурную работу во Дворце пионеров, больше в детских учреждениях не работала, а вот ему, Николаю, доверяют важные и ответственные дела.

Но на берегу Черного моря среди приехавших на халяву детей от расчетливого брака братских коммунистических и дружественных социалистических партий, хамоватых толстогубых негров и распущенных рыжих французиков и француженок с их рано пробудившейся чувственностью, вследствие чего сурьезные советские вожатые ходили ночами, как пограничники по берегу моря, с фонарями по корпусам и палатам и вытаскивали возмущенных, площадно ругавшихся парижаночек и прочих романских девочек из чужих кроватей, а после вызывали к себе довольных парней, но не устраивали им разноса, из лагеря не выгоняли, лишь пристрастно интересовались, не посрамили ли комсомольцы честь советских мужчин, тринадцатилетний Колюня, которому еще рано было братья за такие подвиги, ощущал невероятное томление в членах и не знал, как с этим томлением быть; среди тихих сыновей среднеазиатских председателей колхозов-миллионеров и шумливых кавказских князьков, вылезая из теплых, соленых вод, в которых плавали склизкие медузы, загораая под крымским солнышком на крупной морской гальке и перебирая влажные блестящие камушки в надежде найти дырявого «куриного бога» и повесить его на шею, смиренный житель невзрачной дачной местности затосковал по зеленому мутному Бисерову озеру и стал цепляться за его ускользающий образ.

Там, между темным Аю-Дагом и старым Гурзуфом, возле высокогорного артековского стадиона, словно жуткое мертвенное видение проплыло однажды перед Колюнчиком надменное лицо худенького, не по летам серьезного отрока, который не дарил старичкам на трибуне Мавзолея и в президиуме Дворца съездов цветы в толпе розовошеких совхерувимов, не кружился на танцах и не участвовал в массовках, вряд ли томился неутоленной тоской по девичьим нежности и теплу, но на высоких форумах звонким голосом читал пионерские приветствия Ленинскому Центральному Комитету и лично Леониду Ильичу, чей приезд со внучатами в Артек ожидался со дня на день.

Сладкозвучный отрок готовился к приезду дорогого клиента как к работе, и, видно, поэтому даже здесь, в образцовом лагере, с его немецкой дисциплиной и досаждавшим шефством, особенно в международную смену, находился на особом положении, с ним почтительно заговаривали вожатые и выполняли все пожелания, но все равно уберечь не уберегли. Уникальный ребенок простудил на крымской жаре уникальное горло, ему стали срочно подыскивать замену, и среди прочих выбор пал на проверенного в деле ключника.

Опыт декламации благодаря матушкиным литературно-музыкальным композициям у автозаводского чтеца имелся, но когда ему вручили слащавый текст приветствия и заставили озвучить, Колюня вдруг ощутил острый приступ стыда и замотал головой, не обращая внимания на то, что, большой и сильный, похожий на югославского актера Гойко Митича, игравшего индейцев в гэдээровских фильмах, добрый и обожаемый детьми вожатый Витя строго сказал:

— Так надо, Николай! — и печально подмигнул — дескать, все понимаю, это неприятно, но так надо, ты уж не подведи.

Но Колюнчик пятился все дальше к колючим и пыльным кустам южной акации, к серым камням, на которых грелись чуткие пестрые ящерицы, он не хотел такой судьбы, к которой его подталкивали взрослые люди, нацепившие на шею, словно дети, красные платки, покраснел и стал слабо выкрикивать: «Нет, нет, нельзя, я не буду, не смогу, нет!» — и его поспешили оставить в покое. А дурно воспитанный, по-партийной привычке всем «тыкающий» Леонид Ильич так в «Артек» и не прибыл, то ли закапризничали избалованные внучки, то ли узнал про Колюнин отказ и насупился сам, не дал больше на дорогостоящую игрушку партийных денег, потому что в стране не хватало на сахар и хлеб, и именно по этой причине Первый Международный фестиваль детей всей планеты так и стал последним и закатилась, как южное солнышко, блестящая карьера маленького кремлевского служки.

9

Но даже если бы Ильич уломал внучат, если бы превозмог обиду и прикатил, простил глупого мальчика — что б это изменило? Все равно у Колюни было противоядие — как в волшебной сказке от гусей-лебедей-орлят-выше солнца кислыми яблочками, молочным киселем и деревенским хлебом из говорящей русской печки, Купавна отпаивала его после выхлопных пионерских газов, и если бы много лет спустя он пошел на суд, где решалась ее судьба, и строгая, похожая на школьного завуча женщина в синем в полоску костюме попросила его дать свидетельские показания, он сказал бы, что превращенная из болота в сад, пусть даже и поделенная заборами и мешанством мешерская окраина не позволила ему скурвиться и загнить, когда все вокруг к тому подталкивало. Она оказалась его островком свободы посреди плененного и лицемерного мира, и настоящая жизнь у него все-таки была.

Эта жизнь начиналась там, где росла на улицах дикая вишня, а на заброшенных участках малина, вылезали против всех правил вдоль заборов чернушки, свинушки, сыроежки, а иногда и подберезовики с подосиновиками, отрывая от мягкой сырой земли тяжеленные водопроводные трубы, где строили на деревьях шалаши, наблюдали за пыльной дорогой, клали пятикопеечные монеты под паровоз, играли в ножички, «двенадцать палочек», штандер, «американку», просто футбол и настольный теннис и от души дуплились в «картошку», вечерами жгли костры и пекли в золе картошку настоящую, сыпали в костер марганцовку и соль, разводили огонь до небес, а потом уходили спать, и только царственная Мария Борисовна-Анемподистовна, боясь оставить хотя б один уголек в самую покойную и тихую ночь и жалея залить костер водой, чтобы не пропала зола, ворошила допоздна угли; где, как запах жасмина, стелился над ухоженной землей уют дачных улиц и сырых вечеров, бродили дачницы, ставили самовары с шишками, а дети рассказывали друг другу страшные истории, дурачили доверчивого новенького мальчика Илюшу, верившего в летающие тарелки, байками про инопланетян, выбросившихся десантом в пшеничном поле, и заставляли носить из колодца воду, чтобы заливать агрессоров, а сами уходили в пшеницу и ухахатывались до рези в животе, и потом, когда приезжали в августе комбайны и убирали поле, счастливые, кувыркались в стогах.

Но если бы Колюнчик все это патетически, с дрожью в голосе исполнил, судья вряд ли бы проронила ответную слезу и стала вникать в доводы пристрастного свидетеля, а строго оборвала, потребовала говорить по существу и не разводить демагогию, потому что демагогов на том суде хватало и без Колюни.

А еще была у них дурашливая, невоспитанная и беспородистая собака Тепка, черная, с белым галстучным пятном на груди, которая неизвестно откуда взялась, носилась как угорелая по огороду, затапывая на грядках всходы моркови и редиски, а когда потерявшая терпение бабушка посадила ее на веревку, вырвалась, да так, что веревка обожгла Колюнину ногу под коленкой и бабушкину лодыжку.

У Колюни рана быстро зажила, а у бабушки не заживала долго-долго, до самой смерти. Но еще раньше, много раньше, чем бабушка умерла, Тепку подарили пьянчужкам, и Колюня очень по ней скучал, а потом собак разлюбил, потому что за гаражами на Автозаводской его однажды кусала недавно оценившаяся сука, которую сторожа тотчас же спрятали, желая снять с себя всякую ответственность. Пострадавшему на всякий случай вкатили в живот семнадцать уколов от гипотетического бешенства, и все его жалели, хотя было не так уж и больно. Одного он только не понимал — как может человек стать бешеным и неужели же, если его не вылечат, тоже станет бояться воды, с лаем бросаться на людей и кусаться.

После Тепки была сиамская кошка Симка, пришедшая к ним под дверь однажды весной, у нее были отрезаны усы, чтобы она не могла найти дорогу домой.

Симка вела себя совершенно по-киплинговски: уходила и приходила когда хотела, пила только парное молоко, ела только рыбу, причем морскую — обязательно вареную, а речную — непременно сырую, и когда видела еду, выгибала спину и ее голубые глаза становились красными. Иногда она гуляла неделями, но вечерами бабушка выходила на крыльцо, на всю дачную улицу кричала запавшим в Колюнину память кличем, и голос ее, разносившийся от карьера до леса, от озера до пшеничных, кукурузных и ржаных полей над всеми садами, был так же естествен и красив, как шелканье соловья в густых приозерных кустах орешника и гибких вишневых деревьях, как далекий лай деревенских собак, кваканье лягушек или шум притормаживающей электрички на платформе Тридцать третий километр.

— Сима-сима-сима-сима-сима! — кричала бабушка, пока наконец около полуночи кошка не приходила вся побитая, с разодранным боком, забиралась к бабушке под одеяло и на следующий день лежала на террасе и сладко тянулась, перемещаясь за солнечным пятном, лениво щуря глаза и кусая хозяйку за ноги.

Забавных котят, которых приносила Симка и которые почему-то нимало на нее не походили — пестрые, рыжие, полосатые и зеленоглазые, но она все равно кормила их, облизывала и таскала за шкуру — топил в бочке для полива дядя Глеб, а недоумевающему Колюне объяснял, что так поступать гораздо гуманнее, нежели обрывать несчастных животных на голую смерть зимой, когда с дач все разъедутся. Справедливо это или нет, Колюня не был уверен ни тогда, ни позднее — любое бытие лучше небытия не только для людей, но и для кошек, и несколько месяцев жизни полосатых котят, возможно, были бы достойнее утопления в мешке через день-другой после появления на Божий свет, тем более что кто-то из них мог уцелеть, но эти мысли Колюня никому не высказывал и даже до конца не продумывал, оставляя сомнения на потом.

Однажды кошку случили с громадным сиамским котом, и у нее родилось беленькое потомство. В отличие от полосатых их оставили жить, а когда они подросли, раздарили знакомым и незнакомым людям, из чего легко было сделать вывод: цвет шерсти и глаз, порода и происхождение могут служить достаточным основанием для решения вопроса о жизни и смерти.

Одного котенка хотел даже взять себе актер Вячеслав Тихонов, которого Колюня обожал и мечтал, прищурив, как Штирлиц, глаз, курить и сделаться разведчиком. Он говорил об этом всем, пока охальник и матерщин-

ник Артур, рассказывавший мальчикам про теток, которые вечерами купаются в Бисеровом озере голыми, строго не оборвал его:

— Они заставят тебя мать родную предать, понял?

— Откуда ты знаешь? — возмутился Колюнтя, но в душе все равно испугался и быть профессиональным разведчиком и революционером передумал.

У кошки после следующей случки с сиамским котом началось воспаление матки, ей сделали операцию под общим наркозом в ветеринарной больнице, привезли на такси, и сестра отпаивала ее две ночи с ложечки, а потом кошка оклемалась, коты ей стали неинтересны, и она сделалась до старости беспечна и весела. Она прожила жизнь долгую-долгую, обленилась и растолстела, затем похудела, и, глядя на нее, бабушка говорила, что когда умрет кошка, то умрет и она. Но кошка пережила бабушку на восемь лет, затем и папу, и тогда ее усыпила оставшаяся одна в опустевшем беляевском доме учительница-мама, а не сделай она этого, кошка наверняка жила б до сих пор.

Но еще задолго до того, как все случилось, когда все были живы и никто не думал о смерти, порвавший с всемирным освободительным движением Колюнчик решил заделаться физиком-ядерщиком, потому что вычитанное им в Валином учебнике химии за седьмой класс описание маленького ядра, вокруг которого вращаются электроны и которое так похоже на крохотную Солнечную систему, поразило детское воображение сокровенной иерархической красотой и принадлежностью к единому грандиозному авторскому плану.

Теперь он грезил химическими опытами, лабораториями, синтезами, поиском катализаторов и взрывами и всего более мечтал о продававшемся в «Детском мире» наборе юного химика за пятнадцать рублей — большой красивой коробке, где лежали настоящие пробирки, колбы и спиртовка, несколько реактивов и лакмусовые бумажки. Но в этой покупке жизнерадостному экспериментатору отказали, и ему пришлось делать тайные опыты в обыкновенной стеклянной банке. Туда он наливал перекись водорода, борный спирт, марганцовку, хлорид кальция и что-нибудь еще, что можно было купить в аптеке, сэкономив на школьных завтраках. Однажды дикая смесь в руках у мальчика зашипела, стала стремительно нагреваться и слегка шарахнула, испустив резкий запах хлора и до смерти напугав бабушку.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Впрочем, с годами многое могло забыться и перепутаться: что было вначале — страсть к Чили, химическим опытам или тихой школьной девушке в гимназическом платье, замужество сестры и рождение племянника, выращивание цитрусовых в комнате с южными окнами, второй разряд по шахматам, фехтование, разочарование в окружающем мире, ночные бдения над картами и диаграммами, подростковое ворчание, стояние со свечкой под звуки «Отеля „Калифорния”», безумная схватка с англичанкой, которая через несколько месяцев после истории с Колюней ушла на пенсию, пионерский лагерь «Артек», всеночная в Ризоположенском храме на Донской улице или иное, — что было вначале, а что в конце — мальчик не помнил.

На несколько лет его оставили в покое. Родители занялись сестрой и обустройством ее новой жизни в легендарной филевской квартире, где молодожены поселились с дедом Мясоедом и старый с малыми охотно пор-

тили друг другу кровь, но не могли разбежаться, покуда новые родственники из мира оперного искусства, регулярно выезжавшие за настоящую границу и куда лучше обеспеченные, строили для сына кооператив в центре Москвы, предлагая сватьям внести половину пая, и искренне не верили, что у Валиных родителей денег нету; бабушка улаживала отношения в семье старшего сына, мама умиротворяла своего отца и разрабатывала стратегию новой родственной политики, дядя Сережа закончил академию и только благодаря дядюшке Толе остался работать в Москве. Все эти новости живо обсуждались на дачной террасе, и образы неизбежной взрослой жизни, будущих материальных тягот и забот, родственных трений, головных болей, бессонных ночей и служебных амбиций как вихри носились над головою подростка.

Колюнчик улепetyвал от них за калитку, нырял с мостков в Бисерово озеро и прятался под старым корытом во время игры в казаков-разбойников, где его до конца игры никто не мог отыскать, прыгал с трамплина на склоне крутого холма в Битцевском лесопарке и убегал по пятикилометровой лыжной трассе, но призраки повсюду его доставали, и мальчик с неудовольствием ловил озабоченные житейскими хлопотами и нуждами родительские взгляды, в душе находя, что его недостаточно любят и вовсе не понимают.

Эта мысль не была слишком пронзительной и проходила скорее фоном, не была ни на чем основана, и Колюня вряд ли ее сильно переживал, скорее отдавая вежливую дань переходному возрасту; он необыкновенно много в ту пору читал, сочинял римейк под названием «Остров дружбы» — имея в виду на сей раз лихую повесть детского писателя Вильяма Козлова «Президент каменного острова» и перенеся действие на скалистый оток в Белом море, где поселил свое пионерское звено. В выходные дни с другом Дубчиком они ездили по московским кинотеатрам, в десятый раз смотрели «Невероятные приключения итальянцев» или «Ресторан господина Септима», по-детски неуклюже ухаживали вдвоем за прелестной черноглазой хохотуньей и пионерской активисткой Наташей Раевской, через два десятка лет погибшей в автокатастрофе и принявшей первую в их классе смерть, и провожали председательницу совета дружины на восьмом автобусе до Таганки. Но чем бы он тогда ни занимался и чему бы себя ни посвящал, дело всегда заключалось в одном — в прикосновении к той тайне высокого замысла, что задумала и устроила мироздание от атома до вселенной и с младенчества пленила Колюнину душу.

Мальчик искал эту тайну повсюду, выбирая между странами и народами, египетскими пирамидами и космическими кораблями, родной литературой и мифами Древней Греции, звездным небом и строением клетки с ее ядром и цитоплазмой; фотосинтез привел его в состояние экстаза, и дитя замуривало глаза при мыслях о том, насколько, оказывается, богат, щедр и гениален окружавший его мир, испытывая благоговение сродни религиозному, и грезило грандиозными научными открытиями не меньше, чем мировой революцией.

Летом страсть к естествознанию проходила так же внезапно и бесследно, как и нападала, и ее сменяла романическая тяга за горизонт. Предоставленный сам себе дачник часто уезжал после завтрака на стареньком велосипеде. Говорил, что едет купаться, а на самом деле крутил и крутил педали, сколько было сил, кружа вокруг дачи и исследуя ее окрестности. Никто из друзей его не сопровождал, Артуру это было не интересно, Сережка трусил, а Гоша был слишком мал, Илюшу не отпустили родители, и Колюня путешествовал в одиночку в Черное, Электроугли, Старую Купавну, Обухово и Вешняки. С той поры одиночество стало его привычным спутником, он тяготился присутствием людей, которые навязывали ему свою волю, капризы и настроения, привык рассчитывать лишь на себя, себя одного слушать и рассказывать новые истории, навлекая на свою

большеватую голову упреки в самодостаточности и высокомерии, и хотя несколько раз на него нападали на дальних дорогах и пытались отнять велосипед возмущенные вторжением на чужую территорию незнакомые мальчишки на мотоциклах, любопытство и любовь к независимости всякий раз пересиливали трусость, и маленький путешественник пугливо отправлялся в неизведанность.

Он полюбил узенькие шоссейные и проселочные дороги, лесные тропы, смешанные леса и березовые рощи, и когда теперь участвовал в поэтической композиции, то с куда большим чувством декламировал патриотические симоновские стихи, которые в своих коронных представлениях опытной режиссерской рукой любила подверстывать Колюнина матушка под чудесные патетические финальные строки «Мещерской стороны»:

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
 Да, можно голодать и холодать,
 Идти на смерть...
 Но эти три березы
 При жизни никому нельзя отдать.

Ах, как чудно и пронзительно звучали эти слова под потолками школьных актов залов, как замирали дети и дрожал сам Колюня, не видя ничьих лиц, и так ли уж важно было, что весьма путаным человеком был поэт, их сочинивший, и что-то осуждающее, ворчливое говорила про него упрямая, все прощавшая и ничего не забывавшая бабушка.

А душа по природе своей, наверное, не только христианка, но и патриотка, сколько бы над сочетанием этих слов ни издевались, так что с годами абстрактная, головная любовь к огромной советской стране не то чтобы вытеснилась или сузилась, но уступила место иному чувству, сосредоточилась и воплотилась в крохотном, неразличимом на карте клочке земли, на котором только и могла вырасти сердечная любовь к России.

Мальчик больше не заглядывался на чужие земли и не хотел отнимать ничьих островов, ему сделались дороги все подробности и приметы родной мещерской окраины, он владел ею от станции до озера, от рыбхозовских прудов до западного берега карьера, составлял план водоема и леса, пробирался на заозерное стрельбище и отыскивал за колючей проволокой грибы, ловил ящериц на теплых камнях, собирал лесные ягоды и орехи, строил шалаши, разводил костры, путешествовал по озеру или карьере на плоту, нырял с маской, искал клады, залезал на высокие раскидистые деревья, ходил по лесу, смотрел за птицами, учился распознавать их по окраске и голосам, повесил несколько птичьих домиков в саду, а однажды весной, когда еще не до конца сошел в тенистых местах и низинах крупнозернистый грязный снег, столкнулся в сумеречном и сыром дачном леске с небольшим лосем, ошеломленно подумав, как и откуда могло забраться сюда несчастное животное. Лось смотрел на Колюнчика, оба не двигались, а потом разошлись каждый в свою сторону, и человеческое дитя ощутило пантеистическую благодарность к миру и всем его тварям.

В полуденные часы, преодолевая робость, мальчик залезал в заброшенную бисеровскую церковь. Она была до такой степени разорена и загажена, что, скажи ему тогда кто-нибудь, что через много лет ее подремонтируют и откроют и он будет стоять на службе посреди сырых стен с несколькими старухами, а потом подвыпивший после баньки благостный беленький старичок из дома напротив расскажет случайному прохожему с ведром чернушек историю закрытия бисеровского храма и про нелепую смерть в привокзальной уборной на станции Железнодорожной ее последнего настоятеля, ни за что не поверил бы.

В добром языческом мире, где жили его неверующие и невинные родители, и то и другое было так же непонятно, странно и невероятно, как и смерть близких, странствия за горизонт, грядущая потеря Купавны и ис-

чезновение родной стороны. А старичок, всю жизнь в приозерной деревне проживший и возникший накануне Покрова перед молодым грибником как существо едва ли не потустороннее, принадлежавшее к иному миру, рассказал в дождливый и теплый безветренный октябрьский вечер массу любопытных вещей про купавнинскую старину и деревенские нравы. Слушая его, потомок садоводов легко представлял дачную местность во времена, когда не было вокруг еще ни одной дачи и дети из Бисерова ходили пешком через леса и болота в школу возле платформы Тридцать третий километр. Скучная земля была мало заселена, только на севере проходила арестантская Владимирская дорога, а на юге возле железнодорожной станции возник поселок, куда выселяли людей из старых домов на улице Горького, но в стороне от них вся окрестность оставалась глухой, как будто бы Москва была далеко-далеко. Да ведь в ту пору не было еще и электричек, а ходил паровоз от Петушков до Железнодорожной, и, чтобы добраться до города, приходилось висеть на подножке.

Как обидно, что он не тогда родился, как хотелось в это совсем недавнее время переместиться и в нем пожить, побродить по глухим лесам и половить рыбу в тишине и уединении или хотя бы послушать разговорчивого дедка еще и узнать, что не успел услышать от бабушки, но из дома вышла приземистая женщина с короткой стрижкой, подозрительно посмотрела на постороннего человека и окликнула старика.

— Доча кличет. После бани я, боится, простыну, — сказал дедок извняющим голосом.

Служба закончилась, из храма вышли старухи и через черное картофельное поле, растянувшись цепочкой, побрели к автобусной остановке. Они поддерживали друг друга, и было что-то победное в их неуверенной поступи посреди этого убранного неровного поля. Сутулый дачник шел следом, не решаясь медленно идущих женщин обогнать, подстраивался под их шаг и, возвращаясь в прошлое, стал опять думать про бабушку Марию Анемподистовну, которая никогда в храм не ходила, не постилась, не читала молитв и не крестилась даже во время грозы, еще в шестнадцать лет на всю жизнь распрощавшись с монархией, Господом Богом и церковными таинствами.

2

Отчего так случилось, отвратили ли ее уроки закона Божьего в тверской гимназии, казенное или домашнее воспитание, подкосила ли история с отлучением от церкви графа Толстого? — ничего этого он спросить не успел, и теперь не от кого уж было узнать. Только слышал от, должно быть, теми же вопросами задававшейся сестры Колюня, будто бы в двадцать девятом году, когда у бабушки родился первенец и молодая мать, не зная, как его испупать и запеленать, позвала на помощь свою тетку, старорежимная родственница согласилась прийти лишь при условии, что мальчика окрестят. Тогда бабушке пришлось спешно искать в атеистической Твери священника, однако уже следующие ее сын и дочь остались некрещеными, и о верующих старухах, ходивших по праздникам и будням в храм, никого и никогда не осуждавшая женщина чуть раздраженно отзывалась как о бездельницах, у которых нет иных печалей и забот.

Оттого не красили дома на Пасху яйца и не пекли кулич, не говорили стыдливо, что это, дескать, народные обычаи, не ходили глазеть на пасхальный крестный ход и не ездили на кладбище в родительские субботы, на Троицу или Радоницу. Да и слов таких никто не знал и не употреблял. Не было у них ни икон, ни Библии, как у бородатого дядюшки Глеба, и даже в качестве украшения не надевала золотой крестик Колюнина сестра. Иногда в гости на Автозаводскую приезжала богатая и благополучная бабушкина кузина тетя Вера, которая никогда не работала, не болела; не

зная нужды, жила в добротной профессорской квартире на Чистых прудах, ходила в соседний храм Архангела Гавриила и завещала отдать в самую высокую московскую церковь, глаголимую Меньшиковой башней, старинные образа в серебряных окладах и драгоценности, и не то чтобы порицала свою родственницу, но удивлялась ее судьбе и недоумевала, как только могла она миновать все страдания и испытания, причудливо и неравномерно поделенные меж людьми кровавого столетия; бабушка ворчливо говорила, что при такой жизни верить в Бога и Его милость легко.

— А каково мне было, когда муж ушел и я с тремя детьми осталась? — вопрошала она в ответ на невысказанные упреки и беззвучные призывы покаяться маленькую, похожую на цыпленка, беленькую старуху с мелкими острыми зубками и в меховой шапке пирожком, раздосадованная ее ничем не испытанной набожностью и желанием отдать все добро попом.

Что говорила Вера Николаевна, Колюня не помнил, как не помнил и никаких обстоятельств ее жизни, но после тети Вериной смерти нашел в доме на улице Чаплыгина, возле Дворца бракосочетаний, единственный и самый драгоценный дар — первое в своей жизни Евангелие, потрепанную красную книжку прошлого века, где не хватало пяти начальных страниц, но зато было два параллельных текста, один — на русском, а другой — на старославянском. Однако сама тетя Вера, обожавшая тихих, благонравных и послушных мальчиков, в природе не существовавших, Колюнчику не нравилась, казалась неестественной и фальшивой, и старухи в коломенской церкви, куда однажды в конце зимы он попытался зайти после урока физкультуры, прислонив к ограде лыжи, оказались несусветно злыми и его выгнали.

Бабушка была неверующая, но в ней было больше, чем у церковных старух, понимания и любви, она молилась не на иконы, а на цветы, которые выращивала у себя в саду, и думала заветную думу, как устроить земную жизнь справедливо и сделать так, чтобы никто не ушел обиженным, не было завидующих и завидуемых и все были счастливы в настрадавшемся мире. Однако со временем это ей удавалось все реже, сопровождавшая долгие годы жизненная сила покидала ее, оставляя дыхание только на решение кроссвордов, чтение рассказов писателя Владимира Лидина и шитье на старенькой немецкой машинке «Зингер», которую привез из Германии крещеный дядя Толя, и когда маленький Колюня крутил колесо вечного арийского механизма, то получавшийся при вращении звук напоминал ему шум первой утренней электрички.

И все же странная вещь — из этого совершенно далекого от церкви, родного и обжитого домашнего мира, обходившегося без своего Творца, не обученный ни единой молитве, несмышленный мальчик все равно очень рано потянулся туда, за ограду, где ходили люди глупые, заблуждавшиеся и нелепые, но ведавшие то, чего не ведал никто, даже самый умный, вроде дяди Глеба, и самый честный, вроде отца. Что-то хотел Колюнчик понять, как хотел постичь устройство клетки или ядра, и никогда не проходил мимо странных и красивых зданий с куполами и крестами, не повернув головы и не задумавшись.

Он хорошо знал, что никого и ничего там нет, хотел объяснить и доказать невежественным людям, среди которых попадались не только глупые старухи, но и женщины средних лет и их покорные дети, которых изверги родители заставляли кланяться и креститься, вставать на колени и целовать иконы, он хотел всех несчастных детишек защитить, спасти от морока и обмана, но сам невольно попал под власть непонятного церковного пения, умилялся свечению лампадок и дивился одеждам отрешенных, не присущих этому миру, обходивших храмы с кадилом священников, куда более похожих на таинственных существ, чем ряженые Деда Морозы с грубыми Снегурками; он никогда иереям не кланялся, вызывающе смотрел в слегка насмешливые и прозорливые, все ведавшие, спокойные глаза

и вспоминал надменную и недобрую чилийку Соню из Ивановского интернационального детского дома, в которую тоже был немножко влюблен, а она однажды очень серьезно и печально сказала ему, что, хотя комсомолка и носит на теле малиновую рубашку, в сердце все равно остается католичкой, ибо была на том воспитана и не может от власти воспоминания освободиться.

Но Колюня-то был воспитан иначе, и не было у него иных воспоминаний, кроме образа смерти, коснувшейся его на жаркой летней дороге, и светского изображения Сикстинской мадонны, которую он, равнодушный к живописи, много лет спустя увидел и замер перед нею в несчастном городе Дрездене. Что это тогда было и откуда в его отрочестве бралось, тосковала ли душа-христианка по родине небесной, ни на одной карте не обозначенной, ни с какой иной страной не сравнимой и неуязвимой, или просто тянуло тщеславного подростка к необычному, таинственному и запретному; может быть, именно этого искала она в далеком католическом краю, и суррогатом литургий, крестных ходов, всенощных бдений, соборований и утренних молитв были те сумасшедшие митинги, выкрики и речевки, может быть, конъюнктурная его натура улавливала флюиды разочарованного времени или же невидимые кванты, что ежесекундно, как благодать, посылает на землю Отец Вседержитель? — все это одному Богу ведомо, в буквальном и фигуральном смысле устойчивого речевого выражения.

Но ни в спальном Беляеве, ни в безбожной фабричной слободке храмов не было (вернее, один был, Рождества Богородицы в Старом Симонове, на территории завода «Динамо», где находилась разоренная могила с останками монахов-воинов Пересвета и Осляби, только кто ж мог тогда туда попасть? — и увидел эту церковь Колюня впервые много лет спустя, когда при стечении народа храм заново освятили), и, не считая редких заездов в Никольское, Колюнина тяга к божественному так или иначе оказывалась связанной с дачной стороной, где помимо бисеровской находилась еще одна, самая загадочная, прекрасная и влекущая из виденных им церквей — кудиновская.

Она стояла в высокой дубраве на краю большого села, километрах в пяти к востоку от дачи, но со стороны садовых участков деревенские избы не были видны — зато храм и окружающая его роща издали открывались взору. Однажды, не сказав никому ни слова, Колюня, которому в ту пору едва исполнилось одиннадцать лет, сел на велосипед и поехал мимо леса, мимо поля, по пыльной проселочной дороге в сторону Кудинова.

Дорога была долгая, и жарким был день, исчезли на горизонте и стали далекими дачи, и потом, оглядываясь, он уже не мог различить, где они находятся. Навстречу попался трактор, обдав велосипедиста клубами пыли, и снова стало пустынно, Колюня крутил педали, и ему казалось, что и облака над головой, и высокая церковь, и пыль в знойном воздухе, и велосипед застыли и не двигаются. Хотелось пить или отдохнуть в тени, но не было вокруг ни воды, ни деревьев, а дорога все бежала и бежала, колосилась по обеим сторонам рожь, летали над полем маленькие темные птички, трясгузки убегали из-под самых колес.

Мальчик устал, как в далеком младенческом видении, словно по этой дорожке шел с матерью и отцом, искал лопатку и не мог найти. Точно все это когда-то уже было, и он видел раньше просторную радостную местность, гнувшиеся от изредка набегавшего ветерка тяжелые колосья, разноцветные полевые цветы, линии электропередач, дальний лес и над всем этим легкое, прозрачное небо с застывшими летними облаками, такое покойное и вечное, что можно было подумать, будто на этом поле столкнулись и перепутались времена и много лет назад, задолго до его рождения, именно здесь шла высокая женщина с двумя маленькими детьми, объясняла им, как растет рожь и из чего делают хлеб, а потом появился похожий на сумасшедшего рыбхозовского сторожа вооруженный всадник.

От страха, что его могут схватить, Колюня быстрее закрутил педали, но дорога пошла в сторону, потом ее пересекла еще одна, но они не вели в том направлении, которое было ему нужно. Он угадал во ржи легкую извилистую тропинку и, задевая колесом стебли, поехал по ней, так что со стороны была видна только его голова и согнувшаяся спина.

Храм приблизился внезапно. Мальчик стал различать отдельные деревья, показалась ограда, а за ней могилы с памятниками и крестами.

В полуденный час в дубраве было прохладно и тихо. Не было здесь ни души, кроме сотен маленьких лиц, смотревших на запыхавшегося ребенка со всех сторон. Их овальные изображения были вставлены в сердцевину сделанных из трубок или дерева крестов и конусообразных памятников со звездами, редких гранитных плит и старых, покрытых мхом камней. То было первое увиденное Колюней кладбище, где властвовало терзавшее его младенческую душу ночное существо. У себя дома оно казалось смиренным и нестрашным. Не боясь его, стрекотали в густой траве кузнечики, летали бабочки, ящерицы сидели на теплых камнях и грелись и, завидев Колюнчика, исчезали в траве. Мальчик потерял счет времени, он стоял, душою и телом ощущая ту грань, что лежала между двумя мирами, оба были ему дороги, одинаково манили к себе и утешали, и казалось, только так, опираясь друг на друга, и могли существовать.

Странное чувство вдруг накатило на душу. Колюня не знал, как его выразить и что сделать, слез с «Ласточки», поднял руку в пионерском салюте и, не опуская ее, другой рукой ведя велосипед, прошествовал между могил с крестами и звездами, минуя железные ограды с лавочками и столиками, разглядывая фотографии и читая чужие фамилии, по темной дубовой рощице к разрушенному храму, в котором было полным-полно ворон, а прямо на стенах, на крыше, возле узких и высоких окошек и дырявых куполов росли, неведомо за какую почву цепляясь, деревья. Потом опустил уставшую руку, вошел в темноту и прохладу разрушенного строения, и когда глаза привыкли к полумраку, то увидел остатки фресок на стенах, непонятные надписи и узоры. Завороженные глаза пытались охватить и не могли вобрать в себя картину окружающего мира, он поднялся по лестнице, ведущей к хорам, но она стала сыпаться под ногами, и Колюня поспешно отступил.

Ничего, кроме этих жалких остатков, в церкви не сохранилось. Однако пионер не спешил ее покинуть, а, задрав голову, стоял и глядел на купола и высокие своды, на внутреннюю лестницу и комнатки с полукруглыми стенами. Потом вышел на другую сторону и увидел деревню, рядом с которой зарастал травой и тиной грязный пруд.

Сидели на берегу рыбаки и таскали жадных ротанов, проехал на велосипеде мужик в летней шляпе с дырочками, и прошла старуха с синим обливным бидоном, похожим на тот, что нес Колюня от станции до дачи. Никому дела не было ни до храма, ни до кладбища, но что-то переменялось в мире за время Колюниного отсутствия, и путешественник вдруг почувствовал, как силы его иссякли.

Он сделал несколько шагов по направлению к пруду, лег в высокую траву и прикрыл глаза. Земля качнулась и поплыла вместе с мальчиком по сверкающей реке, он провалился в полузабытье, точно наблюдая за собою спящим извне, и спал, как в младенчестве, так что изо рта вытекла слюнка, и не было сил разомкнуть липкие веки. Разбудили его возвращавшееся по безлюдной дороге деревенское стадо и злобная брань маленького, помятого мужичка.

Колоне сделалось страшно. Он поскорее сел на «Ласточку» и поехал обратно через дрожащее поле, распугивая ярких птичек и застревая в пыли и песке. Но когда обернулся, то увидел, что дубрава и храм снова обрели стройность и недостижимость — и ему стало казаться, что он никуда не ездил.

Когда маленький велосипедист вернулся домой, солнце перевалило через зенит, от деревьев, заборов и столбов падали равновеликие предметам тени. Бабушка лежала в полуобмороке, а случайно оказавшаяся на даче тетка Людмила схватилась за мокрое полотенце и принялась негодного племянника хлестать.

Бабушка приоткрыла глаза и закричала на невестку:

— Не смей его трогать!

Тетка надула губы, Колюню она не любила, но много лет спустя нехотя рассказывала, что в Первой градской больнице, в предсмертном бреду, из шести внуков бабушка вспоминала его.

3

Она умерла в середине апреля, в четверг на Страстной неделе, а за месяц до того промозглого весеннего дня на последнем своем рождении, для которого уже не было у нее ни сил готовить, ни настроения читать стихи, обведя глазами детей и внуков, догадываясь или нет, что собираются они все вместе за одним столом тоже едва ли не в последний раз, и все, что она для них делала, согрела любовью, переживала, как умела, молилась и хранила от зла, будет растрчено, расхищено и рассеяно, братья с сестрой рассорятся и навсегда разбредутся и даже не будут ничего друг о друге знать — именинница грустно молвила:

— Вот и побывала я на своих поминках.

И уже потом добавила, словно попросила, сама не зная кого:

— Мне б еще одно лето пожить.

Но до лета и до Купавны так и не дожидая.

Ее смерть была первой в жизни Колюнчика, первый раз занавесили в коридоре и в шкафу зеркала, пришли печальные женщины и стали молча готовить поминальный стол, а мальчику велели купить картошки, и он одиноко ушел бродить по грязным весенним улицам, не зная, как выразить свое горе. Впервые так близко видел он гроб и мертвое тело, череду людей, подходивших прощаться с покойницей, весенние цветы и угрюмый зал крематория на Донском кладбище с меланхоличной музыкой и страшной нишей, куда навсегда ушел красно-черный гроб. Потом этих смертей было еще очень много, гораздо больше, чем рождений, а отпеваний, нежели крестин, что-то изменилось в жизни, настал ли другой возраст или началось замечаемое не статистикой, а глазами вымирание громадной страны — но только список поминаемых покойников рос и рос, открытый в тот апрельский день.

Бабушкина смерть, как ни странно, оказалась первой и для Колюниной мамы. Увидев свою мертвую мать, учительница словесности задрожала, не смогла совладать с собою, приблизиться к гробу и попрощаться с покойной, это сделал за нее отец, однако строгая, чинная церемония, допускавшая выражение крайнего горя, но не страха, была возмущена, и вот тогда-то, в тишине ли траурного зала или позднее, на людных поминках в Беляеве или еще время спустя — но только тетка Людмила, бывшая с бабушкой в ее последний смертный час и по праву старшей распоряжавшаяся похоронами, умная, сильная и властная женщина, которой на своем веку много чего досталось испытать и с чем справляться, презиравшая мягкотелость, расслабленность и слабость, знавшая, как должно человеку себя вести и в своей правоте не сомневавшаяся, прилюдно сказала что-то очень жесткое и злое в адрес забившейся, как птица, береженой золовки, и, быть может, с того момента судьба Купавны была окончательно предопределена.

Простить тех выношенных, намеренно-обидных слов невестке, которую, когда-то красивую, двадцатичетырехлетнюю, впервые пришедшую в их дом еще старшекласницей, мама так полюбила и хранила эту любовь

очень долго, видеть ее уязвленная женщина больше не смогла. Ничто не удерживало отныне слишком разных людей, раздружились между собою подросшие внуки, и, хотя в Купавну ездить продолжали, хотя было еще далеко до окончания дачной истории и много было собрано плодов и сварено варений, ни общих полевых работ, ни застолий, ни веселья, ни родственной любви больше не стало.

Раскидистое семейное древо дало трещину, точно старая, отслужившая век яблоня. Наведовались теперь все больше поодиночке или обособленными семейными кланами, в каждом из которых держались свои и не воспринимались чужие порядки, и даже участок негласно поделили пополам — на левой, южной половине огородничал, дожидаясь своего часа, дядя Толя, а на правой садовничала его молодая племянница, занимался обустройством и ремонтом дома ее мастеровитый, необыкновенно трудолюбивый и, словно филолог, речистый муж и состоял при них в неопределенном статусе ни к чему не годный Колюня.

Он жил своей жизнью, на семейные противоречия и несложившиеся отношения между старыми и новыми родственниками демонстративно внимания не обращал, в их разногласия не лез, и когда приезжал на дачу, то поливал обе половины вертограда и везде, где хотел, выдергивал из грядок или срывал с веток плоды земли, легкомысленно не задумываясь о тайном смысле любого поступка и содеянного дела и шел дальше своей дороженькой, вдруг сделавшейся очень широкой да скользкой — того гляди свалишься, не подымешься и покатишься.

Еще много раньше, чем случилась бабушкина смерть и семейный раскол, едва Колюня вышел из пионерского возраста и уныло вступил в комсомол, отсидев долгую очередь в райкоме возле Автозаводского сквера и разочаровавшись обыденностью этой процедуры, так не похожей на счастье первого повязывания шелкового пионерского галстука, как течение жизни внезапно ускорилося, и дряхлая дамская «Ласточка» сменилась торжественно купленным в спортивном магазине на улице Бултерова настоящим взрослым «Минском» с рамой и багажником.

На нем Колюня отправлялся в гораздо более дальние путешествия, чем в Кудиново. Он ездил за несколько десятков километров на восток во Фрязево и Ногинск, на север в Звездный городок и на запад в Кучино и Никольское, его тянуло в странствия, хотелось уйти за линию горизонта, теперь мальчику сделался мал окружающий мир, он копался в картах и схемах — но самой прекрасной из них казалась ему вовсе не гигантская карта Советского Союза и даже не далекого/далекой Чили, а карта топографическая, где в точности, в полном соответствии с ликом местности были нанесены дороги, деревни, церкви, кладбища, леса, железнодорожные пути и реки.

Однако таких карт в его стране не водилось. Вернее, были учебные в школьном атласе, не соответствовавшие действительности, с вымышленными названиями, а той, где бы он мог увидеть свою Купавну и узнать, куда ведут ее дороги и текут маленькие реки, где кончаются зеленые леса и на что похожи озера, пруды и карьеры, не существовало иначе как в закрытых институтах и военных штабах, которых так много было в загадочных купавнинских окрестностях, усеянных колючими проволоками, антеннами и военными городками.

Упоминание об этих объектах вычеркнул бы из текста в соответствии со служебной секретной инструкцией, будь он жив, Колюнин папа, только не было больше ни папы, ни инструкции, ни самого Комитета по охране государственных тайн в печати на шестом этаже доходного дома в Китайском проезде. А впрочем, последнее было не так уж и важно, свободно летали в вышине над Купавной звездочки вражеских и дружеских спутников и делали космические снимки, расшифровкой которых занималась ученая Колюнина сестра, через много лет даже отправившаяся в то самое

персидское шахство, которое некогда хотел присоединить к своей громадной и прекрасной Родине маленький завоеватель, но вместо этого у его страны оттяпали и Туркмению, и Казахстан, и Азербайджан и с ними почти все Каспийское море, а за Валину командировку в стан исламских фундаменталистов и помощь в строительстве атомной станции на берегу недоступного Персидского залива наказали полдержавы лишённые чувства юмора и меры, а потом по весне и вовсе рехнувшиеся американцы.

В Иране не было ни капли алкоголя, сестра ходила под охраной, в черном балахоне с головы до пят, а когда вернулась, то рассказала, что там нет и топографических карт, как не было их в Колюнино детство на родине, и вместо них для автомобилистов, охотников и рыболовов-любителей имелись только дурацкие схемы, на которых не были нанесены ни карьер, ни рыбхозовские пруды, ни однопутная железная дорога, извивавшаяся меж дачных участков. Эти схемы были такими же ложными, как газеты и книги, как уроки истории и обществоведения, как весь лицемерный и фальшивый взрослый мир, который Колюня с юношеской страстью отрицал.

Он бросил КИД, читал Достоевского, ходил в консерваторию, по-прежнему приглядывался к храмам, все еще не решаясь зайти на службу в церковь действующую, пока однажды во Пскове, на пути в Михайловское, куда влекла его в очередное литературное паломничество неутомимая маменька, не заглянул в Троицкий собор и простоял там целый час. Стоял и не отрываясь смотрел на литургию, на которой ему, нехристу, присутствовать было не положено, не чуя ног и не замечая времени, не думая о том, что его ищет по городу мать и не догадывается, где найти, не понимал, что вокруг происходит, с какой целью подходят люди к жилистому священнику в фиолетовой шапке и желтом одеянии, держащему похожий на хоккейный трофей золотой кубок, зачем сложили на груди крестообразно руки, почему разевают, как дети, рты и что такое содержится в маленькой ложечке, отчего отходят они тихие и просветленные.

Тут была какая-то тайна, причина всех прочих маленьких тайн, волновавших его существо, быть может, с самого первого крика, нужно было сделать лишь шаг и стать этой тайне причастным, но что-то мешало ему, не пускало, не позволяло даже перекреститься — оттого ли, что это было бы равносильно отречению от всех оставшихся по ту сторону двери или страху, что пути назад не будет, а там, впереди, с ним произойдет неведомое, — но только когда в самом конце службы люди в храме двинулись вереницей целовать крест, одна из старух, все время за посторонним маленьким истуканом с интересом наблюдавшая, молвила:

— Что, к кресту-то пойдешь?

Колюня отчего-то смутился и ответил дерзко и глупо:

— Это негигиенично.

И в храм не заходил еще очень долго.

Много позже, когда купавнинский дачник поступил в университет и благодаря куда более развитым и не терявшим времени на интернациональную ересь товарищам начал кое-как разбираться в таинствах и догматах, особенностях богослужения и отличиях отеческого вероисповедания от католического и протестантского, когда научился рассуждать чуть успешнее среднего дилетанта о соборности и сущности русского старообрядчества, мог поспорить с брезгливым и несчастным профессором атеизма Игорем Николаевичем Яблоковым о Достоевском, схлопотав за вольнодумство и поиски веры тройак, в то время как его верующие однокурсники получали пятерки, не мудрствуя лукаво и отвечая на все вопросы уверенно и четко, кандидат в неофиты ломался на самых обыкновенных вещах вроде целования образов и крестов, питья святой воды и старушечьей толкотни за нею на Богоявление, подавания поминальных записок, слащавой умильности, заносчивости и прочих атрибутов каждодневной церковной

жизни, которые долгое время отталкивали его и удерживали от того, чтобы сделать последний шаг и войти в ограду. Ему было легче верить в душе, молиться в уединении купавнинской ночи, в храме бисеровского леса перед озерным алтарем, нежели вообразить себя среди вздорных старух, толстых теток, сухоньких мужичков и больных детей, вместе с ними подходить к священнику, целовать его руку, прикладываться к праздничной иконе, к Плащанице в Страстную пятницу или причащаться с другими прихожанами из одной Чаши общей лжицей.

Он не мог представить себя исповедающимся, постящимся, кладущим земные поклоны или стоящим на коленях на грязном полу среди неразвитых и малокультурных людей, как малохольная и бестактная Илюшина пассия, однажды сказавшая ему с теми же интонациями, с какими женщины возмущаются мужчинами, что ходят в гости, да не женятся:

— Что ж ты не крестишься-то тогда?

И, оправдываясь, он пустился рассказывать ей про все сомнения своей мятущейся души.

А жизнь только и делала, что насмехалась над мечтами и притязаниями, и когда несколько лет спустя, будучи в храме все еще праздным посетителем, он увидел однажды на всенощной в Филипповской церкви близ Арбата своего старого знакомого, интеллигента и умницу Сашу Колоскова, которого давным-давно спасал от Юрки Неретина и который читал ему в знак благодарности:

Не противься, Валенька, он тебя не съест,
золоченый, маленький, твой крестильный крест, —

а теперь этот самый Колосков уверенно и привычно прикладывался к иконам, ставил свечи, подходил к помазанию и умильно целовал руку старенькому попу, Колюня возревновал и неприятно удивился метаморфозе, заподозрив в набожности школьного товарища нечто генетически-лицемерное, и разговора не поддержал.

Но несмотря ни на что казалось тогда восторженному и горделивому юнцу, будто он избран для необыкновенного и назначение его в мире состоит не только в том, чтобы по мере сил летописать историю купавнинского рода, времени, места и всех причастных к нему людей, но в том, чтобы осуществить возвращение их родового древа, хотя бы одной, крайней его веточки от бабушкиного цветочного язычества, отцовского религиозного атеизма и дядюшкиного эпикурейства к той подлинной вечной вере, от которой когда-то, поддавшись соблазну и прелести, отшатнулись его неведомые предки. Но только вот как совместить именно эти два звания — писательства и воцерковления, — он не знал.

Колюня был безудержно самонадеян и глуп, в минуты трагической молодости он читал тети Верино Евангелие с сигаретой во рту, перемежая чтение стихами из «Доктора Живаго», на Страстной неделе ходил, как на службу, на концерты органной музыки в исполнении Гарри Гродберга и обожал слушать на стареньком магнитофоне рок-оперу «Иисус Христос-суперзвезда», которая заменяла ему акафисты и стихиры и поставляла сведения о земной жизни Спасителя. Лишь став старше и хлебнув в жизни не одних только радостей и удовольствий, он с грустью понял, что та вера, которую молодой неофит желал обрести, никогда не будет открыта и дана во всей своей полноте человеку, не имевшему религиозного опыта в детстве. А если у кого и есть шанс воспринять все сполна, делать не нарочито, но естественно и не страдать от раздвоенности, так это лишь у его сына, чудом вырванного у небытия, и оттого носил и водил он мальчика к причастию с малых лет, не боясь, что слабое дитя заразится гриппом, научил читать перед сном молитву, целовать иконку, не снимать никогда крестик, стоять

долгую службу, а еще учил, что звезда на новогодней елке горит вовсе не потому, что звезда же венчает кремлевские башни, и рассказывал сказки не про Мальчиша-Кибальчиша, а про Младенца и волхвов.

Но то была уже совсем другая, не купавнинская история...

4

Тогда же, много лет и эпох назад, дачнику до всех открытий и прозрений еще было далеко, и молодая его душа была подобна легкомысленной почве, где всякое доброе семя зарастает терниями, и не хватало ни воли, ни терпения, ни силы ее преобразить. Сколько семян туда ни падало, их заглушало иное, и вся история его юности оказалась наваждением новых соблазнов и искушений, в которой безгрешная Купавна стала теряться и уступать место другому.

Морок сменялся мороком, будто шли над головой бесконечные тучи. К роковым переходным годам мальчик забыл про все гносеологические страсти и вместо строгих естественных наук стал увлекаться астрологией, йогой, парапсихологией, хиромантией, оккультизмом, католичеством, Высоцким, Окуджавой, «Машиной времени», недолго шведской группой «Абба», а позднее и надолго «Битлами», клубом самодеятельной песни, фильмами Андрея Тарковского и Театром на Таганке. Зачитывался «Ста годами одиночества» в подлиннике, все чаще и чаще разговаривал с посерьезневшим дядюшкой Глебом о выборе жизненного пути и приоритете экзистенциальных целей, еще сильнее и откровеннее оскорбляя недоверием и пренебрежением в решении судьбоносных вопросов родного отца и постигая главную Глебову житейскую премудрость.

— Которую, впрочем, — заметил, по обыкновению поцокав языком и поблескивая стеклышками очков, дядюшка, — обычно сообщают женщинам и молодым девицам. Когда тебя собираются изнасиловать, сопротивляйся до последнего. Но если поймешь, что сопротивление бесполезно, постарайся расслабиться и получить удовольствие.

Как знать, быть может, в том и заключался секрет Глебова существования и вообще это был единственный способ в мире жить и добиться если не успеха, то хотя бы занять свою нишу, возможно, следовало этим напутствием воспользоваться и не искать иного пути, но все же, когда житейски мудрый и по-родственному внимательный Глеб посоветовал племяннику идти по его стопам на экономический факультет, а для этого целый год заниматься с репетитором по математике и платить за каждое занятие по десять рублей, Колюнчик вспомнил про не купленный ему набор юного химика за пятнадцать, и, неприятно удивив прагматичного дядю, от помощи отказался, сославшись на то, что экономика ему не интересна.

— Ну и что? — возразил Глеб. — Мне много раз предлагали профессионально заняться горным туризмом, но я не соглашался. Никогда не следует смешивать призвание и работу, — добавил он с той же интонацией, с какой настаивал на разделении чая и лимона.

Но Колюня пил чай с лимоном и сам не ведал, чего хотел в разбросе вздорных увлечений. Ночами снился ему фильм «Зеркало», который он так мечтал посмотреть, но его давно нигде не показывали, и во сне подростку приходили таинственные образы, будто он чудом попал на закрытый просмотр, так что несколько лет спустя, когда все-таки увидел полузапретную картину в холодном клубе на окраине подмосковного Калининграда, фильм поблек по сравнению с отроческой фантазией, если только не считать документальных кадров, в которых фанатичные китайцы с красными книжечками бесновались на границе возлюбленной страны, а рослые, родные ясноглазые славяне в добротных светлых полушубках, так похожие на дядю Толю, их удерживали руками, будто играли в дачную игру для трехклассников под названием «Бояре, а мы к вам пришли».

В окружающем мире, до которого Колюня был когда-то жаден и охоч и к которому теперь совершенно охладел, происходили важные события: в Испании умер каудильо Франциско Франко, а в Советском Союзе приняли новую Конституцию, придумали и разучили на уроке пения слова для гимна, Генеральный секретарь стал по совместительству Председателем Верховного Совета, свершилась революция в Никарагуа и чуть-чуть не дотянула до Сальвадора, началась война в Афганистане и выслали в Нижний Новгород мужа Елены Боннэр, американцы пробойкотировали Московскую Олимпиаду, по поводу чего уже большая бабушка писала язвительные стихи; уехала из их класса еще одна девочка — Варя Есаян — с родителями во Францию, а ее подругу Леночку Дутову, приехавшую за несколько лет до этого из Перми и так тронувшую своей нестоличностью, непохожестью на других девочек прихотливое Колюнино сердечко, ругали за то, что не предупредила о настроениях предательницы, хотя она даже ничего и не знала.

А еще, не иначе как по заданию конгрессменов, приезжал к ним в школу настоящий американский учитель, маленький, худенький и пронырливый человек из штата Огайо, занимался с детьми английским, хвалил Колюнино произношение и спрашивал, сколько лет тот прожил в Нью-Йорке, набивался в друзья, лицемерил и льстил, а после уроков оставил в числе нескольких учеников в классе и стал рассказывать комсомольцам про Кэмп-Дэвид, до которого Колюне не было дела. Но после этого разговора их тоже, как и стеснительную Леночку Дутову, вызвали к завучу и ругали за то, что они слушали американца, а все было заранее подстроено, и теперь цэрэушник-провокактор в отчете напишет, что советские дети хотят знать правду о миролюбивом государстве Израиль.

— Пусть это послужит вам хорошим уроком, — сказала незлобивая чудесная Ирина Григорьевна, отпуская приунывших учеников и почти точь-в-точь повторив мысль, некогда высказанную Колюниным родителем на пыльной купавнинской дорожке, однако и этот урок, видно, пошел не впрок, и доверчивый Колюня еще много раз попадался на чужие уловки, оказывался в дураках, переживал, печалился и дулся.

А коммунист папа по-прежнему молчал, хранил государственные тайны в партийной печати и проводил политсеминары, посвященные международному положению и осуждению еврокоммунизма, один дядюшка выращивал огурцы и кабачки, второй лазил в горы и однажды вернулся с Тянь-Шаня едва живым, после чего от рискованных восхождений и штурмов высокогорных перевалов отказался; вышла сестра замуж Тоня, найдя себе суженого именно в горном походе по рецепту дядюшки Глеба, и ее поздняя свадьба стала последним счастливым событием в жизни бабушки.

Дождавшись старшей сестры, женился тактичный Кока, а вот до Колюниной свадьбы было еще далеко-далеко, и безмятежно спала в саду на раскладушке под яблоней маменька, читала сыну «Золотую розу» Паустовского и «В людях» Максима Горького, твердила наизусть некрасовских «Русских женщин», водила на фильм «Звезда пленительного счастья» и в который раз неуклюже пыталась завести запоздалый разговор о том, что такое публичный дом, куда не пошел в отрочестве книгочей Алеша Пешков, и откуда и как берутся дети, пока ребенку из интеллигентной семьи не рассказали об этом грязные и циничные уличные мальчишки.

И про публичные дома, и про тайну деторождения Колюнчик теоретически давно уже знал, и именно из того самого источника, которого так опасались педагоги, однако некоторые детали оставались неясными, и было желательным их прояснить, его смущали новые образы и ощущения, о которых стыдно и не с кем было поговорить, подросток краснел и потел и все чаще вспоминал переодевавшуюся на пляже соседскую девочку, пионерский лагерь «Артек» и рано созревших француженок, и тогда юную душу охватывала мутная тоска, будто он что-то непоправимо упустил.

Эта тоска была краткой и быстро проходила, едва мальчика касалось иное впечатление, и он с радостью от нее отвлекался, убегал в далекие пространства и города, ездил вместе с сестрой на летнюю базу географического факультета близ деревеньки Сатино на Протве, а с маменькой в Рязань, Солотчу и Новгород, в Одессу, Тарусу и Старую Руссу, где иногда им удавалось поселиться в гостинице, а чаще спали на вокзалах и в морских портах в комнате матери и ребенка, а то и вовсе стучались в двери незнакомых домов.

Однажды с авантюрного материнского благословения и к ужасу ничего не подозревавшего отца на обратном пути из Михайловского четырнадцатилетний Колюня на двое суток заехал один в Ленинград, ночевал на Московском вокзале, примостившись на скамейке в зале ожидания, а днем бродил и бродил по незнакомому городу, тарасил глаза на статуи в Летнем саду, на картины в Эрмитаже и Русском музее, ездил в Царское Село, поднимался на Исаакий и глядел на крыши домов, жадно вбирая новое и тревожное. Но как ни прятался он и ни торопил время, все равно ни раньше, ни позже, но в свой срок настало лето, когда помешанная на рыбалке подростковая компания начала обрастать девицами, без них они скучали, с ними ходили купаться, с удивлением замечая, что ябеды девочки, с которыми мальчики играли, когда им было по десять лет, в «бутылочку» и «кис-мяу», после чего наскучили друг другу и на несколько лет разошлись, занявшись мужскими занятиями — боем самолетов, строительством шалашей и плотов, рыбалкой, страшными рассказами и путешествиями, — снова оказались важнее всего на свете.

Колюня чувствовал, как растворяется и исчезает его душа, а в глазах появляется страдающее выражение жертвы. Девочки стали другими — мальчики открывали их заново и вели себя глупо; девочек было три, они были прелестны, щедрая Купавна одарила их красотой, и, освободившись от неловкости, детской худобы или полноты, они сделались стройными и легкими, блестели глаза на загорелых удлиненных лицах и будоражили душу смех и голоса, все вместе они были красивее, чем каждая в отдельности, но сбившиеся в стаю мальчики того не ведали и влюбились почему-то в одну, в чуть-чуть заикающуюся, но очень чувственную, выразительную хохлушечку, глядя на которую Колюня обмирал, а она смотрела с превосходством и пробовала просыпавшуюся женскую силу.

Ей не нравился ни Колюня, ни новый его дружок Илюха, чьи родители купили дачу в соседнем проулке, ни Артур — первый из поклонников был слишком темен, второй истеричен, а третий нахален и груб, мальчики не думали о том, что их внимание задевало других девочек, и та, которой доставалась странная неловкая влюбленность, от этого терялась и чувствовала себя виноватой. Они ей были не слишком интересны, только забавляло наблюдать, как мальчики оспаривают право гулять с нею, не имея никакого шанса, и она их дурачила, хохотала, а они пропадали все сильнее и делались смешными и отталкивающими в своей глупости.

Колюня был, наверное, самым чудным в этой группе детей старшего возраста — даже более чудным, чем Гоша, к четырнадцати годам вытянувшийся и похудевший. Жиртрест, которого две его исступленные женщины мучили в музыкальной школе и над которым смеялись все дачные мальчишки, научился играть на семиструнной гитаре, пел ломающимся голосом песню группы «Воскресение»:

Кто виноват, что ты устал,
Что не нашел, чего так ждал,
Все потерял, что так искал,
Поднялся в небо и упал? —

девочки млели, Гоша расцветал от их внимания, как вьетнамский кактус, брал реванш за мальчишеское унижение, а Колюня, прислушиваясь к са-

мому себе, с удивлением подмечал, как впервые в жизни начинает переживать из-за того, что хуже одет, ведь даже на дни рождения к друзьям ему по-прежнему приходилось надевать потрепанную синюю школьную форму, но если раньше революционер не обращал на подобные глупости внимания и своей убогостью и бедностью бравировал, то теперь все переменялось, и в этом враждебном новом мире он ощущал себя сиротливо и неуютно, не зная, чем скрыть наготу, и снова чувствовал себя так, будто оборвалась натянутая леска и вяло провисла на старой удочке.

Он тосковал оттого, что не столь остроумен и нахален, как Артур, что его одинокие путешествия, прочитанные и сочиненные книги, умные речи и знание испанского языка и чилийской истории в этой компании никого не интересуют, и когда деланно печалются Гоша или Илья, все стараются их развеселить, а когда страдает от ужаса жизни он, Колюня, его затыкают. Пробовал было тоже выучиться играть на гитаре и петь, но как и с хоккеем, ничего не вышло, не было у него ни слуха, ни голоса, и бедное дитя не могло похвастаться даже короткими поцелуями и запрещенными касаниями, однако торопилось жить и все испробовать.

А жизнь никуда не спешила, она состояла из летних посиделок в уютном дядюшкином доме, распивания вкусного домашнего вина, купания и невыученных уроков, дежурств девятого класса «Б» по школе, комсомольских собраний, классных часов, контрольных работ, нравочений вальжной директрисы Евдокии Семеновны Мелешенковской, которая однажды пригласила Колюню в кабинет и стала отчитывать за то, что он недостаточно активный общественник, совсем не похож на сестру Валю, и она не понимает, что случилось и почему председатель совета пионерского отряда (так всегда она говорила: «юные пионеры»), политинформатор, кидовец и артековец вдруг превратился в пассивного, угрюмого эгоиста и дружит с такими же ёрничающими, наглými подростками.

Колюня не стал говорить, что сестра, которой гордилась вся школа и которая действительно, когда ее брату было шесть лет и в день его рождения они шли по железной дороге купаться на карьер, строго и значительно, как через несколько лет мама про тайну человеческого соития, сказала: «Теперь ты большой, и тебе пора узнать про советскую власть», давно уже не та и развернулась если не на сто восемьдесят, то на сто двадцать градусов. Она отрезала школьную косу, похорошела и помягчала, ездила вместе с молодым артистичным мужем-физиком на сборы клуба самодеятельной песни в подмосковные леса, где молодежь выискивала стукачей и показывала властям фигу в кармане, сестра читала запретные книжки и со снисходительным женственным вздохом объясняла младшему брату то же самое, что когда-то вещали две кидовские подружки-террористки, обличал старенький, выживший из ума пиит и подтверждал по-еврейски диссидентствовавший и слушавший «Голос Америки» рыжий Колосков: главная беда наша в том, что мы живем в тоталитарной стране, и хотя Валя никогда не доходила до крайностей диссидентства, утверждавшего, что чем хуже идут вокруг дела, тем лучше, зато с географическим знанием дела прибавляла к поставленному диагнозу, что давно бы империя уже обанкротилась и вынуждена была поменять образ правления, не будь, к своему несчастью, столь фантастически богатой.

Колюня не желал Родине зла, не понимал, что значит *тоталитарная*, и простодушно надеялся, что добра на всех хватит, и все ему вообще-то нравилось, если бы только в школе не заставляли стричь коротко волосы, учить математику и дежурить. Потом ученый кролик Сережа уехал с молодыми родителями в Монголию, а когда вернулся, то они в первый момент его не признали — он был чужой, незнакомый, без очков, но зато в настоящих американских джинсах и кожаной куртке, и они молча слушали, как хилый ботан хвастается тем, что на берегах монгольских озер, переполненных пудовыми тайменями, познавал женские тела, и Колюня с Артуром и

Илюшей ему не верили, знали, что врет, но в душе опять испытывали невыразимую тоску и казались сами себе сморчками со своими жалкими, в ладошку карасями из вонючей Камышовки, самострочными расклеванными штанами, телогрейками и телячьими вздохами на дачных скамейках с надменными хохотуньями.

Чтобы хоть чем-то возместить неполноценность, отправились, когда стемнело, пить водку. Колюня, как и остальные,пил национальный напиток первый раз в жизни и с опаской глядел на стакан, в который была налита прозрачная жидкость с резким, отталкивающим запахом, но виду не подал. Опрокинули, пошло, закусили огурцом с грядки и удивились: это оказалось совсем не страшно, как представлялось, а даже приятно.

А потом закурили пахучее «Золотое руно» за пятьдесят копеек пачка, и курить Колюне тоже очень понравилось, так что он забыл про давнишнее обещание маме и само собой впопад или невпопад через каждые два слова вставлял что-нибудь нецензурное. Они сидели под насыпью железной дороги, по которой гроыхал аккуратный паровозик, водка обжигала живот, весело глядел на мальчишек молодой машинист, и смешанная с мужской гордостью и доблестью тоска в груди была изматывающей и сладкой.

Они совсем не знали меры и не соображали — пилось радостно и легко, и Колюня набрался до такой степени, что после полуночи два его новых деревенских друга, Витька и Соловей, с которыми еще совсем недавно они дрались не на жизнь, а на смерть, под руки приволокли прошедшего частичную инициацию дачника домой, и несмотря на состояние души и тела долгая дорога эта через спящую деревню, умывание под ледяными струями колодца, восторженные выкрики, качающиеся звезды, августовская ночная чернота и странное ощущение освобождения и первой не детской, но мужской дружбы и выручки — все это запало в память и удерживалось в ней долго-долго.

Под восхищенные взгляды гостившего на даче младшего брата Пашки бесчувственное тело опустили на кровать дядюшкиной конуры, так что спавшая в дачном домике бабушка ни о чем не догадалась, зато наутро сам бедняга впервые узнал, что такое похмелье, всякий раз после этого давая себе зарок, что больше ни-ни, а потом снова напиваясь и по утрам мучаясь.

5

Похмелье проходило обычно к середине дня, а вот отравленное отроческое сердце не могло оправиться очень долго и страдало, страдало, страдало...

В последнее школьное лето предметом романических мечтаний Колюнчика оказалась спокойная, рассудительная, лениво дремлющая барышня в красном сарафане на тонких бретельках, не скрывавших ее нежные, вечно обожженные солнцем плечи. Звали ее Аней, она появилась на даче невесть откуда, а по слухам купавнинских кумушек была сослана родителями к двоюродной бабке на перевоспитание. Узница была на год моложе Колюни, однако с самого начала показалась ему взрослее, и эта взрослость только подхлестывала юношеский интерес.

Соседи поначалу наблюдали за юной парочкой настороженно, но потом привыкли, и мальчик с девочкой проводили вместе целые дни напролет, ездили купаться на карьер, ходили в лес за черникой и сыроежками, а по вечерам смотрели комедии шестидесятых годов в железнодорожном вагоне-клубе. После фильма Колюня провожал свою подружку до дому и засиживался на террасе под огромным, с бахромой абажуром, вокруг которого летали ночные бабочки. Присматривающая за Аней бабушка была глуховатой чудесной старушкой, она ложилась спать в половине одиннадцатого, прослушав по включенному на полную мощность радио последние известия, перекрестив детей и прочтя одну из молитв на сон грядущ-

щий. Уходя, Ксения Федоровна всякий раз внимательно смотрела на Колюню, качала головой, но говорить ничего не говорила.

Она спала крепко, а двое сидели на террасе и пили чай с лимонником или мятой. На подоконниках и под столом было полным-полно ящиков с яблоками, огурцами и помидорами, малина, вишня, банки с вареньем и маринадами. Придавая лицу таинственное и задумчивое выражение, они курили с важным видом первые сигареты, выпуская дым через вытянутые трубочкой губы и поминутно стряхивая пепел, говорили обо всем на свете, делились тайнами, отчего Анечкины глаза становились большими и круглыми, а голос сгушался до шепота, но потом взрывался горловым смехом.

Колюня был влюблен в этот залиvistый смех, теплые ночи, в Анину бабушку, в террасу, в бесшумных бабочек, в сигаретный дым, в Аню — ему было так хорошо, что он и сам этого не понимал и забывал Сережкины бесстыжие рассказы про монгольских женщин и тайменей. Все это не имело никакого отношения ни к Ане, ни к даче, было хорошо и так, о большем и лучшем он и не загадывал.

Иногда только мальчик ловил на себе строгие и властные взгляды новой подружки, что вспыхивали под полуопущенными длинными ресницами, когда девочка снимала на пляже сарафан или, подняв руки, отчего ее фигура делалась еще более стройной, закалывала либо после купания расчесывала длинные волнистые волосы. Тогда Колюня смущенно отводил взгляд, краснел, но стоило ему минутой спустя встретиться с Аниными глазами, как они снова становились простодушными, и мальчик успокаивал себя тем, что взрослое женское выражение ему просто пригрелилось.

В четвертом часу светало, становилось зябко, начинали петь птицы, и у звонкоголосой девочки слипались глаза, она едва успевала прикрывать зевающий пухлый ротик с острыми белыми зубками — тогда Колюнчик поднимался, выходил на улицу и опасно вглядывался в сизую предрасветную мглу: по ночам на участках бегала сторожевая овчарка Найда, которую взяли вместо умершей Лады. Но идти ему было совсем недалеко: до конца улицы, немного по нижней дороге — и вот он дома.

Подросток спал до полудня, торопливо завтракал и, пока его не заставили вскопать грядку у себя на огороде, торопился на помощь к Ане. Так начинался с прополки или иной огородной повинности новый день, продлевался купанием, томлением на песчаном пляже, вечерним фильмом и завершался легкой ночной болтовней. И добровольный работник думать не думал, что однажды все куда-то денется.

В середине августа на дачу приехал с новыми удочками-телескопами Артур. Не рыбачили друзья, правда, давно. Артур с тех пор, как поступил в институт, в Купавне больше не появлялся, а Колюня был до такой степени увлечен Аней, что даже рябь на поверхности старого карьера не будила в нем никаких чувств. И вот теперь, обрадованный приездом товарища, дачник простодушно рассказал другу детства об Ане. Артур скривился, проворчал, что лучше бы пошли на зорьке поспиннинговать судачков, у которых нынче самый жор, но серенький дурачок был непреклонен.

— Она хоть тебе дает? — спросил Артур подозрительно.

— Чего дает? — не понял Колюня, и сердце у него тоскливо сжалось.

— Эх ты, лапоть. Ладно, посмотрим на твою недотрогу.

В тот вечер молодежь сидела на террасе втроем. Было оживленно, Аня, неуловимо изменившаяся и похорошевшая, прогнала скуку с лица гостя, Артур рассказывал про институт, тут и там мелькали манящие слова: сессия, коллоквиум, пара, зачет, — школьники слушали его раскрыв рот, роскошная и равнодушная луна выкатилась над садом и глядела в окно, а нахальный студент между тем ухитрился съесть почти целиком литровую банку золотистого крыжовенного варенья.

Потом он облизнулся, довольно откинулся на спинку стула, похлопал себя по намечавшемуся брюшку и, как-то странно поглядев на Аню, пред-

ложил ей погадать по ладони. Девочка тотчас же согласилась, откинула с лица прядь волос, и ее маленькая ладошка очутилась в его руке. Артур держал худенькие запястья, поворачивая их, поглаживая и разглядывая со всех сторон, нес околесицу про форму ногтей и бугор Венеры, подмигивал Колюне, как если бы они были соучастниками какого-то грязного дела, а пораженный внезапной ревностью мальчик смотрел не отрываясь на Аню и подмечал в ее глазах новое, совсем не похожее на прежде мелькавшее защитно-женское выражение.

С Колюней Аня держалась обыкновенно ровно, ей было легко, привычно, тут же в девичьем взгляде появилась доверчивость, ее лицо показалось еще более детским, и Колюнчик ощутил в душе нежность и желание Аню защитить. Но как и от чего — он совсем не знал. Артур вскоре ушел, Аня притихла, а Колюня не знал, что сказать. Ему и не хотелось ни о чем говорить, а только сидеть и смотреть на лицо, еще не умевшее скрывать растерянности.

Когда он вышел, было уже светло, и ребенку вдруг сделалось тревожно и неловко. Он стыдился признаться себе, что любит Аню — полюбил, увидев ее преобразившееся лицо, но именно в этот момент он был счастлив как никогда. Совсем не хотелось спать, в странном возбуждении и полубезыбьи он принялся ходить по дачным улицам, расчерченным луною на светлые и темные шахматные поля, говоря вслух и размахивая руками, мечтая, сочиняя и не веря, что это не сон, как вдруг откуда-то сбоку на него налетела молчаливая сильная Найда и сбила с ног могучими лапами.

Мальчик лежал в сырой траве, глядел на луну, слышал, как дышит мохнатая псина, чувствовал ее запах и даже не пробовал освободиться — с Найдой такие фокусы не проходили. Вызволил Колюню бывший охранник Сталина, похожий на цыгана сторож дядя Леша. Он долго ворчал, бурчал, что на Первой линии давеча покрали доски, а у Ларионовых обтрясли грушу, и Колюне почудилось в этом дурное предзнаменование: а что бы было, если бы его, позорно лежавшего под собакой, увидела Аня?

На следующий день, когда он по обыкновению зашел к своей прелестнице, Ксения Федоровна встревоженным тоном известила Колюню, что Аня уехала купаться, и стала угощать мельбой по случаю яблочного Спаса. Но мальчику было не до яблок. Он вскочил на велосипед и помчался к карьере, объехал его несколько раз кругом по рыхлому песку — Ани нигде не было. Колюня не застал ее дома и вечером и тогда сел напротив забора и стал ждать. Он курил до одури, не замечая, что пепел сыплется прямо на телогрейку, забыв о времени и не обращая внимания на кусавшихся комаров, но вот в темноте мелькнул ее свитер с капюшоном и светлая рубаха Артура.

Другие двое вошли в дом, и на террасе загорелась Колюнина лампа под абажуром с длинной бахромой, созывая бабочек к ужину с вареньем и чаем. Мальчик решил было встать и непринужденно войти на террасу, но почувствовал, что сделать этого не может, не может видеть их рядом, Артура и Аню. Однако не мог и уйти, потому что в эту минуту там, в дачном домике, где спала, ничего не ведая, Анина бабушка, могло произойти дурное, и, если девочка крикнет, он тотчас же бросится ей на помощь. Бедный рыцарь кружил вокруг участка, боялся, что снова налетит из темноты Найда, но все было тихо. Часа через два Артур вышел и зашагал вверх по улице, а Колюня, пожелав ему встретить пса, открыл калитку.

До этой минуты он еще кое-как держал себя в руках и убеждал, что все ерунда, случайность, что может быть общего между бородатым студентом и робкой девочкой, но когда увидел разочарованное при его появлении Анино лицо, все поплыло у мальчика перед глазами. Он почувствовал, что краснеет, чуть ли не плачет, но Аня ничего не замечала. Колюня ждал, не предложит ли она ему чаю, Аня же смотрела на своего приятеля с досадой. Он упрямо сидел на Артуровом месте, и ему хотелось вернуть

хотя б их прежние покойные отношения, но все было напрасно: банки с вареньем неприступно стояли в шкафу, отсвечивая темно-красными боками, и отражали его вытянутое лицо. Наконец Аня потеряла всякое терпение и раздраженно сказала, что хочет спать.

Это было так хлестко, что, выйдя на улицу, Колюня поклялся: не пойду к ней до тех пор, пока сама не придет и не позовет. Но Аня и не думала его звать, и Колюнчик весь извошелся от обиды, ревности, а всего более от того, что в его отсутствие может стрястись беда. Но выследивать парочку, увязываться третьим, ловить насмешливые взгляды Артура и раздосадованные Ани не позволяла гордость.

Какими только словами он не крыл своего старшего друга, но не сдавался и выжидал, когда же девочке станет без него скучно, так же невыносимо тошно, как ему без нее. Пожалуй, на его позеленевшем лице аршинными буквами было написано это отчаяние, и даже разнообразные родственники перестали Колюню корить, а только вздыхали, кто со злорадством, а кто сочувственно глядя, как племянник, внук и кузен слоняется по саду, оглядывая каждого прохожего и набивая оскомину поздней смородиной. Но занять себя было нечем — на купавнинской даче не было толком книг, только стояли на самодельной грубой полке среди садоводческих справочников и зачитанных альманахов украшенные Сталинскими премиями издания послевоенных лет — романы Тихона Семушкина, Ванды Василевской, Семена Бабаевского и Павла Вершигоры.

На третий день, прочитав половину «Кавалера Золотой Звезды», где снова было о женщинах и о любви, Колюня себя вконец презирал, решил, что пора возмужать и научиться обходиться без женского общества, но Анин голос, ее скользящие с поволокой глаза, маленькие ладошки и ножки в шерстяных носках — все мерещилось отроку во сне и наяву, и от этих противоречивых чувств он полез на чердак, достал из дядюшкиного хлама спутавшиеся старые снасти, наладил их и отправился на карьер ловить рыбу.

Карьер к тому времени сделался еще более капризным, он усох больше чем наполовину, но рыбы там водилось по-прежнему много, однако была она закормлена и избалована многочисленными рыболовами, просто на геркулес уже не шла, и требовалось изрядно поломать голову, дабы ее привадить. Ловили чаще всего удочками около травы или в заливах, где держался мелкий окунь, плотва и карась, но все это было баловством — настоящей рыбалкой считалась ловля зеркального карпа на закидушки. Брал он нечасто, но уж когда это случалось, могучая рыба шла с сопротивлением, делала в воздухе свечки, рвала прочнейшую леску, доводя до иступления самых стойких мужиков.

Колюня уезжал обычно с вечера на велосипеде, ставил несколько закидушек, разводил костер и пиялился на огонь, прислушиваясь, не зазвенит ли во тьме колокольчик. Так он просидел на берегу несколько ночей, меняя места, колдовал над кашей для рыбы, смешивая манку, пшенку и геркулес, замешивая тесто на белке, добавляя в него сахара, постного масла или анисовых капель, лепил из каши хитрые рогатины, в которых был спрятан десяток крючков с отточенными жалами, но счастья ему не было и здесь. А август был теплым, и тихие ночи с тут и там вспыхивающими огнями костров и ущербной луной над дальним берегом успокаивали душу, и на время мысли об Ане становились сладкими, как прежде. Колюня забывал об Артуре, ему казалось, что подружка его просто уехала, но очень скоро обязательно вернется на увитую диким виноградом террасу.

И вот однажды на рассвете, когда костер догорел, небо едва забрезжило и над водой поплыл такой плотный туман, что, кажется, руку протяни — не увидишь, он услышал совсем рядом голоса:

— Тихо как...

— Нравится тебе, малыш?

— Да. И даже спать не хочется. Хорошо, что ты приехал, а то я так скучала.

— Да если б не ты, я бы трех дней в этой дыре не высидел.

— Правда, Артурушка?

— Правда, маленький.

Она засмеялась, а потом, видно, подбежала к воде и сказала:

— Теплая-то какая!

— Давай искупнемся, малыш.

— У меня купальника нет.

— Кто же ночью в купальнике купается?

— А как?

— А так, маленький... — И рыбачок услышал легкое потрескивание синтетической рубашки.

— Вдруг тут кто-нибудь есть?

— Никого нет, не бойся.

6

Уйти, убежать отсюда! Нет, броситься и не дать ему ее коснуться! Он лежал на телогрейке, похолодевший, как неделю назад под лапами Найды, растерявшийся от неслыханного вероломства, о котором сам и помышлять не смел, и в этот момент... дернулся и оглушительно зазвенел колокольчик.

Колюня подсек.

Ощущение было такое, что к тому концу лески привязали валун. Мальчик стал медленно подтягивать леску на себя, по сантиметру, осторожно, как вдруг она ослабла, а потом натянулась, запела, на воде раздался удар, всплеск, и закидушку начало рвать из рук, а в тумане послышался странный шум.

Господи, как все это было некстати!

Рыбина снова сделала свечку, и удар был еще сильнее, он боялся, что карп сорвался, однако тот сидел, и, значит, теперь уже сидел крепко сразу на нескольких крючках. Карп слегка затих, ослабел, и Колюня начал подматывать леску на себя. Увы, это была самая скверная его закидушка, на леске в одном месте был узелок, он чувствовал ее предельное натяжение, и ему казалось, что он сам перетекает в эту леску — только бы выдержала! Чуял эту слабинку и карп, он мотался, как бешеный пес на привязи, и Колюня был вынужден отдавать ему метр за метром.

— Дай сюда!

В двух шагах от него стоял босыми ногами на песке Артур, и глаза его горели как у безумного.

— Ппашел ты!.. — сказал маленький рыболов задуманно, вложив в эти слова всю свою ненависть к растлителю, но тот будто и не слышал.

— Упустишь ведь! Ты же не знаешь, как его тащить, — застонал студент. — Ослабь, ослабь, тебе говорю! Тяни!

— Не упушу.

— Уйдет, ой, уйдет, сука!

— Не каркай!

Колюня начал подматывать леску и краем глаза заметил появившуюся из тумана Аню в темной куртке с капюшоном, делавшим ее похожей на кающуюся монашку. Она встала у Колюни за спиной, и он почувствовал себя увереннее.

— Что ты делаешь? — причитал Артур. — Дай же ее мне! Ой, бляха муха, ой, упустишь! Леса-то какая у тебя?

Но карп был уже изрядно вымотан, и Колюнчик вырывал у него метр за метром, хорошо понимая, что бородатому завистнику больше всего хотелось, чтобы рыбина сорвалась, но для Колюни это было делом чести, а

проклятый узелок находился в воде. Он подтягивал на себя леску, как вдруг карп снова выпрыгнул, теперь уже совсем близко, и они успели разглядеть его мощное тело.

— Ё-ё-ё-ё! — застонал Артур горестно, а Аня вскрикнула.

— Закурить дай! — небрежно повернулся Колюня к Артуру.

— Ты чё? — вылупил студент. — Ты его вытащи сначала!

— Сходи, сходи принеси мне сигарку! Нам с рыбкой перекур надо сделать.

Артур исчез в тумане, охая и вздыхая, а Колюня в это время снова обернулся к Ане и встретился с ней глазами. Они выражали испуг, нетерпение, интерес и уж по крайней мере не смотрели на него как на пустое место.

Он закурил от услужливо поднесенной спички и, выпуская кольцами дым, присел.

— Что ты тянешь?

— Да теперь уже не уйдет, — отозвался Колюня с ленцой, картинно стряхнул пепел и стал снова подтягивать леску, но она... не шла. Он потянул сильнее, леска сидела мертво и давала слабинку, стоило ее отпустить. Камни... Пока он пижонил, карп запутал леску в подводных камнях, и это конец и рыбине, и рыбаку. Мальчик представил, что сейчас выдаст Артур, как он будет выглядеть в Аниных жестких глазах, и не решался во всеулышанье объявить, что случилось.

— Не идет? — спросил Артур, и в узких зрачках его вспыхнула иголкой надежда.

— Что ты встал тут? Что пялишься на меня, как баба? Лезь в воду живо! Ну! — заорал Колюня в спасительной догадке.

— Зачем?

— Идиот! — сказал рыбачок с наслаждением. — Будешь леску отцеплять.

Артур плюхнулся в воду, нырнул, нащупал жилку рукой, и через мгновение она снова натянулась, карп сделал последнюю свечку, а торжествующий Колюня перед самой физиономией ночного купальщика, поддерживающего рукой трусы, выкинул добычу на берег.

На сыром песке лежал длинный, почти в метр зеркальный карп, упитанный, склизкий, с темной чешуей и могучим хребтом, с растопыренными жабрами. Колюня тотчас же узнал его: это был тот самый экземпляр его подростковых страданий, что семь лет назад сорвался с крючка и теперь, нагуляв много килограммов плоти, снова на него сел, ибо у рыб, как и у людей, должно быть, есть своя судьба, от которой они не могут уйти. Карп вздрагивал, собираясь взмахнуть хвостом. Колюня живо достал нож и под испуганный Анечкин вскрик всадил его волшебной рыбине в голову.

— Хорошо, хорошо, — растерянно бормотал мокрый, покрытый пупырышками студизус, и на его физиономии было написано такое же безнадежно-горестное выражение, как все эти дни на Колюнином лице.

Только теперь мальчик почувствовал, что устал. Поединок с карпом длился минут двадцать, уже совсем рассвело, появилась долгожданная рябь на поверхности водоема, и Артур засуетился вокруг закидушек, ожидая поклевки.

На Аню он просто не глядел, пробовал поминутно леску, спрашивал, что там насажено, и в сомнениях качал головой.

— Артур, я хочу домой, — сказала Аня.

Колюнин друг поглядел на нее все теми же безумными очами, будто только сейчас увидел, и в отчаянии от девичьей бестолковости воскликнул:

— Малыш, сейчас, когда рассвело, но еще не взошло солнце, будет брать самая крупная рыба.

Так было написано в их любимой отроческой книжке «Как ловить рыбу удочкой», но Колюня-то знал, что его карп распугал всю рыбу в округе и ничего он не поймает.

— Артур, я хочу спать, — капризно повторила Аня.

Теперь он даже не обернулся, ему почудилось, что колокольчик слегка тронулся, Артур тронулся тоже, схватил рукою леску и замер, готовый подсечь.

— Скоро проснется бабушка. Мы должны успеть вернуться!

— Давай я тебя провожу, — сказал Колюня.

Она скользнула по его лицу ленивым взглядом, сощурилась и нетерпеливо мотнула головой, но он выдержал — лежавший на песке карп придал ему сил.

— Артур, мы уходим! — сказала Аня.

— Ага, ага, — закивал он, хлопая на голой спине комаров.

Колюня засунул карпа в холщовый мешок, и мальчик с девочкой пошли домой. Мальчик шел впереди, гордый собой, недоступный, как кавалер Золотой Звезды Сергей Тутаринов, попыхивая на ходу папироской и время от времени перекладывая мешок с одного плеча на другое. А хорошенькая Анечка дулась — она дулась на росу, вымочившую ее кроссовки и шерстяные носки. на комаров, на Артура, на карпа, на Колюню, она ждала, что он снова начнет лебезить, — но он сам себя не узнавал, этакого плотного мужичка в посконной рубахе, с пушком на верхней губе.

Когда они подошли к Аниному дому, играл гимн, на террасе в утреннем чепце восседала Ксения Федоровна и пила кофий. Увидев детей, она направилась к Ане, сверкая рассерженными глазами, но Колюня выступил вперед, загораживая свою спутницу и протягивая старушке мешок.

— Ксень Федна, подарочек вот вам, — проговорил рыбачок, как умел, обаятельно.

— Аня!

— Что Аня? — устало произнесла изменница.

— Что я родителям скажу?

— Так ведь, Ксень Федна, — снова вмешался Колюня, — вы думаете, легко такое животное выгнать? Вы бы видели, как наша Аня работала!

А карп в утреннем розоватом освещении был превосходен, недаром он прозывался зеркальным, и на его боку отражалось Колюнино самоуверенное, бабушкино суровое и Анино несчастное лицо.

— Ну ладно, — Ксения Федоровна сменила гнев на милость, — если ты была с Колей, я спокойна, — и повернулась к мальчику: — Вечером приходи, я его приготовлю.

— Благодарю, — ответил Колюня с достоинством.

В то утро он спал нормальным сном здорового подростка, и лишь часа в три дня его разбудил свист Артура. Друг детства выглядел еще страшнее, чем ночью, бледный, осунувшийся, с красными слезящимися глазами, он смотрел на соседа растерянно и жалко.

— Старик, дашь еще донные удочки на одну ночь?

Так он называл — по-книжному — закидушки, однако своих у него не было: эстет всю жизнь ловил поплавочными удочками и говорил, что иначе теряется удовольствие от созерцания игры поплавка на поверхности воды.

— Да бери, — пожал Колюня плечами, стараясь никак не выказать своей радости и не вспугнуть Артура.

— Спасибо, Колька, век не забуду, — проговорил хиромант торопливо и исчез.

А Колюнчик потянулся и пошел досыпать, но сон уже не шел, и он взял старую электробритву, впервые в жизни прикоснувшись кружочками лезвий к подбородку.

Карп был изготовлен превосходно, ни до, ни после этого дня Колюня не ел ничего подобного. Сотрапезники чинно сидели за столом, беседовали на садоводческие темы и про дачную старину, но вот кончились последние известия, старушка перекрестила детей уверенной жилистой рукой огород-

ницы с двадцатипятилетним стажем, и они снова остались одни — Колюня и его юная возлюбленная, и незванный гость им больше не мешал.

Но, увы, прежних безмятежных ночей было уж не вернуть, и по Аниному беспокойству Колюня почувствовал, что она думает об Артуре, и даже отсутствующий, он стоял между ними. Ему бы сейчас подойти к ней, закинуть ее голову, обнять:

— Ну что, малыш?

Но какой она ему малыш? Она ждала своего Артура, и тогда он встал и сказал:

— Ну, пока?

— Иди, Коленька. — И в ее голосе прозвучала благодарность.

А ему вдруг стало так за нее обидно, что впору было кинуться на карьер и приволочь оттуда не ценившего своего счастья дурня.

Колюня побрел не разбирая дороги, и теперь ему было не больно, как прежде, а лишь тяжело на душе, однако эта тяжесть казалась посильной, точно он добровольно ее на себя взвалил.

Мальчик почувствовал раньше, чем увидел или услышал, догадался, что из темноты на него снова бежит Найда, выдернул из забора кол и шагнул навстречу овчарке.

Найда отступила, она была умной собакой.

— Пошла отсюда!

Она тихо зарычала и стала отступать, выжидая удобный момент для броска, но Колюня сделал упреждающее движение, и Найда так же бесшумно исчезла в ночи, как и появилась.

Маленький мужчина дошел до калитки, бросил кол и сел на лавку.

Вот все и кончилось.

Два следующих дня были пасмурными, с несильным юго-западным ветром, благоприятствующим клеву. Но Артур не приходил, и, значит, карпом у него не пахло. Студент пропадал на карьере с утра до ночи, облизывал пересохшие губы, тер тыльной стороной ладони глаза и иногда заскакивал домой перекусить. А Колюня чинил забор, на душе у него было пусто и тихо.

Но на третий день открылась калитка, и в сад вошла Аня. Боже, что с ней случилось! — она выглядела хуже своего несостоявшегося любовника.

— Коль, пойдем рыбу ловить.

— Так ведь клева не будет, Аня.

— Бабушка просила еще ей карпа поймать.

— Ну пойдем, — сказал он обреченно.

По счастью, то была последняя ночь последнего дачного лета, и только однажды ему пришлось увидеть искаженное злобой лицо столичного студента, решившего, что непонятно почему его товарищ по детским забавам и играм вздумал отомстить и привел на рыбалку глупую бабу, которая полночи проревела в двадцати шагах от костра и не дала Артуру вытащить заветного карпа.

На рассвете начался дождь. Глинистую дорогу размыло, и так они и шли, спотыкаясь и падая: впереди налегке яростный Артур, за ним с закидушками брел Колюня, а позади всех плелась перевоспитанная Анечка и продолжала, не стесняясь, в голос всхлипывать то ли потому, что хотела обратить на себя внимание, то ли ей уже было все равно. Но двое парней не оборачивались и, дойдя до ворот, расстались, чтобы больше никогда не встречаться.

Как знать, быть может, каждое литературное творенье имеет не только своего автора, но и определенного адресата, и сумбурное Колюнино воспоминанье с вкраплениями любительских и профессиональных стихов,

испанской речи и приложением незримо присутствующих блеклых фотокарточек из растрепанного семейного альбома — все это, в сущности, так похоже на матушкины литературно-художественные композиции и школьные сочинения. Быть может, адресованное горстке позабывших моего героя людей не имеет цены в глазах посторонних и непосвященных, и никакой колокольчик не звенел на берегу карьера, и не вытаскивал Колюня зеркального карпа, и уж тем более не отражалось в нем ничьих лиц, а попросту впечатлительный мальчик все придумал, чтобы утешить и компенсировать бессмысленные страдания души и тела в их горькой и неприкаанной младости.

Со временем, слава Богу, покой пришел и к тому, и к другому, но только почему годы спустя снилась ему другая девушка в гимназическом платье, с модельной стрижкой каре, к которой он не решался приблизиться, и почему в тех снах являлся отец и с укоризной спрашивал: «Ну что же ты?»

От тихой московской барышни осталось лишь пронзительное воспоминание, как они гуляли классом Первого мая по набережной Москвы-реки возле университета, а потом, когда все разъехались, мальчик набрался духу, подошел к однокласснице на станции метро «Каширская» и на выдохе, точно в разреженном воздухе памирского семитысячника, еле вымолвил:

— Я провожу тебя.

— Не надо, Коленька, — ответила она ласково и легко взбежала по ступенькам наверх.

Первый раз по имени назвала. До этого — только по фамилии или никак не называла. Он прислонился к колонне на платформе, мимо шли пассажиры, остановилась возле сердобольная пожилая женщина и спросила:

— Тебе плохо, мальчик?

После выпускного вечера, так и не осмелившись пригласить свою пассию на медленный танец, Колюня написал прощальное запоздалое объяснение в любви, на которое не рассчитывал получить ответа и не знал, дошло ли оно или о его существовании взрослая женщина прочтет только сейчас — но Бог его знает, как бы сложилась Колюнина судьба, если бы не отвернулась от него веселая дачная Ленка, подарила бы что-нибудь от щедрот своих, от губ, от гибкого, нежного тела или была бы помягче прелестная школьная королева, звала всегда Колей, говорила с ним, утешала и позволяла себя провожать. Наверное, тогда он не стал бы писать никаких романов и повестей, не заделался бы сочинителем в пору, когда это стало никому, кроме потешных филологических мальчиков, не нужно, и не обрек бы ни в чем не повинную семью на тягостное существование и вечное свое отсутствие. Но про Ирочку еще долго не переставал вспоминать и несколько лет спустя увидал ее на встрече одноклассников.

Она смотрела на бывших поклонников без особого любопытства, ей вообще никто не был интересен — она была счастливая чудесная женщина, а Колюня тогда жил в той самой двухкомнатной квартире в Филях, которая досталась его сестре после смерти основателя купавнинской дачи, и ходил, как на ристалище и мордобой, в литературное объединение на улицу Писемского. Потом он все-таки отправился провожать ее, молодая женщина шла по улице, ее ждал у метро муж, он сидел в машине и спал — у них была квартира и двое сыновей, и холостой, независимый, преступно рано потерявший литературную невинность Колюня вдруг подумал, что жизнь его обокрала.

Добившись того, о чем и не смел в зеленые годы мечтать, он так и не сумел изжить свою молодость, раздражающее простодушие, недоверчивость, запальчивость, обидчивость, неуверенность в себе, показное равнодушие и желание привлечь к себе внимание — всю эту дачную психологию вечного подростка, с которой нечего было в писатели, учителя жизни

лезть, гроша ломаного не стоящую — мелкую, придуманную Купавну, похожую на высушенные меж страниц чужой книги осенние цветы.

Так оно было или не так, хорошо или плохо выдуманно, но первая Колюнина любовь оказалась несчастной — потому что на несчастье, поражение и утрату была настроена его душа; он не пытался ничего добиться, а если бы добился, то не знал бы, что с этой добычей делать — и далекими летними вечерами слушал с трудом купленный в ГУМе кассетный магнитофон «Весна», зажигал свечи, пил «Цинандали» или «Старый замок», ставил по десять раз «Отель „Калифорнию”» или начало «Wish you were here», гениальность которого не могла заглушить даже заезженная, поскрипывающая кассета, разговаривал с далекими дрожащими огоньками у черты горизонта, пел с пацанами дворовые песни про атомную подводную лодку, где случился в одном из отсеков пожар, и, чтобы лодку спасти, пришлось отсек затопить и погубить двадцать восемь ребят, и другую — про парнишку, который ушел служить в армию, погиб на границе, написав на снегу имя любимой девушки, но когда растаял снег и имя исчезло, возлюбленная его позабыла и пошла по улице с другим.

Они ходили ночью купаться, лазили по чужим огородам, воровали подсолнухи, пили водку, пьяные, вдвоем с Илюхой зачем-то кидали камни в окна пустых домов и говорили о женщинах, о Боге и любви.

Из этой мути, из драгоценного мусора и отчаяния сложился выстраданный Колюнин роман, не любовный роман с поцелуями, объятиями, свиданиями и ревностью, а нечто гораздо более грандиозное — роман из слов и предложений, которые были гораздо богаче самой любви.

«Лето умирало мучительно и долго», — написал Колюня в толстой тетрадке свою первую литературную фразу. Была зима, молодой прозаик сидел в малогабаритной беляевской квартирке, глядел на заснеженные крыши и завьюженные улицы, по которым медленно и осторожно пробирались машины, надо было готовиться к вступительным экзаменам в университет, перечитывать «Войну и мир» и «Поднятую целину», но, отложив измучившие его шедевры в сторону, маленький автор вспоминал ушедшее счастливое дачное лето семьдесят девятого года, зажигал свечи и украдкой плакал.

А когда родители, готовившие его к последнему жизненному штурму, требовали учиться, удирал в Купавну и там, где все напоминало об ушедшем тепле, продолжал легко и быстро писать.

«Словно живое существо в предсмертной агонии, оно отчаянно цеплялось за последние листья на деревьях, одинокие сентябрьские цветы, прощальные крики улетающих птиц, вялые лучи скупого осеннего солнца и изредка мелькавшие в сумрачном небе голубые просветы. И иногда, как отблески его былого могущества, устанавливались ослепительно сверкающие, прозрачные дни, но все чаще и чаще они сменялись ненастьем, и осень, как ночь, спускалась на Ислу, сгущаясь и обволакивая ее туманами и дождями. Холодный и сильный северный ветер срывал и гнал перед собой пожелтевшую листву и устилал и усыплял ею землю, и деревья гнулись и скрипели, оплакивая погибшую зеленую душу».

Колюню завораживала эта длинная фраза, долгие перечисления и гладкая текучесть слов — точно он лежал, закрыв глаза, на спине и чувствовал, как плывут вместе с ним и небо, и земля, и прикасался сам к бесконечному течению бытия.

«По утрам случались заморозки, хрупким инеем покрывалась трава на болотах, и засыхали цветы. И в этом трагическом мире всеобщего прощания и разрушения создавалось предчувствие того, что вместе со смертью лета произойдет непоправимое — погибнет и никогда более не воскреснет жизнь».

На даче отключили электричество, и он писал лихорадочно, при свете красивой керосиновой лампы, до обморочного состояния, так что обста-

новка вокруг и холод дачного домика — все выглядело, словно Колюнчик остался один на свете в окружении молчаливых, темных домов, и ощущение это наполняло душу гибельным восторгом.

Как сладко было одиночество и как хотелось, чтобы в тишину и пустоту дачного домика вошла женщина! Не такая, каких Колюнчик встречал в жизни, — а такая, которую он мог бы сочинить по желанию души и хотению тела. Но не было такой женщины, одно только одиночество вокруг, и он выходил в туманный тихий сад, курил, глядел на луну и снова начинал лихорадочно строчить.

В качестве места действия страдающий литератор избрал заброшенную северную деревушку и расположил ее на отрезанном от мира глухом участке земли, который образовывала вытекавшая двумя рукавами из глухого таежного озера река. Это были бурные, порожистые реки, и жители деревень, что располагались ниже по течению, сюда не доходили. Когда-то от деревни шла дорога до поселка лесорубов, но теперь ею никто не пользовался, она частью заросла, частью ушла в болота, и только была где-то в лесу выющаяся звериная тропа. Как дань прошлому бедное селение называлось испанским словом «Исла» — сиречь островом, — никаких иных жителей там больше не было, и ничто не мешало герою созерцать окрестную красоту, терзаться и, упиваясь возлюбленным одиночеством, сочинять для себя какую угодно судьбу.

8

Автор и сам толком не знал, что хотел сказать, но попытался вместить в две сотни неряшливых, неуклюжих, убористо напечатанных и исправленных ручкой страниц все свое видение и ощущение мира, бывшие или только пригрезившиеся ему приключения и путешествия души. Помимо героя с романтическим именем Старк, ушедшего из жестокого мира, и безымянного молодежного бунтаря, который, разочаровавшись в людях и поняв, что никто вокруг не верит в его идеи, принялся странствовать по городам и весям, выменивая на машины, дачи, квартиры, лекарства, водку и хлеб крестильные крестики и таким образом мстя людям за крушение своей мечты, в романе имелся еще и самый главный, и самый зловещий персонаж — хозяин жизни, сытый, наглый и циничный Князь. Именно он совратил бедного идеалиста, поручив ему бесчестное дело, после чего приступил к искушению самого Старка. При этом вся троица оспаривала любовь той хорошенькой женщины, которая в сарафане и босоножках прошла через комариные болота и топи в Ислу и в конце концов досталась самому сильному, потому что, сделал нехитрый вывод еще не познавший женщин и писавший наугад эротические сцены Колюнчик, самые прекрасные из них всегда достаются сильнейшему.

Но когда роман был почти закончен, то само собой вдруг всплыло помимо писательской воли, запросилось на белые листы, что трое его персонажей суть один человек, который для того и был отведен в северную лесную пустыню, чтобы там в тишине и уединении сделать выбор и ответить, по какому пути он дальше в жизни пойдет, а громадная изба на подклете вдруг таинственным образом превратилась в невзрачный дощатый домик и заброшенная деревня — в опустевший осенью дачный поселок, где писал с воспаленными от бессонницы глазами и разбухшим от выкуренных сигарет языком Колюнчик финальные строки своего детища.

«Он лежал на краю земли, раскинув руки, как вдоль креста, и ветер тербил его поседевшие волосы, и глаза его были устремлены в небо, а вдали за деревьями, куда уносились мимо замерзающего человека машины, вставали стеной дрожащие огни черного Города».

Все это было отголоском Колюничных подростковых дворцово-пионерских и кудиновских исканий — он не думал свой роман публиковать, и

прежде всего потому, что понимал его полную идейную непроходимость, разве что перенести действие в Америку или Европу и сделать героя разочаровавшимся в буржуазной действительности бунтарем, парижским студентом шестьдесят восьмого года, никому не показывал, но после того, как на Родине нежданно-негаданно настала милая сердцу гласность и напечатали гениального «Доктора Живаго», все же вознамерился многословное творение сократить и отдать в журнал «Юность», а перед тем прочитать в литературном объединении.

Студенным декабрьским вечером с завыванием в голос исполнял Колюня «Дачные страсти» на улице Писемского, в бывшем помещении журнала «Наш современник»; было очень тихо, и читающий не видел ничьих лиц, даже забыв в тот момент, что его слушают. А когда закончил брачную песнь и силы его оставили, два десятка молодых, честолюбивых и голодных прозаиков, перекурив на лестничной клетке старого московского дома, безжалостно и изощряясь в остроумии, маленького акына разгромили, и даже несмелая защита руководителя студии, благородного и доброго художавого старика Тадэоса Ависовича Бархадуряна, писавшего под псевдонимом Федор Колунцев и посоветовавшего Колюне не отчаиваться, не смогла этот разгром смягчить и избавить от ощущения, какое ужасное преступление он только что совершил.

«Юность» навсегда потеряла своего автора, а потом пропала и рукопись, и самый молодой слушатель литобъединения при Московской писательской организации оставил дурацкое дело марать бумагу на несколько лет — но запомнил то опустошающее, более сильное, чем его воля, наслаждение, которое испытывал иногда под утро, когда писал, и одновременно с этим сохранил странную мысль, что любое писание — лишь вынутая из пишущей машинки бледная копия бытия, и тем оно и преступно.

Она осталась в нем, тоска по жизни, которую он не познал, но которую мог бы узнать, если бы не сидел над листами бумаги, если бы не писал, а жил, потому что это были вещи взаимоисключающие, не терпящие друг друга; странное чувство, что он может создать встречу, которой не было, и эта встреча станет большей явью, чем сама явь, придумать красивую женщину, неземную любовь — все это было Купавной, так же промежуточно, легкомысленно и необязательно, как дачная местность под Москвой, как судьба, подмененная проведенными над рукописью ночами.

А еще осталось в памяти подмосковное озеро — в романе переделанное в загадочное северное озеро, каких он в ту пору еще и не видел, глухой лес с громадными корабельными соснами, по которому тогда еще не ходил, — а в действительности озеро со всех сторон было окружено странным, скорее южным лесом, там было много дубов, орешника, лип, берез и совсем не росли хвойные деревья.

В кустах передевались и гадили купальщики и купальщицы, на одном берегу в выходные дни ставили палатки туристы, а на другом находились лесные дачи, настоящие барские усадьбы, а не садоводческие товарищества с их идиотскими уставами и шантажом, и среди этих угодий поместье летчика Водопьянова. И только несколько лет спустя, когда в середине мая Колюня плыл с другом юности Феликсом на байдарке в самом центре Мещерской равнины по извилистой полноводной Пре и таинственная лесная речка, описанная маминим Паустовским, про которого сведущий Илья говорил, будто бы литературный мудрец был избран Высшим Разумом для общения с инопланетянами, оказалась совершенно пустынной, зазеленели деревья и расцвели подтопленные луга, он увидел те же широколиственные леса, что и на Бисеровом озере, и содрогнулся от красоты Божьего мира, ни в каких инопланетянах не нуждающегося, и от невозможности в этой красоте жить, ничего не делая и лишь полагая, что везде: и в листьях, и в воде, и в солнечном свете, и в длинноногих цаплях и болотах, где далеко на горизонте виднелась церковь в селе Белом, и в круг-

лых звуках рязанской речи, и в нежных глазах деревенской девушки из лесного селенья Деулина, спустившейся к реке за коричневой водой, были те же атомы и крутившиеся вокруг них электроны, частицы и волны, и неужели же просто разное их количество обеспечивало красоту и неисчерпаемое богатство земного мира?

Она требовала ответа, эта тайна, как требовала внимания и уходавания красота возлюбленной женщины, и даже очередная несчастная Колюнина любовь померкла перед этой красотой, и он позабыл про комаров, которые его сжирали, про ползавших в молодой траве черных ужей, а потом на излете душного весеннего утра разразилась великолепная гроза, от которой двое сплавщиков напрасно прятались под ветками распутившейся черемухи, вздрагивали от бьющих прямо в воду близких и стремительных молний и не могли надышаться запахом мелких белых цветов и природного электричества.

Всего этого было так много, что непонятно, как умещалось все в одну человеческую жизнь, рассыпавшееся из сундучка должно было быть собрано. Колюня испытывал почти физическую потребность все упорядочить и облечь в слова, но ничего не получалось, обычный человек был бессилён что-либо сотворить, и это казалось снова похожим на то, как стоял перед тихим сельским кладбищем и разоренным храмом белоголовый мальчик с запыленными ногами и, не зная, как выразить охватившее душу чувство, поднял руку в пионерском салюте.

Чтобы все спасти и не дать исчезнуть, нужно было снова уехать в Курпавну, где давно кончился дачный сезон, был собран урожай и, как написал Колюня в конце своего печального романа, «в мир стала проникать осень. Она была осторожна, хитра и коварна, вкрадчиво цепляясь за неуловимые, едва заметные мелочи, осень пробиралась в лето и исподволь вытесняла его собой, стало более далеким и холодным небо, исчезла его густая синь и близость, с деревьев начали медленно падать листья; они кружились и качались над землей, словно не желали на нее ложиться, словно хотели обратно на ветки, словно это могло что-то изменить, спасти, но они падали и вздрагивали на лету. Лето умирало, и осень была его неизлечимой болезнью, вирусами дождей и облаков, ветра и холодных ночей, она подтачивала его изнутри, лето умирало...».

Он знал цену своему творению и, чтобы снизить его слезливый пафос, взял эпиграф из Козьмы Пруткова:

Вянет лист. Проходит лето.
Иней серебрится...
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться.

Погоди, безумный, снова
Зелень оживится!
Юнкер Шмидт! честное слово,
Лето возвратится!

Но ждать его возвращения было так долго, и хотя настал ноябрь и сделалось очень холодно, ровно в час ночи он сидел на Курском вокзале в последнюю пустую захаровскую электричку, глядел в заоконную черноту, боясь пропустить свой тихий полустанок, и, когда одинокий поезд отпускал его из сонного тепла, долго шел мимо замерзших домов и спящих деревьев, преследуемый светом фонарей и собственными перебегающими по снегу тенями, проваливаясь по колено на бабушкиной дороге, отдыхая на середине пути, глотая морозный воздух, прислушиваясь к лаю далеких собак, а потом в той самой комнатке, где сочинял одну-единственную на всю жизнь книгу, много лет спустя рассыпавшуюся на несколько десятков рассказов, романов, пьес и повестей, топил дедову печку, пил водку, ждав-шую его много лет, доставал из шкафа и листал бабушкины рассказы и

стихи, и ему казалось, что водка сама не выдержала ожидания и выдохлась, но наутро было плохо, как в ночь после инициации, когда он пил в деревенском доме за однопутной железной дорогой и пьяным голосом кричал:

— Соловей, тащи еще бутылку!

ЭПИЛОГ

Давно кончилась школа, Колюня поступил в университет на неэкономический факультет, из окон которого был виден Дворец пионеров, и первым делом записался в турклуб, принялся ходить в горы и леса под предводительством плотного, низкорослого и угрюмого университетского тренера, словно гоняясь за призраком обманувшего его веселого дядюшки. После грандиозных гор, снежных перевалов и зеленых полян, после моря, зимней Карелии и Карпат, Приэльбрусья и Домбая, где на поздней Страстной неделе студента и его случайных знакомых, с которыми, сбежав от наставника, он познакомился по объявлению в городском турклубе на Большой Коммунистической улице, в наказание за легкомыслие и пренебрежение к запретам контрольно-спасательной службы выходить на маршрут едва не накрыла в межсезонье на перевале лавина, и двое суток они просидели вшестером в двухместной палатке, каждые два часа откапывая ее из-под снега и обсуждая размер черных ленточек, которые надо привязать к штормовке, чтобы легче было откопать погребенное под снежной массой тело, а потом, не веря в собственное спасение, спустились на Пасху из белого мрака и вихря в цветущую долину шумливой горной реки Лабы; после южных красок и запахов, водопадов и ледников, после долгих северных закатов и ночных всполохов над Онежским озером срединная Купавна выглядела жалко и некрасиво.

Пересыхал глубокий карьер, стало непотребно грязным Бисерово озеро, и вовсе перевелась в нем рыба — даже дачные участки, по которым бегали чужие дети, казались похожими на кладбища, где высокие, вскопанные под осень грядки торчали, как свежие могилы, окруженные деревьями, цветами и травой. Ушло поколение тех, кто дачи строил, состарилось за ними следующее, приходили в негодность ветхие садовые домики — а на ремонт у пенсионеров денег не было.

У Колюни появились новые друзья, гораздо более интересные, начитанные и умные, нежели дачные приятели с их глупыми дворовыми песнями и хулиганскими развлечениями. Ему нравилось учиться на легкомысленном и необременительном факультете экспорта русской словесности, где он был волен ходить или не ходить на лекции, получать тройки и плевать на общественную работу и Женский-день-восьмое-марта, и оттого, что был волен, учился хорошо и охотно цветы дарил, где завел наконец настоящий любовный роман с поцелуями, признаниями и объятиями; в интеллигентной московской церкви Ильи Пророка в Обыденском переулке, куда хаживали профессора и студенты Московского университета вместе с уцелевшими осторожными остоженскими бабульками, бывший революционер наконец-то крестился теплым августовским вечером, стоя по колено в воде в купели, прозаически отгоняя налетевших с Москвы-реки комаров и попросив батюшку не записывать его в толстый церковный фолиант.

Крестился он не столько по внутренней потребности и готовности (готов он был к этому, наверное, десятью годами раньше, когда дерзил старухе из Троицкого собора Псковского кремля), сколько потому, что его застыдили приятели-русофилы. Памятуя о них, неофит, когда таинство окончилось, благодушно и даже несколько фамильярно спросил ласкового протоиерея:

— А что, отец Александр, нельзя ли мне сегодня с друзьями это дело отметить?

Седенький священник с аккуратной бородкой, и без того немало сомневавшийся, стоит ли чудака крестить, и прочитавший ему перед совершением таинства в алтаре целую лекцию в том смысле, что ежели он думает стать христианином лишь потому, что как это русскому человеку да нехристом быть? — то делать этого не стоит, испугался и замахал руками:

— Что вы? Что вы? Как можно? Вы алкоголик?

— Нет, — попятился Колюня.

— Поезжайте-ка домой, а завтра с утра приходите причащаться. Сразу после крещения можно без исповеди.

Колюня поехал — но не домой, а к знакомой, у нее же заночевал и утром, по обыкновению плотно позавтракав, отправился ко причастию...

С того началась христианская жизнь еще одного русского патриота.

Все реже и реже приезжал он в Купавну. В студенческие годы, когда дома уже не жил, а работал дворником на Кропоткинской и за то получил служебную комнату в коммунальной квартире, тем самым хоть как-то повторив опыт тесной родительской молодости, Колюня по-прежнему держал под фундаментом дачного домика в укромном месте ключ. Там же имелась у него дежурная бутылка водки и банка мясных консервов, чтобы в любую минуту можно было сорваться одному или с друзьями на дачу, и когда позднее ему случилось прочесть чудного Веничку Ерофеева, то его удивило, что ничем особенным в этой книжечке Купавна как местность отмечена не была, и увлеченный выпивкой и рецептами фантастических коктейлей рассказчик даже не повернул голову, чтобы взглянуть на мелькавшее за деревьями Бисерово озеро.

А кроме этой поэмы Колюня прочел много других умных книжек и понял, что и пронизательная сестра Валя, и две славные девочки из Дворца пионеров, и замечательный поэт Алексей Владимирович Эйсер были правы, он действительно живет в тоталитарном государстве — только бороться с этим государством бессмысленно, ибо было оно не мужественным и не твердым, но вязким и рыхлым, и любое сопротивление гасло в равнодушии и беспечности его дремотного населения.

Но прошло всего несколько острых лет, и держава, казавшаяся, несмотря на свою дряблость незыблемой и могучей, неожиданно развалилась и усохла в размерах, оставив плененный народ сиротой — как если бы дикого зверя, волка или медведя, всю жизнь проведенного в неволе и не привыкшего заботиться о пропитании, выгнали в лес. И хотя все произошло само собой и вряд ли в том была большая заслуга отдельных мужественных людей, Колюне было стыдно, что он к ним не принадлежал или хотя бы им не сочувствовал.

Как знать, быть может, бабушка была права, говоря вполголоса, будто следовало остановиться на Февральской революции, может быть, не напрасно восхвалял за правый уклон Николая Ивановича Бухарина уверенный в своей правоте политический Колюнин зять, но еще позднее, когда все вокруг начали спешно и стремительно прозревать и хвататься за голову, Колюня прочел несколько самых бесспорных и умных книжек, из которых вытекало, что и Февральская революция была ошибкой, и Николай Бухарин был, в сущности, ничем не лучше прочих бандюг большевиков. А также узнал вещь, казалось бы, совсем теперь несущественную, но так перазившую юношеское воображение: некогда любимый им народный президент Сальвадор Альенде вовсе не погиб с оружием в руках, но в осажденном дворце Ла-Монеда покончил жизнь самоубийством, и еще будто бы он был членом той же масонской ложи, что и генерал-географ, отец пятерых детей, пожизненный сенатор сеньор Аугусто Пиночет. А кроме того, что масоны и прочие темные люди давно захватили власть в его стране и грозятся подчинить себе весь мир, на что намекал и герой его

собственного неопубликованного романа, и именно в них заключена причина всех случающихся в жизни человечества несчастий.

Все это совпало с Колюниной кропоткинской, а потом теплостановской, а затем и филевской молодостью, когда влюбленные парочки ходили слушать яростных площадных горлопанов и набивались битком в душные историко-архивные аудитории, когда поцелуи перемежались политическими разговорами и спорами, все было так неожиданно и одновременно с этим естественно и логично, что, растапливая в Купавне печь и листая старые партийные газеты, одинокий дачник не мог поверить в реальность всего в них содержавшегося: и в то, что сам был пионером, выносил на сцену Дворца съездов золотой ключик и — поди ж ты, чем не диссидент! — отказался читать приветствие в честь дорогого и любимого Леонида Ильича Брежнева.

Он выходил в сырой пахучий сад, где ничего не переменялось, только стали еще выше и раскистее деревья, разрослись кусты жасмина и сирени и совсем загородили покосившийся домик, бродил по лунным дорожкам меж яблонь и сидел на скамеечке на дальнем участке под тремя березами (четвертую по настоянию соседей сразу же после бабушкиной смерти спилили), срывал яблоки со своей ровесницы антоновки, которая куда не ездила, не училась, не грешила, не мучилась, ни в чем не сомневалась и ни к чему не стремилась, а лишь обживала маленький кусок земли корнями и воздуха кроною и чье бескорыстное существование в углу участка возле сарая и туалета заслуживало не меньше внимания, нежели Колюнино пестрое бытие, похожее на весенний поток, подхватывающий мальчика, как щепку, и бросающий его то в испанские забавы, то в русскую веру, а то в дачные романы и страсти и могущий закинуть еще Бог весть куда.

Но хотелось верить, что жизнь подчиняется не случаю и не стечению обстоятельств, а более высокому, неведомому и покуда все еще не разгаданному стройному замыслу, возвышающемуся над ее поверхностью и хаосом подобно незримому куполу, и однажды он получит свое откровение, а покуда бормотал завораживающее, любимое, чему стал причастен:

Ужасный! — Капнет и вслушается:
 Все он ли один на свете,
 Мнет ветку в окне, как кружевце,
 Или есть свидетель.

За любовь к чужеродному поэту его не слишком привечали друзья, однако Колюня не мог ничего поделать, и в любимых героях его все равно оставались Юрий Андреевич и Лара, и все равно, раскачиваясь на мокрой лавочке в этой пастернаковской Купавне, он замороженно твердил чужие строчки, такие понятные и близкие, как если бы другой человек мог выразить то, что Колюня чувствовал и сказать не умел, ибо стихов не писал никогда. Хотелось, чтобы это было вечно и он не уезжал отсюда никогда, но растворился бы в майском вечере, в пении птиц и запахе сирени, потому что в ночные безмолвные часы лучше этого сада все равно не могло быть ничего, потому что здесь — очень высокопарно, с наворачивающимися на глаза слезами и першащим от волнения горлом, — так вот, здесь, в этом заросшем, неухоженном вертограде, в потерянном раю, окруженном полусгнившим темным забором, в этой точке мирового пространства, откуда расходились в разные стороны все Колюнины кружные дорожки, была его родина, Родина, Советский Союз, через запятую — Россия, какой она ему была дана и понятна.

Только век этой малой родины был давно отмерен, и он прощался с нею, сам того не осознавая, она сделалась ему по-настоящему тесна, и несколькокими годами позднее, шагая сырым августовским вечером по ленивой заводской окраине, равнодушной и беспечной и так не похожей на движущийся и опрокидывающийся центр города, вспоминая утреннее

обещание мерзавцев заговорщиков раздать всем желающим гражданам по пятнадцать соток земли, Колюня подумал о том, что как ни велика была заслуга Купавны в его частной судьбе и как ни хранила она его на протяжении долгих лет затянувшегося детства, в сущности, именно на таких вот купавнах всей шестой части мировой суши и продержался безумный, ненавистный режим если не семьдесят четыре года, то по меньшей мере половину этого срока.

Он выбирал теперь для редких приездов на дачу будние осенние дни, когда точно знал, что никого из родни и соседей не будет, и в пустом доме сидел на террасе, с утра уходил за грибами в бисеровский лес, жарил свинушки, сыроежки и зонтики, смешивал их с луком и картошкой и выпивал пшеничной водки или вина из черноплодной рябины.

Но эти свидания совсем не походили на прежнюю любовь — все более чужой становилась Мещерская равнина, более истерзанной и жалкой. Каждое изменение в древнем ландшафте, новый построенный в округе дом, занятый участками кусок земли, торговые лавочки на станции, превращение рыбхозовских прудов в кооператив, где всяк желающий мог наловить за хорошие деньги сколь угодно карпов безо всякого риска нарваться на пулю, каменные особняки за заборами — все это, невозможное в детстве, воспринималось как оскорбление и поругание, а настоящая Купавна осталась в прошлом, таком же далеком и глупом, прекрасном, нелепом, изуродованном, сокровенном и счастливом, как детский садик автомобильного завода, чудесная английская школа, шоколадное мороженое с орехами за двадцать восемь копеек и душистые пирожки за гривенник, громогласная ТЭЦ, бассейн и Тюфилевская баня, семинары по истории КПСС и ленинские зачеты, стихи Константина Симонова и проза Константина Паустовского, красный фонарь в ванной комнате, бабушкины очереди за молоком и хлебом, полулегальный зеленый пастернаковский томик и школьный музей боевой славы.

Его Купавна умерла, подобно тому как отмучилась, не дожив до времен, когда переименовали Калинин в Тверь и вернули на полки «Ивана Денисовича», в самой середине последней брежневской весны сама Мария Анемподистовна, а перед тем скончался ее брат Георгий, отошла их хранимая Богом, безмятежно и счастливо прожившая отпущенные ей годы сквозь все потрясения, моры и войны своего ровесника-века двоюродная сестра Вера Николаевна, и ее единственную из всей дворянской родни отпели в высоком храме Антиохийского подворья и поставили на могиле крест; безболезненно и покойно преставился в декабре оруэлловского года верный любовник земной жизни сед дед Мясоед, и вместе с двумя дядьями Колюня переносил из филевского морга завернутое в простыню огромное расплывшееся тело основателя купавнинской дачи, которое не могли ухватить санитары, и вспоминал то далекое, первое ощущение своей принадлежности к мужскому миру; ушел тихий дед Николай Петрович, угасла его последняя жена, а через несколько лет сгорел за семь недель Великого поста, точно выполняя последнее послушание, стойкий и сумрачный отец...

Старики и старухи умирали чередой с такими же малыми промежутками времени, с какими рождались в конце минувшего или начале нынешнего столетия, но таинственному существу из младенческих кошмаров было этого мало, и несколькими годами позднее внезапно умер от опухоли головного мозга тридцатипятилетний добрый брат Кока, туполевский внук с двумя счастливыми макушками на голове:

Жил-был мальчик,
Звали Кокой.
Вам смешно?
А мне нисколько, —

которого тянула за собой в поход на Камышовку географиня Валя, кому отдавал мой маленький герой жирных золотых рыбок, а потом прогонял из Купавны, и прибавилось памятников и крестов на огромных московских погостах.

Однако ни Колюни, ни еще больше дружившей с двоюродным братом Вали на похоронах тех не было, как и не было на погребении отца никого из его шурьев и их жен.

Еще за несколько лет до двух последних в общем роду смертей что-то окончательно надломилось в купавнинском мирке, и Колюню с дядьями развело так, что, встретив в один из своих последних приездов на дачу по дороге со станции прихрамывающего Толю, племянник перешел на другую сторону железнодорожной ветки, потому что стыдился глядеть в его глаза, но не мог так же легко, как через рельсы, переступить через неожиданно твердую предсмертную волю своего родителя, которую отец высказал по окончании разговора с мамиными братьями в присутствии лукавого председателя правления солнечным воскресным сентябрьским днем в ветхой голубой сторожке вертограда, где ярость обоих мужиков, с площадной бранью обрушившихся на свою сестру, переполнила долгую-предолгую чашу папиного терпения.

Накануне первого слушания в областном суде Колюню пригласил к себе постаревший дядя Глеб, с печалью рассуждал о совершенно невыносимом еще несколько лет назад, при жизни бабушки, предстоящем позорном разбирательстве, на котором должны были встать друг против друга отставной офицер и его молодая племянница, призывал подумать о своей роли и своей ущемленной доле, но скоро понял, что говорит напрасно, и навсегда потерял к родственнику интерес, как терял интерес ко всему, что не оправдывало его надежд. А Колюня, отпустивший по примеру либерала и горновосходителя редкую мягкую бороденку, вдруг подумал, что совсем маминого брата не знает, но и никак более от него и его мудрости не зависит.

Он не пришел ни на один из судов и добровольно от всего отказался, забрав себе лишь заржавевший велосипед, созревший кабачок, несколько яблок и коврик с домом у реки. На этом велосипеде с рюкзаком, привязанным к багажнику, где сидела когда-то теперь уже поблекшая, побитая жизнью красавица, вдохновившая Колюню на его первый роман, молодой и никем не признанный, он уезжал в Москву, на Ярославский вокзал, чтобы там пересесть на чистый поезд дальнего следования, взять с собой гениального Рубцова и мимо Загорска и Новостройки, по железной дороге, построенной щедрым купеческим отцом рано умершей девочки с персиками, отправиться в далекую северную деревню.

В том предугаданном им на бумаге и разысканном наяву селенье жили настоящие, не просвещенные цивилизацией, русской литературой, Московским университетом и Вооруженными Силами мужики, там жива была настоящая христианская вера и ждала его невыдуманная громадная изба на подклете с крытым двором, которую не надо было оспаривать и не с кем делить, лесные озера, глухие грибные леса, ягодные поляны, болота, заливные луга и таинственная река — весь этот новый, неведомый мир, который томился без своего художника и в который столичный творец был заранее влюблен и чаял ответной любви.

Был конец сентября. В опустевших молчаливых садах на всем посткупавнинском пространстве жгли горькие костры, перекапывали под зиму грядки, не разбивая комья земли, чтобы выстудить вредителей и корни сорной травы, висели спелые плоды антоновки, на земле лежали желтые и красные листья берез, лип, осин и дубов. Осталась позади голубая сторожка и зеленая водонапорная башня, Колюня выехал в последний раз на красивую шоссеиную дорогу и на выдавшем виды велосипеде поехал дальше и дальше вдоль глухих заборов, нарядного леса и пустынного осеннего

озера, к железнодорожной станции. Не было в душе ни сожаления, ни грусти — не было и Купавны, а что-то совершенно другое, вовсе не похожее на запечатленный образ, который отныне существовал только в памяти и словах.

Велосипедисту было двадцать семь лет, он был самонадеян, молод и честолюбив, был уверен, что наконец откроет для себя незнакомую родную страну, увидит и завоюет весь мир, добьется успеха, прославится и устыдит всех его обижавших и в нем сомневавшихся на улице Писемского людей.

А Купавна не мешала ему тешиться новыми иллюзиями и убегать. Она отпускала его, как отпускала когда-то бабушка филевского деда, надолго или ненадолго, к другой жене, в другой дом или другую жизнь; несколько лет спустя поделенная по решению суда между бабушкиными наследниками и по странной причуде судьбы сразу после того брошенная своими навсегда рассорившимися хозяевами, никому из них не нужная, осыпающаяся и зарастающая травой, напрасно роняющая с веток кислые и сладкие яблоки в плачущем саду, она осталась одна и ничего не говорила, потому что знала: как бы далеко ее неверный, восторженный барчук ни уходил, сколько бы ни было ему отпущено и дано, чего бы ни добился он и ни растерял, в самом конце пути все равно вернется сюда и, по знойной дороге гонимый ветерком, легко и быстро пойдет в пыли меж колосющейся ржи, но ни одна трясогузка не услышит его торопливых шагов, не испугается и не вспорхнет в белесое дачное небо.

1999 — 2000.



МАРИНА ТАРАСОВА



ПТИЦА НА КРАСНОМ

* *
*

Губы из перламутра,
руки из алебастра.
Это больничное утро,
смерти холодная астра.

Свет больничной иконы,
кровь подмешена к маслу.
Господи, мой бессонный,
снежная птица на красном.

* *
*

Меня, что в этот мир пришла
уклюжиной непарного весла,
в какой-нибудь необозримой эре,
укутанной звериною мездрой,
меня найдут, как клинопись в пещере,
когда наступит снова мезозой.
И подо льдом в неповторимом блеске
сверкнет из мрака перевозданный мак.
От волчьей ямы — до небесной фрески
один лишь шаг.

* *
*

Опять-таки, как же везет богатым!
Заморозиться на сто или двести лет,
победить

болезнь и смерть.

И вот ты выходишь из ледяного ломбарда.
— Как самочувствие? — галдят репортеры.
— На все сто!

Правда, праправнуки могут тебя не признать,
будут брезговать, как звероящером.

Тарасова Марина Борисовна родилась в Москве. Окончила Московский полиграфический институт. Автор семи стихотворных книг и статей о современной литературе. Печаталась в «Арионе», «Континенте», «Дружбе народов» и др. изданиях. Живет в Переделкине.

И где раздобыть такие несусветные деньги?

Но можно... сдать квартиру... совсем по дешевке
сумасшедшим жильцам
на целых сто лет.

А где пребудет, куда унесется Душа,
как она возвратится в то же самое тело,
попирая Заветы?

Или... Судный день уже наступил,
а мы его проморгали?

* *
*

Слепнувший пес уходит, как старый шаман,
в известный только ему океан.
Расширяется омут, из которого лет шестнадцать назад
он выплыл щенком, чтобы жить невпопад.
А на том берегу, рассекая арктический мрак,
бродят тени ушедших собак.
Небо, полное звезд, леденящее небо не дремлет.

Кончается командировка на Землю.

* *
*

Пыль кружит над переулком,
залетает в строгий зал.
Органист играет «Мурку»,
он от Генделя устал.

Вы, ценители крутые,
не мутит вас, не знобит?
По России, по России
это реквием звучит.

* *
*

Изменились глаза и улыбка,
море слез перешедшая вброд
с тонким прутиком,
с дудочкой гибкой,
только голос все тот же, все тот —

древний бог, из египетских скважин
зачерпнувший полуденный свет,
пролетевший над сумрачной сажей
всех знобящих потерянных лет.

Это он — как в очнувшейся песне,
запоздалой любовью влеком,
зимней ночью
по пряничной Пресне
по морозу идет босиком.

* *
*

Похожий на сворованный брильянт,
блестит Арбат и славит клиентуру,
и прокурор выходит на Арбат,
оставив Генпрокуратуру.

Нарядный итальянский ресторан
его манит тенистою террасой,
плывущий как катамаран
среди плотвы полуденного часа.

Как хорошо обедать в тишине
(хрустят меню, как дорогие книги)
и растворять в оранжевом вине
крутые мысли, мелкие интриги.

И видит он смиренный робкий взгляд —
старик и женщина стоят у входа,
и думает: не зря же говорят,
что отдыхает на таких природа.

У ней лежит ребенок на руках
в каком-то сером, ветхом полотенце.
Он слышит шепот: все печаль и прах,
пойдем, Мария, не томи младенца.

...Уходят двое в тот крошечный сад,
откуда вечный путь ведет к Голгофе,
пока бряцает музыкой Арбат,
пока под тентом допивают кофе.

Жестокий город, вставший на горе,
ты виден всем, тебе нельзя укрыться.
Тебя поглотят змеи на заре,
тебя склюют мистические птицы.

Пока беззубый музыкант поет,
похожий на уставшую мартышку,
и ты глотаешь смертную одышку...
У будущего нету нот.

* *
*

Ты со мною играешь в прятки,
как сражает сладкая ложь!
Из груди торчит рукоятка,
переулок как длинный нож.
В двух шагах от старинной церкви
закружил меня снегопад.
Два шага от любви до смерти,
и всегда они наугад.

* *
*

Дом закодирован, как алкоголик,
не разобраться мне в хитрой цифири,
желтая лампа и ломберный столик
в тайне Числа, растворенного в мире.

Я исчезала из этой квартиры,
я становилась дыханием вьюги,
ветер и снег обжигали крапивой
щеки твоей бесприютной подруги.

Ты мне приснился в день своей смерти,
был молодым — я тебя не узнала
в зимнем окне, в серебристом конверте,
в этом письме без конца и начала.

Я замираю пред серым надгробьем
в семь этажей, перед снежной лавиной.
Вся моя жизнь оказалась любовью,
неумирающей, непоправимой.



ИЛЬЯ КОЧЕРГИН

*

АЛТЫНАЙ

Рассказ

— Я поеду с вами, — сказала Алтынай. Ну вот, разве поймешь эти женские причуды? В октябре месяце верхом на коне тащиться в такую дичь по тайге, — какая девушка, будь она хоть городская, хоть деревенская, согласится на это? Мы-то с Юркой, понятное дело, ружья за спину — и вперед. Колька, наш начальник, — тоже такой же, хотя и старше почти вдвое. Просто некоторыми людьми движет такая довольно бесполезная в наше время вещь, как охотничий азарт. К этому примешивается желание узнать, что находится за поворотом реки или за перевалом. Иногда из последних сил поднимаешься на какой-нибудь склон, чтобы только заглянуть за гряды; кажется, что там и зверя больше, и трава на полянах гуще. Нетерпение, похожее на то, с которым распечатываешь долгожданный конверт от любимого человека, подгоняет тебя вверх, не давая даже перекурить. Так вот и мучаешь и себя, и лошадей. Но я еще ни разу не замечал охотничьего азарта в молоденьких девушках, исключая, конечно, их походы в магазины и на танцы.

По правде говоря, я уже лет пять не распечатывал конвертов от любимых, да и мало уделял времени для наблюдений за молоденькими девушками. Семейная жизнь не в счет, от нее еще больше запутываешься.

Погода, правда, стояла хорошая, даже замечательная, как раз те золотые дни осени, когда ночью морозит, а днем иногда разгуливаешь в одной рубашке. Склоны гор разноцветные, вершины гольцов уже покрыты снегом, и еще вовсю ревут маралы, как будто играют на каких-то чудесных флейтах. Но как бы то ни было, она решила ехать и даже брала на себя готовку еды.

И мы поймали трех коней — Малыша, Серка и Айгырку. Двое из них были очень низенького роста, походили скорее на короткоухих ишаков, и только Серко издала напоминал лошадь. Именно за это сходство Юрка и любил это запаленное, боязливое и в высшей степени нервное существо. Довольно трудно сказать, что пугало этого коня; в общем-то, все, что угодно, могло послужить причиной внезапного ужаса и приводило к бешеной скачке. Никто уже не удивлялся, если Юрка неожиданно скрывался на своем мерине в неизвестном направлении и приезжал назад с исцарапанным ветками лицом. Тени от разных предметов, старое ведро на кордоне, шуршание целлофанового пакетика или звук застегиваемой на одежде молнии могли побудить Серка моментально перейти на быстрый галоп. Если он пугался, будучи привязанным, то было еще хуже: он частенько вырывал старые коновязи и размахивал ими вокруг своей морды, приседая от ужаса на задние ноги. В таком случае подходить было опасно, и мы обычно ждали, пока порвется узда.

Вообще предугадать, что может внушить страх твоей лошади, очень трудно. После целого дня езды по каменистой дороге можно чуть не вывалиться из седла из-за того, что на тропе лежит крохотный камешек точно такого же цвета и размера, как и сотни тысяч других. Но у моего Малыша была другая фобия: он боялся остаться в одиночестве. Едучи на нем, невозможно было отстать от товарищей, но если же мне по какой-нибудь причине все-таки нужно было задержаться, то Малыш сначала с тревогой глядел вслед уходящим своим друзьям, а затем принимался звать их тоненьким, почти жеребьчьим голосом. Это сильно мешало на охоте. Он был покорный, пузатый и низкорослый. Я полагал, что шляпа ковбойского образца придаст некоторую лихость моему виду и будет отвлекать внимание от несоответствия размеров наездника и лошади, ибо спина Малыша была ненамного выше пряжки на моем ремне. Мои ноги постоянно задевали за пеньки и кочки на обочине или оставляли в зимнее время заметные полосы на сугробах.

Айгыр же был старательным, довольно сильным и смирным конем с твердыми цепкими копытцами в форме стаканчиков, но его отличала удивительно тряская поступь и разбалансировка задних и передних ног. Я имею в виду, что из-за поврежденной спины задние копыта наступали чуть правее передних, что часто нервировало всадника на обрывистых тропках. Действительно, неприятное ощущение, когда задняя часть лошади норовит уйти в сторону и увлечь седока в кипящий внизу горный поток. Его имя по-русски означало «жеребец», что уже давным-давно не соответствовало действительности.

Но эти кони более или менее исправно таскали нас по тем дорогам, которые мы выбирали, вывозили мясо из тайги, и не имело смысла упрекать их за то, что они старые, некрасивые или с придурью. Они терпели нас на своих спинах, мы так же терпеливо сносили их несовершенство.

Октябрьский заморозок выбелил траву в моем дворике. Я седлал Малыша, и у нас обоих от дыхания поднимался пар. Воздух был прозрачный, высушенный в горах холодной ночью, и на дальних склонах отчетливо виднелась каждая лиственка. Есть необыкновенная прелесть в каждом начале похода, когда только выезжаешь на широкую поляну в Мычазы и кони сами бегут быстрой рысью. Скоро уже и подъем, — натопанные коровами тропинки постепенно собираются в одну, которая взбирается серпантинном вверх до самой курилки. Здесь можно перетянуть подпруги, покурить, зарядить карабин, а некоторые товарищи порой похмеляются припасенными остатками перед дальней дорогой. Это уж кто как привык.

Алтынай больше молчит, может быть, стесняется говорить по-русски, кто ее знает. *Алтын Ай* — Золотая Луна, имя, как у индейской скво в романах Фенимора Купера. Руки худенькие, в волосах блестящая заколка. Сама она из Букалы — алтайского поселка, который находится километрах в тридцати от нашего кордона. С прошлой зимы, проведая, что мы с Юркой — два молодых парня из Питера и Москвы — холостякуем, оттуда стали периодически приезжать девушки.

Первую партию привез Саргай. Саргай был одинокий бездетный старик и ко мне относился по-отечески. Мой учитель на покосе, неутомимый лыжник, последнее время он сдал и ходил чуть покачиваясь, как пьяный.

— У меня к тебе, парень, вот какой серьезный разговор. Верка Комыргаева, старшая-то вот эта, как раз для тебя. Она женщина чистая, по дому там чего сделать — все может, так что не думай, бери ее к себе.

То ли Верка ему что-то пообещала при успешном завершении дела, например новые штаны, то ли он заботился о моем удобстве — Бог его знает, но никакие возражения не принимались. На следующий день он ей объявил, что я согласен, и девушка ходила довольная. Я не знал этого, воспринимал все как шутку и не подозревал, что уже продан с потрохами.

Вторую невесту звали Эркелей, в переводе значит — ласковая, она была полней, молчаливей и решительней своей сестры, так что через два дня Юрка сдался. Она осталась с ним, и уезжающие Саргай с Веркой вели с собой порожнего заводного коня. Верка, сидевшая на заиндевевшей от мороза кобыле, застенялась и тихо спросила меня, когда приезжать с вещами. Что мне было отвечать в подобной ситуации? Я придумал сослаться на то, что не могу взять к себе женщину, не испросив материнского разрешения. Через пару месяцев я передал в Букалу, что наконец получил из Москвы письмо, но разрешение не дано, воля матери для меня закон, так что извиняйте. Вместо ответа неожиданно на смотрины приехала средняя комыргаевская сестра, а за ней и другие. Надо было подольше, что ли, потянуть с ответом.

Эркелейкина удача не давала покоя тем букалинским девушкам, которые по разным причинам остались невостребованными. То ли предположение, что русские не так сильно эксплуатируют своих жен, гнало их в Актал, то ли наша некоторая недотепистость. Юрка-то узнал, что у Эркелей есть двое детей, чуть ли не через месяц после знакомства, отнесся к этому спокойно, сказав, что скоро уже третий будет. Но я не испытывал большого неудобства, готовя себе по утрам еду, мало того, я даже купил корову и с удовольствием доил ее, вел хозяйство и пропадал подолгу в тайге, наслаждаясь тем, что наконец-то живу без женщины. После шести лет совместного проживания с человеком, который почему-то доводился мне женой, я полюбил уединение и ласкающие глаз сельские виды. Хотя, честно сказать, может, и моя придирчивость была виной.

Алтынай появилась, когда я был в отпуске, и дожидалась почти две недели. До этого она уже была замужем, но что-то у них не заладилось, потом умер маленький ребенок. Она казалась гораздо симпатичней тех девушек, которые приезжали до нее. Но после месячного пребывания в Москве у меня в голове была одна тайга, и, едва добравшись до Актала, я стал собираться с Юркой в поход.

К полудню мы уже перебрадили Чакрым и поднялись на крутые склоны Шавлы. Вот уж где туристов катать — у непривычного человека дух захватывает. Будто жеребенок, закричит в вышине красный коршун, поднимешь голову и смотришь, как он описывает круги, опирается на ветер раскинутыми крыльями. А то застынет неподвижно и только пошевеливает вильчатым хвостом, а потом завалится на крыло и пропадет из глаз. И останется одно серебряное небо да скрип седла. Задумаешься ненароком, а потом глянешь вниз на белую ленту реки, на уходящий вниз склон, и голова закружится. Конские копыта то и дело срываются с узкой тропы. А Алтынай едет — хоть бы что и прутиком поигрывает.

Здорово у них получается свататься — по-деловому как-то. Как будто в магазине: хочешь — пробивай в кассу, товар на витрине, не хочешь — вали. Вот и сейчас едет с ужасным своим азиатским спокойствием, делает свое дело, выполняет поставленную задачу — убедить меня оставить ее у себя. Не оглянется даже.

На шестнадцатом километре, где уже кедрушки начинаются, нам попались свиньи. Юрка их чуть ниже тропы заметил, спрыгнул с коня и бросился бегом, на ходу снимая ружье. Алтынай посмотрела в ту сторону, где за Юркой сомкнулись кусты, а затем, склонив голову, стала теревить Айгыркину гриву, безразличная к исходу охоты. Я объехал ее и пошел рысью выше и чуть сзади кабанов. Звук Юркиного выстрела скатился вниз по склону и вернулся, оттолкнувшись от другого борта долины. Свиньи разделились, одна стала забирать вверх. Тогда я бросил коня, готовясь стрелять, когда она пересечет тропу. Малыш, оторванный от своих товарищей, возбужденный запахом зверя и выстрелом, решил держаться ко мне поближе, начал мять кусты вокруг, звеня болтающимися стремянами. Я

пытался прогнать его назад, замахивался ружьем, но Малыш только таращился на меня испуганным верным глазом и топтался в замешательстве, а близкий уже кабан отвернул и затерялся в логу.

Добыча ушла от нас обоих и разожгла азарт еще больше. А ведь куда скучнее было бы сейчас разделять мертвую тушу, чем продолжать путь, всматриваясь волнующимся взглядом в лесные поляны и чащи.

Юрка заглянул в пустую гильзу, повертел ее в руке и сунул в карман.

— Ну что, Алтынай, видела свиней?

— *Јок, көрбөгөм.* — Она наклонила голову и поиграла поводьями.

— Как нет? Вот же они бежали маленько пониже, пять штук. Илюха третий ехал и то заметил. Ну ничего, сейчас надо в Кара-Тыт двигать за маралами, там маралов этих просто море. Еще насмотришься.

Но Алтынай ехала, безразлично оглядывая чуть раскосыми глазами желтую тайгу и совершенно не замечая ничего вокруг. Она не жаловалась на холод во время ночевки, терпеливо сносила жестокую тряску Айгыра и варила на станах еду.

Октябрь расщедрился на теплые дни, полная луна освещала ночью наших коней на полянах, и тайга дарила нам одну за другой встречи с животными. Я стрелял в волка; Юрка заметил лосей, но был унесен Серком в густую чащу и оставлен там под низко нависшей веткой; в Кара-Тыте огромный бык с тяжелыми рогами, услышав нас, увел своих маралух в темный кедрач, — Алтынай опустила глаза и тихо говорила: «Я не видела». Правда, с каждым выстрелом по невидимому зверю, с каждой нашей погоней за неуловимой добычей она все с большим интересом приглядывалась к нам. В ее глазах появлялось насмешливое выражение.

Первая ночь в избушке. До этого мы спали под кедром и один раз в маленьком шалаше — романтично и холодно. Человек быстро привыкает к хорошему, после теплых летних ночей, после отпуска в Москве утренний мороз здорово ощущается.

У нас в избушке тепло, дрожит огонек коптилки, оседают в печке дрова, на нарах брошены подседельники и потники, и мы раскидываем на троих в «дурачка». Девушка сегодня оживлена и разговорчивее, чем обычно.

— Как по-алтайски будет «червовая масть»?

— *Кызыл тюрек* — красное сердце. *Кара тюрек* — черное сердце — пики.

— А у тебя, Алтынай, какой *тюрек* — красный или черный?

Она улыбается и закрывает лицо картами — конечно, *кызыл*. Хорошая у нее улыбка, у Алтынайки.

— Слушай, не называй нас с Юркой на «вы». Мы же тебя совсем не намного старше. Расскажи лучше, какие в деревне новости, я там с марта месяца не был.

Алтынай рассказывает. Сначала потихоньку, с трудом подбирая русские слова, потом живее. Про маленького веселого Альберта — старого моего друга, про Петю Аспакова — управляющего, который называет себя мэром, про старого Саргая, отвергшего любовь городской бабушки.

Не отпускает меня Букалу, привязался я к нему. Прожил там всего-то год, да и не в самом поселке, а на кордоне, в восьми километрах. Шесть лет уже прошло, а до сих пор считаю своей деревней эти прилепившиеся к южному склону Чулышмана домики и айлы, крытые еловой корой. Мы жили с женой, наша дочка научилась там ходить, потом я подрался с начальством, и меня выгнали. Следующие четыре года прошли в Москве, потом развод. Она снова вышла замуж, а я вернулся в заповедник, только уже на другой кордон.

— Галину Николаевну, Чоокыр Сала жену, помните? Умер весной Галина Николаевна. Сам Чоокыр Сал теперь с молодой гуляет.

Помню эту бодрую старуху. Вез на кордон, где готовилась родить ее дочь — жена нашего начальника. Восемь километров верхом в семьдесят лет — это тяжелый путь. Ехали шагом. Алена не дождалась матери, рожать ей было не впервой, да и просто время, наверное, подошло. Сказала мужу, что помыться пойдет перед родами, сама затопила, воды принесла, пока он материл Саргая за какие-то грехи. Присела на корточки, родила, обмыла и уже варила суп, когда подоспели мы с бабкой.

Сейчас деревня стала раза в два больше, чем в то время, как я увидел ее впервые. Я искал романтики, но такого захолустья даже и представить не мог, когда рассылал из Москвы письма по всем заповедникам Сибири и Дальнего Востока в поисках работы.

Многие лесники в заповеднике были из крупных городов. Мой прежний начальник по своей неуживчивости выгнал за четыре года двадцать семь лесников, но на их место находились новые. Народные целители, адвентисты седьмого дня, йоги, экстрасенсы, поклонники Порфирия Иванова, просто чокнутые москвичи, питерцы и новосибирцы — все они рвались в дикие места. В таежных избушках можно было найти книжки стихов Бодлера и иностранную периодику, журналы «Наука и религия» и «Новый мир». Именно тогда я впервые прочитал выжимки из Кастанеды.

Сейчас у меня в Актале девять томов этого добра, и, пожалуй, главный виновник неудач всех приезжающих букалиночек именно Карлос Кастанеда. Я предпочитаю не очень распространяться об этом, все-таки и Колька, и Юрчик не знают, что вот уже полгода каждый вечер я выполняю упражнения из «Тенсегрители» и борюсь с чувством собственной важности. Но даже наличие «этой кастанеди» у меня в шкафу будит у них опасения, как бы «гуси у парня не полетели», они считают, что мне просто бабу надо. Впрочем, окружающие — это только фантомы, сбивающие ищущего человека с пути. Как жена сбивала. Мы в Актале живем дружно, я поддерживаю со всеми хорошие отношения, но не поддаюсь их влиянию.

Фантомы не фантомы, но мужики в Актале подобрались отличные: охотники, браконьеры, даже скорее вольные стрелки, охотившиеся не для наживы и даже не для добычи, а потому, что это им нравится. Им чужды восточная философия и связи с космосом, босохождение и исправление кармы.

Да, слава Богу, мужики не знают о выполняемых мной каждый вечер кастанедских магических пассах. Для этого я гашу дома свет и притворяюсь спящим — не запираю же дверь от своих, — а в походах беру ружьишко и ухожу искать место покрасивее, самое лучшее — на маральих отстоях, по-алтайски они называются *туру*. На таких *туру* рогачи спасаются от волков. Обычно это маленькие вынесенные над обрывами пятачки земли, куда пройти можно только по узкому перешейку, — здесь волки не могут окружить марала, который обороняет проход рогами.

Хотя мы сегодня подъехали к избушке и застановали довольно рано, найти *туру* не удалось, я просто забрался вверх по склону и в сумерках проделал свои упражнения. Моя сучонка по кличке Белка, обследовав густой кедрач, прибежала ко мне, растянулась в траве и, наставив уши, вслушивалась в крики маралов. Быки уже согноли маралух в табунки и теперь неусыпно пасли их. На вечерних и утренних зорях начинается переключка: самцы ревут, ярятся, слыша соперников, ломают и обдирают рогами кору с небольших кедрюшек и лиственнок, бьют острыми копытами в землю. Достается и самкам, которые отходят в поисках более сочной травы дальше, чем следует. Ведь вокруг взрослых сильных быков с большими гаремами всегда околачивается молодежь, норовя попользоваться на халяву. Чуть недоглядит хозяин или увлечется боем — какой-нибудь двухгодовалый наглец уже отбил маралуху и на ходу овладел ею. Самое смешное, что именно ими чаще всего и кроются самки — им все равно, чьими быть, они равнодушно жуют свою траву во время этого праздника любви.

На Кара-Тытских полянах мы проезжали лужи, побелевшие от пролитого семени.

На заходе солнца затихают птицы, глуше становится шум реки. Перед самой темнотой дневной ветер, дующий вверх по склонам, сменяется ночным, скатывающимся обратно в долины. В этот момент он ненадолго стихает, и вся тайга, замерев, вслушивается в осеннюю музыку рева. Первыми начинают молодые и заводят остальных. Над всей темной долиной передо мной с Сайгоныша и Ташту-Ойры вниз до Кызыл-Кочко плывет оленья песня. Она начинается с низких нот и с переливами поднимается в еще немного светлое небо, перечерченное тонкими ветками облетевших уже лиственниц. Отражается от противоположного склона, смешивается с легким туманом над быстрой водой Онгураша и вдруг срывается вниз. Рогач наклоняет голову и напоследок рывкает в землю. Затем снова вскидывает мощные рога и слушает далекий ответ. Ни на секунду не смолкают над долиной древние звуки — это песня воинов перед битвой, песня уже победивших в предыдущих сражениях и знающих, что будут новые.

Маралы, стремительно уносившиеся весной в чащу от малейшего шороха, уходившие в безопасные гольцы летом, чтобы не поранить нежные еще рога, преследуемые волком, человеком и другими врагами, сегодня поют свою гордую песню, во всеуслышание объявляют: я здесь, иди и сражайся со мной.

Да, сильно чувствуется влияние Дона Хуана на образ моих мыслей, но на самом деле действительно красиво, когда ночь начинается такой увертюрой. Я делаю трубу из полого стебля *балтыргана* и с силой втягиваю через нее воздух. Главное — настроение. В плавных, мелодичных звуках нужно передать сдерживаемую ярость. Мощные звериные легкие всегда выдувают воздух немного сильнее, чем надо, и получается чуть сипящий металлический оттенок.

Я еще не отнял *абыргу* от губ, а мне уже ответили, потом откликнулся противоположный склон хрипло и низко — наверное, огромный бычара с восемью-девятью отростками на каждом роге. Я протрубил еще раз, а потом, изломав *абыргу*, закинул ее подальше в кусты, — говорят, если не уничтожишь, то на ней станут играть черти. Дудел-то я сейчас просто так, для души, если бы и подманил марала, то все равно в темноте не различил бы мушки.

До избы добираюсь почти на ощупь, пару раз заваливаюсь через колонины.

В избушке тепло, на нарах брошены подседельники и потники, и мы раскидываем на троих в дурачка.

На следующий день мы с Юркой пилим двуручкой дрова на зиму.

— Сегодня вверх по ручью пойду пройду. Вот эту сухару раскрываем, перетащим к избушке, и пойду. Может, бычишку или свиней увижу. — Юрчик становится на колени, чтобы ловчее было пилить. — А то мясо сейчас не помешало бы.

— А я, наверное, к скалам поднимусь. Колька говорил, они там бунов видели.

— Тебе-то какого хрена на скалы карабкаться? Алтынайка вон уже устала ждать. На нее и карабкайся. Я, можно сказать, специально ухажу — их одних оставляю, а он — на скалы. Ну ты, Илюха, жесточайший мужичара. Девчонка, японский бог, за ним на коне по всей тайге ездит, а он ни ухом ни рылом не ведет.

— Слушай, Юрчик, ты, конечно, очень деликатный, но я уж сам разберусь, вести мне рылом или не вести. И потом, не тащил же я ее в тайгу на аркане.

Надо было все-таки не брать ее с собой. А то уже действительно в глаза ей глядеть неудобно. Напряг какой-то создается, когда видишь, как она

терпеливо, почти равнодушно ждет. А с другой стороны, каждый делает то, что считает нужным. Решила ехать — и поехала.

Нет, ну, Юрка интересный человек, думает, что я в избушке буду сидеть, пока он зверя выслеживает. Я виноват, что ли, что мне на скалы интереснее? Да и кастанедство мое пострадает, если останусь. Я же энергию накапливаю для проникновения в непознанное, а с женщиной расход один — что в деньгах, что в энергии. Хочется, конечно, иногда спихнуть хозяйство на кого-нибудь и умотать в лес на всю зиму, так чтобы домой только за продуктишками прибегать. Но летом огород связывает по рукам и ногам, зимой корова. Колькина Татьяна доит, конечно, пока я в лесу, но ей ведь тоже своих дел хватает. Иногда представлю, что Алтынай ведет хозяйство, и сразу как будто горизонты новые открываются. Так что искушение большое, но все-таки собственный опыт и сам Карлос Кастанеда подсказывают мне не делать ошибки.

Цепляю зубьями пилы по пальцам. Вот, блин, поменьше надо глупым раздумьям предаваться, от них один вред. Как сложится — так сложится.

— Вот как, допустим, с ней разговаривать? Она же молчаливая как пень. Вот ты, например, о чем с Эркелей разговариваешь?

— Да на хрен мне сто лет не стараканилось с ней разговаривать! И слава Богу, что молчит. Я сам не знаю, о чем стал бы говорить. Знаешь, что я думаю? Не думаю даже, а точно знаю: если бы моя мать не была такая болтливая, то отец дольше бы прожил.

Ну, Юрка — кадр. Разговаривать с женой не хочет, чтобы красивая была — не хочет, это еще зимой говорил. Ему, говорит, стыдно было бы с красивой по улицам ходить. Так зачем она ему нужна тогда? И ведь главное — ревнует ее и на руках носит!

А, ладно, надоело пилить, работа не волк, потом доделаем. Я отряхиваю опилки с колен и иду поить коней и перевязывать их на новое место.

От Юрчика выстрелов не слышно, а я высадил пять пуль по маралам, но только все мимо. Бунов и в помине нет, одни маральи да медвежьи следы на склоне. Белка моя сбежала куда-то.

Пока лез наверх — взопрел, пить захотелось, а теперь на ветру продувает. Наверху всегда ветер, даже на закате, зато панорама открывается — загляденье.

Золотой Алтай. Действительно золотой. Солнечно все время и как-то празднично на душе. Тут древняя граница Великой Степи и Сибирской тайги. Провожают всадника мертвыми глазами покосившиеся вдоль троп каменные бабы. На диких, продуваемых вечным ветром местах стоят курганы. Им две с половиной тысячи лет. На восток от них уходят врытые в землю камни — сколько камней, столько врагов пало от руки богатырей.

Здесь, на Алтае, самое то место, чтобы Кастанедой заниматься — после бессмысленно потраченных в Москве лет. После тоскливо уходящих дней, которые не хотели уходить и тащили меня за собой. Под конец я перестал сопротивляться и со злорадством смотрел на себя, размышляя, каким жалким существом становится сдавшийся человек. Мне просто повезло, когда я случайно вывалился из этой колеи и оказался на Алтае.

Да, я сейчас живу без прописки, без жены, вдалеке от родственников и знакомых, помнящих, каким я был отвратительным и беспомощным. Я свободен. Могу делать все, что угодно, не оглядываясь ни на кого, меня окружают люди, еще не составившие обо мне окончательного мнения. Я творю свою собственную историю весело и с удовольствием, рассказываю небылицы про прежнюю жизнь.

Я никому не доверяю и делаю все сам, постепенно избавляясь от привычки ждать помощи. Я стал меньше думать, просто делаю быстро и правильно. Когда лошадь начинает дурить под тобой, нет времени для не-

нужных спекуляций, не успеваешь рефлексировать, если раненый зверь повернулся и бежит в твою сторону.

Только вот с Алтынайкой трудно прийти к окончательному решению. Жить с женщиной, не испытывая никакой к ней привязанности, тяжело, это мы уже проходили, а привяжешься — «хрен на пятаки порубишь», по Колькиному выражению. Меня вдруг пугает мысль о ребенке, это мне как-то и в голову не приходило. А ведь может и такое быть — у Юрки с Эркелейкой уже больше месяца малышу. Да и упражнения мои ежедневные накроются, если вместе жить.

Нет, тут и речи быть не может, думать даже нечего. Вообще спускаться пора вниз, на ветру заоченел уже. Может, по пути еще и маралишка попадется, они тут на склоне все истоптали, и лежек много.

Где Белка? Увязалась, что ли, за кабарожкой или падаль нашла какую-нибудь? Но с Алтынай точно вопрос закрыт, решено. Я дураком был, еще сомневался: брать, не брать. Даже думать нечего. Все.

Белка дожидается меня у избушки. Юрка еще, как назло, не вернулся, мне теперь с Алтынай наедине куковать. Надо было еще немного походить, но я уж и так ждал, пока солнце за гору упадет.

— Что, Алтынай, есть чаек? — Я стягиваю сапоги и закуриваю.

Она уже раздувает угли в костре. Чем занималась целый день? У огня на тагане полный котел с кашей, спальники провялены на солнышке, лошади перевязаны, а у самой волосы мокрые, голову, что ли, успела помыть? Я тоже сначала возил с собой в лес зубную щетку, но давно уже бросил, про бритвенный станок и не говорю. Но голову мыть — это вообще что-то! Я провожу рукой по заросшей щеке и пугливо оглядываюсь на девушку — вдруг заметила, еще подумает чего-нибудь не то.

Босой иду за потником, брошенным на просушку на улице, непривычные подошвы ног чувствуют каждую иголочку. Устраиваюсь у костра и принимаю кружку с чаем. Алтынай — напротив, глядит на меня сквозь дым и щелкает кедровые орешки. Почему она все время что-то лузгает, жует листовничную смолу, а то покусывает прядку собственных волос или пальцы? Раздражает же. Чай тоже какой-то дурацкий, венником пахнет, поди, варила по алтайскому обычаю пять часов.

— Вы стреляли? — Уголки глаз немного щурятся, от дыма, наверное.

— *Мен адаргам.* — Я немного пижоню и говорю по-алтайски. — *Онда эки сыгын коргом. Менде коомой октор. Юрка атнас ба?* — Интересно, правильно перевел или нет? Свалил охотничью неудачу на плохие патроны.

— Юрку не слышал. Кушайте. — Алтынай расчесывает тяжелые волосы, в руке откуда-то зеркальце, она очень серьезна, потому что рассматривает свое отражение.

Тень поднимается по нашему склону выше и выше, только вершина еще освещена красноватым вечерним светом. А Юрка все не идет.

Перед глазами на фоне неба плавают прозрачные пузырьки. Если прямо на них глядеть, то незаметно, а чуть в сторону — более-менее отчетливо видно. Это как понимать — от усталости, что ли, или непознанное начинается? А на Алтынай посмотришь, кажется, у нее уже все познанное — и плохое, и хорошее, взгляд спокойный-спокойный, немного грустный. Поговорить бы с ней по душам, откинуться на спину, глядеть на небо и потихоньку так разговаривать.

Ну да, вечером всегда так бывает, что поговорить откровенно с кем-нибудь хочется. Особенно когда один в тайге ночуешь. Как зашумит в кронах ветер, стряхнет снег тебе за шиворот, так сразу и друзей вспомнишь, и даже жену иногда.

Дона Хуана у меня под рукой нету, приходится самому контролировать ситуацию. Чтобы на сытое пузо совсем не расчувствоваться, лучше пойти дрова к избушке потаскать, пока темно не стало.

Подходя к краю поляны, оглядываюсь: Алтынай неподвижно сидит у огня, зажав ладошки между худых колен и занавесив лицо волосами.

Чуть ниже по долине начинает трубить марал.

За день мы заканчиваем с дровами, еще раз ночуем и отправляемся в обратный путь.

Солнце блестит на лошадиных гривах, на кедровой хвое, немного даже пригревает. Справа и слева утекает вниз по долинам и распадкам желтая и черная тайга, по горизонту бесконечные вершины, кое-где тронутые глазурью снега, а выше ярко-синее небо. Блеклый летний цвет небосвода осенью густеет, исчезает дымка. Не день, а праздник, настроение — как в детстве накануне дня рождения. Скоро белковка, потом зима — самые интересные походы.

Юрка, по-моему, тоже радуется, щурит красноватые глазки, вертит во все стороны головой и состроил на небритой роже улыбку. Одна Алтынай равнодушна, едет как в метро, даже глаз не поднимет. Вот человек, а! Ну возьми ты повернись в седле, скажи — мол, красотища какая, мужики! Ну как-нибудь, елки, среагируй на окружающее-то. Нет ведь. Весь поход — безразличный взгляд на уши коня или на горизонт.

У реки уже вечерняя тень. Лошади долго пьют, мы тоже зачерпываем воду ладонями, прикидывая брод получше. Русло в крупных камнях, узкое — плохое место для переправы. Копыто между валунов зажать может. Привязываю коня к дереву и продираюсь сквозь кусты вдоль берега, ищу, где бы половчее было переехать.

— Илюха! — Я возвращаюсь. Они уже в седлах и ждут меня. — Илюха, кончай, здесь перебродим.

Лень ему маленько пройтись. Поломает ноги лошади. Ну, дело его, посмотрим; если хорошо проедет — я за ним. Самого-то по кустам лазить тоже не очень тянет.

Я съезжаю с берегового уступа и натягиваю поводья. Рядом останавливается Алтынай, мы смотрим, как Серко сопротивляется течению. Юрка уже на середине, одной рукой чуть приподнимает седельные сумки, чтоб не залило. Вокруг ног лошади образуются бурунчики.

На наших меринов можно положиться, они уже тертые-перетертые в таких делах, привычные к болотам, скалам и завалам в тайге. Иногда оглянись — и диву даешься, как только тут проскочили. Ладно, вроде действительно можно ехать. Мой Малыш, правда, гораздо ниже.

Конь осторожно нюхает воду и заходит в стремнину, не спеша, по одной переставляет ноги, чуть подрагивая на скользких речных камнях. Алтынай, выждав немного, тоже заезжает. Юркин Серко, выходя на тот берег, зацепляется уздечкой за торчащую сверху корягу, я хорошо это вижу. Юрчик наклоняется вперед освободить голову коня, сквозь шум воды слышно, как он ругается. Тут на Серка опять накатывает обычный для него ужас. Он рвется, коряга тянется за ним и еще больше пугает. Вот, епишина мать, мне приходится остановиться на самой быстрине и ждать. Малыш немного поддается напору воды, меня залило уже до самой жопы.

Серко поднялся на дыбы, оборвал недоуздок, прыжками выскочил на обрывчик и стоит там со съехавшим седлом, трясясь всем телом. Юрка внизу потихоньку встает на ноги, с него льется вода. Я наконец трогаю Малыша, и тут кричит Алтынай. Я оборачиваюсь и вижу, что она боится ехать, но на стремнине мне не развернуться. Да, честно говоря, и злость какая-то берет: что, нельзя сразу сказать было, что страшно? Я бы взял ее коня в повод. Они же, алтайцы, все боятся воды.

Алтынай смотрит на меня и тянет руку с чумбуром в мою сторону. У нее на лице впервые заметно чувство — чувство страха, лицо кажется мне неприятным. Она видела, как упал Юрчик, она хочет, чтобы ей помогли. На меня вдруг накатывает злость, ненависть, все, что угодно.

Я нахлестываю коня по бокам, он оскальзывается, находит опору, снова оскальзывается, уже не из-за реки, а из-за меня, скачками выбирается из воды. Я бью его чумбуром по шее, по голове, по глазам и вообще куда попаду. Наверху останавливаюсь, соскакиваю и, с шипением матерясь сквозь зубы, бью кулаком ему в губы. Одной рукой повисаю на поводе, а другой бью. В глазах темнеет от бешенства. Вижу только бессмысленные от страха глаза коня.

Разбив себе пальцы, понемногу остываю.

Алтынай уже переехала и сидит на коне внизу, пока Юрка вылавливает зацепившуюся за куст шапку. Я привязываю Малыша, ловлю повод Серка и тоже привязываю к дереву, потом поправляю на нем седло.

Юрка выжимает куртку и свитер, стоя в одних трусах. Алтынай снова ушла в себя и покусывает уголок воротничка.

— Ты, Илюха, как переехал, ничего? А меня этот мудило в реку сбросил, хорошо, что у берега. Испугался опять. Какого хрена пугаться ему? Харю свою не надо совать во всякие коряги — и бояться не будешь. Ладно, надо решать, куда поедем — в сторону дома или заглянем в Узун-Карасу.

— Я хочу домой, — говорит вдруг Алтынай. Юрка с удивлением поворачивается в ее сторону и, опустив свитер, смотрит на нее.

— Ты что? Алтынайка, смотри, какая погода. Завтра мяса добудем, без мяса как возвращаться?

На Алтынайкином лице опять появляется то выражение, которое я видел на реке, — губы как-то кривятся и растягиваются, лоб наморщивается.

— Я хочу назад, домой.

Потихоньку отхожу от них, снимая ружье. Юрка видит это и делает Алтынайке знаки, чтобы она замолчала, но я еще несколько раз слышу, как она повторяет эту фразу. Наша сторона подветренная, а голоса не слышны из-за шума реки, и маралы нас не замечают. Я вижу пока только двух маралух, вернее, одни их задницы, покрытые белой шерстью. Еще десяток шагов на полусогнутых. Где-то рядом должен стоять и бык, но мясо у него может быть невкусным, если он уже изгонялся. Ближе подходить боязно, а то спугну.

Бью пулей по хребту ближайшую и тут же добавляю картечью. Слева хруст веток, между деревьев показываются на мгновенье рога. Маралух тоже не видно. Но я попал — это точно. Звук выстрела был плотный, сочный такой.

Качаются кусты впереди. Или не кусты. Нет, вроде как ноги. Бегу, на ходу перезаряжаю. Это ноги — я перебил ей позвоночник. Она скребет передними и, уставясь на меня выпуклым глазом, возит по земле головой.

Я стреляю за ухо. Края ранки сразу белеют. Напряженное в предсмертной борьбе тело как будто расслабляется, голова падает, начинает постепенно тускнеть глаз. Зверь умирает тихо, без единого звука. Я опять перезаряжаю, достаю сигареты.

И вдруг опадают вздыбленные от боли бока, ребра выталкивают воздух из мертвого тела, и в траве погасает стон.

Подходит Юрчик в сапогах, трусах и с ружьем. Стоит, смотрит на зверя.

— Ну, теперь уж точно домой. С мясом-то. Алтынай как угадала, а?



СЕРГЕЙ НОВИКОВ



У ЗЕМНЫХ ПЕРЕПРАВ

Ночной собеседник

Столбовая тоска,
да цыганская ночь,
да плацкарты холодной скупое окно
обступают меня — и ничем не помочь.
И стихи не стихи,
и вино не вино.

Что я видел?
Что знал?
Что запомнить успел
из невнятицы этой, любимой до слез, —
той, где лес за спиною шумел и шумел,
той, где с неба худого лилось и лилось...

Где на рынках осенних я трогал плоды,
и вязало мне рот золотой мушмулой,
где по небу несло облака, как плоты,
и вздымался над детством
стеклянный прибор.

Я друзей не сберег и казны не скопил,
оставляю в наследство сплошные долги:
деревянный мой дом в полдесятка стропил,
фотографии желтые и черновики.

И, с собою от вас ничего не забрав,
выхожу налегке, с чем явился,
под дождь,
где бессильнее ропот и громче галдеж
у земных переprav, у земных переprav...

Сыну

Из ничего, из пены
кипящего житья
тыходишь в эти стены,
заветное дитя.

В тревоге и испуге
к тебе склонится мать,
тебя отец на руки
боится ночью взять...

Кем будешь ты вопрошен?
Приговорен — к чему?
Какою силой вброшен
ты в эту кутерьму?

Тебе — орел иль решка?
А впрочем — все равно:
поблажка иль насмешка
у нас равны давно.

Я, время просевая
у века на краю,
невольню прозреваю
в твоей судьбе — свою,

где сладость и проклятье
недлиного пути,
обнявшись, словно братья,
стоят —
не развести...

Ни с чем не разминешься,
а мир летит во тьму.
Лишь ты во сне смеешься
неведомо чему.

После прощания

Ты стала частью опыта,
сухим прищуром глаз.
Твой след соседним тополем
оплакан столько раз.

Забытая основа
тех дней, мой давний гость,
ты вскоре станешь словом,
произнесенным вскользь.

А пламя подоплеки
сквозь стелющийся дым
сверкнет из тьмы немногим:
похоже — нам двоим.

Туман в Ялте

О, как таинственно и юно
замрут сердца у горожан,
когда неслышный, словно шхуна,
причалит к берегу туман.

И, упакован влажной ватой
и мелом выбелен сплошным,
мерцает март голубоватым
каким-то светом навесным.

Не хлопнет дверь, не звякнет обод,
и так безгласность глубока,
что переходит вдруг на шепот
хозяйка бойкого лотка.

И мир волшебный осязаем
на ошупь разве... Как впотьмах.
И мы друг друга не узнаем
в пяти шагах, в пяти шагах.

И прямо с улицы проточной
влетает в дом шальной щенок,
парной и зябкой мглы молочной
натаскивая за порог...

Грустная песенка

В том городе, где дождик
и шумных волн десант,
в мансарде жил художник —
богема и талант.

Каморка в пять квадратов,
шикарные дела.
Но, главное, квартплата
умеренной была.

Жилец без денег вечно,
долгов невпересчет.
Он гений был, конечно.
Иначе — как еще?

Он Музою божился
и в горе кисть хватал,
он спать к утру ложился
и к вечеру вставал.

Там женщина парила
в чердачной тесноте,
ему обед варила
на электроплите.

Там пили, и смеялись,
и крались в сад курить,
чтоб, не дай Бог, хозяев
внизу не разбудить.

Увы, художник умер.
И женщина ушла.
В мансарде, словно в трюме,
крысиный писк и мгла.

И вот вчера, я слышал,
просился на постой
в ту комнатку под крышей
бухгалтер холостой.

* *
*

Алексею П

Отмечен пророческой жадой —
да будешь! Но я не о том...
И это не важно, не важно,
что ветром разграблен твой дом.

И это не главное, право,
что схватит за горло тебя
похлеще татарских удавок
пенькового века петля.

Я знаю, никто не положит
на сердце, как на руку, жгут.
За наши мытарства, быть может,
скупого гроша не дадут.

Но это не важно, ты знаешь,
мой милый, уставший вконец,
богема, соратник, товарищ,
студьоз, олимпийский птенец.

Пусть время расправится с нами, —
мы бросим козырно и зло:
«Мы неба коснулись губами,
и небо
нам горло свело!»



ИЗ НАСЛЕДИЯ

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

*

СТАРИКОВСКИЕ ЗАПИСКИ

Восемьдесят шесть. С грустью думается: а что, если восемьдесят семь наступят? Зачем наступят-то?

Последствия инфаркта — лето 1996-го: потеря координации движений. Ничего не болит, но голова кружится и ноги-руки тебя не слушаются. Восемь побывок в больнице за четыре неполные года. Грустно жить на пять процентов той энергии, которой ты, не замечая ее, жил недавно.

Это — вместо предисловия.

* * *

Сколько таких крикунов: «Я люблю Россию! Ужасно люблю!» Дело доходит до того, что в Думе один депутат, указывая пальцем на другого, вопит: «Он — не любит Россию! Он — враг России!» И ничего, господ думцев этот эпизод не волнует, как будто так и надо.

Я Россию столько же люблю, сколько не люблю. При всем при том я привязан к России, никогда не отрекался от нее, не жалел о том, что я — русский. Она — моя мать, любить собственную мать независимо от того, красивой она была женщиной или некрасивой, — это в природе человека. Это одно из главных отличий человека от животных, которые, едва став взрослыми, уже не узнают своих матерей. Недаром же у человека на много лет растягивается его детство, попечение его родителями, а в какой-то мере и обществом, и государством. Государством, в котором воспитался и я, и все мои друзья, воспитался, проникся его духом, даже и не заметив — как же это произошло. Из него мне нет выхода, никогда не было, да и никогда не было ощутимой необходимости выходить, на что-то его менять. Не у него за меня — у меня за него есть чувство гордости, я чувствую себя гражданином не только России, но и всего мира.

* * *

Недавно прочел пространное интервью современного, в какой-то мере модного, русского писателя (видел его по ТВ, он в бабьей кофте). Я даже читал его, может быть, даже и не меньше, чем его поклонницы. Безусловно, человек не без дарования, но вот свое интервью о самом себе, о своих безусловных достижениях он кончает сообщением о том, что в настоящее время пишет роман, которым надеется удивить читателей.

Вот так. Но разве стремление удивить свойственно той же русской классике — Пушкину, Толстому, Достоевскому? Это стремление фокусников, их традиция, а не русской классики, которая стремилась разъяснить читателю его современность, углубить его знания о ней и о самом себе.

Но это — закономерно: традиции искусства меняются со временем, и мое литературное поколение — последнее в более чем двухсотлетней исто-

рии русской классики. Ну разве следующее за мной поколение Валентина Распутина принимает классику как свою альма-матер.

Так же и в живописи. Вот только музыка составляет исключение в нынешнем массовом сознании.

В то же время классика сохраняется в системе просвещения как учебное пособие, наряду с искусством и мифологией древнегреческой, с юрисдикцией Древнего Рима. Кажется, современность чем дальше, тем меньше вообще нуждается в традициях, не ставит перед собой задач ни сохранения существующих традиций (это, мол, не ее дело, это дело каждой личности), ни тем более создания традиций новых. «Нетрадиционность» — вот первостепенная традиция и цель современного искусства, общественной мысли и общественного бессмыслия.

* * *

О том, что такое культура, написано так много, что вопрос столько же запутывается, затемняется, сколько разъясняется. Да и вправду, сама-то культура дает немало поводов к подобной неразберихе. На мой стариковский взгляд, культура — это прежде всего наука (включая элементарное просвещение и искусство самовыражения личности). Не хватает еще в этом основном и главном культуры поведения.

* * *

Когда Он (то есть не совсем «я») спал без снотворного, Он просыпался во власти мыслей, пришедших, очевидно, во сне.

Так земная жизнь (одушевленная) казалась ему бесконечно малой частью существования бесконечного мира. Люди думают, что они знают жизнь, прежде всего, конечно, в ее человеческом воплощении. Ничего, почти ничего они о ней не знают, полагая, что одухотворенность представляют прежде всего они. Проснувшийся Он полагал, что одухотворенность вполне может существовать совсем в других, даже и античеловеческих формах, может и не придерживаться порядка чередования жизни и смерти. Это незнание дано человеку в его же интересах, для его удобства, тем более, что и для этого своего незнания человек давным давно нашел жилплощадь в виде религий, в виде многих-многих Богов, того же православного Бога, приемлющего как скромность, так, видимо, в гораздо большей степени и роскошь православного обряда богослужения, его способность так сильно проявляться и в церковной архитектуре.

Ну а что такое старость? Просыпающийся Он имел и на этот счет свои размышления. Старость — это терпеливый или нетерпеливый период подготовки к смерти. В этот период отдельные органы целостного человеческого организма выходят из безусловного подчинения человеку, из ритма четкой, а то и безукоризненно четкой работы на него. К деспотизму своего сердца человек привык с детства, тем более, что это, в общем-то, благожелательный деспотизм. Благожелательный и откровенный: сердце общается со своим владельцем непрерывно. Но в старости проявляют свою независимость и другие органы: почки, желудок, нервная система... Знай, дескать, наших! И не забывайся!

В случае с просыпающимся Им (то есть это был просыпающийся Он) о себе заявили (и серьезно) и желудок, и нервная система, ну и еще кое-что, заявили достаточно громко и выразительно. Если это будет необходимо, открывай-закрывай дверь лбом, а не руками. Старость — это неизбежная, без исключения, болезнь каждого взрослого человека с неизбежным исходом. И не только человека — всех живых существ. Во всем ли мире так же? Во всем ли мире нет и не может быть других вариантов? Кто его

знает... Наука что-то там щебечет по этой проблематике, искусство же совсем ее не касается, предпочитая всякого рода шоу (коллективное, изредка индивидуальное творчество посредственностей). Задачи классической художественной литературы (углубление понимания человека самим собой) нынче возложены на компьютеризацию.

* * *

Я — Он?

— Надо бы тебя уюкошить...

— За чем дело стало?

— Почему-то нельзя.

— Уголовный кодекс?

— Ну, кодекс можно и обойти. Обмануть то есть.

— Не обманешь, пожалуй. Как-никак у кодекса опыт. За его спиной — Древний Рим.

— Если задуматься, задуматься целенаправленно, можно придумать, как это сделать.

— Задумайся. Целенаправленно.

— Все равно — нельзя, да и только. Что-то мешает.

— Нравственность?

— Нравственность — детское понятие. Говорят же ребенку: «Нельзя!» — и он слушается.

* * *

Самолеты с «грузом-200» я не раз видел. И при взлете, и при посадке. По телевидению.

Никаких особых примет. Как все самолеты, так и они.

Вагоны с тем же грузом будто приобретают какие-то особенные черты, какую-то окраску: тусклые окна занавешены, будто бы вагоны — пустые. Будто бы порожняк. Больше того — будто бы едут на тот свет. Вот они: идут, идут с юга на север.

Одно направление.

Что-то в них есть от конца света. Право же, есть.

Что-то они несут несуществующее в этот существующий белый свет. Думаешь: «В конце-то концов, белому свету туда же дорога... Вот иных птиц в России не стало, дело тем кончится, что людей тоже не станет». Начало концу положено. Вполне может быть, и давно положено-то, только нынче дело обстоит явственнее. Вот уже и название появилось: «груз-200».

Но «груз» этот мы видим сконцентрированным в самолетах и в поездах. А ведь он идет, передвигается в самолетах и поездах обычных, во всех видах вооружений, в пище и питье, в наркотиках, в незатейливом каком-нибудь личном багаже... Нет ничего изготовленного руками человека, что пусть в самой малой доле не содержало бы «груза-200». Человек только что родился, а при нем его доля этого груза уже имеется.

Человек какое-то изделие рук в своих руках держит, а в нем обязательно что-то от природы позаимствовано: щепка какая-нибудь, либо камешек, либо металла малый кусочек. Без природы, без такого заимствования человек не встанет, не сядет, шага не шагнет, только вот он об этом редко-редко когда припомнит.

А ведь все это по отношению к природе «груз-200».

Эту же привычку человек перенес и на самого себя: самого себя он превращает в «груз-200». Это — запросто.

* * *

У меня такое впечатление, что природа начинает (справедливо) мстить нам, мстить за свое поругание, мстить за красавицу Волгу, которая была великим символом славянства, а теперь не что иное, как сточная канава, поделенная между неподвижными вонючими водохранилищами, деятельность которых выражена столько же через систему ГЭС, сколько и в размывании берегов. Последствия этого скажутся, видимо, в ближайшие годы. Леса, земли, воды России уже совсем не те, что были в веках, что были полстолетия тому назад. Мы, собственно, вступили в эпоху экологического краха, но не хотим этого замечать, целиком погруженные в текущую политику. Мы забываем о том, что человек существует в двух сферах: одна — это отношения людей друг с другом, другая — отношения между людьми и природой.

Старость нечистоплотна: старикам трудно управиться и с ванной, и с собственным желудком.

Старость очень часто глуховата, а то и глуха.

Старость — это иждивенчество.

Поэтому я на стороне тех, кто утверждает: человек в старости должен иметь право самостоятельно решить, жить ему еще или умереть. Смерть — дело житейское, а для старости — необходимое.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ

*

ХОЛОДНАЯ РУКА ЦИКЛОПА

Из дневниковых записей 1983 — 1984 годов

4 января 1983 года.

Живем дальше. Тридцать первого утром поставили с Никитой елку, нарядили, повеселели, прогулялись; Новый год встречали втроем, Бочковы пришли во втором часу; опять пили шампанское, утомительное дело <...> в одиннадцать с Никитой смотрели, как позорно проиграл «Монреаль»¹. Второго на душе было полегче, ну а третьего жизнь вернулась в свою колею. Пришли поздравления от Теракопяна, Огнева, Лазарева, Бакланова, Скатова, Афонина, Друцэ, Мазурина и др. Тридцать первого часов в одиннадцать звонил Б. А. Можяев.

У Виктора² опять несчастье, завтра похороны его тестя.

Опять втягиваюсь в работу над Залыгиным³. Пока написанное меня устраивает мало; но надо писать дальше, как бы «пробить штольню»; отделка будет потом: «крепление», то да се. Иногда по вечерам читаю статьи Станюковича 70 — 80-х годов; знал его как автора «Морских рассказов», открываю теперь заново: статьи есть блестящие; ну а какова свобода слова? нам и не приснится. Однако не зря встречал имя Станюковича у Кеннана; иногда терпение власти истощалось. Понемногу читаю прозу Пастернака; он мог то, чего никто не сможет; проза Вознесенского с нею несопоставима; у Вознесенского есть мелкая суета, он все время чувствует себя на ярмарке литературного тщеславия; почти нигде он даже не берется за решение тех задач, которые ставил себе Пастернак. За подобные, — скажем так, — задачи. Описания улиц, домов, деревьев, времен года у Пастернака уникальны; это не просто наблюдательность такая, это качество зрения, качество ощущения — воздуха, дождя, снега, света, шелеста листвы, раскачивания фонарей и т. п. Чтение «Кощеевой цепи» Пришвина иногда доставляет большое удовольствие; несомненна выработанность и устойчивость стиля, хотя это из ранних (не по возрасту) вещей; интересны типы, нравы, разговоры; несмотря ни на что вызывает расположение Козел (Розанов)⁴; или накладывается сегодняшнее знание и уважение к его писательству? Иногда начитаешься — сон вылетает, ну а если еще участвует кофе, то полночи, а то и вся ночь насмарку; вчера в такую ночную пору, видимо, еще под впечатлением сообщения Виктора вдруг пронеслась мысль о смерти, и напугался ее как в детстве, хотя вроде бы давно с нею свыкся и

Продолжаем публикацию фрагментов из дневников литературного критика, публициста и культуролога Игоря Александровича Дедкова (1934 — 1994). См. также «Новый мир», 1996, № 4 — 5; 1998, № 5 — 6; 1999, № 9, 11.

Публикация и примечания Т. Ф. ДЕДКОВОЙ.

¹ 1 января 1983 года ведущая команда НХЛ «Монреаль Канадиенс» проиграла заключительную игру суперсерии московскому ЦСКА.

² Бочков В. Н. (1937 — 1991), историк, краевед, писатель, друг Дедкова.

³ Здесь и далее идет речь о работе над книгой «Сергей Залыгин. Страницы творчества». М., «Современник», 1985.

⁴ Розанов Василий Васильевич — русский писатель, публицист, религиозный мыслитель

даже какое-то противоядие в душе нашел; слава богу, пронеслась — исчезла; потом еще даже удивился — чумная, ночная голова, не нужно ее мучить.

В Польше приостановлено действие военного положения; пока Польша праздновала, что же будет дальше? Приостановленное легко возобновляется. Мы же живем по-прежнему. В. Г. Корнилов⁵ ожидает полного и повсеместного порядка. Порядок — это вроде как идеал общественного устройства. Другого слова, чтобы его обозначить, не находится. Можно и получить порядок — этого в XX веке хватало.

7.1.83

«Что ни говори, а главного героя мы немного связываем с собой», — писал Виталий Семин. Какой я романист, но такого, связанного со мной, главного героя очень бы я хотел выпустить в свет. И посмотреть хотел бы, как бы он себе жил. И как бы прожил.

Меня удручает обилие <в современной прозе> каких-то странных главных героев. Если Семин прав и связь существует, — а «немного» звучит полуиронически, и значит, связь крепка и надежна, — то каковы те, думаю я, с кем главные герои в такой родственной близости?

Я не собираюсь выпускать своего главного героя кому-нибудь в укор. Просто я думаю, что и ему пора вернуться в жизнь — пусть призрачную, фантастическую, однако кишашую и громкоголосую, и пусть он просто засвидетельствует, что *теми* жизнь не кончается, что есть еще много других или совсем других, и они со своими тихими голосами и скромными повадками еще не утратили своего значения в глазах жизни, где они были и есть и где шли своею дорогою.

8 января.

Быков прислал книжку и письмо. «Знак беды» снят в «ДН» цензурой и после читки «выше» передвинут на май. <...>

Продолжаю писать, но собой не доволен: не то; не так... Настроение по временам тяжелое. И празднование Нового года, и похороны Викторова тестя, большевика с 1919 года, работе не «способствовали».

Впрочем, не стоит искать оправданий.

Встретил учителя Меренкова, ныне (он на пенсии) — слесарь при домоуправлении, точнее — при котельной, где он в последнее время работал оператором. Смеется над беловским «Ладом»⁶: ну какой там, в русской деревне, «лад»? Не было, не бывало и нет. Спрашивает меня, читал ли я письмо Ломоносова о «размножении русского народа». Говорю, нет и не знаю про такое. Он мне рассказал, ну а я дома нашел то письмо, прочел. И верно, к «ладу» отношение имеет, ко всякой идеализации собственного народа — прямое.

Из меренковского разговора: «А зачем попу наган, если поп не хулиган».

Никаких рождественских морозов. Три градуса тепла.

Статья П. А. Николаева в «ЛГ» против М. Лобанова, в основном и главным справедлива; опять взялся за «Драчунов»⁷, надо прочесть. Очень любопытно место, занимаемое в этом сочинении главным героем; если проследить внимательно, обнаружится немалое самодовольство и вера в свою значительность. Стиль рыхлый, с обильными длиннотами; как будто хочется наговорить больше слов. Как можно больше. Заметны и психологические просчеты, тоже характерные, связанные с внутренней неправдивостью; идея проводится с усилием, с искусственным усердием и навязчивостью.

⁵ Корнилов В. Г. — ответственный секретарь Костромской организации СП РСФСР в те годы.

⁶ Белов В. И. Лад. Очерки о народной эстетике. М., «Молодая гвардия», 1982.

⁷ Алексеев М. Драчуны. Роман. — «Наш современник», 1981, № 6, 7, 9.

Нарастают — по телевидению, в газетах, — разговоры о трудовой дисциплине и порядке. Возможно, они приведут к чему-то положительному; меньше станет прогулов, хождений по магазинам и т. п. Но, в сущности, это предусмотрено законами Паркинсона: новый начальник начал борьбу за совершенствование распорядка рабочего дня во вверенном ему учреждении. В. Семин писал, что надежда на новизну и свежесть очередного начальника имеет место при «катастрофическом способе ведения хозяйства». <...>

Честертон своими рассуждениями о Французской революции⁸ помог мне утвердиться в своем отношении к Октябрю. Да, эволюция лучше революции, — меньше крови, но революция случилась. «Если демократия разочаровала вас, пусть она запомнится вам не как лопнувший мыльный пузырь, а как разбитое сердце, как старая любовь. Не смейтесь над временами, когда вера в человечество переживала медовый месяц; взгляните на них с тем уважением, которого достойна молодость».

В такую слякоть, как сегодня, город настолько неприятен, — к тому же суббота, толпы людей слоняются по магазинам, черные муравьи, — что я вдруг чувствую всю напрасность своей здешней жизни, ее глубокую заброшенность, свою затерянность. И иду рядом с Никитой к дому, старательно перебарывая в себе это совсем не новое ощущение, потому что, к счастью, он ощущает все окрестное иначе, светлее, и я вовсе не хочу, чтобы он догадывался о моих настроениях: пусть он верит в мою силу и в мое значение. В сущности, отбросив хандру и печаль, как всегда качающую меня как на волнах, нужно признать твердо: меня трудно счесть побежденным. Невозможно признать процветающим, но столь же невозможно — побежденным.

19 января.

Сегодня от Левы Аннинского «Лесковское ожерелье»⁹ и письмо, и тронувшее меня и даже как-то подстегнувшее меня (сидел за машинкой). Чуть-чуть доброты, господа, и понимания, и живется много легче, и пишется свободнее.

Виктор привез письмо Лакшина Залыгину (около трех страниц). Несколькими днями назад послал письмо Залыгину в некоторой надежде поддержать его, не зная, впрочем, нуждается ли он в том. Пока от него — ничего. Лакшину и Залыгину не пристало бы «выяснять отношения»; дурные люди радуются, более того — пользуются этим в своих нечистых целях.

Изменения в газетной фразеологии (официальной) незначительны. Я начинаю думать, что они отражают калибр и глубину происходящих изменений.

Анекдоты о «чукчах» сменились анекдотами о бандеровцах. Странно, но так. Из последнего «цикла», что сумел запомнить. Бандеровец (бывший, разумеется), называется какое-то украинское имя, берет в детском доме ребенка на воспитание (своих детей нет). Приводит домой. Жена потрясена: «Да вин же черный!» — «Какая тебе разница! Зато не москаль!»

Весь январь теплый; средняя температура должна быть плюсовой. Основное, что обсуждает народ: наращивают дисциплину, начальники хмурят брови и устрожают голос. Редактор разговаривает, будто все в чем-то провинились. Замечательно. На уровне правительства и Цека обсуждали сначала производство запасных частей к частным автомобилям, сейчас — время работы магазинов, прачечных, ателье и мастерских. Это и есть крайности цивилизации, ее, по сути, безумства.

6 февраля.

<...> Идут разговоры об «облавах» в дневные рабочие часы в универмаге, в продуктовых магазинах (винных отделах), в книжном магазине: ищут «прогульчиков». Маляр из соседнего подъезда (любимое присловье: «Здравствуй, хлеб, четыре булки!»), который иногда захаживает ко мне за тремя рублями,

⁸ Честертон Г.-К. Чарльз Диккенс. М., «Радуга», 1982.

⁹ Аннинский Л. А. Лесковское ожерелье. М., «Книга», 1982.

дня три назад жаловался, что его самого задержали в магазине двое мужчин и, проведя воспитательную беседу, отпустили. Он же жаловался на повышение цен на крепленое вино, на то, что в отрезвителе увеличили плату (до 70 рублей) и деньгами не берут, требуют отработки. Очень огорчался, что «рабочего человека» «прижимают».

Пока у нового руководства одна новая идея, предложенная народу: на работе — работать. Произошло также очередное необъявленное повышение цен: на вино, газ, стройматериалы, почтовые отправления, установку телефонов и еще на что-то, что мы узнаем постепенно.

Еще новое: «Комсомолка» завела рубрику: «Служба в Афганистане». Ну а остальное — старое. Материал Пржиалковского¹⁰ о Высоцком для «Молодого ленинца» окончательно похоронен. Разговоры Аркадия с работниками отдела пропаганды и агитации обкома (Прокофьевым, недавним районным газетчиком, и Рыбалкиным) показали, что для них до сего дня имена не только Высоцкого, но и Окуджавы, и Ахматовой, и Пастернака, и Булгакова — имена вредных людей, которых лучше не упоминать. В материале Аркадия стихотворение Ахматовой было перечеркнуто не в московской цензуре, а в костромском обкоме. Про авторов высказываний о Высоцком, собранных Аркадием по московским журналам и газетам: Крымова, Карякин, Вознесенский, Любимов и т. д., — было сказано, что это все одна компания.

И эти трусливые болваны учат людей, как жить <...>

29-го января, как и два года назад, выступал на научной межвузовской конференции в пединституте. Мои идеи, возможно, не всем по душе, но если смотреть в наши дни из будущего, то я прав. Я говорю не об утопии, а о норме, которая поправа. Говорю о противостественном распределении реальных возможностей для людей, о неравенстве столиц и провинции.

Пишу о Залыгине, читаю рукопись книги А. Бочарова, прочел Левину книгу о Лескове и статью о Рыбакове («Новый мир», № 1). Это действительно хорошо и в значительной степени свободно. Все равно за всем углядеть они не могут. Очень точна статья о Рыбакове; тут Левины идеи я разделяю полностью. Вот буду писать ему.

«Юристы» Хоххута¹¹ заставляют вспомнить о наших юристах, которые не были наказаны никак за преступления против общества и народа. Вот вопросик оттуда: «Сколько же нужно вынести смертных приговоров, чтобы забыть каждый в отдельности?»

Андропова по радио и телевидению не называют иначе как по имени и отчеству. Поэтому только и слышишь: Юрий Владимирович, Юрий Владимирович...

Корнилов решил устроить встречу братьев писателей с Баландиным¹². Вроде бы в принципе договорился. Это привело к тому, что его самого я застал пишущим для обкома справку о наших успехах, меня приглашал Неймарк, чтобы расспросить, как костромские сочинители пишут о деревне, и был удивлен тем, что я пришел с пустыми руками, ничего для него не написав (он намекал мне на какой-нибудь обзорчик по телефону); наконец, обл. библиотеке было поручено собрать отзывы о наших книжках... Вот такая идет подготовка, такая суматоха. Напросились. Еще неизвестно на что — напросились.

28.2.83.

В «Колибри» отвалилась буква «о», будто я сильно «окал». Дневник не читаю. Распространяется молва о задержании людей в парикмахерских, в магазинах в рабочие часы, о «поимке» командированных в ГУМе и других мос-

¹⁰ Пржиалковский А. Г. — костромской журналист.

¹¹ Хоххут Рольф — немецкий драматург и публицист. Имеется в виду: Хоххут Р. Юристы. М., «ВААП-Информ», 1983.

¹² Баландин Ю. Н. — первый секретарь Костромского обкома КПСС в те годы.

ковских магазинах. Якобы ставятся на командировках «штампы», препятствующие их оплате. ДОСААФ расшифровывают как Общество содействия Андропову, Алиеву и Федорчуку. <...> Я пишу о Залыгине, недовольный тем, что получается. Но надеюсь на чистовой текст, который будет мало походить на черновик. Черновик как проходка без закрепления — заваливает, но идешь, чтобы пройти до конца.

2.4.83.

К часу дня ходил прощаться с Георгием Александровичем Гаушем. В газете о смерти не сообщили. Некому. Было ему 82 года. Последние четыре года ноги ему отказали совсем. Ходил за ним то ли дальний родственник — молодой человек, то ли просто участник художественной самодеятельности, знавший его и за что-то ему благодарный. Когда-то Г. А. был моим автором и писал на старости лет просто хорошо — с ясным умом и чувством стиля. Отец его — художник из «Мира искусств» — Гауш — жил и работал в Ленинграде, был репрессирован. В Костроме Г. А. участвовал в создании КЭБа (концертно-эстрадного бюро), работал во Дворце пионеров. Сегодня среди провожающих говорили, что он жил в свое время в Париже. (Никогда об этом не говорил.) Помню, что рассказывал, как учился в Кенигсберге в какой-то «немецкой» гимназии. Хоронить было некому. Мало было народу в старом костромском дворе (Островского, 16). Лежал совсем маленький старичок.

Вчера заходил Р. А. Семенов. Купил дом в деревне под Галичем. Рассказывал о брате. Брат — 1922 года рождения. На фронте — саперный офицер. Разжалован после выхода из харьковского котла. Попал в штрафной батальон. Был приказ — идти минировать поле днем. (Обычно, т. е. всегда! минировали ночью.) Взял в обе руки по мине и пошел. Попадет пуля в мину — все. А попала — в колено — разрывная. Остался без ноги. Четыре года назад отняли и вторую. Брат говорит, что Сталин (называет его Иоськой) хотел убрать всех свидетелей харьковской катастрофы. <...>

Вечером — фильм об Анне Маньяни. Потом разговаривали с Томой о нашем искусстве, где всякая чушь вроде «Премии» или «Дней советской литературы в Первомайском районе города Москвы» (сегодня отчет и фотографии в «Лит. России»).

10.4.83.

Завтра день рождения. Сегодня — уборка квартиры, покупка коньяка, вечером «Красавец-мужчина» в исполнении Малого театра¹³. Днем — подгоняющее письмо из изд-ва «Современник»; приглашение в Минск и — на удивление — обозначение моей темы (они там придумали сами, не спросясь) — «Белорусская военная проза глазами русского критика». Как все успеть!

Читаю Е. Кушкина (ЛГУ) «Альбер Камю. Ранние годы» (1982).

Подумал вот о чем: духовная атмосфера (обстановка), в которой проходила юность — моя, нашего поколения, — была бедной, однородной, способствующей бедному, сжато-му мышлению — в узком диапазоне.

То есть вырваться за пределы этой навязанной обстановки — было можно (через библиотеку, через каким-либо образом совершавшееся ориентирование), но это было индивидуальным актом.

Обстановка к этому старалась не побуждать.

Надо бы дать ясное представление о кругозоре и миропонимании юного человека конца сороковых — начала пятидесятых годов — именно ясное, т. е. как бы обвести контур и беспощадно описать то, что в нем, т. е. все содержание.

¹³ Малый театр гастролировал в Костроме.

Пора бросить умиляться таким добродетелям, как «чистота», «вера в высокие коммунистические идеалы», «патриотизм» и т. д. Пора и пожалеть тех, т. е. нас, — за бедность и однолинейность нашей судьбы.

Сергей Сергеевич Павлов, капитан госбезопасности, на все спектакли ходит с «дипломатом». Тома спрашивает меня: зачем? Зачем ему даже в воскресенье (не с работы же!) в театр — с «дипломатом»?

17.4.83.

Отъезд в Москву автобусом... Отъезд в Минск (22.00) вместе с Лазаревым¹⁴ и Кондратьевым¹⁵.

18.4.83.

Минск. Утро у Быкова (с 10.30 до 14.30) вместе с Лазаревым и его женой. Днем просмотр тел<евизионного> фильма «Формула гуманизма». Вечером — все вместе у Адамовича.

19.4.83.

С утра заседание¹⁶. Были Гранин, Кондратьев, Галлай, Анфиногенов, Гусаров, Еременко, Адамович, Быков, Гилевич, Чигринов, Брыль, Ю. Карякин. Мое выступление во второй половине дня. Банкет. Несчастье с Быковым¹⁷. Ночные беседы с Ю. Карякиным.

20.4.83.

Утреннее заседание с выступлением А. Савицкого. Ответ Адамовича¹⁸. Поездка в Хатынь. Проводы. Ирина Михайловна!¹⁹

21.4.83.

Смоленск. Весь день с отцом по городу. Родные места. Могила деда. Воспоминания о детстве. Вечером отъезд.

10.5.83.

Сломалась «Колибри», пишу теперь редко, что-то привычное нарушилось. И про Минск записал в «загребской тетради» бегло, едва обозначил, кто был и что было. А люди там были интересные, ко мне относились хорошо и рассказывали иногда любопытные вещи.

Ехали в двухместном купе фирменного поезда «Белоруссия», скорый; ехал им и назад вместе со всеми, в одном купе с В. Л. Кондратьевым. В 2.45 ночи сошел в Смоленске, тихо, не разбудив его.

Когда отчалили от Москвы, перезнакомились, Кондратьев достал фляжку с коньяком, но себе налил на донышко и не притронулся, и пошли разговоры...

¹⁴ Лазарев Л. И. — литературный критик, ныне главный редактор журнала «Вопросы литературы».

¹⁵ Кондратьев В. Л. (1920 — 1993) — писатель, автор повестей «Сашка», «Отпуск по ранению», «Встречи на Сретенке», романа «Красные ворота» и др.

¹⁶ Институт литературы им. Я. Купалы АН БССР и Союз писателей Белоруссии проводили научную конференцию «Литература о войне и проблемы века». В конференции принимали участие писатели Москвы, Ленинграда и других городов России.

¹⁷ Внезапная болезнь.

¹⁸ Алесь Савицкий, автор партизанских повестей, отстаивал «марксистско-ленинскую методологию анализа войны» и выступал с нападками на видных военных писателей, обвиняя их в «капитулянтстве». Алесь Адамович горячо отстаивал творчество писателей, показавших античеловеческую сущность войны.

¹⁹ Жена В. В. Быкова.

Тут надо записать, что Лазарев рассказывал под свежим впечатлением о своей стычке в цензуром Сологдиным (о нем как-то рассказывал и Можаяев; с ним он вел переговоры об издании второй книги своего романа) — из-за переписки Твардовского с кем-то, которую «Вопросы литературы» собрались опубликовать. Меня потрясла, рассказывал Лазарев, та ненависть, с которой Сологдин говорил о Твардовском. Он припомнил Твардовскому все, вплоть до главы о Сталине в поэме «За далью даль». Тогда, сказал Лазарев, я напомнил ему, что Ленинская премия за поэму, кажется, не отменена. Но в глазах Сологдина прегрешений за Твардовским было и без того избыточно. Я понял, сказал Лазарев, как жутко они его, Твардовского, ненавидят — давней ненавистью.

На обратном пути уже подвыпивший Еременко, директор «Советского писателя», рассказывал о своих встречах-разговорах с Твардовским в ту пору, когда он, Еременко, служил в Цека, курировал «Новый мир» и «Октябрь». В частности, он рассказывал, как однажды он звонил А. Т., приглашая его в Цека для очередной беседы. А. Т. в таких случаях молча выслушивал приглашение, переспрашивал иногда, когда и к какому часу, потом говорил: «Хорошо, буду» — и вешал трубку. Он был человеком дисциплины, и ему не приходило в голову, что голосу из Цека можно не повиноваться, возражать. «Хорошо, буду», приходил, выслушивал, что ему наговаривали, прощался, уходил, иногда сказав что-нибудь вроде того, что вы все-таки не все поняли верно, но во всем разобрались, но это говорил спокойно, со вздохом, сожалея больше, чем возмущаясь.

В тот же день Еременко позвонил Кочетову и тоже пригласил его. Кочетов стал спрашивать, какова повестка заседания, кто докладчик. Я сказал ему, рассказывал Еременко, что своими вопросами он нарушает партийную этику, но, что, идя ему навстречу, я могу сказать, что повестка такая-то и докладчик такой-то... «Вы все защищаете „Новый мир“, — сказал в ответ Кочетов, — и я не приду». Последовало, видимо, что-то возмущенно-удивленное со стороны Еременко, и тогда Кочетов заявил, что он болен и прийти не сможет. Такое разное поведение этих людей Еременко считает характерным; сказывались два характера; во всяком случае, очевидное благородство А. Т.

Еще Еременко рассказал, как однажды он сидел в кабинете Твардовского в ожидании начала партсобраний редакции «Нового мира», на которое он пришел, — всегда, видимо, ходил. Вдруг в дверях появился молодой Егор Исаев и стал просить разрешения прочесть стихи. Твардовский не отказал; м. б., ему было неудобно при постороннем отказывать. Он помялся и разрешил. Исаев приступил к своему священнодействию. Выслушав, А. Т. попросил: «Дайте что-нибудь почитать глазами». Прочел несколько листов и твердо сказал: «Это не поэзия». И никогда в своем журнале Е. Исаева не печатал.

Вот и май; во второй раз истекает срок моего договора на книжку о Залыгине с «Современником». Весь апрель ушел на то, чтобы отрецензировать присланные издательством рукописи (проза некоего В. Евдокимова, гл. редактора «Московского рабочего», а также критика А. Бочарова и В. Пискунова, общий объем около 60 п. л.), а затем — поездка в Минск. Начерно написал о Залыгине 350 страниц машинописи, но там ни слова о романе «После бури». В сущности, надо переписать, сократив до 12 п. л. и добавив об этом романе. Буду просить об отсрочке — противное дело, а еще ждут предисловие к Распутину (переделка), рецензия на «Знак беды», предисловие к Афонину²⁰, статья для «ЛГ»; конца нет. И нет покоя. После Минска работалось хорошо; лишь бы удержаться. Как можно дольше *удержаться*.

Надо бы, конечно, обдумать то, что говорил Адамович в своем докладе.

²⁰ Дедков Игорь. Верность родному берегу. — В кн.: Афонин Василий. Чистые плесы. М., «Молодая гвардия», 1986.

В. О.²¹ говорит, что все эти «глобалки», т. е. глобальные проблемы (угроза ядерной катастрофы, экологические опасности и т. п.), обсуждать столь интенсивно — бессмысленно, т. к. каждый из нас лишен возможности действовать и что-то значить в «решении» этих проблем.

30 мая.

Вот так вот: долгий перерыв <...> Записи об этих днях, в том числе о поездке в Минск и в Смоленск, в каких-то тетрадах, да и сделаны наспех — «пунктирно».

Анекдот, привезенный из села Красного, — там на площади памятник Ленину стоит лицом к райкому партии и спиной к какому-то заводу (не помню, какой там завод? ювелирный, что ли? допустим, что есть такой). Вот рабочие и спрашивают Ленина: «Почему ты так стоишь, отвернувшись от нас?» Ленин отвечает: «Я вам доверяю, а вот за ними нужен глаз да глаз».

Печальное событие случилось две недели назад: умер Федор Абрамов. Надо было бы мне поехать на похороны, но в те же самые дни (18 мая) мы здесь хоронили Евдокию Ефимовну Павлову²². <...>

Занят сейчас рецензией на «Знак беды» [В. Н. Семина] для «Нового мира». Мои статьи прошли в майских номерах «Журналиста» и «Нового мира». В Костроме отклики на первую очень хорошие. На вторую — разозлился братья русопяты. Бог с ними, как хотят, их заботы — не по мне²³

31 мая.

«Знак беды», Салмов²⁴, письма от Леоновича²⁵, Я. А. Горбовского²⁶ и А. А. Макаровой, приславшей мне однажды историю своего сгинувшего в тюрьме брата. В «желтой» книжке я писал о Горбовском, думая, что его уже нет в живых. Теперь, не год ли спустя после того, как я послал книжку его сыну, явилось это письмо. Все происходит медленно: сын, видимо, не спешил сказать отцу, что о нем плохо ли, хорошо ли, но написано. Что ж, теперь все прояснилось, слава богу, я рад, что этот человек живет.

Володя Леонович хлопочет о судьбе северных рек. Это благородно, слов нет, но прилива гражданской энергии я что-то в себе не чувствую. Я не то что знаю, но чувствую, что все это (поворот рек и т. п.) во-вторых и в-третьих. Решается более важное, и оно требует от нас сосредоточенности; у нас не хватает мужества сосредоточиться. (Это сказано неточно и туманно; я просто думаю, что под шум одних проектов проходят другие, более страшные для человека. К тому же я не уверен, что писатели достаточно компетентны в той области, в какую хотят вмешаться. Когда Залыгин боролся против строительства Нижне-Обской ГЭС, он был компетентен. Вообще же сфера писательской компетенции — человек, его судьба, возможности, удел.) <...>

Дочитываю «Весну священную» Алеко Карпентьера. Уж очень старательно прочерчивает он в романе правильную политическую линию, словно чувствует за спиной любознательно склонившегося внимательного читателя. Самое интересное: исторические и культурные реалии, связанные с республиканской Испанией, Парижем, докастровской кубинской жизнью, т. е. автобиографическое. Интеллектуальную насыщенность не стоит преувеличивать: пестрота картины

²¹ Богомолов В. О., писатель, автор романа «Момент истины», рассказов «Иван», «Зося» и др.

²² Павлова Е. Е. — костромская писательница, репрессированная в 1930-е годы.

²³ Имеются в виду статьи: «О провинции с признательностью» («Журналист», 1983, № 5) и «О судьбе и чести поколения. (О прозе Григория Бакланова)» («Новый мир», 1983, № 5).

²⁴ Салмов М. А. — костромской художник, в тот год писал портрет Дедкова.

²⁵ Леонович В. Н. — поэт, друг Дедкова.

²⁶ Горбовский Я. А. — учитель, отец поэта Глеба Горбовского, уехал из Ленинграда в 40-е годы, работал в костромской сельской школе. О встрече с ним Дедков писал в книге «Во все концы дорога далека» (Ярославль, 1981)

сводится в конце концов к двуцветности, к схеме. Осталось чувство, что погибший француз, муж героини, предшественник Энрике, был талантливее, просто интереснее главного героя. Может быть, так было и с прототипами?

Жарко. Тепло было в апреле, жарко в мае. Сухо. Температура выше двадцати и двадцати пяти. В Европе и Северной Америке ливни и наводнения; Корнилов бы сказал, что идет метеорологическая война, он в этом уверен.

Художники шагу не ступят без природы; складки на рубашке и те важны, — воображение и пронительность включаются потом; а романист хороший — разве..

17 сентября.

...не так же собирает по мелочам? (Это ли я хотел написать в тот далекий теперь майский день?)

Надо бы припомнить важное из летней жизни, но прежде — этот самолет, сбитый в ночь на первое сентября. Ныне это называется так: «пресечение полета». Оно произошло: погибли 269 человек: американцы, южнокорейцы, тайванцы, индусы, канадцы, шведы и другие. Среди них были дети. Самолет летел из аляскинского аэропорта (не помню названия) в Сеул. Почему, думаю я, это сделала наша страна? Если это провокация американской стороны, то почему мы на нее поддались? Если мы действительно не знали, что это гражданский самолет, то почему не заявили, что *потрясены* случившимся? Предпочитая без конца повторять, что это был самолет-разведчик, самолет-враг, мы даем понять, что нам все остальное (гражданский не гражданский) — безразлично. И наконец, даже допустив, что кто-то на самолете собирал информацию о наших секретных объектах, можем ли мы признать, что она *дороже* 269-ти человеческих ни в чем не повинных жизней? Возможно ли предположить, что у американцев нет других действующих более эффективных способов собирать информацию об этом районе? Что они, должно быть, и делают. Нет, повторяю я, почему это совершила наша страна? <...> Нам хотят доказать, что наше государство превосходит другие единственным — своей несокрушимой, постоянной, неизменной и даже тотальной правотой, о чем бы ни шла речь.

Так и стоит в глазах лицо Замятина, когда он на пресс-конференции (показана по телевидению в наглом монтаже, полном всяческого пренебрежения к телезрителям), раздраженно кривя большой рот, отчитывал западногерманского корреспондента, заметившего несоответствия между четырьмя последовательно поступившими официальными советскими заявлениями о судьбе самолета. «Вы плохо разбираетесь в русском языке! — кричал он. — Все, знающие русский язык, с первого сообщения ТАСС поняли, что полет самолета был пресечен». Он громко лгал, этот человек, потому что мы, читающие по-русски не хуже его, не нашли в том тассовском заявлении ничего, кроме невнятицы и темных оборотов речи. На что рассчитывал Замятин, когда говорил это? Или он весь наш народ принимает за глупцов?

Позорная история. Не могу думать о ней спокойно. Никита вычитал в «Комсомолке», как в Горловке группа школьников (восьмиклассники и пятиклассники) убили одного за другим (в разные дни) двух местных бродяг и пьяниц (53-х и 57-ми лет). Убили, можно сказать, сознательно: специально пришли *бить* беспомощных, пьяных, ну и — добились. Страшная история... вот коров в Индии объявили священными животными, а разве когда-нибудь у нас в школе говорят, что человек тоже священен и нельзя поднимать на него руку? Разве это будет говорить?

В наши времена человек не меньше, чем в прошлые времена, игрушка в руках государства. Мы смертны и уже потому слабы, и мы не можем себя защитить, и, если подумать, мы — такая же собственность государства, как земля и недра. Рука незрячего циклопа шарит и шарит, а ты жмись к стенке пещеры, авось обойдется другими? До чего же это все печально!

Этот Проханов возмущался провокацией с самолетом на первой полосе «ЛГ». Было это послание заверстано так, что буквально лезло в глаза своим возмущением и подписью. Верно я почувствовал этого сочинителя, догадался, каков он. Еще бы разок пройтись — и уже с полной беспощадностью, держа в уме и этот факт, и его «заграничный» роман!..²⁷

Мы с Никитой с первого сентября одни: Тома на курсах газетчиков в Горьком. Приезжала на два дня неделю назад; нам не очень-то весело, но справляемся. Было совсем плохо с едой, кончилось масло, но теперь полегче. Тома привезла из Горького масла и творога, а два дня назад мама со знакомыми передала для нас большую сумку с продуктами. Но по магазинам я успел походить и опять хорошо прочувствовал нашу костромскую бедность. Но это не имеет значения, особенно с московской точки зрения, не правда ли? <...> ...Да и почему целый месяц нашей короткой, в сущности, жизни мы должны жить порознь ради какого-то придуманного московской тупой властью мероприятия?

Пишу чистый текст работы о Залыгине, вчера начал печатать (по вечерам) текст рукописи для «Совписа». Назвал: «За живой водой». Но одного названия еще маловато, пошла бы только вечерняя работа!²⁸

Да, надо бы еще вспомнить, как тот толстый и сытый бойкий репортер телевидения, специалист по космонавтам, брал интервью у наших героев-пилотов и как стало абсолютно ясно, кто из них двоих — «пресек». Широкое лицо черноволосого крепкого человека спокойно смотрело в камеру, и повторялось слово, решившее судьбу 269 человек: «враг».

Этот человек — военный, и он выполнил приказ. Но зачем нам видеть его лицо? Я пишу сейчас эти слова, отчетливо понимая, что с еще большим успехом, — стоит только распорядиться, — можно делать так, чтобы никто никогда не увидел чье-то лицо — мое ли, твое ли, любое, которое не понравится...

26 сентября.

Сегодня — двадцать шестой день, как приключилось несчастье с самолетом. Эта тема — вынужденно, как я понимаю, — не сходит со страниц наших газет. Ничего нового нет; число погибших нашему народу не сообщено. Вижу по телевидению, как сидят министры и другие чины и ведут переговоры, и веселы, и благожелательны друг к другу, и всячески демонстрируют товарищескую теплую обстановку, а я смотрю на их лица и думаю о погибших. Когда топчутся два гиганта, задирая друг друга, то сколько они при этом надавят всякой мелочи, *мурашей*, — совсем не в счет... Накладные расходы исторического прогресса и исторической справедливости.

Прочел рукопись А. Адамовича для «Сов. писателя»²⁹. По меньшей мере на одну треть она состоит из цитат — из Брыля, Семина, Гердера и американца Шелла, автора книги «Судьба земли», переведенной «Прогрессом», но, видимо, для служебного пользования³⁰. Рукопись носит откровенно публицистический антивоенный характер; в былые времена ее назвали бы пацифистской, но, думаю, в наших условиях это слово потеряло почти всякий смысл. Текст рукописи — это тот случай, когда тебя пугают, но тебе не сильно страшно. Испытываешь чувство беспомощности и обреченности, потому что сознаешь, что от тебя ничего не зависит и эта ядерная война всего лишь синоним смерти или смертельно опасного несчастья, из которого не выкарабкаться, и по

²⁷ Проханов Александр. Дерево в центре Кабула. М., «Советский писатель», 1982. См.: Дедков И. «Тотальные аргументы» Александра Проханова, или Жизнь по-новому. — «Литературная учеба», 1980, № 3.

²⁸ И. Дедков начал работу над книгой: «Живое лицо времени. Очерки прозы семидесятых — восьмидесятых» («Советский писатель», 1986).

²⁹ Адамович Алесь. Ничего важнее. Современные проблемы военной прозы. М., «Советский писатель», 1985.

³⁰ Шелл Джонатан. Судьба земли. М., «Прогресс», 1982.

поводу чего утешаешься надеждой, что еще помедлит, отсрочит, пока пронесет... Особенно остро почувствовал едва ли не мнимую пользу книги после случая с самолетом. Двести шестьдесят девять человек, или 269 000 человек, или 269 000 000 человек, — объяснения обеих сторон будут подобными теперешним, и виноватых — не найти. Когда читал Адамовича, думал, что наверняка военные и прочие высокого масштаба руководители надеются выжить (их ум не допускает, что их могущества не хватит для этой задачи решения), и вот тогда я представил себя тоже выжившим и поджидающим их выхода-выполза из бункеров, чтобы из какой-нибудь зловонной, смердящей, отравленной ямы, доживая последнее, встретить их длинной пулеметной очередью.

Прочел вчера заново «Хаджи-Мурата», рассказы «За что?», «Что я видел во сне...», «Песни на деревне», — из последних толстовских вещей. Всякий раз читаю его и радуюсь, что думать с ним вместе легко — о Польше ли и поляках, о добровольном воссоединении кавказцев с Россией, о царе-батюшке... Самое же главное, что мучит читающего в «Хаджи-Мурате», — это какая-то заведенная — не остановить — безжалостная жестокость жизни, всего ее «порядка». Глава о Николае — прекрасный пример для любителей изображения высочайших особ; заметим, что это писал старый, мудрый человек, более молодых способный быть объективным и к тому же всю жизнь находящийся в стороне от «партий». И если он так пишет и уравнивает эту фигуру по уму, чувствам, культуре с человеком самым дюжинным, *низкого* полета, то — ему виднее. До чего же пала наша литературная братия (или лучше — челядь), если пытается разжигать тот же самый пламень патриотизма, что всячески поддерживался и поощрялся при царизме, и снова в ходу — антипольские пакостные настроения, антисемитская злоба и сладкие мифы о нашем обхождении с покоренными народами окраин.

В связи с этим вспомнил о прочитанном в «Московском литераторе» отчете про партийное собрание писателей Москвы, посвященное идеологическому пленуму. Вот нечто из речи Н. Шундика: «Как говорил Л. Леонов, достоин внимательного и почтительного изучения наш человек, взявший на себя подвиг — на своей собственной судьбе показать человечеству все фазы, случайности, опасности и возможности на пути осуществления древней мечты. Именно так надо рассматривать советского человека по всем законам марксистско-ленинского диалектического подхода к жизни» («МЛ», 19 августа 1983 года). Остается Н. Шундику и Леонову, если он тут в самом деле замешан, ответить на простой вопрос: это кто же «взял на себя» такой подвиг — быть подопытным существом? и, кстати, в чьей лаборатории и кто эти пытливые эскулапы? Говорят и пишут, и не понимают, какая бесчеловечная глупая декларация прет из этих уст, до какой «героической» малости низводится здесь человек!

Занятно и то, как Виктор Кочетков, некогда обещавший мне «карт-бланш» в «Воле» (оставалось занять его место в отделе критики), ныне один из идеологов *русских*, устроил в своем докладе демонстрацию объективности и широты воззрений, в том числе интернациональных, упомянув в «положительном» контексте Пастернака, а в другом месте — сочинения Чивилихина, Стаднюка, М. Алексеева, Проханова (афганский роман) и Н. Яковлева («1 августа 1914 года»), отозвавшись о последних, присовокупив к ним А. Крона и В. Крупина, так: «Названные авторы выступают не только певцами (это Яковлев-то — певец? или Стаднюк?), но прежде всего исследователями жизни, ее сложностей, ее неожиданных поворотов, ее не всегда справедливых пристрастий... Мы должны учиться на таких книгах» и т. д. (там же). И не спросишь ведь, что такое — «не всегда справедливые пристрастия жизни», особенно применительно к перечисленным книгам.

Великий наш поэт, похожий на вполне порядочного коренастого плотнотелого советского чиновника, Юрий Кузнецов сказал в том собрании, что «сегодняшние обвинения в адрес поэзии несправедливы в основе, ибо за точку отсчета берут 60-е годы. .». Но признал, что «молодежь иногда отходит от по-

длинно гражданского, государственного пафоса...». И это, насчет пафоса, говорит российский поэт! Все думаю, от кого они наше государство защищают, все боятся, не обидели ли? От народа, от какого-нибудь нынешнего Башмачкина, от героя «Медного всадника»?

Бог помиловал меня и позволил мне все это только читать, да еще в изложении, а не видеть, не слушать, не участвовать во всем этом нервном, подпольно злобном словоговорении...

И чего ты, Тома, не едешь?

6 октября.

С первого числа мы опять все вместе. Тома рассказывала о курсах. В частности, о лекторе из горьковской ВПШ с явно просталинскими симпатиями. Наилучшее впечатление оставили университетские преподаватели. По вечерам в общежитии (партшколы) было неприятно; многие пили. Тома с Людой Кирилловой ходили по театрам, старались возвращаться попозже. В общежитии регулярны кражи; к ним привыкли; подозревают девиц из комсомолок — слушательниц партшколы. Публика на газетных курсах — чванная, надутая; все-таки — в своих городах и весях — избранные, причастные власти. Среди костромичей была кологривский редактор Бурнасва. Она рассказывала, как к ней приходил работник госбезопасности, показывал рукописную листовку, в нескольких экземплярах расклеенную по заборам. Там были две частушки; одну из них она запомнила: «Кулиш играет на гармони, Куимов пляшет трепака. Весь район разворовали два заезжих дурака». (Кулиш — предрайисполкома, Куимов — первый секретарь райкома.)

Тома пересказывала кое-что из услышанного на лекциях. О новых видах оружия, об их стоимости, о масштабах пьянства, о росте смертности по стране за последние годы, о нашем отставании, отставании, отставании, о необходимости военной подготовки молодежи и прочем. Я подумал, что если все эти факты, особенно военного характера, т. е. об орудиях убийства, воспринимать в полную меру чувств и ума, то жить не захочешь. Еще я подумал об ученых людях, которые изобретают это оружие, как о тех, кому нет оправдания. Хотят убивать светом, звуком, отравой — и всё против кого? — против таких же рабочих, крестьян, мелких служащих. Угнетающая, бессмысленная, абсурдная реальность.

Едиственный способ жить — ее не замечать. Пока не наткнешься, да?

По городу бродят туристы с последних теплоходов. Со всего нашего бульвара к театру сгребли вороха листьев, чтобы закрыть асфальт: Рязанов продолжает снимать «Жестокий романс».

8 октября.

Состояние неважное: нужно сделать очень много. Если бы утреннего энтузиазма хватало на вечер!

В понедельник, послезавтра, Никите идти в поликлинику по направлению военкомата: скоро «приписка». Думать об этом печально. Наш мальчик начинает знакомиться с государством.

Холодная рука государства.

Бойкие московские сочинители (Киреев, Маканин) пишут так, будто мимо мелкого скандального вздора и отношений полов ничего не существует. Например, нет проблемы государства и общества, и это-то во времена Афганистана и т. п. Для человека, героя литературы, этой проблемы, выходит, нет³¹.

³¹ Неприятие творчества тогдашних «сорокалетних» прозаиков нашло свое выражение в нашумевшей статье Игоря Дедкова «Когда рассеялся лирический туман» («Литературное обозрение», 1981, № 8).

Говорить о «социальной зоркости» Маканина — после книг Ф. Абрамова, Б. Можаява, В. Семина, В. Шукшина, Ю. Трифонова — несерьезно. Кое-какая социологическая — возможно: коллекционирование редких «экземпляров».

Читаю Шервуда Андерсона: там, в «Уайнсбурге, Огайо», «нелепые люди», но это живая нелепость — какие только деревья не растут в лесу или старом парке. Эта человеческая «нелепость» («пестрота», «кривизна» и т. п.) обычно фиксируется обыденным массовым сознанием, но редко (в случаях преступления закона) интересуется общественное мнение и государство. «Странности» — личное дело граждан, пусть они оставляют свои «странности» при себе; государство и общество вправе пренебречь ими как несущественностью. Наша литература в немногих случаях, и то непоследовательно — например, Шукшин, — «опускалась» до «нелепых» людей, «чудиков», «психопатов», «нервных» и т. п. Кроме того, Андерсон чувствовал и передавал томление и растерянность человека перед жизнью, обилие смутных и чистых мотивов, их вытесненность, искаженность, иногда несбыточность, а порою — и причудливое воплощение («Человек с идеями»). У Андерсона жизнь людей поистине жизнь, то есть нечто естественное, колышущееся, непредсказуемое, взрывающееся, выплескивающееся через край... Это что-то трудно себя сознающее, сбивчиво выражающее свои желания, путанно их осуществляющее...

Валенсе дали Нобелевскую премию мира; по литературе — У. Голдингу.

Наткнулся в «Отцах и детях» на фразу: «Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей».

23 октября.

Сырой, серый день; совершил после работы свой круг по городу; не по лучшему маршруту (возвращался по шумной и грязной Калиновской), но все же... Шел и думал: деревня и есть; поубирали заборы, дворы раскрылись: длинные поленницы, сараи, сарайчики, помойки, лавочки, дощатые уборные... Под солнцем и это празднично, летом — сквозит поленовское, от московского, или общерусского двора, зимой — кустодиевское... Осенью сквозит одними задворками, бедной окраиной, захолустьем... Когда мальчиком жил в Ухтомке, в коммунальной квартире — без канализации и водопровода, где в «ванной» комнате, то есть в чулане, благоухали помойные ведра, прикрытые фанерками, — годились и для ночной нужды, — тогда всю эту бедность и грязь я не замечал, ничего иного, лучшего, не зная и себе не представляя. Если с чем-то свыкаешься, то не замечаешь — ни тех ведер, ничего другого. Когда на лето приезжала погостить из Липецка бабушка Варвара Николаевна, уже старенькая, но еще учительствовавшая, то ходила она в уборную, неся с собою «сиденье», или как это, запамятовал, называется. Я не сразу сообразил тогда, что это она с собою носит. А проходить нужно было вдоль фасада дома, и не в тихую, а в оживленную сторону двора, потому что там была калитка на улицу, а у нашего и второго подъезда (всего два) обычно сидели люди, играли дети. Дети, увидев бабушку со смешным предметом в руке, посмеивались; про взрослых ничего не скажу, не знаю, судачили ли на эту тему они. У бабушки были седые прямые волосы, откинута назад и скрепленные большой гребенкой; старая учительская прическа. И нос с горбинкой, и чуть навывкате глаза, и какая-то благородная линия старчески дряблого подбородка все еще сохраняли черты породы, породистости. Когда-то бабушка училась в пансионе благородных девиц — там, где теперь Центральный дом Советской Армии. В школе она преподавала немецкий и французский. Помню, позднее, когда уже жили все вместе на Октябрьском поле, она переводила мне в «Леттр франсез» (?) статью о Фолкнере в память... Так вот — моя бабушка-дворянка, ни на кого не глядя, не замечая никого, шествовала вдоль дома по дорожке к той грязной, поистине общественной уборной, закрываемой на вертушку и часто стоявшей распахнутой настезью... Но привычка могу-

щественна, это было, но словно не было, потому что тысяча вещей и обстоятельств была важнее... Стоит только обжиться, и, когда нет выбора, человек назовет домом и хлев, и звериную нору, и угол на нарах в теплушке, и всякую щель, сохраняющую ему жизнь... Так вот — о привычке: я подумал о ней сегодня, в этот серый, холодный день, когда — не в первый, сказать по совести, раз — подумал, что привык в этом городе многого не замечать, как не замечал тогда в Ухтомке или много позднее, когда жил на частной квартире — у Магнитских (правильно: Магнитских; их сын, учитель истории Михаил Павлович, возмущался, когда его фамилию писали через «ц») или у Людмилы Вячеславовны (фамилию забыл). Если же освободиться от привычки, *скинуть* ее, то окажется: бедность, еще раз бедность, заброшенность российской провинции, старого русского подворья.

Обычно спрашиваю у Никиты, было ли что интересное в школе. Как-то недавно спросил, чем занимались на военном деле. (Теперь называется: начальная военная подготовка). «Подлостью, — ответил неожиданно Никита. — Проходили *убойную силу автомата* Калашникова». Вот что его поразило: «убойная сила». Теперь его приучают к мысли, что никакой подлости тут нет, что это все нормально; он переписывает в тетрадь из учебника все эти данные: скорострельность, дальность стрельбы и т. д., — то есть *привыкает*, чтобы впредь не удивляться.

Система общественного воспитания есть воспитание *привычки*. К правопорядку, к государству, к власти, к иерархии, даже к способу выражать мысли. И ко многому другому.

Жизнь обучает нас вот чему: какую-то экономическую организацию (структуру) общества можно счесть «прогрессивной», более «справедливой» и «нравственной», но из этой «прогрессивности» и т. п. автоматически не следует столь же «прогрессивное» политическое устройство. Увы, оно, возможно, и существует в старых, знакомых пределах: от демократической республики до единоличного правления монархического или диктаторского типа, до диктатуры фашистского образца. Если признать отсутствие «автоматизма», то есть закономерности, обязательности в складывании, формировании политической надстройки, то это в некотором смысле раскрепостит умы, позволит освободиться от привычки этого рода. Исчезнет одна из самых существенных иллюзий нашего «воспитанного» сознания.

26 октября.

Наши размещают новые ракеты в Чехословакии и ГДР; те довольны, никаких демонстраций. Американцы собираются с первого ноября монтировать — или как там это называется — свои «крылатые» ракеты в Англии, Германии и других странах. Наши меры — ответные. По всей Европе — волна демонстраций; в них участвует по двести — четыреста тысяч человек. Но эти сотни тысяч беспомощны; две державы в лице своих лидеров уперлись лбами, и никто не хочет уступить.

Нас без конца потчуют цифрами: число ракет, ядерных зарядов, бомбардировщиков и т. д. Хотят, чтобы мы были «в курсе»; мы давно уже «в курсе» многих специальных проблем: надоев молока, урожая, капиталовложений и т. д. Но сколько бы ни были «в курсе», как бы ни преуспевали в познаниях этого рода, все это бессмысленно и бесполезно. Наши голоса и наши суждения не значат ничего. Я еще не думаю, что они дружно спихнут мир в пропасть. Но им почему-то выгодно балансировать на краю, а это опасно и страшно. Дж. Шелл в своей «Судьбе земли» говорит точно: бессмысленно ставить идеологии, доктрины, концепции впереди жизни; впереди надо ставить жизнь; мы дожили до времени, когда нужно сделать этот выбор.

Английское радио вчера и сегодня сообщает о том, что пропавший в Италии журналист-международник Олег Битов, брат Андрея Битова, обнаружился в Лондоне, получил временное убежище и сделал заявление для печати. Пер-

вая публикация «ЛГ» об исчезновении Битова хотя и упирала на его возможную гибель (может быть, его труп скрыт в водах венецианского канала), но хитрым образом заранее обговаривала все другие возможные исходы этого происшествия, упоминая коварные методы иностранных разведок по психологической и прочей обработке людей, попавших в их руки. Выходит, это было сделано не напрасно.

Виктору Бочкову сократили обычные для него выступления по линии Общества охраны памятников старины. Якобы сделано это по указанию сотрудника госбезопасности. Не Сергея ли Сергеевича Павлова, любителя книг?

Недели две назад В. Шпанченко рассказал мне, что жена его нашла у сына, ученика четвертого класса, записку, отпечатанную на машинке, с нарисованным одноглавым орлом и свастикой. Текст был приблизительно таким: «Дорогой друг, становись в наши ряды, приходи туда-то к таким-то часам, приводи своих друзей...» Жена Володи, кажется, ходила к месту сбора, но никого там не видела. Шпанченко уверял меня, ссылаясь на знакомого работника милиции, что уже дважды или трижды в апреле «неонацисты» собирались около кинотеатра «Дружба», а обычные их сборища проходят в поселке «Первомайский», т е на окраине города.

30 октября.

С туристским автобусом приезжали Кузьмины — Володина³² родня. Вчера вечером сидели у нас, ужинали, разговаривали — обо всем понемногу. Есть разница в возрасте, разные профессии, — это неизбежно мешает более короткому контакту. Привыкать трудно, но постепенно привыкаю.

Людмила Семеновна вспоминала молодость, первые послеуниверситетские годы, когда она и другие девушки работали на урановых рудниках — маркшейдерами. Было это на Украине³³, некоторые потом были переведены в Восточную Германию. Девушки потом болели, но даже врачам не говорили, откуда у них эта хворь. «Не работали ли вы с рентгеновскими аппаратами?» — спрашивали врачи. «Нет», — отвечали, т. к. были засекречены и боялись. Рудниками занималось тогда ведомство Берии.

Кузьмины чтят Сталина; критицизм распространяется на последующие времена, которые чтить вождя народов не хотят.

В споры я не вступал; Тома — тем более; были взаимотерпимы, хотя в политику старались не вдаваться.

Вчера-сегодня на площади у каланчи — т. н. «ярмарка»: «Осень-83». Понаставили вокруг круглого сквера («сковородки») торговых киосков и лотков, поводружали на палках разных зазывных надписей в народном стиле, поднакопили товаров: от шашлыков — до детских одеял, — и выбросили в торговлю. Народу — черная туча; Иван Кожевников рассказывал, как прельстился шашлыком, выстоял очередь, но ему не дали, заявив, что без «ста грамм» — никаких шашлыков. Тома говорит верно: ярмарки устраивались от изобилия товаров, наша «ярмарка» — от недостатка товаров. Традиций так не восстановить, да об этом всерьез и не думают. Используется старое слово, а содержание его подменяется; главное — видимость. Как бы ярмарка. Как бы праздник. И многое еще — как бы.

Шпанченко ездил в Павино в командировку. Зашел вечером в магазин купить хлеба — не продали: по талонам! Буханка на человека. Попросил у инструктора райкома немного картошки. Она не поняла: мешка три-четыре? Он объяснил: несколько картофелин, чтобы сварить на вечер. В столовой ему постель почему-то не удалось; кажется, была закрыта. Сварил картошки, что делать!

³² Володя — сын Дедкова.

³³ На самом деле в Джамбуле, в Таджикистане; на Украине она работала на заводе по обогащению урана

Негорюхин и Пашин совершили набеги на библиотеку умершего старого врача-психиатра Шайновича. Кое-какие пустяки Негорюхин отдал мне: несколько номеров газет и партийных журналов 30 — 40-х годов. Из интересного там есть речь Молотова на сессии Верховного Совета СССР осенью 39-го года и, например, заметка в «Правде» (1940): «51-я годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера» и т. п.

Отыскали они у Шайновича и стенографический отчет о процессе (1931) над меньшевиками. Чтение поучительное. Прочел часть текста, относящуюся к Кондратьеву и Чайанову (косвенно).

Западное радио прекратило все сообщения о судьбе О. Битова. Не выдали ли они желаемое за действительное? История темная.

11 ноября.

<...> За несколько дней до праздников отправил В. О. <Богомолу> бандероль с путеводителем, старыми костромскими открытками и со справками (составил Виктор) по госпитальным костромским зданиям³⁴.

Сегодня впервые слегка присыпало тротуары снежком. А восьмого было тепло, и мы с удовольствием поиграли в футбол на обычном своем месте у Посадского леса.

За исключением «Писем незнакомке» прочел сборник публицистики Андре Моруа. Там и политика, и история, и мемуарные записи. Несколько странно, что это у нас издано. Настроения и ситуация во Франции и Англии перед Второй мировой войной и в самом ее начале выглядят иначе, чем в нашем официальном освещении. Например, Моруа дважды или трижды пишет, что французские рабочие, находившиеся под влиянием коммунистов, саботировали после августа 1939 года (заключение советско-германского пакта) работу военных заводов. С явным неодобрением пишет Моруа о внутренних раздорах во Франции перед войной, возлагая часть вины на Народный фронт. Неожиданным для меня был портрет Чемберлена. Но самое удивительное — как проглядели! — толкование политической свободы, критика тоталитаризма, рассуждения о необходимости оппозиции и т. д.

Прочел пьесы О. Кучкиной «Синицы в октябре» и Л. Петрушевской «Три девушки в голубом» («Совр. драматургия», № 3). Петрушевская <...> утверждает об одном и том же: стержень всего — инстинкты пола и связанная с ними неудовлетворенность. Талантливое у нее — какое-то тесное, гонимое; чуть только вздохнешь — опять тот же «пунктик», какая-нибудь знакомая — по той рукописи прозы, что ли, — фразочка выплывает... И вообще после нее, да и после Оли Кучкиной — тяжелое чувство. Будь у меня время, написал бы: «Что делать с этим ужасным миром?», «И почему вы его так настойчиво демонстрируете?», «Если поверить, что мир таков, жить невозможно», «И вот странность: почему вы однообразны, монотонны и не впускаете в ваш мир *никого* человека?»

О. Кучкина идеологически расчетливее: она ввела бабу Феню — Арину Родионовну, домработницу, светлое пятно, народный корень. Она ввела столько этой бабы Фени, что явно переборщила. Но хотя бы она может отбиться: вот у меня положительный герой, здоровая струя.

А все-таки жаль, что литература обратилась в эту сторону.

Увы, эти герои из испорченного инкубатора — сами виноваты в своих несчастьях. В сущности, они не знают ни настоящих несчастий, ни настоящих трудностей существования. Они сладострастно лелеют свои беды и не хотят никаких перемен. Это клиническая картина невращения в острой хронической форме. Раньше все это стыдились выносить на люди.

³⁴ В. О. Богомолу во время войны лежал в одном из костромских госпиталей. В 1983 году он собирал сведения для нового романа о войне.

25 ноября.

Сегодня в «ЛГ» Л. Петрушевская объясняет, что она стоит за правду.

Господи, дай мне силы справиться с Большими рукописями, и тогда я кое-что от души напишу о «новой драме», еще раз об «экстрасенсах» и т. д.

Отправил в «ЛГ» по «заказу» С. Селивановой две «поздравительные» странички к юбилею Залыгина. Жанр тяжелый.

Два письма от Бакланова: первое о болезни дочери, второе — комментарий к моим цитатам из Честертона.

У Никиты в школе сегодня читал лекцию сотрудник госбезопасности. Призывал не слушать западные радиопередачи. Тотчас после уроков мальчишки из Никитиногo класса отправились в кабинет физики послушать, что же там такое говорят.

Сообщено о том, что мы ушли с женевских переговоров³⁵. Сегодня по телевидению читали Заявление Генерального секретаря Андропова. Не припомню, чтобы были «заявления» людей в этом же ранге, даже Сталина. Почему не Заявление правительства?

После отзыва Аннинского в «Новом мире» прочел «Свет на горе» В. Тихвинского, человека поколения Семина; на фотографии — лицо раввина со многими печальями в глазах. Пожалуй, это одна из самых значительных книг года. Она явно написана после семинского «Знака», но по материалу и способу рассказа — совсем иная. Глазами подростка — невнятица оккупационного быта, необычный образ «подполья» и его борцов. Обыденность и неотчетливость мужества.

О ракетах, «холодной войне», о растущей и разжигаемой напряженности писать не хочется. Как писать о безумии?

Никита с одноклассниками ходил на мед. комиссию в военкомат. К десяти утра вызвали мальчишек из трех школ города. Никита пришел домой в пять часов. Их школа оказалась в очереди третьей. Несколько часов сидели, слонялись, слушали грозные команды прапорщика. Вопрос: зачем военное ведомство, которое должно отличаться строгим и разумным порядком, образовало эту слоняющуюся толпу? Может быть, нарочно, чтоб *привыкали* к крику командиров, к запахам этих казенных коридоров, к обстановке долгого ожидания и подчинения? Вам не нравится? Ничего, посидите, потерпите. Вами распорядятся. Начальство знает, что делает. Хоть несколько этих часов, но мы дадим вам почувствовать, что вы сейчас уже не принадлежите себе и своим семьям, а — государству.

— Ну и как тебе, понравилось? — спросил я Никиту.

— Не очень, — ответил он, достаточно выразительно произнеся эти слова.

25 ноября.

Сейчас Лондон сообщил о смертном приговоре бывшему директору «Елисеевского» магазина в Москве. Должно быть, он и в самом деле был проходимец, но стоит ли убивать, если он никого не убивал и не организовывал убийств? Чтой-то, помнится, Короленко писал насчет смертных казней, и Толстой тоже, и Вернадский. Пустое дело. Все забыто напрочь. Вообще все эти писатели-ученые много глупостей понаписали-понаговорили. Утописты.

Ходил сегодня по улицам, — тепло, легкая метель, сумерки, — среди прочего думал о том, как можно было бы начинать «роман» автобиографического типа. О том, что можно утром не зажигать свет, не смотреть на часы (будильник бездействует, в продаже давно нет батареек), потому что ровно в семь, спускаясь с пятого этажа, возбужденно тявкает собачка, а в семь часов пять минут выходит на площадку соседка, и что-то весело щебечет ее маленькая дочка: они спешат в детский сад. Вот и подъем... Повествование должно быть

³⁵ Переговоры о сокращении ракет среднего радиуса действия в Европе

очень подробным, особенно в области быта — домашнего, служебного, уличного, прочего; все детали этого рода не стоит драматизировать — чем обыденнее, спокойнее, тем лучше; это *привычное*; если кому-то покажется дичью, абсурдом, то это не наше дело — не героя, не автора.

В «Новом мире» В. Карпов («Полководец»), пожалуй, продемонстрировал некое свободомыслие. Во всяком случае, по отношению в Верховному он настроен явно критически. Кроме того, рассказал историю своего ареста в 39-м, т. е. напомнил об атмосфере сыска, доносительства и репрессий.

Хорошие впечатления от знакомства с Леонидом Поповым, бывшим геологом, ныне сотрудником райгазеты на своей родине (Вохма).

11 декабря.

Девятого числа я уже опять работал, ночью вернувшись автобусом из Москвы, с дня рождения С. П. Залыгина (70-летие). <...> Залыгин пригласил меня по телефону, сказав, что будет человек восемь, и подробно объяснив дорогу к переделкинской даче. День рождения Тома пришлось отметить 4-го, и впервые, кажется, в нашей домашней истории я отсутствовал шестого декабря. Отказаться от приглашения Залыгина было невозможно, особенно если вспомнить, что я регулярно уклонялся (дважды по крайней мере) от участия в проводимых им лит. мероприятиях. Подарки я повез сугубо провинциальные: акварель А. Мухина «Дом Акатовых»³⁶ и поделки из бересты. Не разворачивая, отдал жене Сергея Павловича. В это как раз время талмудисты из Цека комсомола на втором этаже дачи зачитывали свой приветственный адрес. Я волокся со своей картиной и цветами в ранней декабрьской тьме, приближаясь к цели, когда эти деятели догнали меня на черной «Волге» <...> Оказалось, что калитка четвертого дома — перед нами. Мы туда так и двинулись втроем; я — догадываясь, — по их папочкам под мышкой, — откуда они, из каких кругов. Пройдя лишь несколько шагов, встретили Залыгина, спешащего с помойным ведром («Женщины послали!»), и, когда, дожидаясь, стояли у дачи, один из молодых незнакомцев спросил меня, не Дедков ли я? Оказалось, что он участвовал в семинаре сочинителей Нечерноземья, который проходил в свое время в Костроме. <...> Залыгин угостил их рюмочкой и быстренько от них отделался. Оказалось, что для приема поздравлений было отведено время с 12-ти до 4-х дня. Первыми появились венгры из посольства, сообщившие о награждении Залыгина орденом Лаврового венка третьей степени. Делегация «Лит. газеты» во главе с Е. Кривицким привезла поздравление, исполненное в виде большого телеграфного бланка, где под текстом расписались многие сотрудники газеты. Привезли и «ЛГ» — завтрашнюю, за 7-е число, где наши с Быковым поздравления юбиляру. Были, как потом мне сказал Распутин, «молодогвардейцы» Десятерик и Машовец. И спросил, не встретился ли я с ними?

Оказалось, что двухтомник Распутина выходит не с моей статьей, а со статьей надежного Овчаренко. Я же этого даже не знал: не соизволили сообщить. Впрочем, я как-то не расстроился.

Следом за мной появился Крупин, приволокший старинный небольшой письменный стол (на одной ножке), купленный совместно с Распутиным и Беловым. Мы втащили его в гостиную на втором этаже, где он встал к стене так, будто был здесь всегда и его просто на время выносили. Вскоре пришел В. Утков, друг-приятель залыгинский с 30-х годов: знакомы без года полвека. Потом образовалась пауза, и мы втроем сидели в гостиной, и Утков с Залыгиным вспоминали предвоенные, в основном сибирские, истории. В частности, Драверта, Л. Мартынова, Г. Вяткина. С. П. очень интересно рассказывал о студенческой поре. (Жена его училась с ним в одной группе, хотя была и моложе, т. к. Залыгин пришел в институт после техникума и работы). Говорил,

³⁶ Дом Акатовых — архитектурная достопримечательность Костромы Мухин А — костромской художник

что отношения студентов и профессуры были совсем иные, чем теперь, да и вообще в послевоенную пору. Рассказывал, как, прогуляв всей группой ночь — с гитарой, веселые, бесшабашные, заявились под утро к дому своего профессора гидрологии, под его окна, и, наученные и вдохновленные одним энтузиастом-весельчаком, стали выкрикивать хором: «Товарищ профессор, примите у нас экзамен!» Перебудили весь дом, жильцы возмущенно высовывались, а встрепанный профессор отнесся к их просьбе всерьез, звал к себе, дал им задание, велел готовиться, а сам удалился на рыбалку. Его «мщением» было долгое отсутствие, а наградой за дерзость — пятерки всем, т. к. ответы на вопросы были аккуратно переписаны из учебников. Единственную четверку получил самый честный: он отвечал не заглядывая в учебники.

Залыгин, нужно отдать ему должное, очень высоко отозвался о двух своих тогдашних товарищах, охарактеризовав их способности и познания как выдающиеся. С сожалением добавив, что их судьба не сложилась, как это часто случается в провинции. Учись и живи они в Москве, добавил он, они наверняка добились бы очень многого. А так — самый талантливый из круга залыгинских друзей не поднялся выше преподавателя в Кустанайском техникуме. Позднее Залыгин пытался «перетащить» его на свою кафедру, но тот не согласился.

13 декабря

У Залыгина были: Крупин, Распутин, Белов, Адамович, Утков. Стол был накрыт на первом этаже в небольшой столовой. Всей компанией выпили бутылку водки под названием «Золотое кольцо». Прекрасный английский (индийский) чай запили шампанским. Сибиряки (хозяин, Утков, Распутин) пытались показать класс в потреблении пельменей, но большого энтузиазма не было. Пили умеренно, разговорчивость была тоже умеренной. Более других говорили С. П., Белов, Адамович. Обсуждали вчерашнюю передачу: затянули сцену из спектакля, актер (Бочкарев) мало подходит для роли Устинова³⁷, хорошо, что удалось сказать о Твардовском. Адамович жалел, что сократили, вырезали его сопоставление мужиков у Залыгина и Абрамова: выходит, с годами поглупели и т. д. Вспоминали Твардовского и «На Иртыше». Белов убеждал, что сегодня в таком виде не напеча<та>ли бы. Посмеивался, что имя Юрист показалось бы подозрительным из-за этого «Ю». Кто-то, кажется Крупин, говорил, что вместо «русский народ» цензура советует писать: «наш народ». Выходит, они хозяева, а это их народ. В какой-то момент Белов философически заметил, что жизнь и смерть одно и то же, как и капитализм с социализмом. Чуть не всю Европу проехал, сказал, а разницы не заметил, не углядел. По поводу жизни и смерти Адамович спросил: так что же социализм при таком сравнении — жизнь или смерть. А ты сам ответь, сказал Белов. Две стороны одной медали, ответил Адамович.

Залыгин вспоминал приезд Твардовского в Новосибирск вскоре после появления «На Иртыше». Залыгин болел, лежал в больнице, и Твардовский решил его навестить. Когда же появился на трапе самолета, увидел, что С. П. его встречает. Твардовский был подвыпивши, заворчал: знал бы, что на ногах стоит, не полетел бы. Спустился, предложил сходить в буфет, выпить коньячку. Залыгин тогда твердо заявил: едем домой, есть пельмени и коньяк, или же я ухожу. Твардовский подумал, подумал: коньяк, говоришь, будет? Тогда едем.

Когда в тот приезд пришли с визитом вежливости в обком, Твардовский спохватился, что нет курева. Тогда секретарь обкома вызвал помощника, попросил сходить за сигаретами. «Купите „Ароматных“», — наказал Твардовский. Вернулся помощник смущенный, мнется чего-то. «Ну, купил? Давай!» — говорит ему секретарь. Тот как-то нерешительно лезет в карман, неловко вы-

³⁷ По телевидению в передаче, посвященной С. П. Залыгину, был показан спектакль Малого театра по повести Залыгина «Комиссия».

тягивает маленькую пачку. Эти? Он необычайно удивлен, что именно эти, чуть ли не самые дешевые, и такой большой человек курит! А Твардовский все последние годы курил только «Ароматные».

Пока Залыгин поджидал в аэропорту Твардовского, там же был первый секретарь обкома партии Горячев со свитой: ждали прилета Воронова³⁸. А пока топтались, переминались с ноги на ногу, такая у Залыгина с Горячевым вышла беседа. «Ты скажи честно, — сказал начальник, — это Твардовский тебе заказал написать „На Иртыше“? Небось по телефону все объяснил, что там должно быть, план подсказал?» Залыгин, разумеется, стал удивленно его разубеждать. Тогда Горячев подозвал свою свиту и, посмеиваясь, обратился к ней: «Смотрите, своих не выдаёт. Учитесь. Небось дойдет до вас дело, так меня с потрохами и продадите».

Вспоминал С. П. и последние (ходили с женой) посещения больного Твардовского, когда он уже не мог говорить, а руки дрожали так, что писать было невозможно. От облучения волосы вылезли, сидел с пушком на голове, пытался что-то объяснить, попросить, нервничал, Мария Илларионовна пыталась угадать желание, не получалось, он гневался, она плакала. Сунула сигарету в угол рта, успокоился, посветлел. А Залыгину показывал, что жует что-то, «пельмени вспоминал»...

Белов сказал, что Солженицын написал о Твардовском плохо, неблагодарно.

Адамович вспоминал, как в зале Чайковского Союз писателей проводил вечер, посвященный Твардовскому (какая-то была круглая годовщина). Перебирали кандидатуры докладчиков, почему-то неожиданно остановились на Адамовиче, Мария Илларионовна одобрила. Адамович удивился, но согласился: большая честь. Когда приехал в Москву, узнал, что доклада он делать не будет. То ли совсем без доклада, то ли кто-то другой найден. В тот день Адамович побывал в «Новом мире», в «Дружбе народов», спрашивал, идут ли на вечер. Никто нигде о вечере не знал. Единственное скромное объявление увидел у входа в Зал Чайковского. В фойе толпилось много солдат, какой-то учащейся молодежи. Писателей не было. Потом чинно, с папками под мышкой прошли «Гертруды» (Герои Социалистического Труда. — Залыгин, кажется, слышал это «сокращение» впервые!) во главе с Марковым³⁹. Зал не был заполнен, солдат не хватило, Залыгин сидел в президиуме, готовился выступить, что-то черкал: он еще не знал, что слова ему не дадут. С наибольшим триумфом выступал Е. Исаев. Лакшину слова не дали тоже. После окончания этой томительной процедуры Мария Илларионовна за кулисами говорила Маркову: «Я вам этого никогда не прощу». Будто они нуждались в прощении.

Залыгин рассказывал, как ездил с Айтматовым в Вену: кажется, по издательским делам; да, по приглашению небольшой издательской фирмы.

(Окончание следует.)

³⁸ Воронов Г. И. в 60-е годы был членом Политбюро ЦК КПСС.

³⁹ Марков Г. М. (1911 — 1991) — писатель, в те годы первый секретарь Правления Союза писателей СССР.

О П Ы Т Ы

ЛЮБОВЬ СУММ

*

РИМСКИЙ СТЫК

Три культуры сосуществовали в Палестине на рубеже эр. Люди, к которым обращался Мессия, исповедовали иудаизм, писали Евангелия по-гречески и были подданными Римской империи. Все три элемента слились в христианстве и теперь неотделимы от нашего бытия, порой и нераспознаваемы. Особенно трудно обнаружить в себе «римский след». Евреи подготовили почву для веры, греки создавали язык и философию — только по-гречески могло прозвучать «В начале было Слово» со всеми сложными значениями греческого Слова-Логоса. А что дали римляне?

«В год от сотворения мира, когда в начале Бог создал небо и землю, пять тысяч сто девяносто девятый, в сорок второй год правления Октавиана Августа, когда на всей земле был установлен мир, в шестой век мира, Иисус Христос, вечный Бог, Сын вечного Отца, зачатый от Святого Духа, по истечении девяти месяцев от зачатия родился в Вифлееме Иудейском...»

Вот суть — эти рядом стоящие шкалы: от сотворения мира и от начала правления римского принцепса. Выходит, нужны были римляне для того даже, чтобы все состоялось в свой срок. Бог и человек встречаются во времени, вечность подчиняется биологическим девяти месяцам вынашивания плода, год от сотворения мира равен году правления Октавиана Августа, и точно посередине этой хронологии краткое указание, быть может, как раз и проясняющее, какова историческая роль римлян в этом событии — «когда на всей земле был установлен мир».

Римляне — не материал, не составная часть нашей культуры, они — клей, соединивший элементы, без которых немислимы все последующие века. Клей увидеть сложнее, чем скрепленные им детали. Роль иудеев очевидна, и перед достижениями греков мы преклоняемся. А римляне открыли нам эти замкнутые цивилизации, открыли эти культуры друг другу. Римляне дали нам не язык и не веру, а нечто настолько насущное, что теперь мы и не замечаем истока, — человеческие отношения.

Homo Romanus

Деяния Апостолов, глава 16: жители города Филиппы (Македония) обвинили Павла и его спутника Силу перед правителями. «Воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их... Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: отпусти тех людей... Но Павел сказал к ним: нас, Римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? нет, пусть придут и сами выведут нас».

Что такое звание *Homo Romanus*, на котором настаивает Павел? Вплоть до 212 года н. э., когда эдиктом императора Каракаллы все свободные жители

Сумм Любовь Борисовна родилась и живет в Москве. Окончила классическое отделение филфака МГУ, кандидат филологических наук. Преподает латинский язык и историю античной литературы, публиковала переводы Г. Честертона, Франциска Ассизского и других авторов, научные статьи. С оригинальным авторским текстом выступает впервые.

империи обрели римское гражданство, этим статусом за пределами Италии награждали либо за существенные заслуги перед Римом, либо за крупную сумму (так стал римлянином тысяченачальник, спасший Павла от толпы в Иерусалиме), либо, наконец, представителей местной знати (по линии родителей пришло гражданство к Павлу). Принадлежность к римлянам давала право жителям столицы участвовать в выборах городских магистратов Рима, возможность напрямую судиться с римлянином (провинциалам требовалось заступничество граждан-«патронов»), право апелляции от любого местного суда к суду римского народа (во времена Павла — к суду Кесаря, и этим он еще воспользуется) и личную неприкосновенность — именно об этом напомнил Павел македонским «воеводам». Ни бить, ни заключать в темницу, ни казнить римского гражданина по усмотрению начальства, без полноценного суда — со свидетелями, адвокатом и присяжными — нельзя. Нарушение прав римского гражданина (хоть бы и пришлого, не угодившего местным жителям, проповедующего какую-то странную религию) приравнивалось к оскорблению Римского Народа и могло повлечь за собой такие последствия, что даже воеводы — начальники области — «испугались». «И, придя, извинились пред ними».

В звании римского гражданина есть определенная практическая ценность — изъятие от физического наказания и защита от судебного произвола. Однако впервые Апостол вспоминает о своем статусе *homo Romanus* в ситуации, когда эти льготы не слишком-то ему требуются. Если бы Павел заявил: «Я — римский гражданин» — накануне, он был бы избавлен от побоев и темницы, но от мученичества он не уклонился. Наутро же ему и его спутникам и так предложили убираться подобру-поздорову, и добивается Павел не каких-либо привилегий, а извинений, признания, что его право было нарушено.

Даже если бы воеводы решили не отпускать Апостола, он и так уже был освобожден властью более высокой, чем эти начальники и сам Кесарь: ночью, в ответ на молитву узников, землетрясение распахнуло двери темницы. В данном случае у Павла нет причины настаивать на своем гражданстве, кроме желаниа восстановить нарушенный воеводами статус. Да и потом, когда Павел добивается защиты тысяченачальника от толпы в Иерусалиме и настаивает на суде Кесаря, вряд ли можно предположить, что делается это из страха перед расправой, что в своем статусе римского гражданина Апостол ищет убежища. К мученичеству Павел готов, оно вполне соответствует его характеру — еще до эпизода в Филиппах иудеи побили Павла камнями и бросили его замертво. Опять же, если искать защиты, то есть уже опыт, и неоднократный, чудесного спасения. Землетрясение открывает тюрьму в Филиппах; Петра, брошенного в темницу Иродом, вывел ангел. Выходит, дело не в том, каким образом римское гражданство может пригодиться Павлу, тем более что в начале этой истории в Филиппах Павел «забыл» воспользоваться им для самозащиты. Этот статус важен сам по себе, и Павел считает своей обязанностью поддерживать его и отстаивать. Все поведение Павла как в этой истории, так и на суде перед местником Феликсом, а затем перед Фестом и царем Агриппой, когда он доказывает соответствие своей веры учению отцов и требует суда Кесаря, убеждает: для Павла статус *homo Romanus* является некой ценностью, достаточно важной для того, чтобы говорить о нем в контексте исповедания веры и покровительства о своем служении.

Но откуда такое уважение к званию римского гражданина? Если Павел получил его по наследству от отца или деда, это не значит, что кто-либо из них служил римлянам или как-то связывал свою судьбу с центральной властью. Старинная аристократия, уважаемая в городе семья, приобретала этот статус, можно сказать, автоматически и без особых обязательств. Детям полагалось в таком случае давать римское или греческое образование, но это отнюдь не препятствовало воспитанию в вере отцов. Павел «родился римским гражданином» (Деян. 22: 28), но воспитывался «при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе». Он сделался ревнителем веры, зелотом, и преследовал христиан, покуда на пути в Дамаск его не окликнул Го-

лос, превративший Савла в Павла. Для Савла смыслом жизни был иудаизм, вера отцов, а отнюдь не отношения с Римом: основная причина гонений на христиан была в том, что Иисус обманул надежды «ревнителей», ожидавших увидеть в Мессии освободителя Палестины от власти римлян. Но Павел принимает Христа, Павел становится Апостолом язычников — вспоминает о своем статусе «римлянина».

И ведь с нашей, современной точки зрения это как-то странно, неожиданно по крайней мере. Пусть Павел изжил в себе опыт националиста, и homo Romanus — определенное противопоставление иудейской исключительности, тем более что столкновение Павла с иерусалимской толпой вызвано скорее национальными, чем религиозными проблемами. Противники Павла в состоянии выслушать его отчет о прежнем служении вере отцов и даже исповедание Христа (фарисеи и сами признают воскресение из мертвых и присутствие ангелов и духов). Толпа начинает вопить, как только Павел заводит речь об обращении язычников (Деян. 22: 1 — 22). В этом контексте достаточно логично обращение Павла к суду Кесаря (Деян. 25: 9 — 12). И все же если Павел — уже не «иудей», но христианин, проповедующий Царство Божие, взывает к мирской власти, к той самой, что Богочеловека — казнила...

Эпизод в Филиппах, когда статус римского гражданина упомянут не ради самозащиты, а ради него самого, послужит ключом и позволит увидеть и в обращении Павла к суду Кесаря — в требовании, которое в итоге привело его в Рим и на казнь, — нечто большее, чем прямую логику противопоставления центральной власти и национальной замкнутости.

Есть один персонаж в том событии в Филиппах — страж тюрьмы. Когда еще в Иудее совершилось чудесное избавление Петра ангелом, Ирод казнил обоих воинов, упустивших узника. Павел, отказавшись воспользоваться чудом и бежать из разрушенной землетрясением темницы, спасает стража, решившего уже пронзить себя мечом. И второй раз спасает его в ту же ночь, обращая к Христу. Эту ночь заключенные провели в доме тюремного стража «и проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его».

Филиппы — римская колония, местные жители называют себя римлянами, естественно предположить, что римлянином был и тюремщик. Вполне римской выглядит его готовность к самоубийству во искупление нарушенного воинского долга (воины Ирода, из местных, дождалась казни). Павел понимает этого стража как «римлянин» «римлянина». Статус римского гражданина начинается не с прав, а с исполнения долга, взаимного соблюдения обязанностей стражем и узником. И с этого момента Павел начинает последовательно отстаивать этот статус. Страж и узник — если такими, исконно враждебными, виделись отношения Рима с подданными, то вот два ключа, размыкающие оковы, — Христос и homo Romanus.

«Римлянин», в отличие от грека, — отнюдь не этническое понятие. По преданиям самих римлян, их предками был всякий сброд, для которого Ромул открыл убежище: беглые рабы, преступники, люди, не ужившиеся в своих племенах и общинах. Не зря же соседи не давали им своих дочерей в жены, и они обманом похищали девушек. С самого начала римлянам пришлось развить в себе способность принимать чужаков, и в первую очередь римский народ пополнялся за счет вольноотпущенников, то есть бывших рабов. Вот оборотная сторона медали: греки обращались со своими рабами (нередко такими же греками из соседнего города) гораздо мягче, чем римляне, и гладиаторскими играми себя не тешили, но раб-спартанец, отпущенный на свободу, оставался в Афинах инородцем, а римский, из какого бы варварского племени ни был, получив свободу, становился римским гражданином и брал имя бывшего хозяина, свое сохраняя в качестве прозвища, — Публий Теренций Афр, к примеру. Имя говорит само за себя: и из каких краев родом, и кем стал — стал членом семьи и государства. Связь между патроном и вольноотпущенником — из самых крепких, в нее входит не только попечение о взаимном благо-

получии (патрону вменялось в обязанность обустроить в жизни получившего свободу раба, вольноотпущеннику — в моральную необходимость позаботиться об обедневшем или попавшем в беду хозяине) — эта связь признавалась и юридически: патроны и клиенты не могли свидетельствовать друг против друга в суде.

На надгробных плитах во Франции и в Южной Германии, в Англии и Уэльсе (и во многих других областях) выбиты имена воинов, удивительно схожие с императорскими, — там, на окраинах античного мира, лежат безвестные Клавдии, Юлии, Флавии. По отношению к солдатам патроном выступал император, и он, наделяя их статусом римского гражданина, давал им свое имя. А вместе с именем, должно быть, меняется и судьба.

Ведь, собственно, ничего иного римляне не давали покоренным или вступающим с ними в союз народам — ничего, кроме возможности ощутить себя кем-то другим, войти в отношения, размыкающие пределы племенной замкнутости.

В римской литературе присутствует образ чужака, приверженного Риму, оказывающего Городу куда более существенные услуги, чем те, что сам он когда-либо получал или надеется получить от Рима. И единственной наградой для этого «приемного сына» становится звание римского гражданина, оно же — единственная нить, связующая его с Римом, обязывающая хранить верность Городу.

Цицерон создает портрет Энния, поэта, философа, италийца, в теле которого обитало три души — оскская (родного ему племени), римская и греческая (что касается греческой, Энний, пифагореец, веривший в переселение душ, утверждал, что то душа Гомера). Энний — один из создателей римской литературы, творец первого национального эпоса, посвященного Ганнибаловой войне, участник многих походов. Под конец его жизни воспеты им герои — Сципионы, Фульвий Нобилиор, Катон — добились для него римского гражданства.

Римское гражданство не отменяет принадлежности человека к тому или иному народу и не дополняет ее — Рим открывает людям нечто большее, чем антигеиза «римлянин — не римлянин». Три души Энния — идеал, к которому стремится homo Romanus. Рим — посредник: служа Риму, Энний оказывается востребован и в качестве переводчика греческой поэзии, национальная литература Рима создается по образцу греческой.

Энний утвердил миф об Энее — предке римлян, спасшемся из разгромленной Трои. Это государственный миф, обеспечивавший право римлян на мировое господство (обещанное богами потомкам Энея), введивший их в греческий мир: Троянская война — точка отсчета и греческой истории. Политическое значение этого мифа понятно, но вот что удивительно: почему свое право на власть римляне обосновали происхождением от побежденного, свою принадлежность к культурному миру — не греческими предками, а троянскими? Варианты ведь были: на Палатинском холме первыми поселились выходцы из Аркадии, в этих местах бывал и любвеобильный Геракл — что стоило приписать ему очередную возлюбленную и с этого героя начать свой род? Выбирая предком Энея, римляне сохраняли благодарное чувство пришельца, принятого в желанном ему доме.

А на другом конце этой цепи — тот безвестный, не наделенный талантами, способный отдать Риму лишь свою жизнь германец, о котором пишет Тацит. Городок с римским гарнизоном осажден восставшими племенами, вожди взывают к римским воинам, «этническим германцам»: побейте офицеров и присоединяйтесь к своим братьям. «Не можем, мы присягали Риму». — «Что для вас Рим, город, которого вы не видели, в котором вы и жить бы не захотели? Вернемся в родные леса». — «Мы не видели Рим и никогда не увидим, но пока есть он, есть и мы...»

Сами римляне менялись, соприкасаясь с другими народами, и эта способность римлян изменяться, их восприимчивость, открытость чужому — самый ценный дар, оставленный римлянами Европе, если не всему человечеству. Мы

едва ли осознаем это сейчас, потому что всевозможные межкультурные взаимодействия — это так естественно. Но ведь человек — не животное, и в нем очень мало «естественного».

В «Энеиде» Вергилия троянцы, блуждая по морю, высаживаются на диком берегу Сицилии, той самой Тринакрии, острове циклопов, где незадолго до них побывал Одиссей. Навстречу им выходит оборванный, измученный человек — спутник, забытый Одиссеем в пещере Полифема. Он молит если не взять его с собой, то хотя бы убить, чтобы умереть от человеческой руки, а не сделаться пищей людоеда. Отец Энея, Анхиз, протягивает юноше руку, и троянцы забирают его с собой — не как пленника, но как друга.

Так поступили римляне и с греческой культурой. Нам кажется подчас чем-то само собой разумеющимся, что «побежденная Греция победителей диких пленила», вроде это заслуга самой Эллады, что ее поэзия, ее философия и ее искусство оказались столь притягательны, а римлян можно снисходительно похлопать по плечу: молодцы, что догадались сохранить для нас это наследие, — но сама-то римская литература, перелицованные Теренцием и Плавтом греческие комедии, переложенные стихами Лукреция учение Эпикура, пересказанная персонажами Цицерона греческая философия, «Энеида» Вергилия — подражание Гомеру — это же все «вторично». Да, римская литература «вторична», то есть она всегда помнит о корнях, помнит о своей принадлежности традиции. Кстати, и слова «традиция» («передача»), «культура» («возделывание», прежде всего «обработка почвы») — латинские. Римская культура — первая (во всяком случае в нашей истории) вторичная культура, то есть первая культура в собственном смысле слова. Заслуга римлян не в том только, что они сохранили достижения греков и придали им иное измерение, — своими переводами и толкованиями, своими цитатами и подражаниями, своими восхвалениями они возвысили греческую литературу и в наших глазах. Мы не мыслим собственной культуры без «классики», потому что к этому приучили нас римляне. И более того: римляне научили европейцев ценить чужое, в том числе ценить прошлое — греки каждый день будто живут заново, не случайно же и наука история создана римлянами. Впервые была сохранена культура *побежденных*. Потом германские племена, громившие римские города, начинали говорить на латыни — победа побежденной Греции, победа, одержанная римлянами над самими собой, сделалась залогом выживания не только Греции, но и Рима, и всей нашей цивилизации, где одной из главных ценностей и понятий не считается усилие понять другого.

Чужак

«Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них без значения; но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец (barbaros), и говорящий для меня чужестранец» (1 Кор. 14: 10 — 11). Павел пишет по-гречески, но слово «варвар», пройдя через опыт Рима, приобрело новый смысл, определяя уже не человека, но отношение.

Варвар, barbaros, — греческое определение инородца, детски-наивное звукоподражание «бьяка-бука». Чужак, говорящий на неведомом наречии, неразборчиво бормочущий свое «бар-бар», — для греков все языки оставались неведомыми. С XII века до н. э. эллины расселялись от Черного моря до Атлантического океана, надо полагать, как-то вели дела с местным населением, как-то объяснялись — но ни Платону, ни энциклопедическому Аристотелю и в голову не приходило заниматься переводами. Переводить, а то и сразу писать по-гречески начали сами «варвары», оказавшись внутри созданной Александром Македонским империи, где египетский, сирийский, иврит сделали языками провинциальными, если не вымирающими. Евреи, а не греки создали Септуагинту — первый перевод Ветхого Завета на греческий. Так называемое «Письмо Аристеея», согласно которому инициатором этого перевода выступал руководитель Александрийской библиотеки, а заказчиком — царь Птолемей,

ученые практически единогласно признают фальшивкой. Иосиф Флавий, иудей, писавший по-гречески для римских властителей, расцветивает это сообщение еще менее правдоподобными подробностями: Птолемей-де посылал богатейшие дары в Иерусалимский Храм и, обладая талантом художника, забросил царские дела, чтобы лично руководить изготовлением золотого стола для жертвоприношений. На следующей же странице этот рассказ подводит нас к перечню льгот, которыми евреи пользовались со времен правления Птолемея и которые они сохранили при римлянах «благодаря удивительному великодушию Веспасиана и Тита», покровителей Флавия.

Греки все равно не стали читать этих книг, и на закате античности Плутарх сознается, что римские источники своих «Параллельных жизнеописаний» он пролистывает из-за плохого знания латыни скорее угадывая, чем читая. И если это заявление можно счесть позой — не хотел учить язык завоевателей, — то и про евреев Плутарх твердо знал: в своем храме они совершали мерзости и поклонялись свинье.

Грекам было интереснее выдумать чужака «под себя», чем всматриваться в него. Знаменитый миф об Атлантиде Платон вложил в уста египетского жреца (и ведь не только греки поверили), Ксенофонт приписал персам собственные педагогические идеалы: мальчиков учат только гнуть лук и говорить правду. (И всегда-то эти вымышленные варвары появляются как раз при создании педагогической утопии.) Как набивший оскомину «Кай — человек; Кай смертен» в учебнике логики, эти египтяне и персы — «люди вообще», лишённые всего человеческого. Специально чтобы посмотреть на себя со стороны, греки сочиняют скифа Анархасиса — не представителя иной культуры, но идеального варвара, естественного человека, Кандида.

Римляне не только заимствовали, они еще и запоминали, что от какого народа пришло. «Оружие и доспехи мы взяли от самнитов; регалии магистратов от этрусков...» — говорит Цезарь у Саллюстия. Прославлен римский обычай «эвокации» — переманивания вражеских богов на постоянное жительство в Рим. Покоряя народы, Рим не только не отменял местные культы, но сочетал их со своими, исконными. Уже благодаря этому римляне видели различия между иноземцами, а не единую слитную массу чужаков, видели и точки сближения. Римляне умели «усыновлять» элементы чужой культуры, так что теперь и оружие, и пурпурные полосы на тогах сенаторов, и многие из этих некогда чуждых богов кажутся нам едва ли не самым «римским» из всего наследия.

Греческая культура противопоставляется не другому обычаю, а отсутствию такового, не людям, а «естественным существам», если не прямо животным. Анархасиса привечали киники, всерьез задумывавшиеся над искусственностью разделения человека и прочих тварей. Диоген не только жил в бочке — он и нужду справлял прилюдно. Киники — собаки. Противопоставление грека и варвара фундаментально, и любая попытка устранить его разрушает иерархическую цепочку боги — люди — животные, смещает со своего места богов и сближает людей с животными. «Эфиопы небось рисуют своих богов черными», — ехидничал Ксенофан. Но, не успев порадоваться такой широте взглядов, наталкиваешься: «А быки, если б умели, рисовали бы их с рогами».

Интерес к другим племенам у греков не выходит за пределы этнографического, а то и естественнонаучного. Любопытный Геродот прилежно описывает народы, которые делают все «наоборот»: месят глину руками, а тесто ногами; мужчины ткут, а женщины ходят на рынок продавать их изделия; мужчины мочатся сидя, а женщины стоя — все идет в дело. А еще в тех местах обитает огромное животное с гривой лошади и задом свиньи — гиппопотам. Все это отсчитывается от единственно возможного хода вещей — греческого.

Римлянин удивителен не только своей способностью принять чужое. Он еще может и посмотреть на себя с другой стороны — каков-то он сам в глазах иноземца? В переводных комедиях Плавта и Теренция действующими лицами оставались греки. На потеху публике смешивались греческие и римские реа-

лии, и о римлянах греки, само собой, говорили — «варвары». «Дайте мне где встать, и я переверну Землю», — взывал Архимед. Римлянин перенес точку опоры, центр, с того места, где стоял он сам, в пространство между людьми, в их отношения — и мир перевернулся. Человек увидел себя со стороны.

Для греков «варварство» абсолютно: варвар всегда «он», а не «я». Греческая трагедия, способная проникнуть в душу Медеи и Эдипа, не задумывается о том, что для своих-то «варвар» — не инородец. Нет уж: «Все варваров войско в поход ушло» — о *своем* войске поют у Эхила старики персы. «Ай же да Калин, наш собака-царь». Греческий мир так до конца и не сумел преодолеть абсолютное разделение мира на своих и чужих, не было это дано и иудеям.

«Несть эллина, несть иудея» — именно эллин противопоставлен здесь иудею. Вряд ли мы можем принять комментарий, согласно которому всякий чужак в глазах иудея — эллин, этакий «немец». Конечно, историческая справедливость была бы восстановлена, если бы для какого-нибудь народа имя эллина сделалось синонимом инородца, варвара, но в Евангелии наряду с греками присутствуют и самаряне, и финикияне, с их двоюродными и троюродными отношениями к евреям («Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам» — это сирофиникиянке сказано). И опыт отношений с тем же Египтом — тысячелетний, куда древнее, чем с греками, так что обозначений для чужака хватало. Не проходит и версия, будто «эллины» обозначают здесь правящий народ, то есть название прежних господ было перенесено на римлян — слишком уж свежа ненависть к этим новым господам (да и разве не упоминаются в Евангелии многократно римляне?). Противопоставлены именно эллин и иудей — две замкнутые, сосредоточенные на себе, исключительные культуры. И не важно, этнические греки эти «эллины» или же евреи рассеяния, забывшие родной язык, читавшие Писание в переводе (эллины, прибывшие в Иерусалим на праздник (Ин. 12: 20), — несомненные иудеи). Можно осуществить переход из одного мира в другой (были и греки, принимавшие иудаизм), но не соединение этих миров. Две великие культуры, без которых наша так очевидно немислима, чей вклад в христианство так несомненен, прожили тысячелетие бок о бок, стараясь не замечать друг друга. Чтобы соединить их, потребовался Рим. Римский комедиограф, вывихнув шею, поглядел на себя глазами грека — и увидел варвара: «Там варварский поэт сидит в колодках», — о *своем* собрате Гнее Невии говорит Плавт.

Сотник

«Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: „пойди“, и идет; и другому: „приди“, и приходит; и слуге моему: „сделай то“, и делает» (Матф. 8: 5 — 9).

Этот сотник — римский офицер, оккупант. В изложении того же эпизода у Луки (7: 2 — 8) центурион даже не решается сам обратиться к Иисусу, но посылает иудейских старейшин, которые свидетельствуют: «Он достоин, чтобы Ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу».

В латинском тексте Евангелия, как и в русском, повторяется одно и то же слово «dignus», «достоин»; по-гречески старейшины признают центуриона «axios», «заслуживающим», сам же о себе сотник говорит, что послал к Иисусу старейшин, «не считая себя достойным самому прийти к Иисусу» (глагол от того же корня, что и «axios»), и что он не «hikanos» («не способен, не годен»), чтобы Иисус вошел в его дом. «Axios» определяет отношение к центуриону со стороны иудеев; центурион не смеет напрямую обратиться к Иисусу, понимая, что в глазах иудейского пророка чужак скорее всего не «axios» — это человеческие отношения, и они решаются индивидуально, благодаря проявлению

доброжелательства со стороны этого конкретного «инородца» к местному населению и заступничеству старейшин. «Никапос» — внутреннее ощущение себя в отношениях с высшим.

«Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам: и в Израиле не нашел Я такой веры» (Матф. 8: 10). О какой вере идет речь и почему веру сотника Иисус ставит в пример ученикам и последователям? На тот момент никто в Израиле не признавал в Иисусе Мессию, но и центурион не исповедует Его Богом (обращение «Господи» ни о чем не свидетельствует, «господином» ведь и раб называет хозяина), не следует за Ним, не просит у Него поучения. Этот римский воин достаточно уважает религию евреев, чтобы построить им синагогу, но сам он не принимал иудаизм, он достаточно верит в еврейского чудотворца, чтобы обратиться к Нему за помощью, но остается при своих богах. Веру в благую силу Иисуса с готовностью проявляли и израильтяне (ср.: Мф. 4: 24 — 25), и не просьбой об исцелении вызвана эта похвала Иисуса сотнику, а именно словами: «Господи, я не достоин». Евреи видели в Иисусе великого пророка, осененного Духом Божьим, но без стеснения обращались к Нему со своими нуждами. Хотя иудаизм рассматривал многие болезни, в том числе проказу, как несомненный признак Божьего гнева, страдавшие этими недугами не признавали себя настолько ниже Иисуса, чтобы обращаться к Нему через посредника, как это сделал центурион.

Представим себе отношения Иисуса и центуриона в обычной иерархии. Иисус, в отличие от Павла, не римский гражданин, Он — представитель покоренного народа, маленькой страны, слишком незначительной даже для того, чтобы быть выделенной в качестве особой провинции; Он — нищий бродяга («Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову», — сказано в той же главе Евангелия от Матфея). В социальной структуре положение такого человека не намного выше раба. Центурион, офицер — опора римской власти, он командует сотней человек, каждый из которых скорее от иудея ждет обращения «господин», чем сам к нему так обратится. Но этот римский сотник способен увидеть и другую сторону отношений: он знает, что иудеи ощущают свое избранничество и превосходство, и смиренно признает это, прося о заступничестве старейшин; обращаясь к Иисусу, он столь же смиренно признает Его «господином». Римляне славны искусством государственного строительства, тот же сотник отлично помнит свое положение в иерархии, свою «срединность» между низшими и высшими («Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов...»), однако оказывается, что для римлянина социальные отношения отнюдь не застывшая данность, они строятся индивидуально, как строит их сотник с иудейскими старейшинами, они могут быть перевернуты, обратиться в противоположность, как произошло это при обращении сотника к Иисусу.

Римский мир, римская литература, сама латынь пронизаны именно такими отношениями — неравными (старший и младший, дающий и принимающий, гражданин и чужак), но равно необходимыми для обеих сторон. Столетием раньше этого сотника Катулл говорит своей красавице, что он ее не только «amat» (любит) как подружку, но и «diligit» (дорожит, ценит), как отец сыновей и тесть — зятьев. Когда-то этот стих цитировался как доказательство бедности языка: латынь неразвита, любовной лирики на тот момент почти не существует, «amo» ассоциируется с плотским желанием, а потому свое утонченное, по греческому образцу выстроенное чувство поэту приходится пояснять столь странным в наших глазах сопоставлением с родственным уважением. Так, может быть, не латынь бедна, а наши сердца оскудели, если утрачено сходство между связью, соединяющей влюбленных, и той, что сближает поколения и ветви семьи, если не востребован глагол, передающий притяжение противоположностей (пола, возраста, положения), взаимное признание и постоянный труд души (diligio — того же корня, что religio и eligo — «выбирать»).

Весь эпизод с римским сотником в более подробном рассказе Луки (7: 1 — 9) насыщен словами, передающими особое, индивидуальные человеческие отноше-

ния. Сотник любит (*diligit*) еврейский народ (и любовь эта выражается деятельно — строительством синагоги, обращением к еврейскому целителю), сотник дожит своим рабом (раб был ему «*pretiosus*») — и ради него так принижает себя.

Римляне обожествляли «абстрактные понятия», означающие отношения, возводили храмы Согласию, Верности, Дружбе. Римская лексика явно отражает важность двусторонних, взаимных связей. Там, где грекам понадобилось два слова: «*hikanos*» — внутренне достойный и «*axios*» — хорошо проявивший себя перед людьми, латинское Евангелие говорит «*dignus*» — собственное достоинство человека должно проявляться и вовне, в обращении с людьми, и для обеих сторон единого понятия достаточно одного слова.

Таково и прославленное латинское «*officium*» — «долг, обязанность, услуга». Оно также оказывается «двусторонним», и не только потому, что человек, оказавший другому услугу, вправе ждать ответной (отсюда — «услуга» и «долг»), но и потому, что, оказав другому человеку *officium*, римлянин берет на себя ответственность и в случае необходимости должен будет вновь прийти ему на помощь. Так строятся отношения бывшего хозяина и вольноотпущенника, адвоката и подзащитного — в обоих случаях покровитель именуется патроном, зависимая сторона — клиентом. Из-за этого обычая подчас попадал в трудное положение Цицерон, когда дружба или политические соображения подталкивали выступить в суде на одной стороне, а обязательства перед клиентом, подзащитным по прежнему делу, вынуждали поступиться симпатией или выгодой.

Прообразом всех отношений были отношения родителей и детей. Они строились строго иерархически, без намека не то что на фамильярность, но и на утверждающую ныне идею партнерства. Отношения предельно неравные; даже по понятиям той эпохи власть римлянина над сыновьями казалась исключительной. От нее не освобождало совершеннолетие (афиняне, к примеру, становились независимыми в двадцать пять лет). Сын, сам уже обзаведшийся детьми, а то и внуками, оставался «под рукой» отца, и эта власть простиралась вплоть до права убить или продать в рабство. По свидетельству римских юристов, такая власть над свободой и жизнью детей была частью специфического римского законодательства («римского права») и не совпадала с общим обычаем («правом народов»). Абсолютная власть, низводящая сына до положения раба, и более того: раб, проданный другому хозяину и отпущенный им на волю, свободен, сын, проданный в рабство и отпущенный новым господином, возвращается «под руку» отца. Едва ли это положение могло бы сохраняться почти тысячелетие, если б не было органично римлянам. Предельное юридическое неравенство в семье — и любовь, столь безусловная, высокая, всепроникающая, что только с ней может сравнить свое чувство римский поэт.

Всякое знала римская история, тем более в пору гражданских войн и репрессий, — и самопожертвование детей во имя родителей, родителей — ради детей, и ужас предательства. Но мы обратимся не к истории, а к тому идеалу, который хранят поэзия и язык.

А отец несчастный — уже не отец —
— Икар! — зывал. — Икар! Где ты? И перья увидел в волнах...

Так описывает Овидий гибель Икара и горе осиротевшего Дедала. Лишившись сына, отец — «уже не отец». В одном из ранних диалогов Платона юноши дразнят приятеля: «„У тебя есть щенки?“ — „Есть“. — „И отец их тоже принадлежит тебе?“ — „Да“. — „Стало быть, он твой отец и ты — брат щенят“. — „Он не мой отец, а щенят“. — „Значит, по-твоему, можно быть в каком-то отношении отцом, а в каком-то — нет?“» Если отцовство понимается биологически и для него достаточно самого акта порождения, из платоновской шуточки нелегко выпутаться. Давно известно, что римские скульптуры отличаются от греческих индивидуальностью выражения, портретного сход-

ства. Историк О. Эдельман в Лувре продолжила это наблюдение: с той же тщательностью, с какой у римских статуй проработаны черты лица, у греческих исполнен детородный орган. Для римлян же возможно быть отцом в одном отношении, а не в другом: отец нуждается в сыне.

Ключевое слово латинской лексики человеческих отношений — «pietas». В словаре первым значением дается «набожность», вторым — «милосердие, сострадание». Отсюда русский «пиетет», итальянская Богоматерь скорбящая — Pieta; в английском языке два значения распределились между двумя словами: книжным «piety» (благочестие) и повседневным «pity» (жалость). Латинское слово «pietas», как и «officium», охватывало двусторонние, взаимные отношения между старшим и младшим, родителями и детьми, богами и людьми. Со стороны слабого и младшего — почтение, со стороны покровителя — милость, и обоюдно — любовь.

«Pius» — постоянный эпитет Энея у Вергилия. Традиционный перевод «благочестивый» царапает слух — отнюдь не в ситуациях, связанных с религией, повторяется это слово. С богами у Энея отношения достаточно напряженные, царица богов преследует троянцев, обещанные милости Юпитера все откладываются. Эней называется «pius», когда он выносит из горящего города своего парализованного отца, когда он спускается в царство мертвых, чтобы в последний раз повидать покинувшего его отца, он — pius, когда глядит на подрастающего сына Юла, одерживающего первую победу в состязании между мальчиками, и в сердце его пробуждается надежда.

Это значение pietas сохраняет в средневековой латыни. «Реквием» взывает к Спасителю: «Припомни, милосердный Иисус (recordare, Iesu pie), что я — причина Твоего пути... ради меня Ты претерпел крест, не погуби же меня в день Суда». Вновь pietas оказывается связана с памятью сердца (recordare — корень сог, «сердце»), и вновь надежда на милость обеспечена не заслугами, а полученной прежде милостью. Ты сделал для меня так много, и я, как ребенок в семье, верю в постоянство любви и заботы.

Эней — прародитель, образец римлян — несколько необычная для эпоса фигура. Из гибнущей Трои спасаются три поколения: старик, мужчина и мальчик. Героем должен, конечно, быть мужчина, воин. Так оно и есть: именем Энея названа эта поэма, его приключения — в центре внимания, он — вождь троянцев, возлюбленный Дидоны, покоритель Италии; он — хранимый вышними силами путник, проникающий в обитель усопших. Но какова цель этого пути, какова награда? Заслуги Энея, его труды — сверх сил, но цель и смысл всего совершающегося — не он сам, а престарелый отец или маленький Юл. Эней готов был погибнуть в Трое, но пламя, вспыхнувшее вокруг головы Юла и предвещавшее грядущее величие рода, побудило бежать из Трои, спасти семью. Эней отправляется в путь ради будущего, воплощенного в сыне, и на плечах выносит отца — ненужного с точки зрения продолжения рода, необходимого pius Энею, любящему сыну. После загробной встречи с отцом Эней получает в дар от богов щит, на котором представлены грядущие судьбы Рима, — но самого Энея там нет. Спасаясь из Трои, Эней нес отца и лары — домашних богов; приближаясь к Риму, он несет на плече изображение потомков, но сам он не принадлежит вполне ни тому, ни другому миру, хотя и тому, и другому привержен. Посредник, связующая нить, звено, соединяющее Запад и Восток, прошлое и будущее, умерших и еще не родившихся, — таким видится римскому поэту римлянин.

И едва ли случайно, что сотник — чуть ли не единственный во всем евангельском повествовании — просит не за себя и не за родича, а за своего раба. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном».

ПО ХОДУ ДЕЛА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ



СТАРЫЙ МЕСЯЦ БОГ НА ЗВЕЗДЫ КРОШИТ

Где ангел, что из яслей вынет
Тебя, душа грядущих дней?.

Вяч. Иванов.

Прощаемся с уходящим веком. Не тысячелетием, знание о котором — умозрительное, школьное, а следовательно, и расставание скорее формальное, но с заключающим его веком, который несем в себе.

Два заметных, хотя и неравноценных фильма вносят в экскл, назовем его так на античный лад, прощания каждый свою ноту — русско-французский «Восток — Запад» Р. Варнье и «Хрусталеv, машину!» А. Германа. В обоих случаях время действия — середина века, самое глухое для нашей страны время.

Фильм Варнье лучше, чем можно было ждать, исходя из того, что автор — француз и, значит, с нашей жизнью, с нашей историей знаком издаека. Кое-какие пропорции кое-где дальним зрением нарушены, но не так, чтобы сильно. Драматургия, наверное, могла быть лучше, тоньше продумана, но и та, что есть, впечатляет. Быть может, потому, что таков «материал» — вышибающий слезу.

Русский из эмигрантов с женой-француженкой и сыном, наслушавшись, очевидно, московских сирен, возвращаются в Россию, конкретно в Киев (на календаре, вероятно, 1946 или 1947 год). И с размаху плюхаются в тяжелый бред советской жизни. В любой момент могущий достигнуть густоты кошмара. Хоть и не в новинку, а все равно тяжело смотреть: стыдно за страну, перед самим собою стыдно. Стыдно перед русским эмигрантом. Еще стыднее перед несчастной француженкой, попавшей в наш «кагал». (И сегодня мне стыдно перед моей давно покойной бабушкой-француженкой, не в добрый час попавшей в Россию: как мы, советские, выглядели в ее глазах, выдавших совсем иные виды?)

Ум, правда, подсказывает, что таким Восток стал не без помощи Запада и что решающую роль в его трансформации сыграли как раз уроки заведомо плохого французского. Но эти соображения приходят после.

Притом, как я уже сказал, пропорции более-менее соблюдены: на бытовом уровне бред оказывается не так уж страшен. Привыкая к поразившей их изначально полутьме, глаза новоприбывших начинают различать природные краски, которые и в этой неблагоприятной атмосфере по-своему «играют». «Всюду жизнь». Именно жизнь, а не просто терпеж жизни. Ибо здесь есть свои маленькие и не совсем маленькие радости. Мы видим, как складываются дружеские отношения между «иностранцами» и большинством жителей огромной коммунальной квартиры, в которую они попали, как неподдельно весело отплясывает француженка со своим начальником-полковником на каком-то празднике (роль, сыгранная Сандрин Боннэр, вероятно, лучшая в фильме; для Олега Меньшикова, играющего мужа, его роль оказалась по его возможностям слишком тесна).

Фильм удивительно (для сегодняшнего западного кино) целомудрен, что, возможно, продиктовано самую темой. Советская действительность, если ограничиться «сталинским» периодом, — слоистая: отложения различных эпох и культур сосуществовали в ней как бы прижатые друг к другу, но смешивать-

ся друг с другом не слишком торопились, целомудрие было одним из таких слоев. Подобным же образом жидкости различной плотности могут не смешиваться в одном сосуде, пока их не взболтают. Интенсивное смешение началось с «оттепелью» (наиболее активным его агентом стал опыт ГУЛАГа, до того наиболее изолированный от всего остального), что в итоге дало определившую позднесоветскую ментальность характерную мутную взвесь из душевной усталости, цинизма и черного юмора.

Но вот к чему невозможно привыкнуть — это государственный бред. Можно только пригнуть голову в попытке остаться незамеченным. Но горе тому, кто проявит неосторожность! Дремучая сила, прикинувшаяся передовой идеологией (впрочем, ею в определенной мере и связанная) и управляющая движением жизни, тотчас приведет в действие страшные механизмы, рвущие в клочья любые человеческие судьбы.

Есть признак, по которому можно будет определить момент, когда на наше общество снизойдет Божья благодать и оно заживет какой-то другой, лучшей жизнью (будем верить, что когда-нибудь заживет). Он наступит, если, посмотрев такой фильм, зритель сделает большие глаза и спросит по-розановски: неужели это было?¹

В фильме А. Германа хоть нет «посторонних» (какой-то швед однажды пытается войти в его пространство, но тотчас оттуда выталкивается), и то слава Богу.

Черная ночь, белый снег — на протяжении почти всего фильма. Символика прозрачна: ночь стоит — метафизическая, а обилие снега напоминает, что Россия «подморожена» (сама природа как будто хотела «соответствовать» идее: кто жил в то время, помнит, что зимы были все подряд свирепые и снега выпадало много). Идея, правда, не Победоносцева, а скорее платоновского государственника Бормотова («Город Градов»), сделавшего однажды поразительное открытие, что «в мире не только все течет, но и все останавливается». Когда-то очень давно, в ставшее уже легендарным время, гуляла по стране революционная метель — «черный ветер, белый снег», но сейчас воздух остановился и снег просто лежит. И луна осторожно пробирается сквозь волнистые туманы поглядеть, что и как.

Фильм точно передает ощущение внутренней остановленности, застылости, составлявших, по-моему, глубинное содержание тех лет, при всей их поверхностной ажитации. И вообще многое точно передает. Детали быта, например. Бывшая барская квартира, в которой живет герой, известный хирург в генеральском чине, сохранила «остатки прежней роскоши» — огромные старинные шкафы, люстры, картины, но тут же гимнастические снаряды и какие-то непонятные устройства технического назначения, и живет здесь, или по крайней мере «толчется», гораздо больше людей, чем это полагалось по дореволюционным меркам. Все вместе производит впечатление бивачности, но бивачности уже закоренелой: как в семнадцатом году разбили бивак посреди обломков «старого мира», так и живут. И не только *privatim*: такое же странное впечатление бивачности производит и институт, которым руководит генерал.

Но если декорации эпохи, самый воздух ее переданы с большой степенью точности, то люди, движущиеся в нем, как бы двоятся: они оттуда — и не со-

¹ Напомню, что писал Розанов в «Опавших листьях»:

«...Социализм — буря, дождь, ветер...

Взойдет солнышко и осушит все. И будут говорить, как о высохшей росе: „Неужели он (соц.) был?“ „И барабанил в окна град: братство, равенство, свобода“?

— О, да! И еще скольких этот град побил!!

— Удивительно. Странное явление. Не верится. Где бы об истории его прочитать?»

Написано в 1913 году, следовательно, первая часть этого пассажа, о «граде», должна быть расценена как провидческая (другое дело, что силу и продолжительность «града» автор не мог угадать). Хотелось бы надеяться, что провидческой окажется и вторая часть — «взойдет солнышко» и будет «не верится».

всем оттуда. Для тогдашних они чересчур дерганые, истеричные, зачастую откровенно гаерствующие. Время-то было опасливо-сдержанное, людьми руководили какие-то тихие и вместе настойчивые архетипы, не поощрявшие резкие выходы и всякое буффонство. Неполное соответствие, назовем его так, персонажей Германа своему времени легко объяснимо: прежде чем попасть на экран, они долго томились заключенными в памяти режиссера и подобно тому, как ребенок во чреве матери заражается ядами, угодившими в ее организм, прониклись некоторыми знаниями, каких в их время быть не могло.

Но так ли уж важна точная реконструкция прошлого? Не важнее ли его смысловой итог, «отдача»? А это как раз в фильме Германа есть.

«Без грозы царство не стоит» — вот, пожалуй, основной инстинкт, из которого пошло в рост сталинское государство. Но что видим: гроза есть, а царство «не стоит». Ибо побиваются как раз те силы, от которых исходит необходимая для всякого худо-бедно развивающегося общества энергия. Не вполне ясно, почему арестовывается генерал. Фильм — «сновидческий», и связь причин и следствий в нем часто затемнена (впрочем, сама тогдашняя действительность не напоминает ли дурной сон?); чему способствует и нарочито не всегда внятный саундтрек. Но конкретика в данном случае не столь уж и существенна. Крупный, сильный человек, у которого энергии на десятерых, а голова — не голова, а Сорбонна, — мало ли за что могла его покарать незрячая власть. Может быть, «не так пахнул». Полифем у Гомера, когда его лишили единственного глаза, тоже, должно быть, по запаху находил врагов.

В пересыльном фургоне генерала насилуют блатари; от боли ему помогает снег, на который он садится голым задом. За ним безучастно наблюдает эмгэбэшная охрана. Лица у охранников незлые, спокойные: все происходящее для них — в порядке вещей.

И почти тотчас фортуна поворачивается к нашему герою лицом: его вызывают к телу умирающего генералиссимуса. Спасти это дряблое, запачканное нечистотами тело уже нельзя («Хрусталеv, машину!» — кричит ликующий Берия своему шоферу — так заканчивается один акт исторической драмы и начинается другой), но отныне он, вновь ставший «товарищем генералом», волен вернуться к прежним занятиям, прежнему образу жизни. Поздно, однако: он слишком много знает о том, как устроено «царство», и бежит «от всего», растворяясь в пространствах России. Это его такая «победа / Над временем и тяготеньем — / Пройти, чтоб не оставить следа, / Пройти, чтоб не оставить тени...».

Говорят — «уроки истории учат», обычно придавая этому суждению наклонение императива: должны учить. Есть, как известно, и противоположная точка зрения: «уроки истории ничему не учат». Истина — не только и, может быть, даже не столько между этими двумя крайними суждениями, сколько, так сказать, ниже их.

«Отличник» в своем роде, который «все, что было не с ним, помнит», — фигура редкая, если вообще возможная. Тяжеловато с таким грузом начинать жизненный путь. Для каждого нового поколения, вступающего на историческую сцену, забвение прошлого в большей или меньшей степени неизбежно и порою благотворно; даже крайняя, вызывающе безоглядная позиция: «Ничего — прежде меня» (Мария Башкирцева, кажется) может иметь свое психологическое оправдание. Ну а в идеале хорошо было бы соединять несоединимое: все помнить и одновременно как бы все забыть.

Реально, однако, все забыть невозможно. События истории, даже если они остаются неосмысленными, все равно западают в память, находя себе место в сумеречной сфере полу- и бессознательного. И так как это события коллективной жизни, то они становятся действующими силами коллективного бессознательного. «Сон» А. Германа, например, сугубо индивидуален, и в то же время он общезначим, поскольку пищу ему дали события коллективной жизни.

Мы (как народ) вступаем в новый век относительно налегке, если иметь в виду понимание связи времен (контраст с началом XX века: тогда царила убежденность в высокой прозрачности исторического процесса, откуда выводилась возможность его чисто рационального истолкования), но с тяжелым грузом, спрятанным в душевном «подполье». Как там что устроено, какие звери и в каком сочетании разгуливают, можно только догадываться, но в одном вряд ли позволительно усомниться, а именно в том, что «злой колдун», он же «властелин духов» (фигура коллективного бессознательного), спустивший их с цепи, имеет отношение к событию «великого террора». Или, точнее, событие «великого террора» придало «злому колдуну» новые, умноженные силы в его всегдашнем стремлении завладеть человеческим «я» и коллективным «мы».

Таким образом, событие это должно было оказать сильнейшее, возможно решающее, влияние на опыт поколений, которые о нем узнали. А чтобы узнать о нем, не обязательно было читать (или слышать по радио) «Архипелаг ГУЛАГ» и другие подобные вещи; какие-то обрывки соответствующей информации (зачастую взятые из тех же книг) могли заменить их по силе воздействия. Мне, например, при чтении «Архипелага» почему-то больше всего запал в память зек, на свободе бывший инженером, который научился «научно» обглаживать находимые где-то кости и принимать «оптимальные» позы, когда его начинали бить, из-за чего он также круглый год носил теплую, смягчающую удары одежду; думаю, что даже отдельные факты такого рода способны произвести революционизирующее действие на (под)сознание... И это информация, которая каким-то неисследимым образом передается «по наследству»; громадное распространение элементов блатного и мафиозного (полу)сознания среди молодых возрастов обязано ему далеко не в последнюю очередь.

Что-то подобное знает пословица: отцы терпкое поели, а у деток оскомины.

К.-Г. Юнг (у которого я взял вышеприведенные термины, относящиеся к коллективному бессознательному) писал, что все стремления человечества всегда были направлены на укрепление сознания — от размывающих его волн бессознательного. Следующий век не будет в этом смысле исключением. В частности, российская история века истекающего, чрезвычайно запутанная, темная, явится предметом длительного разбирательства, которое, наверное, растянется на целое столетие. Уроки ее в высшей степени поучительны, и хочется надеяться, что они будут усвоены — в той мере, в какой вообще могут быть усвоены уроки истории.

Старый месяц, говорят, Бог на звезды крошит — чтобы материал не пропал и чтобы кое-какие памятки, вдобавок ко всем прочим, оставались.

Разумеется, уроки, о которых идет речь, — не только в уловлении причинно-следственных связей (хотя и это очень важно). Человек выше каузальности, он есть «свободный исполнитель своей темы» (о. Сергей Булгаков). И он призван одерживать победы «над временем и тяготеньем», другой вопрос — как. Многие тут зависят от «постановки» души. Каковая, естественно, совершеняется во времени. Мы, таким образом, возвращаемся в историю. Главное дело истории (не в смысле изучения прошлого, а в смысле чередования событий во времени) есть душестроительство. Равно как и душеразрушительство, конечно. Будут на этом «фронте» успехи первого рода — все остальное приложится.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ



«К. Р.», ИЛИ ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ

(О)бъяснение заглавия. «К. р.» — значит короткие рассказы, каковых недавно набрали на две огромные антологии¹. Почему «к. р.»? Ну, во-первых, «к. р.» — это звонко и научно: термин! Во-вторых, сокращение «к. р.» вызовет в памяти (должно вызвать!) другие «К. р.» — «Колымские рассказы», репрессированного за к. р. т. д. Варлама Шаламова. А мне только того и надо. (Зачем? Будет объяснено.) В-третьих, пусть нахлестом, наплывом вспомнится К. Р. (Константин Романов — поэт и драматург), который хотел заслужить признание и любовь родного православного народа — не царской кровью, не благородством происхождения, но стихами и драмами. Пусть представится такая поучительная картинка: К. Р. за чтением «к. р.».

Прощание с юностью? Сейчас объясню. Я и сам во времена оны пытался «лепить» «к. р.». Я думал, что я один такой — умный и необычный. Новый Кафка, «еще один Хармс», выросший словно гриб после дождя... Как вдруг выяснилось, что нас эвон сколько... на тыщу (в общей сложности) страниц, а сколько осталось «за бортом»? И все лучше, чем я. (Хотя не так хорошо, как у Кафки... или у Хармса.) Представьте ситуацию: все то, что казалось мне «личным» (лишним), тайным, глубоко выстрадавшим, индивидуально придуманным, штучным и самодельным, было, оказывается, широко распространенным явлением в среде того поколения и того социального слоя, к которому принадлежал я. Это было не штучно, а «серийно». «Марш одиноких» — вот как назвал схожую ситуацию Сергей Довлатов.

Удача (или удачливость) Сергея Довлатова как раз тем и определилась, что он понял, как легко лепить фантазмагории про «летающих полковников», чудачков, разгуливающих по проводам, — и круто повернул к «жизнеподобному» искусству. От «магического реализма» к «нон-фикшн» — поучительная траектория. «Магам» и «мистикам», «кафкам» и «хармсам» волноваться не следует. Мы жили и живем в фантастическом обществе. В наших «нон-фикшн» «жизнеподобия» не получится. Скорее даже так: как раз в наших-то «нон-фикшн» жизнеподобия-то и не получится.

Но я сейчас о другом. О том странном ощущении конца эпохи? мира, с которым был связан? Да — о прощании с юностью.

«К. р.» не желают иметь с реальностью ничего общего. Полное пренебрежение окружающим миром. Отчаянное доказательство парадоксального тезиса: можно жить в обществе — и быть свободным от общества. Я — бог в своем мире. Хочу, чтобы мой герой поймал рукой звезду, — поймает (А. Андреев, «Евсеев и звезда»). Хочу, чтобы эта звезда была вкручена в пустой патрон вместо лампочки и светила бы у главного героя в сортире, — будет светить! Что неподвластно мне? Как некий демон, отселе править миром я могу! Вот это писательское всевластие и заставляет этак... гм-гм... по-марксистски взглядеться в социальные корни «к. р.». Ума большого не надобно, чтобы сообразить:

Биографическую справку см. в № 3 «Нового мира» за этот год.

¹ «Жужукины дети, или Притча о недостойном соседе». Антология короткого рассказа. Россия, 2-я половина XX века. Составитель Анатолий Кудрявицкий. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 625 стр.; «Очень короткие тексты». В сторону антологии. Составитель Дм. Кузьмин. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 395 стр.

писательское всевластие напрямую, вплотную связано с полным и плотным человеческим, гражданским, политическим бессилием. И это так естественно, так понятно для моего поколения, для людей, выросших в обществе, построенном утопистами, то есть в стране антиутопии... Парадокс, до которого Бердяев додумался: самое страшное в утопиях то, что они сбываются, — был для этого поколения даже не аксиомой, но трюизмом, пошлостью. Гораздо интереснее смотрелся бы такой выверт: «Самое страшное в утопиях то, что они, сбываясь, не сбываются и сбываются, не сбываясь».

Впрочем, я сбиваюсь. Господство над «социальной материей» было заказано, закрыто навсегда, зато с тем большей силой господствовали в сфере «идеального». Мир вокруг был сер, серо-стабилен. Уверенность в завтрашнем (таком же скучном) дне не покидала человека; хотелось неуверенности. Кафка был не ужасом, а почти что мечтой.

Что такое короткий рассказ? Или — «сверхкороткий рассказ», по определению Сергея Юрьенена? Точка, из которой разбухает бесконечность романа. В сущности, любой роман по природе своей распухает во вселенскую бесконечность. В сущности, любой рассказ по природе своей сжимается в «атомарную» точку. Очень часто «к. р.» кажется слишком длинным. «Петр I шел с сушеным крокодилом под мышкой» (Артур Кангин, «Петр I и Меншиков»). Достаточно. Рассказ готов. Для чего разжигать этот острсюжетный многозначный рассказ в одно предложение — ёрническим многословием? Тут тебе и Меншиков, помогающий Петру прорубать окно в Европу, тут тебе и Екатерина, схватившая насморк из-за европейского сквозняка, — неостроумно, неоригинально. Такие же длинноты в юморесках Феликса Кривина, помещенных в антологию «Очень короткие тексты» в разделе «На подступах»: «Отец инквизитор подмигнул Галилею и шепнул: „А все-таки она вертится!“» Для чего к этой отличной «непричесанной мысли» в стиле Станислава Ежи Леца прищипандоривать длиннущее полустраничное объяснение?

Ни в каком другом прозаическом жанре невозможно почувствовать так четко, что вот тут автор, пожалуй, заболтался. Многословие в романе не так ощутимо. «Война и мир», «Братья Карамазовы», «Улисс» не кажутся слишком длинными, зато многие «к. р.» вполне поддаются сжатию. Двухстраничный рассказ Леонида Костюкова (одного из лучших авторов двух антологий) «Три способа имитации мистических способностей» укладывается в два предложения и не становится от этого хуже (по-моему): «Он умел летать, читать мысли на расстоянии, повелевать стихиями, он многое что умел, но она не любила его. Она любила другого...»

В общем, это только кажется, что «к. р.» синонимичен краткости. Тургенев недаром назвал свои «к. р.», свои «стихотворения в прозе» — *Senilia*: старческое, сенильное. «К. р.» — свидетельство старости литературы, ее близости к смерти, к исчезновению. (Текст сжимается до нескольких предложений. Еще немного, еще одно последнее сказанье — и текст вовсе исчезнет. Текста не будет.) Как это ни парадоксально, «к. р.» сцеплен, связан с «болтливостью», с «речевым недержанием». Как там у Твардовского? «Болтливость — старости сестра, — короче. Покороче».

«К. р.»-истость — знамение времени. Фрагмент, осколок, обломок — свидетельство непознаваемости мира. «Романность», «эпопейность» — напротив, свидетельство уверенности в миропознаваемости. Если подыскивать аналогии в почти-творчестве, то на что походит роман? На длинный рассказ бывалого человека долгими зимними вечерами. А что напоминает «к. р.»? Анекдот, рассказанный в курилке; бывальщину, встреченную дружным хохотом.

Деревянный сортир на станции. Баба наклоняется к самой-самой стене сортира (дощатой и тонкой): «Вань!» Из-за стены недовольно: «Чаво?» — «Ну ты посрал, Вань?» — «Да ...т не посрал я ни черта!» Баба оторопело отшатывается от дощатой стены: «Что ж ты так не посрамши — и поедешь?»

Почему критики любят «к. р.». Любят анализировать и даже писать. Видите ли, головное это искусство, придуманное. Искусство, в котором ощущается опасная близость блефа — пустоты, выдающей себя за вечность. «Однажды я случайно познакомился на улице с женщиной. Потом мне почему-то захотелось задать ей вопрос: „Что придает вашей жизни соль?“ Я задал его. Она ответила: „Случайные знакомства“». Иван Ахметьев назвал этот свой «к. р.» «Удачный ответ», а можно было бы назвать «Удачный вопрос», но самое главное, что по поводу этого «к. р.» можно сплясать, станцевать целую критическую джигу со всевозможными метафизическими колечками. Потому что, знаете ли, это ведь не просто зарисовка — ну, подумаешь, женщина остроумно ответила. Не-ет, друзья мои, это рассказ об одиночестве, непреодолимом и непреодоленном одиночестве, потому что все случайные знакомства с течением времени превращаются в цепь закономерностей, и уже не вырвешься, не выткешься из пресной сети, из плотной ткани строго детерминированного существования. Героиня этого рассказа совершенно очевидно (здесь не может быть сомнений!) родственна одиноким некоммуникабельным героиням фильмов Антониони — «Приключение», «Затмение», «Крик». Вы должны почувствовать (не почувствовали? — жаль) в этом рассказе метерлинковскую мудрую иронию. Тильтиль и Митиль отправляются за тридевять земель искать синюю птицу, а синяя птица живет у них под крышей. Это — их горлица. Так и лирический герой Ивана Ахметьева спрашивает у героини рассказа: «В чем соль ее жизни?», не замечая, не осмеливаясь понять, что он-то и есть «соль ее жизни», по крайней мере был «солью» до той поры, пока не задал своего вопроса. После своего вопроса он утратил «соленость», а на что годится соль, утратившая соленость, все мы знаем или, по крайней мере, должны знать... И — мели, Емеля!

А в антологию «Очень короткие тексты» составитель поместил такой «оченькороткийтекст»: «Эвенки бросили бродячие собаки бреду туманным утром Диоген один глиняная статуя сосуд снаружи статуя роскошно лоно спи философ родоначальник тындинских бичей ничей собачьи свадьбы покидают обмотанные войлоком сосуды отсюда трубы тянут Диоген...» — нет, устал перепечатывать, уж очень длинен и зануден этот «короткий текст», зато по его поводу сплясать можно не джигу, какое — фанданго! сардану! сарабанду! Ощутимо влияние Хлебникова — явные отсылки к поэме «Шаман и Венера». Поразительная смелость автора, увидевшего в классической древности (Диоген) суровый (северный) дух язычества, шаманства (эвенки). Прозреть в древнем греке ирокеза — отчаянный ход Бахофена и Энгельса («Происхождение семьи, частной собственности и государства») — выполнен автором с подкупающей классичной ясностью. Здесь уже не Емеля мелет, здесь — бери выше: «роскошно лоно спи философ».

Критики не могут не чувствовать родственного, близкого в авторах «к. р.». Я ведь почему злюсь и нервничаю? По своим бью... Что такое критик в литературной системе — или, точнее, какое амплуа у критика в литературном цирке? Не надобно обижаться: коверный. Его выпускают на литературную арену заполнить паузу и позабавить публику. Чаще всего он изображает силача, акробата, жонглера... Показывает, как это они поднимают гири, жонглируют, крутят сальто. «Развинчивает» номер, демонстрирует, где он плох, а где — хорош. Вот почему нет для критика приятнее задачи, чем получить «сделанный» рассказ, этакую игрушку для сборки-разборки.

Ребусы Николая Байтова. «К. р.» волят толкования. При этом возникают сложности: пересказывать «к. р.» — все равно что пересказывать стихи или записывать анекдоты. Все время хочется сказать извиняющимся тоном: «Но в рифму, господа, это — великолепно! Великолепно!» «К. р.» Николая Байтова «Георгий Владимирович» — как раз такая игрушка для «критической» сборки-разборки.

Начало рассказа: «Утром на перекрестке дорог в деревне Долгобжи стоял солдат из ближней воинской части. Автомат и штык-нож висели у него где положено. Это ладно, но зачем-то и саперная лопатка торчала сзади из-под ватника». Читатель настораживается. Значит, с этим солдатом связано «движение сюжета»? Он-то и есть герой повествования? «Позже проезжали военные машины. В кабине кто-то твердил позывные по радию. Солдат сменился: вместо плюгавого появился на перекрестке лихой „дед” в пилотке на самом затылке и сапогах вполусмятку». Еще один герой повествования? Нет, и он брошен, отставлен в сторону. «Георгий Владимирович был нелюбопытен, но и он вскоре услышал, что с валдайской зоны сбежало вчера семь заключенных. Трое прячутся где-то вблизи Долгобжей». Ага! — соображает, прикидывает читатель, значит, те двое солдат не зря стояли на перекрестке дорог. И машины проезжали не зря. В кабинах не зря переговаривались по радию. Искали, значит, беглецов. Георгий Владимирович отправляется в лес и по дороге страшно волнуется, что он скажет беглецам, как поведет себя, как их встретит... Описана его встреча с безумной цыганкой Ольгой. Здесь-то и щелкает первый раз «ключ» к цепи ничем не связанных между собой, на первый взгляд, эпизодов. Щелк. «На краю дороги, ведущей к воинской части, высылся столб с табличкой: „Валдайское охотничье хозяйство. Охота без путевок запрещена”. Цыганка Ольга, не умевшая читать, думала, что здесь находится могила, где зарыты ее сыновья — Боша и Миша. Поэтому она днями сидела у дороги под этим столбом, примяв крапиву и лопухи вокруг юбки. На самом деле Боша и Миша были живы, только они давно сидели, потому что никак не хотели работать». Здесь — веселое предупреждение читателю: если ты не умеешь читать, ты и надпись «Охота запрещена» примешь за надгробную надпись. Читай спокойно, разбирай «буквицы».

А что такое «уметь читать»? Автор пытается это растолковать. Георгия Владимировича застигает дождь. Он прячется под веткой огромной ели. «К стволу с другой стороны был прибит кусок фанеры. Он обошел ствол и прочитал полустертую надпись: „Путник! Если тебя застигнет дождь в лесу, в какой бы далекой точке ты ни находился — сразу беги сюда: здесь собирается изысканное общество...”» Георгий Владимирович несколько раз перечитывает этот текст. Выглядывает из-под веток. Ждет. «Никто так и не пришел. Георгий Владимирович подождал еще минут пять и в неопределенной досаде, как будто его мило обманули, так сказать, разыграли, потащился, хлюпая резиновыми сапогами, назад в деревню». Ясно, что Георгий Владимирович «не умеет читать». Он не понял шутки. Стал ждать «изысканное общество» в лесу под елью, раз так написано. Читатель, который принялся бы подыскивать сюжетные, смысловые связи между Георгием Владимировичем, блуждающим по лесу, цыганкой, двумя солдатами, тремя сбежавшими из зоны заключенными, оказался бы в точности таким же «Георгием Владимировичем», ищущим в написанном буквальным смыслом, прямую информацию.

Психологический рассказ выверен на редкость точно. Если читатель, дочитав до конца, возмутится, воскликнет: «Да это же бред! Бессмыслица! Автор просто издевается надо мной!» — он будет совершенно прав. Именно над такими читателями издевается автор. Если же читатель призадумается, начнет искать ключ к загадке и, найдя, воскликнет: «Позвольте... но ведь это издевательство, розыгрыш, шутка?» — он будет тоже прав.

В этом смысле рассказ «Георгий Владимирович» аналогичен рассказу того же автора «Подготовленная вода». В рассказе долго описывается подготовка говорящей, или поющей, или звучащей воды. Подготовка очень поэтична, квазинаучна и почти не насмешлива, а в финале рассказа сообщается: «После этого вода готова к употреблению, и с ней можно делать все, что угодно: обливаться ею, обрызгивать или умыть людей, которых вы хотите сделать адресатами своего текста... При этом вовсе не обязательно ставить ваших адресатов в известность, что эта вода подготовленная. Для акта передачи достаточно вам самим это знать. Ведь даже если вы предупредите адресата, это никак не по-

влияет на его восприятие: все равно в любом случае ваш текст никак не будет воспринят или опознан...»

Рассказ «Георгий Владимирович» и есть такая «подготовленная вода». В любом случае читатель оказывается Георгием Владимировичем, заблудившимся в лесу текста и напрасно поджидающим под елью «самое изысканное общество» (трех сбежавших из тюрьмы преступников?).

Я не напрасно задержался на Николае Байтове. Его «к. р.» позволяют увидеть один из истоков этого жанра — загадки Борхеса, авантурные притчи Амбруаза Бирса. Один раз в русской литературе повеяло этим ветром, но внелитературные причины изменили направление движения воздуха. «К. р.» были задавлены многотомными, многотонными эпопеями, а тот, кто мог бы писать «к. р.» — короткие рассказы, написал «К. р.» — «Колымские рассказы». В автобиографии Варлам Шаламов вспоминал: «В моде были краткие остросюжетные тексты. Ценился, например, такой рассказ: „Привидений не существует!“ — „Правда?“ — спросил мой собеседник и растаял в воздухе». Этот «к. р.» украсил бы антологию... Как и такой, к примеру, под названием «Летучая мышь»: «„Сегодня я видел ангела“, — сказал крысенок взрослой крысе». Этот не то верлибр, не то «к. р.» сообщил «громовый Ливанов» еще одному несостоявшемуся мастеру «к. р.» — Юрию Олеше.

История вопроса. Составитель антологии «Жужукины дети...» Ан. Кудрявицкий совершенно напрасно ограничил себя искусственными рамками «магического реализма». (Если хорошенько подумать, то любой «реализм» «магичен». Точно описанная лужа под осенним деревом, напоминающая лежащую цыганку, — чем не магическое действие? Читатель ведь воочию видит и эту лужу, и это дерево...) Какое отношение, например, имеет к «магическому реализму» рассказик «Из походов великого гуманиста» Ник. Глазкова: «В тот период, когда кукуруза стала продвигаться за полярный круг, Великий Гуманист решил написать „Руководство по сельскому хозяйству“. „Под Москвой, — начал он, — ни в коем случае не следует разводить ананасов...“ „В вопросах науки, — гордо произнес кандидат наук, — мы не можем руководствоваться торгашескими соображениями... выведенные нами ананасы будут доказывать правильность нашей передовой науки!“ Великий Гуманист не согласился с кандидатом биологических наук, но переубедить его не сумел. Возможно, Великому Гуманисту не хватало эрудиции».

Никакого отношения эта написанная по совершенно конкретному поводу короткая юмореска не имеет к «магическому реализму». Или «к. р.» Андрея Битова «Пять сотых» («Проголосовало 99,95 %, и я замечаю, что с детства, когда еще ничего не имел в виду, думаю об этих 0,05%. Я беру двести миллионов, делю на сто, умножаю на пять сотых — получаю... 100 000. Кто они, эти сто тысяч?») — скорее уж изящное публицистическое эссе, «эмбрион», как называл подобные вещи В. В. Розанов, честное рассуждение на тему, предложенную реальностью.

Нет-нет, стоило бы остановиться только на «количественной» характеристике, как это и сделал составитель антологии «Очень короткие тексты» Дм. Кузьмин. Тут же выяснилось бы, что сама «количественная» характеристика — мало слов, мало текста — ведет к каким-то странным «качественным» изменениям. Поверх слов, поверх текста образуется нечто необъяснимо таинственное, действительно магическое.

Хорошо было бы нарисовать «географию» «к. р.». Советские и постсоветские «к. р.» широко раскинули свои владения, но крайние точки их «мира» — издевательские сказки Салтыкова-Щедрина (на севере), сенильные «Стихотворения в прозе» Тургенева (на юге), криминальные загадки Бирса (на западе), минимализм поздних рассказов Льва Толстого (на востоке) В антологии стоило бы включить и «Ши» Тургенева, и «Журавлей» Бунина, и «Жилицу» Гроссмана.

Авторы эпопей (Гроссман, Лев Толстой, Солженицын, Астафьев) как бы исчерпываются, исчерпывают жанр — и берутся за «к. р.». Здесь некая закономерность и индивидуального развития литератора, и общего развития литературы. Эпопея всегда готова распасться на множество «к. р.», а множество «к. р.» всегда готово сцепиться, склеиться в эпопею.

Пульсация литературы может быть обозначена в этом отношении очень просто: «эпопея» — «к. р.» — «эпопея». В. Шкловский написал бы так: когда эпопеи писать легко, тогда и наступает время «к. р.»; когда «к. р.» писать легче легкого, тогда бьет их час — раздробленность «к. р.» сменяется цельностью эпопей. Повторю почти социологическое объяснение: времена эпопей — времена уверенности в познаваемости мира, социального и природного, времена «к. р.» — времена мистики, чувства непознаваемости мира, полного безвластия над тайнами общества и природы...

Фокус Бориса Колымагина. «К. р.» рассчитаны на понимающих, на посвященных, в них есть некий не то авгурский, не то жреческий, не то хлестаковский «подмиг». Это жанр, где карты не открываются. Блеф — воздух «к. р.». Неназываемое, тайна — кислород «к. р.».

Вот рассказ Б. Колымагина, в котором два топонима «для понимающих», а все остальное — конспект впечатлений, путевых заметок. Если тайна улетучится, останется — банальность.

«Узкое окно — старый немецкий дом. И черепица старая — виноград. Раушен. Шорох далекий с моря. Думал ли Фридрих Второй? Подтянись! „Вольно, товарищи, вольно“, — махнет рукой генерал. Любят здесь офицеры — чего им — пансионат. Девицы — кобылы юные — шастают по променаду, ржут Йоны тут всякие и корабли — окружают. Наша — не наша земля: *Светлогорск*. Выстроили коробку, другую, что-то нарыли, плакат повесили — хорошо. И ходишь здесь — хороший и виноватый. А в узком немецком окошке — на грани чего-то с чем-то — даль. Она, Маргарита то есть, и Мефистофель. Звучи органа — высоко-высоко — зовут. И не про меня — а все-таки. Да». (Такую вот ритмизованную прозу «отстукивали» в 20-х годах.) Попробую расшифровать это колымагинское «да».

Был восточнопруссский городок Раушен, а где Восточная Пруссия, оплот германского империализма, там и Фридрих Второй, разумеется. После 1945 года Раушен стал Светлогорском, советским курортом. Бродит по бывшему немецкому городку Раушену российский писатель. Видит сохранившийся старый немецкий дом. Узкое готическое окно. Старую черепицу, дикий виноград. Ну да ведь это — Раушен, Rauschen. По-немецки — «шорох»... Хорошо назвали... Шорох волн здесь слышен... Думал ли Фридрих Второй, прусский вояка, германский милитарист, оравший на своих солдат: «Подтянись!», что русский генерал махнет рукой здесь, в основанном Фридрихом городе: «Вольно, товарищи, вольно...» Желаящий может продолжить расшифровку путевых впечатлений Бориса Колымагина. Вплоть до изумленного «да...».

Я, со своей стороны, могу дать такой вот... конспект.

Царевогорск. Губернский город. Опоздали почти на двести лет. Канада осталась бы за французами. И еще не скоро, не скоро бы Северо-Американские Соединенные оторвались бы от Великобритании. Печальная мелодия флейты — Гамлет, ставший Фортинбрасом. Можно сломать, но играть на нем нельзя. Сломали? Из философа сделали солдата. Война-молния — война разума... Маленькой стране не выдержать долгой войны. Блиц! Внезапность и натиск. Германофоб, ставший знаменем и символом немецких националистов. Региомонтанск. С удовольствием поставим калoshi на эту гору и, сплывнув на сторону горностаевую мантию, покроем все отборным русским... — «Ну что, Кант, теперь ты видишь, что мир — материален?» — «Молодой человек? — суховатый старичок в пудреном паричке тронул за руку лейтенанта. — Молодой человек? Ваш вопрос свидетельствует о вашей вере в материальность идеального... в реальность потустороннего...» Тевтоны — муж, а славяне — жена? Печальная мелодия флейты. Нет.

Русский серп и немецкий молот? Нет. «Разве? — старый Гамлет, ставший Фортинбрасом, откладывает в сторону томик стихов франкфуртского патриция. — Разве? У немцев может быть поэзия? Сосиски — это да. Пиво — да А поэзия? Философия? Нет. Нет. Нет», — и он берет флейту.

Родоначалница — эпоха. Это была особая эпоха — «застоя». В ней было что-то викторианское — скука стабильности, стабильность скуки; сверчки, знавшие свои шестки; лицемерие и — приличия, приличия! Советские Джекилы крепко, на привязи держали своих антисоветских Хайдов. Самое время — нонсенса, абсурда, белиберды, «сапог всмятку», «Алисы в стране чудес» и лимериков доктора Эдварда Лира. Вспомним, как Честертон описывал рождение «Алисы»: «Доктор Джекиль попытался с помощью хирургической операции удалить свою совесть; мистер Доджсон всего лишь ампутировал свой здравый смысл. ...Викторианец шагал по свету в ярком солнечном сиянии — символ солидности и прочности, со своим цилиндром и бакенбардами, со своим деловитым портфелем и практичным зонтиком. Однако по ночам с ним что-то происходило; какой-то нездешний кошмарный ветер врвался в его душу и подсознание, вытаскивал его из постели и швырял в окно, в мир ветра и лунного блеска, — и он летел, оторвавшись от земли; его цилиндр плыл высоко над трубами домов; зонт надувался, словно воздушный шар, или взмывал в небо, словно помело; а бакенбарды взметались, будто крылья птицы».

Именно этот парящий в небесах викторианец вспоминается, когда читаешь «к. р.» Житинского, помещенные в антологию «Жужукины дети...». В антологию «Очень короткие тексты» «к. р.» Житинского не включены. Составитель, Дм. Кузьмин, посчитал, по-видимому, что они разрушат общий мрачноватый колорит его антологии. Правильно посчитал. Это Кафка, научившийся улыбаться. Грегор Замза у Житинского, обнаружив, что превратился в жука, страшно бы обрадовался, раскрыл бы тяжелые надкрылья, расправил бы прозрачные крылья, зажужжал и вылетел бы в окно. «Как хорошо, — думал бы он, — если бы не мое ожукование, я никогда не узнал бы счастья полета!» Кафка, сделанный бьюлю, если не гибнет, то неудержимо приобретает швейковские черты. Что, в общем-то, объяснимо. Допустим, Грегор Замза не просто так превратился в жука, к нему пришли с ордером на арест, а он возьми и превратись... Не самый худший вариант, согласитесь. (Впрочем, Кафки, умевшие шутить, были в литературе раньше, чем Кафка, шутить разучившийся. Вспоминается Свифт. Пелевин, к примеру, со своим истовым человеконенавистничеством ближе всего к безумному ирландцу.)

Добродушие — обязательная и обаятельная черта писателей, прошедших советскую школу.

Вот рассказ Андрея Битова «Любители». Шофер, пытавшийся не задавить курицу, четыре раза перевернул свой автомобиль, теперь стоит на обочине и гогочет, глядя на свою перевернутую машину. Курица спаслась, автомобиль — вдребезги. Ясно, что автор «к. р.»-ов из младшего поколения написал бы, что в автомобиле погибла вся семья автомобилиста. Пытался спасти курицу и погубил свою семью — ведь правда смешно? И дело здесь не только в отсутствии добродушия, но и в потере ощущения серьезности литературы. О чем вы? Это ведь не более чем игра, это все — придумано, выдуманно.

Что напоминают «к. р.». «К. р.» напоминают рецензии: пересказ большого эпизода и извлечение из него морали. Ну, допустим: «Один коллекционер старинной мебели купил шкаф. Стал выдвигать ящики старинного красивого шкафа. В одном из ящиков обнаружил длинную косу и спустя некоторое время понял: это — не шкаф! Это — красавица! Злой волшебник заколдовал ее. Коллекционер влюбился в шкафоженщину, а глупые люди заперли его в сумасшедший дом. Сами они — шкафы!» Так автор «к. р.» «сделал» бы рассказ Мопассана «Волосы».

«К. р.» напоминают подстрочники. (Впрочем, в самом родственном «к. р.» жанре — верлибре — есть что-то переводное, подстрочниковое.) «Смерть — большая. Смерть — веселая. Она гогочет из середины нашей жизни, когда мы еще живы-живехоньки». Так автор «к. р.» «сделал» бы стихотворение Рильке.

«К. р.» напоминают «рассказ в очереди» (был такой жанр советского фольклора, образцы которого собирали в основном фольклористы в штатском). «Вот привозили в детский сад на дачу молоко, а одна воспитательница (шлюха такая) в этом молоке купалась, чтобы кожа была упругая. Ну вот однажды захлебнулась и утонула, а дети это молоко пили...»

«К. р.» напоминают басни. Правда, басни особого рода: с моралью, вытекающей из текста каким-то особенным, необычным руслом. Басни Крылова, с их реалистическими бытовыми интонациями, прочитанные глазами Л. С. Выготского, — вот что такое «к. р.»... Притчи? Ну что-то вроде... Если бы автору «к. р.» довелось написать новый вариант «Стрекозы и Муравья», то у него Стрекоза явилась бы к Муравью во главе вооруженного отряда и — пинками вытолкала бы куркуля на мороз. Кстати, именно так и было. В 1928 году Сталин в своей речи о хлебозаготовках говорил о том, как некий сибирский мужик в ответ на предложение сдать «хлебные излишки» весело ответил: «А ты, парень, спляши! Может, тогда я тебе хлеб и отдам...» «Сплясал». В 1929-м крахнул «великий перелом»...

«К. р.» напоминают мультипликацию. Чаще всего герои «к. р.» — летают. Разумеется, с ними приключаются и другие неприятности, но полет — главное! Честертон верно понял эту тайную мечту викторианца — такой, как он есть: в цилиндре, с тростью, уважаемый, солидный — деловито выйти в окно и полететь над улицей, раздувая седеющие бакенбарды, трубя ноздрею. Понятно, что это — кадры из мультфильма. Многие «к. р.» (особенно написанные женщинами) кажутся сценариями мультфильмов или заявками на них. Например, рассказ Нины Габриэлян про то, как бабушка, обиженная домохладцами, превратилась в олениху. Почему, собственно говоря, кажется?! В подборке рассказов Марины Вишневецкой опубликован самый что ни на есть сценарий мультфильма — «Слон и пеночка». Я, по крайней мере, этого «слона» с этой «пеночкой» видел по телевизору в программе «Спокойной ночи, малыши». В подборке рассказов Розы Хуснутдиновой опубликован сценарий другого мультфильма — «Как прекрасно светит сегодня луна». Хороший мультфильм. Душевный.

Генеалогия. «К. р.» возвращают к истокам литературы. Сказка, побасенка, анекдот, страшная история, рассказанная шепотом в засыпающей палате пионерлагеря. Если вспомнить литературных родоначальников этого «инфантильно-инфернального» жанра, то это, конечно, заодно с Амбруазом Бирсом Эдгар По и Гофман. Расстриги романтизма, спустившие мистические тайны с заоблачных высот на землю. Любопытно, что именно в романтизме был опробован этот жанр — «к. р.»... Полубезумный эксцентрик Клейст перед своей смертью выучился писать такие вот короткие остросюжетные — для газетной статьи предназначенные — рассказы. У того же Клейста есть удивительное эссе, которое можно было бы поставить развернутым эпиграфом к двум антологиям: «О театре марионеток»: «...рай заперт, и херувим за нами следит; мы должны обогнуть мир и посмотреть, нет ли лазейки где-нибудь сзади. Вдобавок... у... кукол есть то преимущество, что они антигравны. О косности материи, этом наиболее противодействующем танцу свойстве, они знать не знают, потому что сила, вздымающая их в воздух, больше той, что приковывает их к земле... человек просто не в силах даже сравняться в этом с марионеткой. Лишь боги могут тягаться с материей на этом поприще; и здесь та точка, где сходятся оба конца кольцеобразного мира».

Обнаруживаешь, что такие марионетки действуют в большинстве «к. р.». Они — абсолютно пластичны. Они — антигравны. Герои «к. р.» с такой чарующей легкостью отрываются от земли из-за своей марионеточной природы.

Абсолютная, ничем не сдержанная свобода автора в отношении своих персонажей опять-таки вынуждает вспомнить, в каком обществе рождались «к. р.». Тоталитаризм, выгнанный в дверь, просачивался хоть через печную трубу Всеобъемлющее всевластие, от которого ускользал художник в мир фантазмов, оборачивалось всевластием в том мире, который создавал сам художник. Он воссоздавал точный сколок того общества, в котором жил. Пушкин, который с удивлением говорил: ну и штуку удрала со мной Татьяна, — немислим в этом мире. Если эта Татьяна умеет летать, а этот Ленский вечерами выбирается из могилы, выковыривает из груди пулю и весело восклицает, перекатывая пулю из ладони в ладонь: «Горяченькая! Жжет!» — то что удивительного для автора могут учудить такие герои? Они могут все — и именно поэтому они безвластны, они — несвободны...

«К. р.», с одной стороны, свидетельство победы над косной материей. Художник, творец вырывается из мира тотальной несвободы в мир, где он безгранично свободен. Художник следует набоковскому совету, данному в «Истреблении тиранов» и «Приглашении на казнь». Не-свобода его не касается. Он свободен, как может быть свободна душа. С другой стороны, «к. р.» — свидетельство победы косной материи в том мире, который он создает: он — абсолютный властелин, значит, в этом мире нет свободы. Герои «к. р.» — антигерои, как марионетки, а не как ангелы. И умный художник в какой-то момент не может не почувствовать, что он и сам — кукла, марионетка.

Только разбившийся насмерть знает счастье полета. Ангелам, птицам и марионеткам счастье полета неведомо, они привыкли летать, как люди привыкли ходить.

Почему я не модернист. Этот давний спор между Михаилом Лифшицем и Григорием Померанцем вспомнился мне, когда я читал рассказ Вилена Барского (лауреата международной премии им. Давида Бурлюка, 1991, Тамбов) «Портрет и лицо».

Спор был странен. Оба были правы. Оба не могли «договорить» до конца свои постулаты. Дело не в советской цензуре. Пожалуй, цензура спасала спорщиков от неприятных самопризнаний. Лифшиц был прав: становящиеся, «делающиеся» тоталитарные режимы использовали крайние модернистские течения в искусстве. Померанц был прав: установившийся, зрелый, «развитой» тоталитаризм отбрасывал прочь всякий модернизм и обращался к традиционному искусству. «Взрыв» сменяется болотом, «буря» — «лужей»... Впрочем, Борис Гройс талантливо доказал, что в самом этом «ползуче-реалистическом» квазитрадиционном искусстве сильные были модернистские корни. Главное — оставалось. «Понятное» или «непонятное» народу искусство переиначивало мир, творило *свою* действительность.

Но я возвращаюсь к рассказу В. Барского.

Это — хороший рассказ. Это — плохой рассказ. Читая его, можно понять, почему Лифшиц атаковал с общегуманистических позиций модернизм и почему Померанц защищал модернизм с тех же позиций.

Рассказ этот об антиконе, о чудотворной, но не благотворной, а смертоносной картине. Художник увидел фотографию молодого человека. Художнику показалось, что из носа у молодого человека течет кровь. Художник не пририсовал реалистическую (псевдореалистическую) струйку крови из носа, а приделал красную проволочку — от носа к подбородку. (Возражение жизнеподобному, манекенному реализму, да? Правда не всегда правдоподобна. Правда может прикинуться муляжом, детской аппликацией.) На вернисаже молодой человек увидел свою фотографию с приделанной к ней красной проволочкой, возмутился, достал платок: «Что это? Отроду у меня кровь не шла из носу, только сопля...» Тут из носа и рта молодого человека потоком хлынула кровь. Молодой человек — умер. Художник не то предвидел, не то спровоцировал смерть. Абсолютная власть художника над своим творением здесь явлена оче-

видно Басенно. Именно поэтому вспоминаются иные примеры — власти творения над создателем.

Александр Дюма-старший, расстроенный, выходит из своего кабинета «Что с вами, мсье?» — «Сегодня погиб Портос». Густав Флобер валится на пол с признаками отравления: он описывал самоубийство Эммы Бовари. Кто тут над кем «властвовал» — творение над творцом или творец над творением? Вероятнее всего, ответ таков: абсолютная власть возможна только над марионеткой, которую не жалко.

(Если бы Померанц и Лифшиц «договорили» спор до конца, то не могли бы не заметить, что спорят не столько друг с другом, сколько с самими собой. Один и тот же вопрос встал бы перед ними: как из неудержимого стремления к свободе рождается рабство, как из неистовой художнической свободы выковыливается... казарма. Начинается с: «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?» — а кончается: «Моя милиция меня бережет».)

С легкой руки Шаламова и Розанова все твердили об «учительстве» русской литературы. (И я подписывал в общем хоре.) Господи! Да рядом с многозначительными аллегориями Ры Никоновой («Нет ничего более прочного, чем разбитое сердце!» — вот это афоризм!) какой-нибудь «Пролог» Николая Гавриловича Чернышевского выситя монбланом сомнений, недомолвок, гамлетических мук. Абсолютная власть над персонажами и не снилась «учительной» русской литературе. Напротив, ложная многозначительность, снобизм, псевдоморализаторство, кокетливое нежелание свести концы с концами, обнаруженный уют в мире абсурда — этот оракульский тон совершенно естествен для многих «к. р.»

Антибуржуазность. Антология Кудрявицкого называется «Жужукины дети, или Пригча о недостойном соседе». Значит, есть что-то очень важное в «к. р.» Сапгира и Бахтерева, раз составитель вынес их названия на обложку всего сборника. «Нестойного соседа» оставим. Обратим внимание на «детей Жужуки». И правда принципиальный рассказ — для обеих антологий.

Как бы это обозначить? Антиимещанский, да? Антибуржуазный, верно? Какое финал! Вслушайтесь! «Жужука детей делает, а жена им глазки, носик, ротик и ушки просверливает. Целая армия получилась. Подросли дети с той поры. И теперь куда ни посмотришь: на улице по двое, по трое квадратные, с плоскими затылками, деревянными кулаками и одеты по-модному: пиджак — трапецией, брюки — мешком. В „мерседесе“ — такие же сидят. В ресторане они же гуляют. Из пистолетов друг в друга пуляют — всё Жужукины дети. И не кровь из них течет, а морковный сок». Что мне это напоминает? Антинэпманские стихи Маяковского? Пожалуй.

Я — не против! Я сам левый, но... Прочитую текст, изумительно похожий на финал «Жужукины дети»: «Нет, ты погляди — на лица дуроломов, выглядывающих изнутри иномарок, как личинка из кокона. Задержаться на этом образе нелегко, как устоять на обмылке, ибо т. н. „лицо“ лишено каких-либо характерных выступов, исключая уши, обремененные темными очками. Да, он „новый русский“ (до поры, пока русские это терпят), но, верней всего, он тот самый старинный русский сукин сын, обыкновенное мурло, хам...» Это — Глеб Павловский, но я не для того отрывочек процитировал, чтобы продемонстрировать, как хорошо писал Глеб Павловский шесть лет тому назад, нет, я другое хотел показать. Что-то в этой талантливой декламации (и сапгировской, и глеб-павловской) есть натужное, истеричное, что-то само себя взвинчивающее и — вот страшное слово скажу — бесчеловечное...

А и в самом деле любопытно — откуда такой заряд ненависти к «буржуям» у пасынков социалистического общества?

...Дед мой был коммунистом с 1917 года. Умер от рака. Однажды, когда деду оставалось жить год, не больше, меня отпустили с ним погулять. Я был маленький, а дед — большой. Дед привел меня в пивную. В пивной было весело и интересно. Кто-то играл на гармошке, какой-то мужик с испитым ли-

цом орал: «А я чернилам предпочитаю кровь!» Дед усмехнулся: «Слышишь? Гейне читал, — потом тихо так пояснил: — Погляди, присмотрись, какие необычные, интересные люди, да? Алкоголики, бездельники? А для чего им работать? На стакан водки, на кружку пива, на кусок хлеба они заработают всегда, а больше заработать нельзя, да и не...» Дед говорил что-то в этом роде. Как я сейчас понимаю, дед пытался изложить то, что много позже я вычитал у Шафаревича в книге про социализм, — стремление к смерти. Вот он — финал истории, безделие, энтропия. Какой-то уровень относительного неблагополучия достигнут — ну и ладушки. Как я сейчас понимаю, я наблюдал тогда героев, а возможно, и авторов «к. р.».

На этом (вышеозначенном) уровне относительного неблагополучия, полной внутренней свободы и (ничего не поделаешь!) столь же относительного, как и неблагополучие, образования возникает почва для искусства вроде «к. р.». Сновидного, беззаконного, элитарного и сверхмассового. (Один из парадоксов «к. р.» — они пишутся очень многими для очень немногих.) Насмешка литературной судьбы в том, что «беззаконна» не только «комета в кругу расчисленных светил», но и безобразно расплозавшиеся во все стороны тесто, желе, студень. Проблема «к. р.» (по себе знаю) в том и состоит, что автор хочет сделать рассказ-блиц, резкий, ослепительный, как зигзаг молнии, а у него получается дохлая медуза на прибрежном песке.

Этот рассказ поведал мне Чинчо де Романо, человек во многом примечательный. Втроем они подстерегли хорошенькую крестьянку и попытались овладеть ею. Крестьянка обратилась в свирепого дога, тут же на месте растерзала одного из веселых юношей, опозорила второго и бросилась на Чинчо. Чинчо едва успел скрыться. Рассказ его заслуживает доверия, ибо Чинчо показывал мне этого свирепого дога, бродившего возле Палатината.

Недостатки антологий. Вряд ли хорош алфавитный принцип, по которому Ан. Кудрявицкий выстроил своих создателей «к. р.». Все равно как по весу или по росту распределять авторов. Интереснее всего была бы хронология: что за чем появилось — помогло бы выяснить, зачем и почему появилось. Этот недостаток почти исправлен в антологии, составленной Дмитрием Кузьминым. Первый раздел его антологии называется «На подступах». В нем помещены «к. р.», или как бы это сказать, пра-«к. р.» — 60 — 70-х годов. В этих пра-«к. р.» действительно ощутимы истоки: юмореска, притча, басня в прозе, афоризм.

Поскольку «к. р.» — «марш одиноких», то взаимовлияния почти исключены. Становятся видны черты беспримесной «чистой» литературной эволюции. Разные люди, ничего не знающие друг о друге, отворачивающиеся от гнусной действительности, читающие одни и те же книжки, начинают писать «одинаково», а потом изменяют темы своих писаний в одном и том же направлении. Благодаря «к. р.» понимаешь, что чудес не так уж и много: обязательно полет, обязательно — превращение, обязательно — членовредительство, исцеление, воскрешение, обязательно — исполнение несвойственных функций. (Допустим, щука, которая прыгает по полу и кусается, как собака... Это что-то вроде критика, пишущего «к. р.», — шукопес, псовая щука.) Впрочем, Дмитрий Кузьмин нарушает хронологический принцип.

Но если хронологию «к. р.» не так-то легко выстроить, то можно попытаться построить «типологию» «к. р.». Что и выполняет Дмитрий Кузьмин, разбивая «Очень короткие тексты» на разделы: «В сторону психологизма», «...бытописания», «...сатиры и юмора», «...лирики и стихотворения в прозе», «...эссе», «...притчи», «...концепта», «...фантастики», «...авангарда», «...дневника», «...суггестии». Правда, трудно понять, почему один «к. р.» потопал в сторону «суггестии», другой — в сторону «сатиры и юмора», а третий — в сторону «стихотворения в прозе». Уж очень похожи. «Мы вышли, вышли, вышли и пошли. Встало солнце над деревянной равниной». Или: «Когда вешали немца, он не только не сопротивлялся, но даже помогал партизанам приводить приговор в исполнение и, вздернутый уже, выражал всем своим видом, особенно

ногами, приязнь и уважение к победителям. Дерево то прозвали Рождественским». Или: «Я рашу таракана. Поколения сменяются — таракан растет. Мне сорок лет. Со мной мой таракан. Вес его велик. Как на автомобиле, ношусь я на нем по ночным улицам. Его ноги, обутые в кирзовые сапоги, мешают спать прапорщику военной части, расположенной в нашем поселке...» (Этот «к. р.» слишком длинен, я «обламываю» цитату.) Что здесь «сатира», что «суггестия», а что «стихотворение в прозе»? Думайте хоть сто лет, все равно не догадаетесь, поэтому я лучше сразу скажу: «Солнце над деревянной равниной» — это сатира. «Приязнь и уважение к победителям», выраженные ногами, — это суггестия. Ну а «тараканище»... правильно! лирика, стихотворение в прозе. Стало быть, такая типология «к. р.» тоже не слишком «адекватна».

Ан. Кудрявицкий в своем послесловии к антологии «Жужукины дети...» предлагает «географическо-настроенческую»: вот-де лирико-ироническая «питерская школа», вот жесткая, насмешливая абсурдистская «московская», вот печальная фантазмагорическая «юго-западная». Но, к сожалению, Кудрявицкий только формулирует такую классификацию, а антологию строит на (см. выше) порочном принципе алфавита.

А еще можно было бы расположить по темам и «чудесам»: вот «к. р.» полетные, вот — «превращенческие», вот — «социальные», вот — «абсурдистские», вот — «исторические», вот — «членовредительские». Конечно, такая классификация несколько напоминала бы знаменитую классификацию из рассказа Борхеса: «Животные подразделяются на набальзамированных, прирученных, принадлежащих императору, отдельных собак, похожих издали на мух, прочих...» — но лучше такая, чем никакой.

Кого нет. В антологиях «к. р.» не представлены писатели, к которым я отношусь без особого пиетета, но без них непредставим ландшафт современного «к. р.». Нет неистового фантазера Юрия Буйды (он-то как раз силен не в романной форме — в коротких фантастических новеллах), нет Ал. Славовского, чье стихотворение в прозе «Лимон» украсило бы антологию, нет — Вл. Сорокина; как ни относиться к этому писателю, а он обозначил очень важное явление в литературной эволюции. Это ведь — настоящий полный и беспримесный финал. Смерть литературы.

Как-то я слушал Сорокина по радио. Печальным, тоскливым голосом (как будто не его герои, а он сам только тем и занимается, что жует что-то очень невкусное) Сорокин жаловался: наборщики отказались печатать его первую книжку — до того им, наборщикам, не понравились сорокинские рассказы. Вот тут печаль переломилась в сдержанный, но очень убедительный пафос. «Не дело наборщиков решать, что им нравится, а что не нравится. Их дело — печатать». Что-то до боли знакомое было в этой истории с наборщиками, рассказанной с простодушной гордостью и искренним гневом: «Надо, знаете ли, добиться того, чтобы это было не захотело набирать твои тексты». Конечно! Это переделанный, перетолкованный рассказ Пушкина о том, как наборщики смеялись, печатая текст «Вечеров на хуторе близ Диканьки!» Гоголь так гордился смехом *своих* наборщиков, как Сорокин гордится отвращением *своих*...

Дивная вырисовывается парабола, верно? От писателя, гордящегося тем, что даже наборщикам нравятся его книги, до писателя, гордящегося тем, что даже наборщики отказываются его книги печатать, — вот траектория движения русской литературы..

Для чего нужна фантастика? Фантастика нужна для того, чтобы «освежить», «озвучить» и «озвончить» избитый сентиментальный мелодраматический сюжет. Фантастика помогает «вырулить» самой замшелой банальности, самому истрепанному штампу. Ну... допустим, человек наедине с природой думает «А ведь эти камни знают больше, чем я! Эти скалы хранят тайну мироздания, просто они ни за что эту тайну не выронят. Они (эти скалы, деревья и др.) не болтливы. О! Если бы я понимал язык камней!» — и т. д. и т. п.

«Пошлость, — пожете вы плечами. — Обычная романтическая пошлость» Но если В. Беликов опишет, как некий камень вдруг на его глазах «очеловечился» и принялся задавать ему (автору) вопросы не на русском, не на английском, китайском языках, а на каком-то сверхъязыке, который Беликов понял, но ни на один вопрос не ответил, вследствие чего инопланетянин (а это был он! — читатель уже догадался) в сердцах сплюнул: «Тьма, камни и то больше знают», — пошлость будет не так ощутима.

«К. р.» и верлибр. Я запомнил из геометрии: окружность никогда не сможет стать многоугольником, как бы тесно ни принимал к ней дробящийся на многие линии контур. Эта метафора соотношения поэзии и прозы. Как бы ни ритмизовал свою прозу Андрей Белый — прозой она и пребудет, как бы ни прозаизировал свою поэзию Борис Слуцкий — поэзией она и останется.

Раскольников — отсидел. Перевоспитался, вернулся в Питер, разыскал Порфирия, стал работать референтом у Порфирия, помогал чем мог. Петрович (Порфирий) ушел в большую политику. Родион Романович двинулся следом: писал речи, вырабатывал предвыборные стратегии, но... старая любовь не ржавеет, и как ни корми Раскольникова, он все поглядывает на топор. На стене кабинета Раскольникова висела фотография Че Гевары. Порфирий Петрович недоволен морщился, а Родион Романович, улыбаясь, поправлял очки. «Плечи, — объяснял Родион Романович, — с которых сдернуты погоны, болят всегда».

Но есть ситуации, при которых «многоугольник прозы» еще теснее прижимается к «окружности поэзии»: верлибр и «к. р.» как раз те самые точки сближения прозы и поэзии, где ломаная линия начинает выгибаться дугой, где плавная кривая начинает вытарчивать «углами».

Близость «к. р.» к поэзии вообще и к верлибрам в частности доказывает то, сколько среди авторов «к. р.» — поэтов: Сапгир, Иван Буркин, Зульфикаров, Холин, и — специально — поэтов-верлибристов. В антологии «Жужукины дети...» напечатаны «к. р.» замечательного верлибриста — Вячеслава Куприянова. Некоторые его верлибры вполне сошли за «к. р.». Например: «На языке волков / мы / — люди друг другу». Чем не «к. р.» в стиле «магического реализма»?

Можно так сказать: «к. р.» — верлибры, в которые всажен почти балладный сюжет. А можно так: если анекдот рассказать верлибром, то это и будет «к. р.».

Недаром ироничные поэты так хорошо писали «к. р.». Гейне, к примеру. «Я видел волка. Он лизал желтую звезду, пока на языке у него не показалась кровь...» Или вот этот «конспект» «Гавриилиады», в котором сохранены нежность, эротика, кощунство и — прочь отброшена мальчишеская скабрёзность, пиитическое многословие: «...Иосиф... сидит возле колыбели, качая младенца, и при этом напевает баюшки-баю. Мария сидит у окна и ласкает свою голубку».

Вячеслав Куприянов как раз поэт иронического склада, вроде Брехта или Гейне. Тем примечательнее его обращение к дальневосточному искусству — брехтовское, что ли, едва ли не пародийное.

На самом деле не он один из авторов «к. р.» почувствовал вызов и зов Востока. Целый мир распахнулся перед российскими писателями и читателями, когда были переведены китайские волшебные повести про лис-оборотней, драконов, колдунов, волшебников, — этот мир захотелось перетащить на просторы советской империи, втиснуть в клетушки коммуналок. В «к. р.» (наиболее удавшихся) ощутимы то парадоксы кознов, то дневниковые записи фрейлины императрицы, спрятанные у изголовья. Куприянов работает в иной традиции. Он — мизантропический стилизатор. «Когда жена Уй Юя родила уже второй велосипед, он пришел в неопишемое расстройство. Он кричал: „Жена Лу Пяня рожает только самые настоящие мотоциклы!..“ Уй Юй разнес бы в гневное свое убогое жилище, но, к счастью, он был посажен на велосипедную цепь. Он только со скрипом вращал свои тележные колеса, которые были у него вместо рук, а также и вместо ног, которыми угрожать он не мог, поскольку на них опирался» У Куприянова выпекаются эдакие «дальневос-

точные хармсоиды» — в меру безжалостные, в меру философичные, в меру смешные.

Впрочем, на примере иных куприяновских «к. р.» видно, что «к. р.» не приспособлены для политических страстей. Политическая страсть, загнанная на небольшое пространство «к. р.» и не сдержанная рифмически или ритмически, как в эпиграмме, превращается в истеричную брань. В искусстве (как и в жизни) надлежит быть или очень горячим, или холодным... В противном случае — «извергнут из уст». «К. р.» — жанр для «холодных», для «ледовитых» — для спокойных насмешников, печальных циников. Страсть, ангажированность больше подходят для эпопей.

Советские истоки жанра. Это ошибка — будто советское время было склонно к одним эпоеям. Отец основатель советской литературы дал парадоксальные образцы как эпоеи, так и «к. р.». С одной стороны — нескончаемый «Клим Самгин», чем дальше, тем больше превращающийся в зашифрованный даже для самого себя, тайный, безжалостный интимный дневник; с другой — короткие остросюжетные новеллистические «Заметки из дневника». Литературное приличие советской эпохи позволяло, чтобы не сказать предписывало, «одну» и «другую» сторону. Мастер, отгрохавший эпоею на много томов, мог себе позволить небрежной, но точной кистью «набросать» миниатюрки. «К. р.» оказывался частью производственного процесса по изготовлению сверхроманов, эдакая стружка, выгибающаяся из-под резца виртуоза. Как (по наблюдению Ан. Кудрявицкого) «к. р.» сами собой «слипаются» в огромные циклы, так и эпоея разваливается на гигантское количество «к. р.». Однако главная «родственность» эпоеи и «к. р.» даже не в этом. То и другое — нечитательные жанры. Эпоея слишком длинна, чтобы ее читать в метро, а «к. р.» слишком короток, чтобы вчитываться, медлить, доискиваясь смысла. «Блоха» и «слон» требуют одинакового времени для разглядывания. (Между прочим, и в этом тоже — мораль стихотворного «к. р.» Ивана Андреевича Крылова.) Эпоея и «к. р.» — продукты чистого искусства, искусства для искусства. Но советское общество как раз и было «эстетским» обществом, в точном значении этого слова. Диктатура производителей над потребителями — это ведь и есть «производство для производства», «искусство для искусства». Уайльд прав: для эстетов вовсе «неплохо устроить социализм».

Все здесь было наоборот. Единственной в мире страной, где детские книги стали статьей дохода, был Советский Союз. Детские стихи и рассказы, которые Корчак, например, писал по «мандату долга», а Астрид Линдгрен — по вдохновению, писались для заработка. А «сверхкраткие» рассказы, которые Вилье де Лиль-Адан или Чехов писали, чтобы заработать на жизнь, становились продуктом чистого вдохновения.

Павел Басинский не даст соврать, а Владислав Ходасевич подтвердит: Горький ненавидел правду — бога свободного человека. Заставлял себя любить — и тем больше ненавидел. Соцреализм, советская литература вышагнули из двух Горьких: из «дятла — любителя истины» и из «чижа, который лгал». «Дятлы» отстукивали эпоеи «Дело Артамоновых» и «Жизнь Клим Самгина», а веселые чижи отсвистывали «к. р.» вроде «Заметок из дневника». Как и положено в парадоксальнейшей стране — России, — «дятлы» достукивались до самой отвратительной лжи, зато «чижи» провирались до истины.

Антиномии «к. р.». В этом жанре как ни в каком другом ощутимы две взаимоисключающие максимы: прогресс, развитие, эволюция имеет место быть в литературе и — нет и не может быть никакого литературного прогресса, никакой литературной эволюции. Литературный прогресс, развитие есть, поскольку амбруаз-бирсовские, гофмановские, эдгар-поэвские рассказы — «Будет суп» Виктора Голявкина, «Велосипед» Николая Байтова, «Кошкин дом» Владимира Беликова — потребовали бы от самих Амбруаза Бирса, Гофмана, Эдгара По большего «листажа». Просто сюжетные ходы, ставшие ныне литературными

штампами, этими писателями разрабатывались впервые и то, что тогда надо было растолковывать, сейчас подвластно одному только намеку. Литературного прогресса нет и не может быть: пусть Гоголь не знал сюжетных ходов, известных ныне каждому из авторов «к. р.», — ну и что? Ну-и-что?

«К. р.» и Андерсен. Пока я читал «к. р.» очень плохие или очень хорошие (а особенности жанров проявляются сильнее всего «по краям», там, где жанр скатывается в «зияющую вершину» графомании или взлетает в «сияющую пропасть» шедевра), мне все время вспоминался Ганс Христиан Андерсен. «„Как мир велик!“ — сказали утята» — это можно было бы поставить эпиграфом к любой антологии «к. р.».

Порой андерсеновское используется автором «к. р.» совершенно сознательно, с провокативной пародийной целью. Так, Евгений Попов в «к. р.» «Стая лебедей, летевшая по направлению к Египту» дает иронический вариант «Нового платья короля». Сумасшедший майор, восклицающий в трамвае, двигающемся через «мост над великой сибирской рекой Е.»: «Гляньте, товарищи! Гляньте! Стая лебедей летит по направлению к Египту!.. Стая лебедей!» — голый король из сказки Андерсена. Пассажиры трамвая, бурно радующиеся лебедям, «летающим по направлению к Египту» («...тут в трамвае началось буйное веселье. Люди совершенно незнакомые братски обнимались и поздравляли друг друга... „Ура! Ура! Ура!“ — кричали присутствующие»), — разумеется, подданные голого короля, восхищающиеся его новым платьем, зато грубый «мальчонка, лет десяти... будущий преступник», тихо сказавший майору: «Дяденька майор! А ведь ты спятил? Да? Так и так твою мать!» — естественно, тот самый мальчик, что воскликнул: «А король-то голый!» Тут-то автор «к. р.» и совершает ловкий перешелк «тумблером» читательского восприятия. «И все замерли. А майор отвернулся и не стал ничего опровергать. Мальчонка показал взрослым кукиш и вышел на следующей остановке по своим надобностям». Спятивший майор оказывается слабым симпатичным сказочником, «навеявшим сон золотой», зато честный мальчонка обещает стать «будущим преступником», холодным и бездушным прагматиком. Евгений Попов точно почувствовал скрытый парадокс сказки Андерсена. Голый король — больший ребенок, чем ребенок, крикнувший: «Голый король!» Или: нехорошо говорить голому, что он — голый, даже если он — король.

Вообще, в тот момент, когда «к. р.» становятся похожи на сказки, авторы «к. р.» становятся похожи на сказочников, приобретших жутковатый исторический опыт. Андерсены эпохи войн и революций ХХ века.

Паскаль и Розанов — авторы «к. р.». Осколочность, бризантность «к. р.» вынуждают меня решиться на еще один сомнительный афоризм: «к. р.» — обломки огромной литературы. «К. р.» не просто атомы литературы, но взорванные атомы когда-то бывшей литературы. Каждый «к. р.» — небольшой такой портативный атомный взрывчик. Финал. Такие «взрывчики» уже случались в литературе, и ничего! «Фрагментарность, знаете ли, приходит и уходит, а литература — остается!» Почему бы не счесть «Мысли» Паскаля, «Афоризмы» Лихтенберга или Ривароля — просто «к. р.»? Жутковатая шутка горбуна Лихтенберга (прямо-таки — жутка, а не шутка): «Виселица с громоотводом» — чем не самый короткий «к. р.»? А удивительное наблюдение роялиста и переводчика Данте на французский язык Ривароля: «Человек, привыкший писать каждый день, рискует превратиться в того врача, который, умирая, щупал пульс у собственного кресла»? Современный автор «к. р.» обязательно продолжил бы метафору, вынул бы сюжет из предложенного образа: «Пульс обнаружился. Врач умер. Кресло — воскресло». Но главное — Паскаль! Метафизическая основа «к. р.» — паскалевский ужас перед «двойной бездной», бездной микро- и макромира, зажатость между пустотой сверху и снизу, страх от «молчания этих беспредельных пространств». Фундамент «к. р.» — паскалевская невозмож-

ность связать, соединить фрагменты навек распавшегося, разлетевшегося в разные стороны мира. Отсюда и афористичность. В идеале «к. р.» стремятся к афоризму — идиотскому, как у Козьмы Пруткива, глубокомысленному, как у Паскаля, насмешливому, как у Ривароля, печально-насмешливому, как у Станислава Ежи Леца, нервно пробормотанному, как у Розанова.

Розанов — еще один из отцов основателей жанра. Вот «к. р.» Юлиана Селю (именно о его «к. р.» Михаил Бахтин говорил его двоюродному брату Дувакину: «У нас сейчас нет глаза и уха для этого»): «Бывает, что родной голос в телефоне возникает, расцветает не сразу. Бывает, что сначала он слабый, тусклый, по-странному чужой: не для своих, не для меня; я его таким не слышал — для чужого, настороженный. ...Но вот голос узнал, ожил, заструился, наполнил трубку, зазвучал. Душа отошла, согрелась — подошла. Как зверушка к решетке», — на мой взгляд, это настоящий «опавший листок» из коллекции Василия Васильевича. Это естественно: Розанов — «Паскаль» нового времени, «Паскаль», наострившийся писать в газету. В газете должно быть коротко и интересно, скандально и сюжетно, воз-бу-жда-юще! На стыке «паскалевского» и «газетного» рождается современный «к. р.». «Жена входит запахом в дом мужа» — современные «к. р.» пропахли газетой, претендующей на паскалевскую философию.

Обманки «к. р.». В «к. р.» писатель уходил, как в Запорожскую Сечь, как крепостной — в казаки; как пушкинский Алеко и толстовский Федя Протасов — в цыгане. «Степь. Десятый век, не свобода, а воля». ...А потом оказывалось, что «к. р.» накладывает безжалостные ограничения. Если читатель во втором абзаце угадал «течение событий» — до свиданья, автор промахнулся. Мнимая философичность губит «к. р.», как и настырное морализаторство. Вот рассказ Юрия Мамлеева «Куриная трагедия» — надо же было тратить столько слов, чтобы сказать: все мы — слепые курицы перед лицом судьбы, а иная курица будет почеловечнее, пофилософичнее, прикосновеннее к вечности людей, сохранивших эту самую курицу-философа за обедом.

В «к. р.» надо уметь загадывать загадки и прятать насмешливую мораль за частоколом слов. Так, пелевинский «Встроенный напоминатель» — «к. р.» о всевластном художнике, повелителе уничтожения Никсима Сколповском, который способен уменьшить людей до размеров пылинок, но с собственной зубной болью справиться не в состоянии. Он, выстроивший саморазрушающийся манекен со «встроенным напоминателем» о смерти (своей и чужой), сам оказывается таким манекеном, не разобравшим в зубной боли — напоминание о собственной гибели. Это — хороший мизантропический, почти свифтовский рассказ. Андре Бретон включил бы его в свою «Антологию черного юмора». Французский сюрреалист (на мой взгляд) включил бы в свою «черно-юморную» антологию еще один рассказ, подобный жестокому «Встроенному напоминателю», — голявкинский «Будет суп»

Мастер «к. р.». Лиричный Голявкин и саркастичный Сапгир — два полюса «к. р.». Высокопарный Сапгир и (даже в мистических своих «к. р.») бытовой, приземленный Голявкин. Вот финал сапгировского рассказа «Три пары»: «„Но боюсь, союз наш будет бесплоден, — затуманилась Жизнь. — Что может родиться от нашего брака, от брака Смерти с Жизнью?“ — „Мысль!“ — сказала Верховное Существо». «Пошлость», — присовокупило Существо Нижайшее. На этот раз оно было право...

Голявкин никогда этаких «ры-никоновских» максимум себе не позволяет. Он всегда — ироничен. Все время — весело-сдержан. Может быть, поэтому детские рассказы Голявкина вполне могут быть напечатаны рядом с его взрослыми рассказами и «шва» не будет. Детские стихи Сапгира из другого мира, не из того, в котором существуют его взрослые «к. р.»...

В. Голявкин — настоящий мастер «к. р.». Он демонстрирует все возможности жанра. Фельетон «Из Невы в Неву» — вполне реалистический, вполне

социальный. Вот абсурдистский рассказ «Визит». Вот запись (реалистическая) кошмара «Спокойной ночи». Вот детская юмореска «Пятнадцать третьих». Вот мистический рассказ (сказка с загадкой) «Будет суп».

Смотрите, как работает в этом «к. р.» детективный сюжет: «Ты подожди меня здесь, — сказал мой брат, — а я сейчас». Зачин. Главному герою надо едает ждать. Он отправляется искать брата. Останавливается у двери. «Почему-то мне вдруг показалось, что брат зашел именно в эту дверь. То есть я был даже уверен в этом. Я постучал. Дверь открылась, и передо мной возник старикашка с кастрюлькой...» Главный герой следит за приготовлением супа старикашкой и все время спрашивает: «Мой брат?...» «У меня ваш брат, — сказал старик... — Зайдите ко мне, я сейчас...» Главный герой входит в комнату, видит живого гуся на столе. Главный герой пытается выбраться из комнаты. Дверь — закрыта. «...„Здесь нет брата!“ — крикнул я. „Он на столе“, — ответил старик. „На столе гусь“, — разозлился я. „А ты не гусь?“ — спросил старик». Хичкок был бы в восторге от такого «саспенса», который получился у В. Голявкина.

Граница. Я недаром сравнил «к. р.» с Запорожской Сечью литературы. «К. р.» — абсолютное «пограничье», не автономный жанр, но граница между жанрами, даже между видами литературы (между поэзией и прозой, например), граница даже между литературой и *нелитературой*. «К. р.» всегда на грани исчезновения. Еще немного — и ничего не останется. Кажется, что в самом этом жанре есть что-то псевдоглубокомысленное, идиотическое, что-то профанирующее, пародирующее сам процесс писательства. Вот «к. р.» Федора Абрамова, которым открывается антология «Жужукины дети», зачин, эпиграф, надпись над входом:

«Кошка-самоубийца. На трамвайной линии, напротив нашего дома, худая серая кошка и, должно быть, очень старая. Идет трамвай, звонит. Кошка ни с места. Трамвай останавливается. Кондуктор берет на руки кошку, относит на панель. Но кошка снова бредет на рельсы. И вид у нее при этом такой, словно она во что бы то ни стало решила покончить с собой. И снова останавливается трамвай, и снова кошку относят на панель. Странно! С ума спятила кошка или и в жизни кошки бывают такие минуты, когда хочется броситься на рельсы?»

Кошка, конечно, хороша, но при внимательном прочтении «к. р.» выясняется, что в нем имеет место быть еще один не менее замечательный герой — писатель, с мрачной самоубийственной тоской уставившийся на улицу. Раз — заметил кошку, улегшуюся на рельсы, два — заметил кошку, улегшуюся на рельсы, не исключено, что три, четыре, пять — замечал кошку, лежащую на рельсы. И так весь день — кошка ложится на рельсы, а писатель за ней наблюдает.

Конец «к. р.» должен был наступить с концом советской эпохи. Исчезло «сопротивление материала». Чопорность признанной литературы подпитывала настоящую свободу «к. р.», но когда все разрешено, настоящий писатель должен сам себе что-то запретить. Настоящая свобода — в самоограничении. Настоящее могущество — в самоумалении. Помните великую притчу о ребенке Микеланджело, слепившем скульптуру из снега и расплакавшемся: «Дай мне мрамор...»? Авторы «к. р.» оказались детьми — Микеланджело, лепящими из снега. Большинству это занятие нравится. Некоторым не слишком. Как говорят, Довлатов восхищался французским прозаиком, который написал целый роман, пренебрегши одной буквой алфавита. А у самого Довлатова нет ни одного предложения, где слова начинаются с одинаковых букв. Почему Довлатов взял себе это за правило? Разумеется, для того, чтобы создать «сопротивление материала». Он ведь и сам был автором «к. р.», и сам чувствовал, как легко лепится его мир из «подручного материала», — потому и усложнял задачу.

«К. р.» рассчитан на сотворчество: читатель достраивает недостающие звенья. Читателю советуют: гляди, как это просто! Ты ведь и сам можешь это

придумать, ты ведь и сам можешь это увидеть. «Между домов проплывают медленные рыбы». Читатель должен догадаться: эти рыбы — сны, эти рыбы — прозрачны. Поэтому их чаще всего не замечают. Но автор «к. р.» заметил и рассчитывает на то, что и читатель заметит. «К. р.» заискивает перед читателем и огрызается вполне по-розановски на непонятливых: «Я с читателем не церемонюсь. Пшел к черту!» Легкость создания «к. р.» связана с тем, что в «к. р.» может произойти все, что угодно, и поэтому чаще всего в этом «художественном пространстве» ровно ничего не происходит. «Дерево покрылось перьями и засвистело, как птица. Дерево шевелило крыловками и силилось взлететь. Щелкнул выстрел. Пуля попала в ствол. От боли дерево вырвало корни из земли и взлетело. Потом повалилось набок. Пока подходил охотник, древоптица медленно, словно издеваясь, превращалась в обыкновенный клен, вывороченный с корнем. Охотник подошел поближе и взял в ладони убитого воробья». Подобной постсимволистской муры можно накидать возами, вагонами — вези не хочу! Интересна и фантастична не эта мура сама по себе, интересен и фантастичен ее реальный социологический и психологический исток. Если внимательно присмотреться ко всем «к. р.», то легко обнаружится нечто общее — удивительное сочетание бессилия и мощи, ничем не сдерживаемой свободы и абсолютной зависимости от любых самых ничтожных обстоятельств. Вернусь к уже сформулированному: автор и герой «к. р.» умеют летать (или им кажется, что они умеют летать) и не умеют ходить (без всякого кажется.) Вероятно, здесь схвачена какая-то общая проблема современного человека. Поразительное всемогущество: маг по сравнению с каким-нибудь Леонардо да Винчи — и полное неумение жить: ребенок по сравнению с каким-нибудь средневековым крестьянином.

С.-Петербург.



Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

ВНУТРЕННОСТИ КУЗНЕЧИКА

Николай Кононов. Похороны кузнечика. Роман. СПб., «ИНАПРЕСС», 2000, 288 стр.

Девять веков понадобилось русской литературе, чтобы вступить наконец в святая святых — в область человеческой психики, чтобы описать не поступок, не действие и его результат, но неуловимое — жизнь чувства. Еще век прошел, прежде чем литература решилась коснуться жизни тела, откровенно рассказать о физиологических аспектах человеческого бытия, сосредоточившись, понятно, на самом из них волнующем...

Николай Кононов делает следующий шаг в том же направлении, пытаясь заглянуть под поверхность тела, рассмотреть его изнанку. Что там, внутри? Герою его романа кажется однажды в детстве, что сквозь глубокий порез на руке он заглядывает в собственное естество. «Я проник зрением под алую, приподнятую пинцетом изнанку своего тела, словно за кулису, за границу поверхности, словно зверь в нору, и не мог отвести взгляда от этого своего пупырчатого, тускло блестящего суверенного нутра, от его бесконечного кошмарного лабиринта, удаляющегося куда-то вперед». Герой движется по этому лабиринту с первых и до последних страниц романа.

Собственное тело рассматривается, изучается, нюхается, не обходятся вниманием и все видимые знаки насыщенности его невидимой жизни: пот, сукровица, рвота, выделения... Естественное смятение, которое испытывает герой, созерцая собственную плоть, тем не менее побеждается самой искренней к себе любовью. «Я очень, очень себя люблю...»

Однако тон нарциссического упоения (пусть порой смешанного с удивлением и легким ужасом), с которым герой относится к собственному телу, неизменно сменяется отчужденностью, брезгливостью, недоумением, едва в кадр вливается тело чужое, не свое. И ладно, когда это действительно чужие люди — соседи, например, — случайным свидетелем «случки» которых стал мальчик, но когда это собственная бабушка...

Бабушку разбил паралич, дни ее сочтены. Повзрослевший герой вместе с мамой ухаживает за ней. Тут-то и выясняется, что прежде такую любимую, родную, ту самую бабушку, с которой связаны светлейшие страницы детских лет, теперь, когда она превратилась в «дышащий труп», любить почти невозможно, любить немислимо. Потому что и любить-то приходится уже не совсем бабушку, не ее бессмертную душу, улыбку, голос, а ее брэнное тело, поскольку душа не реагирует на внешние сигналы, бабушка уже не отвечает на обращенные к ней жесты, крики, слова. Все, что осталось от нее, — это именно тело, почти безжизненное, дурно пахнущее, вызывающее отторжение, чужое. И потому, когда бабушка умрет и нужно будет отдать ей «последнее целование», герой не в состоянии будет этого сделать, так и не сможет поцеловать ее в лоб.

Непроницаемость этой грани, отделяющей мое и не-мое, мир живых и мир мертвых, и задает напряжение всему роману, становится причиной постоянных мучений героя. «Да и вообще вся этическая система самопринуждения к состраданию достаточно умозрительна, если первый же естественный и необоримый сигнал гнилостного сладкого запаха прелой плоти пролежней, всей этой войны, ведомой нами с помощью примитивных невежественных присыпок, примочек и брызгалок, явно проигрываемой, понуждает к резким желудочным спазмам».

От редакции. Мы решили вопреки обычаю познакомить читателя сразу с тремя откликами на короткий роман Николая Кононова. Причина тому — новизна и «многослойность» этой прозы, ставящей перед критиками нетривиальные задачи. На нашем маленьком «стенде» демонстрируется, как по-разному реагируют интерпретаторы на одни и те же «горячие точки» романа, и нам этот опыт представляется поучительным для понимания и сложного текста, и рецензионных задач

Собственно, тело и его отправления здесь никак не самоцель, но лишь повод для разговора о другом. Основной предмет изображения в «Похоронах кузнечика» — бесконечный, путанный ответ души на «гнилостный запах пролежней», на всю эту оглушительную телесную жизнь, а затем на ожидаемый, но все равно такой резкий ее обрыв.

Однако тут-то перед Кононовым и встают основные трудности. Потому что до тех пор, пока он пишет о «совсем легких, каких-то птичьих ногах бабушки», о «теплой-теплой» голове на «податливой тряпичной шее», о «белой заголившейся руке», которую бабушка внезапно скидывает, как мачту, то есть о мире внешнем и осязаемом, под рукой у него многолетний опыт русской прозы и, в общем, сложившийся русский литературный язык. Посему и стиль его остается пронзительным и прозрачным (лучшие страницы романа, на наш взгляд, именно эти — описывающие умирающую бабушку, а никак не ощущения героя по этому поводу). Но едва автор погружается в изменчивую область душевных переживаний своего главного героя, перо его словно ломается.

Слишком мелки нюансы, которые он хочет запечатлеть, слишком сложны и тонки душевные переходы, которые он стремится зафиксировать, слишком изоциренны мысли, посещающие героя, — в языке просто нет еще тех слов и выражений, да и литературная традиция молчит, Толстой, да и Пруст выглядят на фоне таких задач грубоватыми тяжеловесами. И потому язык для описаний душевной и умственной жизни своего героя Николаю Кононову приходится создавать самому. Выходит примерно вот что: «Вообще для этого запаха мне очень трудно, а вернее, невозможно наверняка подобрать имя. Томясь, я перебираю про себя слова, прикидываю их, как обнову, на эфемерное, вдруг обнаружившееся качество, но я, оказывается, делаю это слишком ревностно, слишком точно и поэтому мнимо, упуская самую важную шекочущую и словно бы свистящую мне в ноздрю, ускользающую тканую основу запаха...» — обрываю цитату, экономя журнальное пространство и давая себе право на еще один, не менее показательный, пример: «Лелеемая столько лет подоплека выдернута из ума, как ниточка из угольного (опечатка? — М. К.) ушка, не оставив и слабого ушлого волоконца, но, господи, дырочка эта заполнится такой же ветошью ефрейторского детерминизма, таким же обещаемым хлыстовским будущим с таким же осуществлением где-то там, но не здесь и не сейчас, а тут и сейчас будет дежурить смерть — падчерница распада, будет, будет улыбаться нам гнилостной улыбкой, чтобы жить было так же страшно, как и умирать, может быть, еще страшней, ведь акт смерти не лишен неопределенности».

Сложность процессов, протекающих в душе и уме героя, оборачивается запутанностью, а подчас и абсолютной нечитабельностью языка. И причина этой вязкости, сквозь которую так трудно прорваться, не только в явном избытке образов и сравнений, причина в том, что эти сравнения и образы не складываются в целое, между ними не прослеживается связи, причем не только и не столько логической, но и ассоциативной, импрессионистической, интуитивной — любой. Когда мы читаем «по табору улицы темной», мы отчего-то не задаем себе вопроса, в чем смысл этой метафоры, да и вообще мыслима ли она, — мы легко ей верим, настолько она убедительна. В прозе Кононова поток сравнений часто оказывается вполне посторонним по отношению к предмету описания и скорее разрушает, чем воссоздает его. «Ушное волоконце», «ефрейторский детерминизм» и «хлыстовское будущее» не складываются в орнамент, пусть затейливый, пусть непонятный и странный, — не складывается ни в какой. Это не внутренний мир, это раскиданные по столу хирурга внутренности.

Имя главного героя романа — Ганя, Ганимед. И если это аллюзия, связанная со знаменитой рембрандтовской картиной-шуткой «Похищение Ганимеда», где подхваченный орлом Ганимед изображен в виде младенца, от страха пускающего струю, то надо отдать должное авторской самоиронии (как уже говорилось, мотивы детства и мочеиспускания — не последние в романе). Но вероятнее все же, Рембрандт тут ни при чем, слишком серьезно Кононов относится к своему герою, и вычурное имя — скорее всего указание на непростоту героя, а возможно, и намек на смутную историю с гомосексуальным оттенком, случившуюся когда-то с Ганей и его другом...

И тем не менее. Спасательным кругом, все-таки удерживающим книгу на плаву, на уровне прозы, достойной публикации и публичности, становится (да проявит читатель благосклонность к неловкому каламбуру) круг затронутых в романе проблем. Ведь, в сущности, разговор о жизни души ли, тела оказывается здесь только материалом для обсуждения проблем более глубоких. По большому счету эта книга — о любви. Точнее, о ее возможностях, которые — и вот она, горечь, сцепляющая краткие главы этого повествования воедино, — так ограничены. Любовь отнюдь не всегда «не перестает» — не потому, что не прав апостол, сказавший это, а потому, что мера любви, о которой он говорит, труднодостижима. Проводить близкого в мир иной достойно — дело для человека почти непосильное.

Маленьким мальчиком герой отбил у осы полусъеденного кузнечика и затем хоронил его со всевозможными почестями, положив ему в гробницу все самое лучшее, что у него было: пуговицы, детальки из папиной готовальни, блестящие обломки часового механизма. Во взрослом возрасте похороны кузнечика отозвались похоронами бабушки — и, увы, они были уже совсем другими. Бабушкиной смерти втайне радовались, бабушку хоронить торопились — слишком жарко, — а потом также торопились уничтожить ее перепачканное постельное белье, одеяло, тазик, из которого обмывали тело... И эта спешка, и облегчение, испытанное после ее смерти, — причина непроходящего чувства вины героя, протеста, бессилия. Ему очень хочется хоронить ее по-другому — с благоговением, трепетом, нежностью, сопровождавшей похороны кузнечика. Сквозь недовольство собой, муку, внезапный матерный выкрик просвечивает вера: любовь все-таки «никогда не перестает» — это та норма, это та высота, на которую герой смотрит не отрываясь, смотрит с надеждой.

За затейливым, иногда плохо поддающимся расшифровке языком романа стоят простые этические максимы, пусть трудно выполнимые, зато неоспоримые и для автора, и для его героя.

Иными словами, эта проза нравственна — и, по-моему, это главное и основное ее достоинство. Эта проза нравственна, но она еще не родилась. Есть тема, есть страдание, есть боль — нет языка, нет подходящей формы, в которую можно отлить это вполне состоявшееся содержание. Перед нами зародыш с признаками будущего гения, кузнечик, пока что раздавленный косноязычием и грудой лишних слов. Проснется он или дело снова закончится похоронами — покажет время.

Майя КУЧЕРСКАЯ.

НЕЗРИМАЯ ГРАНИЦА ЛЮБВИ

«Именно на русском языке, невзирая на политические превратности, за последние двадцать лет были написаны лучшие стихи (и худшая проза)». Эти слова Набокова были несправедливы в 1940 (кажется) году, когда он писал их, — но, похоже, не так далеки от истины сейчас. Если русская проза не хочет окончательно раствориться в море коммерческой беллетристики, стремительно коммерциализирующегося расхожего постмодерна, аморфного non-fiction и т. д., она должна брать взаймы у своей отнюдь не бедствующей старшей сестры — русской поэзии. Другими словами, поэты должны взяться за прозу и заново научить прозаиков их ремеслу. Я имею в виду не кокетливую «прозу поэта» в специфически жанровом смысле, а по-настоящему ответственно и мастерски написанные книги, авторам которых помогает опыт работы со словом на микроуровне. «Похороны кузнечика» — именно такая книга.

В чем проявляется этот опыт у Кононова? В предельной метафоричности, в барочной «заверченности» фраз — и прежде всего в чувственности, физиологичности мировосприятия, оборачивающейся брезгливостью («Мой детский мир, все связанное с ним я могу теперь уложить в жесткий однозначный классовый принцип — „брезгую — не брезгую“»). Брезгливость — вообще глубоко поэтическая

черта. Но если для многих авторов (отчасти даже для Набокова) она является источником образности, средством освобождения от душевной инерции, от связей, накладываемых несовершенным миром, — в случае Кононова это не так. Его книга — о любви к миру, пытающейся преодолеть брезгливость к нему, мучительное отвращение, вызванное поэтической телесной чувствительностью.

(Можно было бы мотивировать эту чувствительность и Югом, Саратовом, где, видимо, происходит действие книги, миром, богатым степной сухостью и речной влагой, плодородным, жирным, — но как раз города в книге нет, мир ее безлюден. «Я есть и внутри себя самого» — это «потрясающее открытие», сделанное в детстве, становится исходной точкой книги; диалог с окружающей реальностью возможен, лишь поскольку он мотивирован сложными отношениями с этим «я внутри».)

Это книга о любви и смерти. Сначала о смерти кузнечика — «крупного кузнечика цвета папиной гимнастерки. Вообще-то я отбил его в бою у осы стебельком кашки, как копьем, она хищно выедала из него, еще живого, замечательно золотоглазого, лежащего на боку, бело-зеленую тину брюшины».

Он, рассказчик (еще ребенок), уговаривает себя (или он, взрослый, задним числом уговаривает себя, ребенка?): «Мне не хочется думать, что он мертв. Я даже не знаю, что это такое... Мои близкие никогда не умрут».

Это пролог. Содержание книги: у него (взрослого) умирает бабушка, давно парализованная, лишившаяся сознания. Бабушку хоронят. Налет сентиментальности, почти неизбежно провоцируемый сюжетом, сразу же уничтожается жесткой откровенностью почти невербализуемых (но житейски очевидных) деталей: «И когда мы откидывали одеяло, нас, меня и маму, уже не настигал тот плотный выброс запаха. Мы уже не попадали в аммиачное облако, которое не вызывало ничего при всей нашей нежности, питаемой к бабушке, при всем сострадании, ничего, кроме с трудом подавляемых упорных, животных позывов к рвоте». И дальше — с прустовской (не русской какой-то) аналитичностью: «Что касается запахов, то они сразу стали главенствующими во всем нашем предопределяемом именно ими быте. Они были теми граничными условиями, в чьем поле осуществлялось наше здравомыслие, проницательность, предусмотрительность и практичность». Отвратительное, физически невыносимое теснит любимое и близкое. С этим напором не справиться простым усилием воли («Вся этическая система самопринуждения к состраданию достаточно умозрительна»). Но человек может — пусть очень дорогой ценой — «перейти незримую границу любви» — границу между «брезгую» и «не брезгую».

Отвратительное: подсмотренная в детстве сцена «случки» («или любви?») соседки с квартирантом-армянином; рифмующийся с ней коитус инвалидов в больничном саду; «на кучах арбузов спят бесформенные голоногие торговки»; «пьяная тетка, охая, катит скрипящую детскую коляску с безобразным скарбом». И т. д.

Любимое: папин душистый мотоцикл «Урал»; мамино лицо с прекрасно прорезанными ноздрями... Хотя бы выжившая из ума Магда, бабушкина сестра, что-то ритмически бормочущая про «град на Брянщине, ливневые дожди».

Отвратительное съедает любимое и любовь — но в конце концов растворяется ею.

Чтобы это произошло, герой должен пройти своего рода инициацию — инициацию насилием (дурацкая ссора в молодежном «артистическом» кафе, странная драка: «...быть оглушенным колотьем своего сердца... поднимать с асфальта этого Чамбена... хрипеть что-то в его рот, касаться своими губами его губ: ничего, брат-брат, ничего-ничего — и бить-бить-мочить-мочить снова-снова расплывшуюся туманную розетку его рта...») и инициацию сексуальную. Но катарсис наступает в эпизоде 33, когда полусумасшедшая, дряхлая Магда извлекает на свет пожелтевшую фотографию: молодая бабушка, молодая женщина по имени Элик, обнаженная, в лодке на Волге. В этот момент внутренняя связь между живым внуком и мертвой бабушкой достигает предельной интенсивности, преодолевая запреты родства и принимая почти инцестуальные формы (или скорее происходит внутреннее отождествление бабушки и внука). Границы «я» размываются. В конце книги герой погружается в бездну боли, развоплощения, унижения: «Я захожу в телефонную будку, разбередив лужу мочи на полу, подношу к уху трубку, у которой отло-

мана половина, мне кажется, что я звоню тебе... Но что я могу сказать тебе, кроме того, что попал в аммиачный плен и сам усугубляю это дело, проливаясь собой, своей субстанцией в тот смрадный мир, где меня нет...» Автор оставляет его в этот момент — меняющегося, растерянного и готового к восхождению. Как Иаков перед битвой с ангелом, он «отстаивает право... на ничтожную оценку собственной жизни».

Но тот, с кем предстоит бороться, «исчезает во тьме».

Такую книгу написал Николай Кононов. Написал многословно, избыточно. Это многословие, как ни странно, привлекательно: скользя вокруг главного, порою чувственно касаясь его, легкие и пахучие слова намекают на глубины выразительнее расхожих пауз. Но есть в книге два-три места, может быть, две-три фразы, где свойственный всякому *fin de siècle* налет безвкусицы все же бросается в глаза («Эпидерма Психеи. Или Селены... Манящий зов ее взора»). Сомнительнее всего имя героя — Ганимед. Его бытовая нелепость («Ганимед Иванович?») не обыграна, прямая отсылка к мифу в эпизоде с «другом Валея» натянута; здесь, как и еще несколько раз, возникает ощущение грубой, возможно намеренной, но все равно неуместной дисгармонии, нарушающей ткань глубокой, тонкой и трагической книги.

Валерий ШУБИНСКИЙ.

С.-Петербург

ГАНИМЕД И ПАЛАМЕД

«Похороны кузнечика» — роман в тридцати семи эпизодах с прологом и эпилогом — надсадное и жутковатое повествование о смерти: не столько о затянувшемся, мучительном для близких угасании любимой бабушки, воспринимаемом с позиции ее уже взрослого внука, сколько о Смерти как об идее, метафизической величине, важнейшей категории запредельного.

Древо Смерти, позволю себе эту метафору, разветвляется здесь не только на привычные отношения смерть-как-утрата или смерть-как-физический факт, но и пускает побеги более сложных сцеплений: смерть как *мифологема*, смерть как *мистерия*, смерть как *переход*.

Концентрическими кругами текст расходится от точки смерти, как от брошенного в воду булыжника, — камень уж вечность на дне, а круги все накатывают и накатывают на водную гладь. И на протяжении всего романа мы чувствуем какой-то странный, неслышимый, но осязаемый гул — особую, предшествующую катастрофе дрожь растревоженных подземелий «ночного сознания».

С точки зрения системы координат этой книги — смертей как точек отсчета здесь две: *глазами ребенка* (кузнечик) и *глазами взрослого* (бабушка). В первом случае это скорей даже «смерть глазами ребенка» глазами взрослого — и такая двойная субъективация вполне может рассматриваться как удачный стилистический ход.

«Я сейчас пойду хоронить кузнечика...»

Я совком вырою ему нарядную могилку в сыром углу нашего небольшого двора, там, где маленькие островки мха зеленеют на кирпичках вылезшего из почвы, словно гриб, фундамента...

Я опрятно вытираю желтую прозрачную жижу, натекшую за ночь из полусъеденного брющка, набиваю в эту полость плотно скатанную ватку... Оборачиваю по самую грудь розовой конфетной фольгой. Кладу на постель из пластилина, утыкав это ложе разноцветным крошечком стекляшек из калейдоскопа. Несколько скорбных цветков желтого молочая во главе одра. Пара некрупных пуговиц в изножье... Все самое лучшее, что у меня есть. Мне даже хочется его подержать во рту, ну, по меньшей мере — лизнуть.

Так хоронили фараонов».

В детском сознании смерть отождествляется с мистерией, таинством, ритуальным обрядом. Траура нет, только торжественность. В прологе ощущения, чувства

героя явлены «в чистом виде», через призму восприятия ребенка — высветленные детским сознанием, не замутненным пока еще представлениями о трагическом. Хотя размышления мальчика о смерти уже подводят его к отчаянной формуле:

«Ведь никто не умрет.

Ни мама, ни бабушка, никто.

Этого не может случиться».

И сразу же — переход ко взрослому миру (эпизод с «Королихиной случкой»). Взрослый мир наезжает, накатывает, попирает священнодействие погребения кузнечика («его гробница будет моей самой большой тайной») и детский секретик в земле, и спаянный, «как витражное крыло бабочки, из полупрозрачных на просвет, топографически соприкасающихся темных, лиловых и коричневых зон кошмаров и ярких, алых и голубых, областей счастья» сверкающий, ослепительный мир детства.

В основном тексте романа хронотоп пролога меняется, и со второй, главной смертью герой сталкивается уже в молодости. Точного возраста Гани мы не знаем, но понятно, что ему где-то от двадцати до тридцати лет (проговоркой сообщается, что он женат и у него маленький сын).

Умирание бабушки, превращение ее в «дышащий труп» растягивается на бесконечно долгое (вернее, кажущееся таковым) текстовое пространство — обещанные 37 эпизодов отработаны более чем добросовестно. Беспреданно «накручивая» себя (то есть героя; автор/герой совпадут, как мы почувствуем позже, посредством описанной в тексте и помещенной на обложку фотографии обнаженной — молодой еще — бабушки) и увеличивая от эпизода к эпизоду обороты терзаний, автор постепенно подводит читателя к апофеозу: смерть — это роды наоборот, а ухаживающая за умирающей бабушкой мама исполняет роль «акушерки».

Бабушка уже не разговаривает, не двигается и не ест...

Хочется облегчить ее страдания, но сделать уже ничего невозможно, и самое страшное — неизвестно, насколько в действительности они велики.

«...бабушка мнилась мне средоточием мучений, на которые не могла нам пожаловаться, и поэтому ее муки казались мне непомерными, их удельный вес и выталкивающую силу я определить не мог. Ведь я не мог приложить к ее телу никаких утешающих усилий — ни развеять боль, которую она, очевидно, переживала, ни умерить страх, который, как мне чудилось, она испытывала, ни остудить внутренний жар, который, вероятно, сжедал ее плоть».

В произведении есть и еще один «живой труп». Это неменяемая, сумасшедшая баба Магда, бессмысленно повторяющая слова за радиоприемником, встроенным в ее слуховой аппарат. И казалось бы, герои, Ганя и его мать, должны больше жалеть именно Магду, но — этого не происходит. Потому что она, сестра бабушки, им не родная? Роман ставит столько вопросов, что все их даже не перечислишь.

Кем станет бабушка там — облаком, ангелом, пухом? Чем-то совсем невесомым, эфемерным, не-сущим... — так представляется герою, когда он пытается мыслью заглянуть за порог. Какой невыносимый контраст с этим «тварным», «вещным», бранным — покоящимся здесь, на реальной кровати, — физическим телом (описываются выпростанная, как мачта, бабушкина рука, выступивший из-под одеяла палец ноги, ее пах...). Вопрос о существовании материи и духа после смерти, горнее и долнее, познанное через умирание близкого человека, — вот главная боль и адреналин этого текста.

«Мы с мамой придвинулись чересчур близко.

Мы вдвинулись в кишение и хаос.

Мы потеряли из вида спасительные детали, а вместе с ними и жалость».

И происходит все это на фоне тех давних детских открытий: человек есть не только душа, но и тело (случай с распоротой рукой); есть рубеж, после которого живой организм перестанет работать (кузнечик); есть моменты, когда даже собственное тело, не говоря уже о чужом, может вызывать омерзение.

Мы все время держим это в уме.

И на это накладывается происходящее.

Между тем автор как бы подводит нас к тождеству. Отношение героя к *Переходу* — тогда, в детстве, и теперь — несмотря на огромную разницу этих событий совпадает в ощущении причастности к существующей помимо нашей воли и разума Тайне, в ледящем, почти что мистическом ужасе, испытанном перед лицом запредельного. И пропорция *смерть кузнечика: ребенок = смерть бабушки: взрослый* выглядит в этом случае почти равносильной.

Роман, хоть он и небольшого объема, — откровенно затянут. Сразу становится ясно: это образцовый, типичный «текст ради текста»; но так же ясно и то, что лишь хороший стилист может позволить себе эту роскошь. Казалось бы, уже невозможно возделывать более эту тему — ан нет, вымученность и избыточность, изводящие как комариное зудение, как заевшая пластинка, доведены до приема — остается только завидовать скрупулезности автора. Бесконечные и утомительные ретардации играют на руку все возрастающей болезненности, рефлексиям и «самоедству». Что в сочетании с блестящим слогом, *умением видеть* и поэтизацией физиологического безобразного привносит в прозу странный, едва ли не пикантный привкус.

Стоит заметить, этот самый сюжет — смерть бабушки — частый гость во взрослой литературе о детстве. И первое, с чем хочется сравнить фабулу «Похорон кузнечика», — это, пожалуй, довольно объемный и так же тщательно выписанный соответствующий эпизод из «У Германтов» М. Пруста.

Поражает сходство этих двух текстов — и стилистическое, и сюжетное, и, если хотите, метафизическое. Во-первых, совпадает образ рассказчика. Во-вторых, в обоих произведениях умирает бабушка именно по материнской линии, и после ее смерти мать главного героя, отчаяннее всех борющаяся за бабушку и постаревшая вдруг сразу, за считанные дни, становится разительно, невероятно, *мучительно* похожей на покойную. В-третьих, несмотря на то что близкие изо всех сил стремятся угадать страдания умирающей и по возможности облегчить их, страдания эти кажутся родным неисчислимыми...

И эта аллюзия не единственная.

Здесь не стоит задача проводить подробный текстологический анализ, но даже при обычном чтении бросается в глаза употребление Кононовым довольно редких эпитетов *светозарный* и *необоримый*, активно используемых и переводчиком «В поисках утраченного времени» Н. Любимовым; равно как и возможное соотношение Ганимеда с прустовским Паламедом — посредством так или иначе связанной с обладателями пахнувших древней Элладой имен темы гомосексуализма, столь присущего античной культуре. М. Пруст наделяет героя греческим именем, заранее как бы намекая на его содомические пристрастия, каковые позже и проявляются. У Кононова эта тема — тема гомосексуализма, — хоть и лишенная четких мотиваций, «пущенная» под занавес, закрывает роман.

Хочется отметить еще одну подтему — раздвоения личности. Зачин ее в прологе и далее латентное, почти что незаметное, «душевное двойничество» будет давать о себе знать на протяжении текста. Впервые герой столкнулся с этой реальностью в детстве. Он только *заглянул* в нее — но стресс остался:

«...Как мне жить дальше с этим ошеломляющим открытием? С тем, что *я есть и внутри себя самого*».

В романе эта линия едва намечена, пунктир. И тем не менее болезненные детские рефлексии, сопровождая Ганю и в дальнейшем, послужат гумусом, первоосновой для восприятия Смерти, сформируют тот угол зрения, под которым ему предстанет метаморфоза...

Да, все *это* от нас очень близко, грань тонка, рубеж проникаем. «Похороны кузнечика», чуть-чуть сумбурная и максимально искренняя книга, — не только попытка, пройдя еще раз над безднами, избавиться от «уже когда-то испытанного и осознанного ужаса» перед изменениями материи. «Похороны кузнечика», словно наследник тибетской «Книги Мертвых», стремится приоткрыть завесу над тайной *перехода*. Но таинство так и останется таинством.



СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ НА РАБЬЕЙ ЗЕМЛЕ

Борис Крячко. Избранная проза. Таллинн, VE, 2000, 336 стр.

Писатель Борис Крячко принадлежал к тем русским европейцам, которые не весьма любят жить в материковой, срединной России. Он предпочел глубокую Азию — экзотический край, который вчуже можно даже любить (тем паче можно к нему снисходить). Потом была какая-то отдаленная северо-восточная периферия. Наконец Крячко осел в Эстонии, на советском Западе. Умер писатель в 1998 году в Пярну, ему было 68 лет. В его итоговый сборник вошли роман «Сцены из античной жизни» (на самом деле жизнь там — среднеазиатская, советская), повести «Битые собаки», «Во саду ли, в огороде» и «Корни», рассказы и письма. Проза Крячко почти всегда довольно явно вырастала из житейского опыта ее автора. А потому при чтении и после думаешь прежде всего о нем.

Однажды устами героя писатель рассказал хадис о грешнике, явившемся к пророку Мухаммеду. Грешник говорит, что не сможет отрешиться сразу от всех пороков, и просит назвать, какой полегче: может, с ним он справится. «Хорошо, — ответил Пророк, — для начала перестань врать». Грешнику это показалось сначала легким. Но потом он понял, что «ложь есть мать всех пороков, а тот, кто ее преодолевает, воочию видит, как вместе с бесстыжей распутницей гибнет целый выводок ее богомерзких чад». Крячко всю жизнь пытался жить по этой заповеди пророка. Вот и вышел из него законченный несоветский писатель. Без соцзаказа, без внутреннего цензора. Живое воплощение солженицынского правила: жить не по лжи.

Отсюда сугубая определенность его подхода к миру и людям. Он избегал не только фальши — любой кривизны и лукавства, слишком сложной психологической выдумки, новомодной игры. Нельзя не увидеть в его прозе и большого душевного вклада, ясного сердечного чувства. Крячко был всегда очень точен. Говорил определенно, внятно, без недомолвок. Владел способностью высказаться в упор. Или уж просто молчал, если смелости не хватало. А случалось и такое: когда он рассуждает об интеллигентах русско-советского разлива, то ведь и о себе тоже: «...они традиционно боятся собственной тени и в то же время страшно любят побалагурить о чем-либо запретном». Впрочем, этой «разноречивостью природы» интеллигента объясняется, по Крячко, расцвет талантов и искусств в России: они зарождаются от ужаса — ради успокоения и бодрости.

Сборник прозы начинается с мемуарного очерка «Корни», откуда явствует, что происхождением своим писатель — казак с Кубани, из хорошего старинного рода. Дед его вел отсчет в прошлое на тринадцать колен... Признаться, что-то подобное ожидалось, предощущалось и при первом знакомстве с прозой Крячко. Русский XX век только и занимался социальным выравниванием. Но к концу столетия выяснилось, что душу человека тешат любые воспоминания об издревле ведущихся особенностях и исключительности. Вот и Крячко как будто дистанцируется по отношению к основной массе русского народа — подчас даже с аристократическим чувством превосходства.

Однако эта дистанция имеет, кажется, не только сословный, но и вполне личностный смысл. Крячко всегда стоял вне строя, свободно, наособицу, не совпадал ни с какой общностью и категорически чурался всякой стадности. От первого лица он пишет об этом так: «...люди переменялись, общежитие первой семьи, общественное важнее личного... Мой личный опыт. Самое ценное достояние. Трудно наживать, легко пользоваться... я ставлю личное выше общественного, а всякую отдельную жизнь и свою тоже понимаю как частный эксперимент или, если угодно, первичное накопление капитала».

Да, народ для Крячко — не авторитет. Тем более «советский народ» — продукт духовной порчи. Рассуждая о погибших в войну солдатах, писатель заметил: «Родина-мать, которую они заступили от врага, себя не жалея, оказалась страной неизвестных солдат, мертвых душ и живых трупов». Опять же все тут врут. «...вор на воре, о чем вам и толкуют; страна такая, и ничего с ней не поделаешь». Секретарь

горкома Аминов в романе «Сцены из античной жизни» отмечает свое правление Великими Пожарами; после каждого составлялся акт о списании — и прирастал капитал Аминова. В этом вся, по Крячко, советская власть.

Человек живет для себя и для Бога, а не для народа. И не обязан он любить народ, в который прописан, как и любой другой. Любовь — чувство интимное, заставить любить нельзя. Вот, например, Крячко съездил в Грузию, не нашел там ни одной стоящей личности — и откровенно объявил, что грузинский народ в наличном состоянии ему не по нраву.

Скажем в утешение самолюбивым грузинам: этому закоренелому индивидуалисту и русский народ пришелся не весьма по нраву. Он рассказывает в романе такую историю: когда однажды в Азии разоряла власть заброшенное военное госпитальное кладбище, мусульмане и евреи выкопали и перехоронили своих мертвецов, а русские... «никто не почесался». И характерным образом продолжает: «Что тут скажешь? — народ такой. Русские, они и есть русские, несчастные люди, с ними всегда обращались как со скотом. Их, конечно, жаль, но достойны ли они человеческого обращения, трудно судить». И так еще говорит: «...о русском народе сказано: голутвенные люди, голытьба, голота, голь перекатная».

Важно, однако, увидеть: высокомерие диковинным образом сочетается острым чувством связи с теми, кого писатель вроде бы презирает. У него редкое чувство стыда. Склонный к мазохизму Астафьев и тот не так стыдится своего, русского, человека, как Крячко.

Пессимизм перебивает крыло патетике, и в прозе господствует строгий, холодноватый тон с юмористическими и сатирическими перебивками. Кульминация этой тенденции — в повести «Во саду ли, в огороде», где юмор по поводу власти и народа особенно злой. «„Да что ж это за страна такая?“ — закричал Главный Буржуин и был прав. А ему в ответ погудку о том, как немчина спросали, Россия хороша ли. „Хороша-то, — говорит, — хороша, да житье там без барыша: строят сверху, кроют сбоку, начинают с конца, подпирают с неба, дурь сперва, ум опосля, ворам потачка, с дураков взыску нет“. И сидит народ поныне в прямой кишке, в глубокой жопе и выдумывает впотьмах что-то нужное для хозяйства, а ему в очко кричат, как в трубу дуют: „Ты славен, Иван! Ты мудр и могуч! Ты обречен на величие! С тобой надо на „вы“! ты хлеб-соль-наш-свой! Мы тебе свечек геморройных, чтобы светлее было. Мы тебе лучший отработанный продукт. Ты там потерпи, а мы тем временем туда-сюда вокруг муд и опять тут“. Вот он и терпит. И будет терпеть, пока его хвалят, потому что привык, смерд, холуй, неумытое рыло, хорошо о себе думать. Чудная страна Россия».

Из Пярну он успел неллицеприятно высказаться и о новом строе в России, набросать сатирический портрет президента Ельцина, в коем увидел воплощение примитивизма, хамства, грубости, «азии». Не крепко верит Крячко и в будущее России. «...у русского народа есть резерв времени, чтобы поумнеть: еще пара столетий; еще с десятков афганских, чеченских и гражданских войн; еще несколько пустопорожних попыток возвести светлое здание коммунизма, начав, по обыкновению, с крыши, а не исключено, и фашизма, и глядишь, постепенно люди дозреют до простых запредельных истин — не укради, не убий, не толкни падающего, не пожелай жены ближнего, ни вола его, ни дома его, ни имущества его...»

Вероятно, у писателя нашлось бы много оппонентов. Но с него вы уже не спросите, господ-товарищи. Он умер. Бояться автору нечего. Был свободен при жизни, а теперь уж и подавно от нас не зависит...

Аристократизм Крячко питался еще очевидной его англomанией. Он мог работать «чернорабочим-котельщиком», но сохранял выправку джентльмена. За отсутствием возможности оказаться в Англии — обитал в стихии английского языка. Этим влечением в английскую языковую среду, в стихию английских слов, писатель наделил и героя «Сцен из античной жизни» гида-переводчика Володю Киселева, персонажа неуловимо близкого к автору.

Лечение Володи, кстати, приобретает даже откровенно эротическое выражение: герой изменил советской власти с заезжей американкой. Отсюда развивается коллизия невыносимо пошлого партийно-народного суда над провинившимся «матерым международным прелюбодеем». Тут много гротескных анекдотических по-

дробностей о нравах в плебейском царстве, где парткомиссия требует самого полного отчета о достопамятной ночи, а нравственность низведена к специфической «политкорректности»: блуды потихоньку и со своими!

Вульгарная, безграмотная власть позволяет себе «непарламентские выражения» на партийно-советских заседаниях; они привносили «в атмосферу косности демократическую струю казармы и забегаловки». У Крячко тоже есть интерес к грубому слову и натуралистической подробности. Кажется, это попытка адекватно отозваться о происходящей непривлекательной жизни. Распутная жена Киселева, актриса, ведет с мужем разговоры, «сидя на стульчаке и открыв дверь для лучшей слышимости». Или еще подробности, об изменениях в отношениях человека и власти в 60-е: «Совсем еще недавно в ответ на заявление работяги: «„Я буду жаловаться”, — руководство говорило: „А я тебя с говном смешаю”, — и вдруг стали говорить: „Это ваше право”, — а о говне ни полслова, вроде его и не было». Краска жизни.

Человек у Крячко оказывается в пошлом и низком мире, недостойном его. Такая уж убогая страна. Все тут превратно и размыто. Нет надежных опор, ясных границ. Здесь друг, товарищ и брат человека — КГБ. Контакты человека с гэбухой рутинны и повседневны. И некого, собственно, стесняться.

Довольно свеж взгляд писателя на гэбиста-службиста из азиатской провинции второй половины XX века. Там уже нет злодеев, а есть своя унылая ляпка. Старший лейтенант Ахтак поклялся «сделать» спекулянта-стоматолога Мордатого. А тот обслуживал все местное начальство, платил кому надо откуп. И всех это устраивало. Ахтак долго трудился и наконец взял прохиндея с поличным (девять килограмм «цветного лома»), а в итоге стал притчей во языцех. Такая бескорыстная честность никому не нужна. Ахтак ославлен дураком, с чем в конце концов и сам согласился: смирился и больше не рыпался, осознав, что вся советская власть — большой спектакль; «и при чем тут коммунизм, когда весь этот бардак называется проще и короче».

В любую гнусную эпоху уважения и любви заслуживают не народы, а отдельные лица. Не поляки в целом, кстати, от которых весьма предостерегал писателя его старорежимный дед, а персонально Володя Ясиновский, заветный друг студенческой поры. От столбового дворянина археолога Юренева до сушей, кажется, шантрапы Никифора — хорошие люди у Крячко откуда-то помнят о чести и совести, о достоинстве. В мерзости и окаянстве жизни, в бездне тотального поражения, в перманентной житейской неудаче герои Крячко учатся держать честь и достоинство сухими. Он ставит их перед выбором, и они этот выбор совершают.

Сергей Николаевич Юренев — персонаж, напоминающий стоического героя Домбровского. Этот старомодный человек говорит на языках, читает на латыни, играет на фортепьяно и знает еще много ненужных вещей. Наш советский Дон Кихот — он даже и внешне похож на Рыцаря печального образа, хотя борьба его подспудна и безумия в ней мало, да и пришлось ему обзавестись жалом мудрая змеи.

Володя Киселев — его ученик. Примерный советский юноша, он так бы и путал добро со злом, но в романе Крячко «ему очень повезло: в его жизнь вошел Сергей Николаевич» и навел в ней «лад и порядок». Володя стал скептически смотреть на власть, а однажды даже рассказал американцам-туристам, что пышный городской мемориал павшим в Великой Отечественной — липа чистой воды. Фривольный сюжет с американкой тоже лег лыком в строку: Володя внес, по ироничной оценке автора, вклад в народное сознание — доказал, что американцы такие ж люди; «ничего у американцев поперек нет».

Есть в прозе Крячко переключки с Искандером. И юмор иногда близок: ведь и у Крячко, как у Искандера в «Сандро» и «Козлотуре», изображен край СССР, та восточная провинция, где возникает пикантный сплав идеологии и патриархальности и где живут смешные и странные, но иногда хорошие, настоящие люди. (Отнюдь, заметьте, не фантастические гротески Буйды: почувствуйте разницу.) Например, был там такой дядя Ваня — единственный в городе продавец пива, кото-

рый со «старорежимной купеческой честностью» «никогда не разбавлял напиток водой». Кроме того, он «не умел общаться „по-матери”». Здесь простота обходится без воровства. Или еще — отчаянный смельчак и банальный алкаш Саха: за литр водки он съехал с городского лыжного трамплина на собственной заднице...

Поиск свободы гнал Крячко дальше и дальше по закабаленной, чужой ему стране. Очевидно, его дальневосточные впечатления преломились в повести «Битые собаки» (1980 — 1981), после публикации которой в конце 80-х в Таллине писатель приобрел известность. Повесть эта — едва ли не лучшее, что написано Крячко. Душевная вещь; великолепно симитированный богатый простонародный сказ; подробнейшее воссоздание житейского обихода, в толще которого зарождаются бытийные вопросы. Повесть оказалась, пожалуй, близка к «Одному дню...» Солженицына густой фактурой жизни и серьезностью вопроса о ней.

Герой повести, Никифор, для властей — дурак, простофиля. Он наделен столь ясным и здравым смыслом, что не понимает идеологических условностей, а иногда даже в упор обличает власть. Что ей с него взять: «У него справка есть!» Сначала Никифор представлен анекдотически. Недалеко ему до Чонкина у Войновича. До Ахтака, но без сгубившей молодчика службы. Но Крячко на ходу меняет задачи. Повесть приобретает смысл философской притчи, а герой обнаруживает задатки доморощенного мыслителя и строителя личного Беловодья.

Никифор создает собственную теодицею. По ее логике, Бог обиделся на людей, которые от Него отказались и смеялись над Ним: «И кресты сымали, и скотину в церквах держали, и говорили, что его нету, а дошло до мокрого — стали кричать: „Ау, ау, иде ж ты, Бог, запропал, куда заподелся?”» Сказано заскорюзлым говорком. А глубоко. И молитва Никифора свободна и бесхитростна. Его вера — бесконфессиональная вера одинокого человека.

Не слишком полагаясь на пропавшего Бога, Никифор отправляется на поиски свободы, уходит от общества в края почти безлюдные, где становится охотником на пушного зверя. Тундра; простор и воля; и уж не Эдем ли? Ему, новому Робинзону, принадлежит мир — и вся власть над собачьей упряжкой. Как некий новый Адам, он наделяет собачек именами. По своему усмотрению Никифор создает тут общественный распорядок, сочиняет идеальное благоустроенное общество. Пытается распорядиться ими по справедливости, как полновластный философ на троне.

До поры до времени, видит читатель, ему это вроде бы удается. И закономерно побеждают воспитанные им собачки в битве стаю волков. Но в итоге проект вполне обнажает свою утопичность. Правда, для этого Крячко приходится найти в стае собаку (звать Асачей), которая оказалась умнее и тоньше своего хозяина. Иными словами, он, по сути, вводит в повествование Пятницу. Или даже «Христофора песьеголового». И оказывается, что распорядиться собаками — совсем не то же самое, что распорядиться людьми. Оказывается, вечно будет кровоточить узел свободы и достоинства.

...Приходит день, и всего один раз бьет Никифор собак смертным боем, «доколь пес под себя жидко не набезобразит». И повторяет одно секретное слово, чтоб боялись они этого заветного слова. Это битье по науке, чтоб спастись, если понесет упряжка под обрыв; «тогда-от скажет он напослед слово железное, какому смертным боем их научал без жалости, и будет цел. Ударит псюрюню по ногам паралик, свяжет им жилья, скрутит в три погибели, заскулят оне больно, в кучу собьются свальную прямо под санки — в том Никифору спасенье». Но не всех, оказывается, можно так муштровать, отнимая достоинство. После этого битья Асача умирает — от унижения. А Никифор начинает догадываться, что собачка эта была послана ему как испытание, и чувствует себя бесконечно виноватым: загубил он невиданную тварь «по окаянству своему»...

Долгая печаль в пронзительном финале этой замечательной повести сминает сюжет. Покаяние и молитва. Плач русского Иова к таинственно и ужасно явившему себя Богу. Всякое бывало, но вот такого поразительного финала не бывало еще в нашей литературе XX века. Да уже и не будет.

Евгений ЕРМОЛИН.



ПОЛНОТА ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Александр Кушнер. Летучая гряда. Новая книга стихов. СПб., Русско-Балтийский информационный центр «Блиц»; «Петербургский писатель», 2000, 95 стр.

Интересно, как Кушнер, оставаясь Кушнером с его любовью к деталям, его практически декларативным приятием жизни, внутренне изменился. Внешне перед нами почти та же схема: бытовой повод или художественное впечатление запускают механизм мысли, который обрабатывает некую заданную задачу. Так, да не так.

Если в стихах Кушнера периода «Таврического сада» (в стихах, кстати, прекрасных, продолжающих волновать читателя) импульс и его лирическое претворение были, так сказать, стадийно разнесены, то в новой книге бывает очень трудно установить, где, собственно, экспозиция, а где метафизический выход, прорыв в иную, не бытовую, а бытийную сферу. Два плана оказываются совмещенными, наложенными друг на друга. Стихотворение формально остается до конца «картинкой», «сообщением» и в то же время с самого начала полнится непроявленными смыслами. Аллегория превращается в модель жизни. Точнее, в модель обдумывания-переживания, причем не только конкретного события, но и в целом своего присутствия в этом мире.

В качестве примера можно было бы привести такие стихотворения, как «Дети в поезде топают по коридору...» или «Однажды на вырицкой даче в компании шумной...». В первом из них весь лирический сюжет, в сущности, сводится к наблюдению за поведением детей в вагоне. Остальные шумят, но:

Но какой-нибудь мальчик не хнычет, не скачет,
Не елозит, не виснет на ручках, как все,
Только смотрит, к стеклу прижимая горячий
Лоб, на холмы и доли в их жаркой красе!

Цитировать бесполезно, поскольку смысл каждого слова здесь цепко связан с контекстом, причем даже не этого конкретного стихотворения, а книги в целом. И все же. Почти сразу становится ясно, что речь идет о судьбе, распоряжающейся нами столь розно и столь прихотливо объединяющей временем, жизнью, смертью.

В другом стихотворении повод еще более незначительный: сверкающая рядом с вырицкой дачей речка. Решусь привести его целиком:

Однажды на вырицкой даче, в компании шумной,
Я поражен приоткрывшимся видом на реку,
С какой-то неслышанной грацией полубезумной
Лежавшей внизу и смотревшей в глаза человеку,
Как будто хозяин держал у себя под обрывом
Туманную пленницу в тайне от всех, за кустами,
Турчанку, быть может, и прятал глаза, и счастливым
Был, и познакомить никак не хотел ее с нами.

Поэтому в дом пригласил и показывал комнат
Своих череду затененных, с кирпичным камином:
«Легко нагревается и хорошо экономит
Дрова», и вниманье привлечь к полутемным картинам
Хотел, и на люстре дрожали густые подвески,
И плотными шторками окна завешены были,
Вином угощал нас, чтоб мы позабыли о блеске,
Мерцанье в саду — и его ни о чем не спросили.

Как будто ничего, кроме прямого рассказа о посещении приятеля на его даче, здесь нет. Меж тем разговор идет о счастье, о том, что боги ревнивы и отмеченный фортуной предпочитает таить ее дары. Нет, стихотворение богаче. Оно полнится тайной взволнованностью, странной завистливой радостью угадывания. Оно имеет свою человеческую интригу с «пленной турчанкой», в том числе неожиданно отсылающей нас к судьбе Жуковского. Оно вообще все настроено на масштаб жизни —

не придуманной, а той, что у каждого своя и у всех парадоксально общая. А как удается достичь подобной полноты — другой вопрос.

Мне вспоминаются две картины Тициана, написанные с перерывом в тридцать лет на один и тот же сюжет, — «Коронование терновым венцом». Первая — она находится в Лувре — эффектный, детальный, мастерски выполненный рассказ о событии. Вторая — мюнхенская — лишена и намек на событийность. Она не повествует, а выражает. Что? — Всю глубину страдания и надежды. И как! — Одним усилием языка красок, ставших словно бы живыми, одухотворенными. Интересно, что при этом совпадает не только сюжет, но и композиция картин.

Я вспомнил об этом потому, что «лирическая композиция», «лирический сюжет» в стихах Кушнера остались прежними. Изменился художественный язык. Точнее, не изменился, а достиг какого-то нового качества. Слово стало как губка впитывать смыслы, вступая в очень сложные, непроявленные связи со своими соседями, неся на себе отпечаток значений, почерпнутых из всей трехсотлетней традиции русской лирики. Только тут не постмодернистский принцип цитатности, когда управляются крупногабаритными блоками прямых заимствований. Тут работа скорее основана на узнавании, почти тактильном, непосредственном. Не указание, не ссылка, а намек, живой, внутренний диалог с предшественниками.

Кстати, это пушкинский принцип, когда не столько важен предмет, к которому обращается поэт, сколько тонкие смысловые смещения, извлекаемые из работы с лексическим материалом, побывавшим до этого во многих руках и соответственно семантически «зарядившимся». Вероятно, не случайно автором было выбрано и название для своей книги, отсылающее к Пушкину, к его стихотворению 1820 года, — «Редет облаков летучая гряда...».

Хочется еще сказать, что новая книга стихов Александра Кушнера авангардна в самом прямом значении этого слова. Современен (но одновременно и связан с традицией) ее язык, она пестрит сегодняшними речевыми формами, разговорными оборотами, сравнениями и образами, пришедшими из повседневности, что не мешает им, впрочем, соседствовать с ассоциациями чисто литературного и культурного свойства, уводящими далеко — вплоть до римской и греческой древности.

Раньше стихотворения поэта как бы делились в этом отношении по жанровому признаку. Одни можно было назвать бытовыми, другие, условно говоря, античными, третьи — написанными на темы, связанные с русской литературой. Выделялся своеобразный «прустовский» цикл или же стихи, посвященные морю. Теперь же границы между отдельными лирическими областями оказались размытыми. Например, в стихотворении, начинающемся такой прозаической строкой: «Надевайся на даче похуже брюки...», мы встретим и Горация, и Екклезиаста, и позднеримского анонима, и влюбленную поэта. Но более того, и упоминание о статье по стиховедению, воспоминания о прозе Толстого, соображения о женских нарядах, наблюдения за тем, как солнце играет на листьях деревьев в саду и золотит корни ели, «мордастого бегемота», попавшего в сети, тюбик с иссякшей пастой. А в целом все это о том, как быстро проходит жизнь, только-только, казалось бы, начавшаяся, драгоценная, прекрасная. И не только об этом... А о чем, прозой не сказать. Для того и стихи пишутся.

Естественность перескоков с одного предмета на другой, а вернее, свобода и полнота высказывания здесь поразительны. Кушнеру теперь, кажется, достаточно ухватиться за любую мелочь, за любую ниточку, чтобы, «потянув», привести в движение весь лирический смысловой «клубок» с темами жизни и смерти, любви, веры, понимания. Отсюда особая острота и новизна постановки традиционных и центральных сейчас вопросов: об отношениях с Богом и с ближними, о вере и доверии, о смысле творчества, понимаемого как всякий труд, совершаемый честно и хорошо. Я не стану обсуждать аспекты обозначенных проблем. Скажу лишь, что вдумчивый читатель найдет в новой книге Александра Кушнера пищу для плодотворных размышлений по этому поводу.

Алексей МАШЕВСКИЙ.



ВНЯТНАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Быков. Отсрочка. СПб., «Геликон Плюс», 1999, 151 стр.
 Дмитрий Быков. Отсрочка. Книга стихов. Издание второе, дополненное. СПб.,
 «Геликон Плюс», 2000, 163 стр.

Чтение его стихов доставляет удовольствие. Кое-что особо удавшееся перечитываешь по многу раз — и не надоедает. Я не такой сноб, чтобы заподозрить тут изъясн. Но и не настолько наивный читатель, чтобы не взять это свойство на зуб: какой оно пробы?

...Силлаботонику, мерный, регулярный стих (слегка видоизмененный в начале века прибавкой паузников), нередко к тому же строфический, — стих, которым написано, должно быть, девяносто процентов того, что мы любим в русской поэзии, — в конце нашего столетия многократно хоронили: больше критики, чем поэты, но и те тоже. Автоматизм, дескать; все интонационные ходы изведаны, не осталось и местечка для оригинальной инициативы. Стих ломали, выкручивали ему суставы, пытались перейти к принципиально другим просодиям, паче того — к верлибру. Но вот незадача: русские поэты все в новых поколениях прямо-таки рождаются с этими ритмическими стереотипами в мозжечке — от природы не убежишь, даже если эту силлабо-тоническую заразу занесли немцы в XVIII веке, у нас она уже в крови.

Как сегодня вырывают в этом разливанном море стиховой речи, сплошь изборожденном чужими судами и суденышками? Кто как может. Кто-то по возможности отключает *ratio* и полагается на автопилота, сюрреально смыкающего обрывки речений в некий смысловой гул, загадочно параллельный ритмической дорожке. Так поступают Иван Жданов и отчасти Светлана Кекова — в этом именно отношении антиподы Дмитрия Быкова. Возникает эффект *странности*, компенсирующий метрическую *гладкость*, — запредельности, как бы «музыки сфер».

Но силлаботоника, как рано уяснил себе Быков, и предельно коммуникабельна, превосходно приспособлена для внятной адресации — потому ли, своему ли кругу, публике — публика-то стихов иного образца вообще не приучена понимать. Правда, на этом пути определиться сложнее: выручить должна не странность (имитация новизны), а самостоятельность содержания — не одно пресловутое «как», а прямодушное «что».

Дм. Быков мог бы повторить за тезкой Минаевым: «Область рифм — моя стихия, и легко пишу стихи я». Но это качество, как мы знаем, не сделало Минаева заметным поэтом-художником. Быков («молодой», по нашим чудовищным меркам, стихотворец, тридцатитрехлетний) пишет давно, много и с такой ненатуральностью, какую нельзя симитировать — ибо читатель-слушатель тут же союзнически попадает в такт; из его четырех сборников, где почти нет перепечаток, получился бы уже преизрядный томище. Однако в первых книжках с той же очевидностью обнаруживаются его проблемы — как поэта, претендующего на существование лирического высказывания. Главная из них, шутка сказать, — при стопроцентном владении стихом и словарем дефицит мысли, не скрадываемый флером иронии. Скажем, вещица «Эвксинский понт» из сборника «Послание к юноше» (1994) — пять литых восьмистиший шестистопного ямба с безупречной живописностью, естественным (размер нигде не жмет) синтаксисом и чуть смешливым налетом архаики, добавляющим искусности. Одна из строф, к примеру:

Се цепь придаточных, подобная волнам,
 Гонимым к берегу, растущим друг из друга.
 Восторженный поэт глядит по сторонам
 И не умеет скрыть счастливого испуга:
 Что понту сделается? Он как божество;
 Ему неведомы хвалы и пени наши:
 Не знает никого, не хочет ничего,
 Самодостаточный в своей гигантской чаше.

Дальше, поверьте, еще лучше, но, дочитав до конца, убеждаешься, что вся эта демонстрация неординарных способностей служит не более чем дружеской шутке в

духе «куртуазного маньеризма». «Странные» стихи ускользают от фатального вопроса: зачем? — при чтении «внятных» он неизбежен, и худо, когда не получает ответа.

Группа «куртуазных маньеристов» оказалась для ее участника Быкова бесполезной. Вообще, та игра была совсем не так глупа. Вызывающая шутейность адресовалась не публике (которая «куртуазными» стихами мило развлекалась, нисколько не будучи фразирована), а «серьезному» поставангарду: мы-де умеем болтать в рифму легко и весело, по-книжному красиво, меж тем как вы, этого, должно быть, не умея, громоздите вавилоны метафор, перебираете занудные картотеки или двигаете туда-сюда оловянных «милицианеров». Словом — ироническая реакция здравого смысла (ирония ютилась и в самой гладкописи). Круг «прожектеров безопасных, рожденных для ролей костюмных», помог отмежеваться от другого круга, чужеродного («...затем что гниль чужда моей природе и я скучаю там, где гибель в моде»), но загоняющего к себе ветрами времени: «Этот бронзовый век, подкрашенный серебрянкой, / Женоклуб, живущий сплетней и перебранкой, / Декаданс, деграданс, Дез-Эссент, перекорм, зевок, / Череда подмен, ликующий ничевок...» Но одновременно то была школка компанейской «эстрадности» и казспэшности, прикладных, облегченных задач. Такие умещающиеся в этих рамках отличные вещи Быкова, как «Курсистка» и «Версия», будут производить эффект в публичном чтении и тогда, когда о «маньеризме» прочно забудут. Но они еще не делают поэта.

«Без раздумья, без отсрочки я бегу к строке от строчки».

И вот — «Отсрочка».

Гладкость — осталась, и слава Богу, но возникло сопротивление материала. Юмор, сопутствуя самопознанию, принял углубленный оборот. Высказывание — состоялось.

Кстати: о том, что здесь названо «гладкостью», а точнее — о ритмико-интонационной знакомости. Быков недобро посмеивается над теми, «Кто говорит цитатами, боясь / Разговориться о себе самом», над центонщиками, или как их звать (сам, впрочем, в меру не чураясь того же). Но гони цитату в дверь, она влетит в окно — в окно нашего «александрийского» фен-де-сьекля. Мелодии быковских стихов сплошь цитатны. Ранний Кушнер, ранний Чухонцев, их ямбы и анапесты (а заодно, бывает, их содержательные мотивы); то Шуберт на воде, то Моцарт в птичьей гамме; то откуда ни возьмись маршаковский Бёрнс («Шестая баллада»), то иной, уайльдовский, «лад баллад», то любимец Киплинг в известных русских переводах, открывших в свое время новые мелодические ходы, то киплинггианский Гумилев, то... многое еще, включая Некрасова и Блока, Нонну Слепакову, Булата Окуджаву и Новеллу Матвееву. Едва ли не сквозь каждый напев пробивается его звучащий прототип. Казалось бы, трудно представить себе более «книжную» поэзию. Казалось бы, не стихи, а какой-то палимпсест. Казалось бы, я говорю убийственные вещи. Ан нет.

Все было. Только ты неповторим,
И потому — не бойся повториться

О том, что послужило моделью, как-то не хочется думать, даже когда знакомый звук припоминается сам собой. Стихи несут в себе собственный, индивидуальный драматизм, и повышенная складность, обеспеченная предшественниками прилаженность к уху доносят его на поверку прямее, чем свои и изломы. Почему так — не знаю. Тут не эстетический рецепт широкого применения, а личный секрет Быкова. Впрочем, разгадка секрета отчасти в том, что весь этот разномастный репертуар может ужиться и прижиться как целое лишь в сердце романтика, мыслящего слегка отлетно.

Перед нами романтический поэт, чья мировая скорбь, пройдя через прокатный стан бесцеремонной эпохи, превратилась в «постэсхатологическую» растерянность, а «высокая болезнь инфантилизма» предусмотрительно надела маску Одиссея хитроумия. Адреса же его стенаний, просьб, недоумений, укоров, подначек, протестов и попыток стоицизма — женщина, страна и Бог. Иногда это как бы еди-

ный адресат (на что сам поэт любезно указывает) — ввиду единого к ним отношения: дерзкой требовательности и униженной зависимости.

Бог достаточно условный — такое место для хранения книги жалоб, — но и не вполне условный, иначе с кого был бы спрос за все, что делается; как романтическому поэту обойтись без Бога, даже если он ну совсем не верит в Него? Разговоры с Богом (в отличие от Г. Русакова, литератора прописная) едва ли не в центре «Отсрочки» — ибо и саму отсрочку, разрешение на вдох-выдох дает тот же Бог, наподобие мента или военкома в конторской ожидальне (см. вступительные стихи). В одном из самых звонких стихотворений Бог предстает в виде тоталитария, занятого великими делами и враждебно-безразличного к частным нуждам человека.

.....
 Бог созидающа, Бог поступка,
 Водитель орд, меситель масс,
 Извечный враг всего, что хрупко,
 Помилуй, что тебе до нас?
 Нас, не тянувшихся к оружию,
 Игравших в тихую игру,
 Почти без вылазок наружу
 Сидевших в собственном углу?

 Вершитель, вешатель, насильник,
 Строитель, двигатель, мастак,
 С рукой шершавой, как напильник,
 И лаской грубой, как наждак,
 Бог не сомнений, но деяний,
 Кующий сталь, пасущий скот,
 К чему мне блеск твоих сияний,
 На что простор твоих пустот,
 Роеные матовых жемчужин,
 Мерцающие раковин на дне?
 И я тебе такой не нужен,
 И ты такой не нужен мне.

Но с тем же напором мятежник переписывает, хоть и на свой обидчиво-ехидный лад, пушкинского «Пророка»: преобразование живого в карандаш — содранные ветки, выдолбленная сердцевина (трепетное сердце) и — водвинутый уголь — графитовый стержень.

И когда после всех мучений
 Я забыл слова на родном —
 Ты, как всякий истинный гений,
 Пишешь сам, о себе одном.

Ломая, переворачивая,
 Заточивая, чиня,
 Стачивая, растрчивая
 И грея в руке меня.

Какой же он будет поэт, если — пусть скрипя зубами — не почувствует себя стилем в руке Божией? Замечательна и последняя строчка, лизнувшая (на всякий случай) Божескую руку.

Со страной, вчерашней, сегодняшней, — того горше и сложнее. Ненависть к мертвенной имперской несвободе в стиле вамп — она в порядке вещей: «Нет, уж лучше эти, с модерном и постмодерном, / С их болотным светом, гнилушечным и неверным... И хотя из попражня норм и забвенья правил / Вырастает все, что я им противопоставил, / И за ночью забвенья норм и попражня прав / Настает рассвет, который всегда кровав... Но... уж лучше все эти Поплавские, Сологубы, / Асфодели, желтофиоли, доски судьбы — / Чем железные ваши когорты, медные трубы, / Золотые кокарды и цинковые гробы».

И однако с какою нежностью вспоминаются «сумерки империи» (в одноименном стихотворении и в полной давнего мальчишеского счастья «Балладе об Индире Ганди»). На минуту поверим объяснениям человека паузы, «зазора, промежутка», чей «вечный возраст — возраст переходный»: «Я вообще люблю, когда конча-

ется / Что-нибудь. И можно не спеша / Разойтись, покуда размягчается / Временно свободная душа» Но это элегическое пиано сменяется могильным аккордом, предвещающим за «паузой» – небытие:

Это время с нынешним, расколотым,
С этим мертвым светом без теней
Так же не сравнится, как pre-coitum,
И post-coitum, или, верней,
Как отплыть в Индию — с прибытием
Или, если правду предпочесть,
Как соборование — со вскрытием
Грубо, но зато уж так и есть.

Вот она лежит, располованная,
Безнадежно мертвая страна, —
Жалкой похабенью изрисованная
Железобетонная стена,
Ствол, источенный до основания,
Груда лома, съеденная ржой,
Сушь во рту и стыд неузнавания
Серым утром в комнате чужой

(«Сумерки империи»)

Я вижу посткоммунистическую Россию по-другому: без повреждений, несовместимых с жизнью, и в объятиях утра не серого, а свежего, хоть и холодного. Но, может статься, Божий карандаш обвел в загадочной картинке настоящего то, чего я не различаю? Стихи-то лезут в душу. Предпочитаю думать, что романтическая муза всегда ищет утешений в прошлом (которого порой даже не помнит: стихи о «тоталитарном лете» навеяны больше «Утомленными солнцем» Н. Михалкова, чем исторической памятью¹), между тем как текущая жизнь служит рамой для неудовлетворенности миропорядком.

Повторю: романтизм этот прошел изрядную «земную» выучку и тем не банален. «Я хитрец, я пуганый ясный финист, спутник-шпион, / Хладнокожий гад из породы змеев, / Бесконечно-длинный ползуче-гибкий гиперпеон, / Что открыл в тюрьме Даниил Андреев... Я текуч, как ртуть, но живуч, как Русь, и упрям, как Жмудь: / Непростой продукт несвоей эпохи». Новый «лирический герой» родился: помесь Швейка с д'Артаньяном!

Уживаются эти двое совсем не просто. У одного «изгибчатый скелет, уступчивая шея» — прямая осанка у другого. Один не стыдясь восклицает: «Какая дрянь любой живой, / Когда он хочет жить!» — и упивается «Живого перед неживым / Позорной правотой» — другой заявляет дуэльное бесстрашие: «Превысь предел, спасись от ливня в море, / От вшей — в окопе. Гонят за Можай — / В Норильск езжай. В мучении, в позоре, / В безумии — во всем опережай» («Одиннадцатая заповедь», подражание знаменитому «If» Киплинга) Один (солдат-пацифист) тащит в дом, другой (бретер-мушкетер) — из дому; один любит постоянство малых жизненных забот и затей, другой — более всего страшится *повтора*, «диктатуры круга» (символы бессцельности, то и дело отсылающие к поэме Чухонцева «Однофамилец»), один доверяет лишь ценности своего преходящего существования, другой разводит руками: «Нет ничего, что бы стало дороже / Жизни, — а с этим-то как проживешь?»

«Притяженье бездны и дома вечно рвет меня пополам», — сказано (в старой книжке) избыточно красиво. Но это живое противоречие, и оно снимает налет декларативности с риторических (совсем не в худшем смысле) стихов, коих у Быкова большинство.

¹ Как, впрочем, «Постэсхатологическое» — «Новыми робинзонами» Л. Петрушевской, вторая новелла из цикла «Война объявлена» — кажется, «Ближними странами» Д. Самойлова, а может быть, советским «военным» кино, «Поэма отъезда» — поздним Катаевым. Фантазию Быкова часто возбуждают впечатления вторичного порядка, но он умеет придать им визионерскую рельефность так было, так снилось

Это же противоречие динамизирует поэтику; не дает с нею соскучиться. Стихи полны заземленных подробностей, играют их перечнями (зря автор смеется над «номинативным захлебом» своих эстетических оппонентов — сам такой): «...и пластмассовые вилки, и присохшие куски, корки, косточки, обмылки, незащитые носки, отлетевшие подметки, обронённые рубли...» Но тут же происходит как бы развоплощение жизненного сора и возгонка его к отвлеченному значению («...тени, призраки, осколки наших ползаний в пыли»). В «Пятой балладе» (опять Киплинг!), этом потоке перечислений, к «инвалиду из тира», «коту с облезлым хвостом», «ресторану „Восход”» и проч., и проч. приравнены «тончайшие сущности», что «плоти лишены». Все вместе они — не то, что глаз поэта видит сейчас, а то, что видно его умозрению вне координат часа и места. Так сказать, Платоновы «идеи», лишённые натуральной грузности и при вульгарном прозаизме вписывающиеся в романтический горизонт. Внятные речи поэта не настаивают на своей буквальности. Они — иносказательны, что и просят иметь в виду.

В поэзии этой «все, выходит, всерьез». И принимаешь ее совершенно всерьез — вопреки собственному опыту стреляного воробья, вопреки ее зазывным и силовым приемам. Заходя и так и эдак, прибегая и к «истине ходячей», и к парадоксу, поэт передает свою мысль о жизни, с увлекающей чувственной энергией.

Ирина РОДНЯНСКАЯ.



ИЗ СВЕРДЛОВСКА С ЛЮБОВЬЮ

Борис Рыжий. *From Sverdlovsk with love*. Стихи. — «Знамя», 1999, № 4.

Борис Рыжий. *Горный инженер*. Стихи. — «Знамя», 2000, № 3.

Борис Рыжий. *И все такое...* Стихотворения. СПб., «Пушкинский фонд», 2000, 52 стр.

В одном (одном из самых «простых») стихотворении Бориса Рыжего лирический герой, придуманный в первой строфе, погибает в последней: трое убийц настигают его на безымянном, как та высота, свердловском пустыре и оставляют лежать неподвижной приманкой для милицейской машины, уже вылезавшей, шевеля лучами мигалки, будто таракан усами, из какой-то щели кирпичных катакомб. Главным из троих, тем, кто возглавил акцию и дал в решающий момент команду «мочить», был собственно автор, двое других представляли собой его не очень плотно окрашенные тени, ставшие пылью в синеватом милицейском луче еще до того, как был обнаружен труп.

Мотив этого рядового преступления, нечувствительно пополнившего милицейскую сводку, был чисто литературный: потерпевший был «посредником», «дармоедом», которому «плевать на аплодисменты», в то время как автор думал «дошкандыбать до посмертной серебряной ренты» путем реальной работы над бумагой, над языком, над мастерством. Та энергия, которую отреагировавшие критики (в частности, умный Кирилл Кобрин) обнаруживают в стихах Бориса Рыжего и приписывают ее «пролетарской» витальности поэта (что само по себе соответствует действительности), происходит, на мой взгляд, и из более личного источника. Не особо надеясь на то, что «дармоед», от которого так многое зависит, есть явление стабильное (а жизнь пролетарского района учит как раз тому, что хорошего помаленьку), Рыжий живет в поэзии как бы одним днем, одним создаваемым текстом. Он не экономит, не думает о распределении сил на какой-то обозримый этап. Оттого творения Бориса Рыжего обладают дурной, непричесанной, в разные стороны прущей энергетикой, что и выделило двадцатипятилетнего поэта из общего, достаточно спокойного литературного потока. Переживая паузы между стихотворениями как систему тихих катастроф (что отражается опять-таки в стихах), Рыжий враждует со своим «дармоедом» и пытается его не то «придумать», не то прикончить. Нюансы этой вражды не поддаются внятной артикуляции, преступле-

ние на безымянном пустыре не может быть раскрыто: менты получили в свои отчеты типичный «висяк».

Поэту Рыжему, в общем, далеко до высокой классической гармонии или до иных, более актуальных форм поэтического совершенства. Собственно, его нельзя пока что назвать даже профессионалом литературы: тяжелые разборки с «посредником» не оставляют ему возможности работать над своей филологической базой, да и нет у него ощущения, что эта работа в принципе дает какой-то творческий результат. Скорее тут присутствует чувство тщеты любого сознательного усилия. Тем не менее «неиспорченность» Рыжего сильно преувеличена: этот «новый Есенин», безусловно, впитал разнообразный опыт многих прочитанных поэтов, включая упомянутого классика, а также Слуцкого, Смелякова, Штейнберга и для меня наиболее явственно — Павла Васильева. Русская поэзия — сложное послание: в упаковке одного поэта обязательно получаешь другого или, что правильной, других. Каждый поэт подобен матрешке: в каждом базово присутствуют и Пушкин, и Блок, и Мандельштам — но только такие Пушкин, Блок и Мандельштам (желающие расширят список до десятков имен), каких данная фигура может вместить. Попадались мне и Бродский с мизинчик, и Кирилов с наперсток, внутри которого парадоксально помещался уже совсем миниатюрный Пригов. Рыжий, по-видимому, читал поэзию беспорядочно, всласть, без профессиональных учителей (по образованию он геофизик) и не выработал пока своего эксклюзивного способа упаковки литературного багажа. Он влет, на слух, на интуиции усвоил те приемы и способы обращения с «культурным эхом», какие почти у всех нынешних пользователей выработаны сознательно (постмодернизм рассудочен, на том стоит). Что до ученичества — о котором, разбирая «молодого автора», нельзя не сказать отдельно, — то Рыжий, как он сам говорит, учился у второстепенных поэтов. Возможно, чужие «дармоеды», представлявшиеся екатеринбургскому поэту много сильнее собственного фантома, были таковы, что связываться с ними Рыжий не захотел.

Сейчас Борис Рыжий переживает первую волну литературного успеха: большие подборки в «Знамени» и «Звезде», поощрительный Антибукер за поэтический дебют, наконец, выход первой книги в престижном «Пушкинском фонде», где издают самый цвет российской поэзии. Словом, пошла раскрутка, и Рыжий попал в то самое колесо, которое, если не катится вперед, валится набок. Разумеется, не замедлили раздаться обеспокоенные голоса, толкующие о том, что молодого автора всегда нахваливают с избытком, увлекаются выдачей авансов, что это может «испортить» талантливого парнишку, еще не заработавшего всего того, что на него упало с неба. В общем, вокруг имени Рыжего создалась атмосфера густого доброжелательства, готовая вот-вот разразиться холодным ливнем. Настоящая проблема состоит, по-видимому, в том, что Рыжий понравился публике в качестве экзотического персонажа, такого резкого пацана, носителя блатной романтики, рифмующего «лето» и «сигареты», «говно» и «окно», «муде» и «МВД». Известная часть литературной публики любит быть шокированной; в стихах Бориса Рыжего, где о лексике даже не стоит вопрос, нормативная она или не нормативная, такой читатель находит то, что хочет найти. Интонация как бы Вилли Токарева плюс немножко от Высоцкого задевает сентиментальные струнки в читательской душе, расслабляет, обещает безответственную «простоту». Примесь «низкого» жанра в «высоком» всегда подкупает; кроме того, это входит в модели актуальной литературы и дает сигнал к признанию Рыжего в качестве модного персонажа литературной тусовки.

На самом деле все не так «просто». Для меня, например, очевидно, что Рыжий слишком талантлив, чтобы режим пользователя, режим послушного следования раз найденному ампула был для него органичен. Мне Борис Рыжий интересен тем, что он в своих стихах отрабатывает два связанных между собой мифологических пласта: блатную субкультуру и «Свердловск» — не столько реальный город (хотя бы потому, что на месте «Свердловска» уже «Екатеринбург»), сколько индустриальные задворки цивилизации, где мировая культура — это «кино», привозной мерцающий призрак прокуренных кинозальчиков; здесь самые крутые зрители и самые нежные отношения — всегда в последнем ряду

Много было всего, музыки было много,
а в кинокассах билеты были почти всегда
В красном трамвае хулиган с недоτροгой
ехали в никуда.

Музыки стало мало
и пассажиров, ибо трамвай — в депо.
Вот мы и вышли в осень из кинозала
и зашагали по

длинной аллее жизни Оно про лето
было кино, про счастье, не про беду
В последнем ряду — пиво и сигареты
Я никогда не сяду в первом ряду.

Это стихотворение Рыжего, с таким узнаваемым «бродским» несущим предложением, на который, как на ушибленную ногу, припадает строфа, и с характерным уже для Рыжего недостатком-избытком материала в строке («Музыки стало мало», «Флаги красн., скамейки — синие...» и так далее), — это стихотворение, хоть и лишённое очевидных блатных отсылов, развивает один из базовых сюжетов данной субкультуры — сюжет «хулигана и недоτροги». В каком-то смысле этот сюжет вечный, не на один круг, прошедший и через балетную сцену, и через печатный станок. «Я никогда не сяду в первом ряду» — вот заявленная автором, если угодно, программная позиция, означающая заведомый отказ от места в литературном президиуме и приверженность к базовым сюжетам в их низовом, маргинальном варианте. Неизящная ипостась изящной словесности дается Рыжему естественно, потому что соответствует его не литературному, но личному опыту, тому совокупному эмоциональному полю, в которое он погружен и где ощущает себя комфортно, поскольку «нравится себе с окурком „БАМа” на губе».

Собственно говоря, все блатное самосознание — сплошная литература. Здесь нет «правды» в обычном понимании слова. Если человек говорит, что сидит ни за что, — это правда не юридическая, но художественная, не для прокурора, но для песни. Здесь, не умея и страшась разбираться, например, со своей человеческой совестью (присутствующей, однако, на дне стакана), человек выращивает совесть другую, придуманную: никогда не забуду, как убийца, «исполнивший» не одного должника, надрывно каялся, что вот-де он какой подлец, взял у сестры продать магнитофон, а денег не отдал, не успел, закрыли суки менты — ну и так далее, и все такое. Бориса Рыжего несложно уличить в позерстве, он и сам рефлектирует в стихах на эту тему. Дело, однако же, в том, что позерство это — свойство не поэтики, но материала. Что касается стихотворца, то он как раз пробивается к «наивному», в сущности, детскому взгляду на окружающую его героизированную действительность.

Лысов Евгений похоронен.
Бюст очень даже натурален.
Гроб, говорят, огнеупорен.
Я думаю, Лысов доволен.
Я знал его от подворотен
до кандидата-депутата.
Он был кому-то неугоден
А я любил его когда-то.
... ..
Я мало-мало стал поэтом,
конечно, злым, конечно, бедным,
но как подумаю об этом,
о колесе велосипедном —
мне жалко, что его убили.
Что он теперь лежит в могиле

Последние две строки приведенного отрывка — удивительный образец абсолютной простоты, до которой надо еще дойти, отстреливая, как ракетные ступени, лезущие в строчку и в душу художественные образы. Перемахнуть через образ, как через забор, и оказаться на свободе, «нарезать по пустырю» — вот характерная для

Рыжего динамика стихотворения. Создавая и одновременно разрушая валкие декорации (нары, с которых, «до пупа сорвав обноски», лезут фраера одного его стихотворения, несомненно, к таким декорациям относятся), Борис Рыжий видит и то, что имеется здесь настоящего: любовь и смерть. Любовь и кровь, водка и слеза — вот коктейль не слишком изысканный, но всегда достойный пера Венички Ерофеева. «Когда я выпью и умру...» — пишет очень-очень молодой поэт, и кто-то может подумать, что ему по-пацански хочется казаться большим мужиком. На самом деле в стихотворении все как в жизни, вернее, в ее ощущении: здесь молодость в своем эстетическом качестве густо приправлена смертью, заряжена ею, как сюжетной возможностью, почти неизбежностью. «Живи красиво, умри молодым» — этот лихой девиз «правильных пацанов» понимает раннюю смерть как часть программы красивой жизни (а никакой другой не надо); блатная песня про прокурорскую дочь вдруг отзывается чем-то блоковским — в цветном платке, на косы брошенном, красивая и молодая... И что-то лермонтовское вдруг проступит в этих забубенных «лишних людях», которых Рыжий любит так искренно и нежно, как только может выдержать конструкция стиха.

У памяти, на самой кромке и на единственной ноге стоит в ворованной дубленке Василий Кончев — Гончев, «Ге!» Он потерял протез по пьянке, а с ним ботинок дорогой. Пьет пиво из литровой банки, как будто в пиве есть покой. А я протягиваю руку: уже хорош, давай сюда!
Я верю, мы живем по кругу, не умираем никогда. И остается, остается мне ждать, дыханье затая: вот он допьет и улыбнется.
И повторится жизнь моя.

Здесь задача поэзии — через память разомкнуть смерть, сделать потерю неокончательной, жизнь — поправимой. Ямбическое стихотворение, плывущее под полной лермонтовской парусной оснасткой, записано, однако, «в строчку», намеренно неровную, прячущую рифмы по карманам, — за счет чего возникает вполне запланированный освежающий эффект, но не только. Почему-то на том же «снижающем» приеме сделано одно из самых нежных стихотворений Рыжего — «Море», где тоже «на самой кромке» возникает конкретный герой — «писатель Дима Рябоконт», с которым автор встречается будто бы на берегу ласкового моря, а на самом деле «в кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты». Кажется, будто автор, высказывая чувства, сразу ищет способ их укрыть, намеренно понижает голос и, не в силах освободиться от власти размера и рифмы, от притяжения поэзии (белеет парус одинокий!), почти бормочет почти одними строчными. Непрямое цитирование как прием и примета постмодерна принимает у Рыжего собственную форму: текст его, записанный в строку, вращается вокруг совокупной большой поэзии, как спутник вокруг планеты, то есть бесконечно падает на нее, и движение получается неверным, неровным, туда и сюда растянутая орбита не имеет ничего общего с правильной окружностью. Однако именно эти неправильные стихи, наматывающие виток за витком, оказываются самыми подходящими, чтобы выразить особого рода приязнь, которая возникает, когда делаешь близкого человека персонажем текста. В «Ex libris НГ» Александра Горячева, писавшая о знаменской подборке «Горный инженер», точно подметила особенность стихов Бориса Рыжего: «Ни единого — без упоминания собственного имени, будь то известный поэт, свой в доску приятель, барышня или просто приметная личность, скажем, „местный даун Петя“». Все это действительно очень «конкретно» или даже, как острит Горячева, «чисто конкретно». Дело в том, что для Бориса Рыжего очень важно быть своим среди своих. Среда, которую любой нормальный интеллигент определит как очень нехорошую среду, может быть для человека спасением, и не только в том смысле, что при возникновении проблем возникает и возможность с этими проблемами «чисто конкретно» разобраться. Для Рыжего его некултурное сообщество — спасение от «литературы» в том смысле слова, в котором его употребил Верлен. При том, что данное сообщество, как уже было сказано выше, само на пятьдесят процентов является «литературой», задача поэта — отделять существен-

ное от несущественного и вырабатывать собственный миф, в котором (западают клавиши пишущей машинки) «те, кого я сочинил, плюс эти, кто вз пр вду был, и этот двор, и этот дом летят на фоне голу ом, летят неведомо куд — кр сивые к к никогда».

Голубой фон, на нем красн. флаг, дребезжит по заросшим рельсам трамвай номер такой-то, мирно пылится тощая, милицейского серого цвета свердловская сирень. Этот узнаваемый пейзаж, по которому плывут, будто тени облаков при ускоренной съемке, разломаченные тени заводских дымов, вошел в стихи Бориса Рыжего с той оправданной основательностью, с какой пейзаж обычно входит только в прозу. «Свердловск», где обитает автор на пару с лирическим героем, на самом деле не есть населенный пункт. Это, поскольку столице Урала двойное переименование даром не прошло, есть кольцевой маршрут «Екатеринбург — Свердловск — Екатеринбург», где трамваям, как правильно чувствует Рыжий, отведена почетная роль основного вида транспорта. С другой стороны, «Свердловск» представляет собой территорию без выраженного центра: центр выпадает из кольца точно по тому же пространственно-временному закону, по которому, скажем, Москва выпадает из России. Зато периферия, расположенная вокруг фатальной дырки от бублика, имеет свойство присоединять к себе иные, все более удаленные провинции: в стихах Бориса Рыжего поселок Кытлым, деревня Сартасы и город Уфалей — это тоже «Свердловск». Территории соединяются не как на географической карте, а как в небе облака; поэтому в «Свердловске» есть что-то небесное, синь в стихах Бориса Рыжего не случайна. Этот поэт, не слишком балующий читателя цветом музыкой, очень точен в тех немногих красках, что имеются в текстах; несмотря на «чисто конкретно», Рыжий как-то умеет передать и ту безымянность, что на пространствах кучевого и перистого «Свердловска» сквозит среди поименованных улиц, переулков, площадей: реальным пустырям соответствуют пустоты языка.

Мифология опорного края державы, добытчика и кузнеца, не выдерживает проверки частным опытом, на который прежде всего опирается Борис Рыжий; мифология «завешанного штанами» хрущобного двора, где в пацанских играх и в доминошных ветеранских посиделках еще сохраняется советская героика, — эта мифология оказалась сильнее. То же можно сказать о свердловской бандитской балладе: это вообще очень сильная эстетика (легенда, будто Виктор Пелевин бригадирует на палатках в Северном Чертанове, весьма не случайна, как не случайны вообще все легенды об этом писателе-персонаже). Думаю, что «Аллеи бандитской славы» на свердловских кладбищах, все эти колоннады, лестницы, мраморные статуи, отдающие какой-то детской мечтой о поездке к морю (см. стихотворение Рыжего «Море»), станут когда-нибудь памятником не столько лежащим под этими террасами, сколько времени и мифу. В попытке оборудовать *здесь* посмертный курорт есть что-то наивное, языческое, а между тем смерть — она настоящая, ее не заложишь никаким мрамором, ее, как в кино, не открутишь в обратную сторону. Про это у Рыжего тоже написано в стихах.

Не знаю, входит ли в намерения екатеринбургского поэта дразнить высококолых критиков, подбрасывая им перепевы «Таганки», чтобы критики за это радостно ухватились. Думаю, что Рыжий по-человечески не столь замысловат, он просто переносит в поэзию ту уличную музыку, под которую живет. Вокзальный бомж с надрывной гармошкой, «в надетом наголо пальто», у которого в грязной, как подошва, нищенской кепке никак не прибавляется монет; более литературный, не нуждающийся в деньгах саксофонист, который тем не менее играет для пропойцы, засыпающего на мокрой скамье; фабричный репродуктор на красной трубе (опять «красн.»!), поющий «огромную песню» людским непроснувшимся толпам, дочерна густеющим у проходной... Все это тоже «Свердловск». Соотношение музыки, города, поэта и облака у Рыжего сформулировано так:

Что же касается мальчика, он исчезает
А относительно пения, песня легко
то форму города некоего принимает,
то повисает над городом, как облако

Стихи, принимающие форму города, при том, что «Свердловск» изначально и по определению не имеет формы, — задача не для бездарного пера. Тут действительно надо быть очень-очень «своим». И однако (все-таки у меня не получилось не присоединиться к хору доброжелательных предостережений) та эстетика и та мифология, с которыми сейчас работает Борис Рыжий, исчерпаемы и конечны. Быть всегда таким, каков он сейчас, у Рыжего не получится. Что ободряет и вселяет некое подобие уверенности в будущем молодого автора — он имеет в русской поэзии (а не только в маргинальном сообществе, во многом все-таки декоративном) и почву, и хорошую родословную. Как Есенин, как Павел Васильев, Рыжий пишет стихи *о себе* — в том смысле о себе, что наполнение лирического героя *собой* происходит по полной программе. Дистанция минимальна, переживание непосредственно, чувства натуральны; именно это, а не блатная романтика позволит Рыжему определить и занять свое законное место в литературе. Таким образом, автор никогда не сможет убить своего «дармоеда» на подсиненном ночном пустыре; проще поверить наконец в его существование.

Ольга СЛАВНИКОВА.

Екатеринбург.



ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

I. UGO PERSI. I suoni incrociati. Viareggio — Lucca, 1999, 295 p.
УГО ПЕРСИ. Звуки на перекрестке.

Интердисциплинарные исследования все больше утверждаются в современной культурологии. Союз литературы и музыки в русской культуре — тема с несомненной традицией и с существенной библиографией. Книга профессора Бергамского университета Уго Перси посвящена (как указано в ее подзаголовке) тому историческому отрезку, который определен исследователем как «Россия романтизма». На основе обширных и разноязычных литературных источников книга дает впечатляющую синтетическую картину встречи слова литературного и звука музыкального.

Структура книги следует за движением русской литературы с конца XVIII по середину XIX века, которое рассматривается в связи с интересом к музыке у отдельных представителей писательского мира и, шире, в связи с формированием музыкальной культуры в России тех лет. Обширное и сложное историко-культурное построение, освещающее как музыку в мире словесности, так и словесность в творениях музыки, включает ряд монографических глав, посвященных наиболее ярким и известным читателю личностям — Грибоедову, Владимиру Одоевскому, Пушкину, Лермонтову, Гоголю, Соллогубу. Привлекаются и имена Дельвига, Веневитинова, Станкевича. Их жизнь и творчество исследуются под углом их интереса к музыке и проникновения музыкальных мотивов в их произведения (интересна, например, глава, посвященная «маленькой трагедии» «Моцарт и Сальери»). Привлечение мемуаров, переписки, архивных сведений придает тексту несомненную живость, рельефность, почти беллетристический, романический характер; это, например, относится к красочным портретам Зинаиды Волконской и Владимира Одоевского. Особенно удачна глава о последнем, насыщенная бытовыми картинками, историческими и философскими комментариями.

Сложное переплетение сообщаемых фактов и событий, подчас далеко отступающих от непосредственной тематики, способствует созданию убедительной, в некоторых аспектах даже новой картины становления русской культуры в первой половине XIX века. Музыка как таковая, музыкальные жанры и стили, отдельные персонажи выступают как значимые моменты в общей широкой полемике по вопросам романтической эстетики. Как особая грань исследования здесь присутствует тема проникновения немецкой культуры в Россию и ее освоение русским культурным миром. В этом плане особенно интересны страницы, посвященные восприятию музыки Бетховена, ее трудной судьбе в России, или полемика «за» и «против» итальянской музыки и в защиту Моцарта.

II. SERENA VITALE. La casa di ghiaccio. Venti piccole storie russe. Milano, Mondadori, 2000, 223 p.

СЕРЕНА ВИТАЛЕ. Ледяной дом. Двадцать маленьких русских историй.

Имя Серены Витале, итальянской исследовательницы русской литературы, стало широко известно в Италии и в других странах, причем не только среди специалистов-литературоведов, после появления ее книги «Пуговица Пушкина» (1995), ныне уже переведенной на шесть языков, включая и русский. Интерес, который вызвала эта книга, объясняется не только ее темой: последние дни поэта, история его трагической смерти, — но и неординарной трактовкой этой темы, к которой обращалось так много пушкинистов, вернее сказать, особенностью исследовательского метода. Литературоведческая манера С. Витале, несомненно, своеобразна. Скрупулезные архивные разыскания, их точное научное использование сочетаются с полетом воображения, со смелыми догадками, гипотезами, иногда даже вымыслом, с целью как можно убедительнее воссоздать события, эпоху, характере-

ры — целостную картину, живо нарисованную писательским пером, часто не чуждающимся кинематографических приемов.

Название новой книги Серены Витале, конечно, сразу же заставляет вспомнить роман И. Лажечникова, а история, им поведенная, составляет основу второго из рассказов книги. Правда, в несколько сокращенном виде, поскольку все ограничивается лишь свадьбой в «ледяном доме». «Истории», вошедшие в книгу, охватывают годы от Петра I до Александра I включительно — период, знаменательный для становления новой русской государственности и новой русской культуры. Но цель книги отнюдь не историческая и, можно сказать, даже не историко-литературная. Автор — в первую очередь писатель, одаренный повествователем, обративший свое внимание на некоторые незаурядные, оригинальные личности или странные, необыкновенные факты, оставившие след в русской исторической памяти. И не исторические деятели привлекают в первую очередь интерес автора: Петр и Екатерина скорее относятся к фону; разве что Анна Иоанновна, Павел I и Потемкин удостоились роли центральных персонажей. Героями рассказов оказываются в основном рядовые представители русского общества, русского дворянства (но не только дворянства: один из рассказов, к примеру, посвящен загадочной личности Ваньки Каина). Мы встречаемся с интригующими персонажами, среди них Толстой-Американец, княжна Тараканова, Салтычиха, богач Демидов, Дмитриев-Мамонов, друг Пушкина Нашокин. Повествуется и о важных событиях, таких, как восстание декабристов, холерный бунт...

Серена Витале рассказывает истории, в большинстве своем уже зафиксированные в мемуарах, переписке, официальных документах эпохи. Но при этом ей прекрасно удаются бытовые и жанровые зарисовки (кстати, не характерные для русской живописи указанного периода), знаменательные, «говорящие» подробности, дающие представление о сложной атмосфере эпохи, в которой прихотливо сочетались государственное начало и частное своеволие, просветительские инициативы и крепостническое самодурство, покорность и бунтарство, религиозный и светский элементы. Правда, нужно сказать, что общая картина выдержана скорее в мрачных красках.

Бытовые детали (интерьеры, мебель, обеды, костюмы, подсчеты состояний и безумных расходов) создают запоминающийся фон, на котором выступают причудливые фигуры, иногда зловещие, как Салтычиха, иногда трагические, как невенчанная царица, невеста Петра II. Словно цветные стеклышки в витраже, «истории» в своей совокупности составляют мастерски нарисованную жизненную панораму.

III. GIOVANNA SPENDEL. *La Mosca degli anni Venti. Sogni e utopie di una generazione.* Roma, Editori Riuniti, 1999, 219 p.

ДЖОВАННА СПЕНДЕЛ. Москва 20-х годов. Мечты и утопии целого поколения.

Издательство «Риунити» уже выпустило ряд интересных книг с богатыми иллюстрациями, своеобразных монографий-романов о городах — например, «Футуристический Рим» или «Берлин экспрессионизма». В эту же серию входит и книга, посвященная Москве 20-х годов. Подзаголовок сразу определяет перспективу, в которой автор рассматривает представленную в книге эпоху. Описанием энтузиазма, мечтаний о новой жизни, обещанной революцией 1917 года, книгам открывается, а последняя глава ее звучит как реквием: «Закат мечты». Обозревается панорама жизни в Москве с 1918 года, когда в марте она вновь стала столицей, и до конца 20-х годов, до первых зловещих признаков «великого перелома» и полного контроля партии над культурой. Через московскую действительность намечается, хотя и бегло, общее развитие русской истории советского периода.

В первой главе читатель знакомится с обликом нэповской Москвы. Здесь главные темы: «Что значит, по Булгакову, быть в 20-е годы москвичом?», «Первая сельскохозяйственная выставка», «Новая мораль».

Три следующие главы освещают роль искусства в жизни Москвы этих лет. В главе, посвященной архитектуре и живописи, подробно обсуждаются творческие эксперименты Мельникова, Щусева, Ладовского, попытки конструктивистов со-

здать новый стиль в архитектуре и применить его в условиях столицы. Особое внимание автор обращает на роль зародившегося в те годы искусства дизайна (например, место афиши в общественной жизни и во влиянии на массы), на значение творческих поисков таких художников, как Родченко, Попова, Эль Лисицкий. Текст сопровождается обширными иллюстрациями, к сожалению, бело-черными (как и во всей книге).

В главе «Литературная жизнь в Москве» рассматривается динамика литературного процесса (литературные группы, журналы, полемика, дискуссии). Лаконично, но рельефно охарактеризованы Маяковский, Катаев, Ильф и Петров, Олеша. Больше всего внимания уделено Михаилу Булгакову, названному здесь «певцом Москвы».

Завершается это увлекательное путешествие по Москве 20-х годов знакомством с театром и кино. Тут подчеркивается значение экспериментов Мейерхольда не только для советского, но и для европейского театра и дается интересный анализ некоторых наиболее известных его спектаклей («Мистерия-буфф», «Лес», «Ревизор», «Клоп» и др.). С похвальной объективностью сочувствующий авангарду автор не обходит вниманием и судьбу, тоже нелегкую, МХАТа, обращаясь к таким спектаклям, как «Горячее сердце» или «Дни Турбиных»...

В области тогда еще молодого советского кино книга выделяет два главных направления: это, естественно, революционное кино, представленное в первую очередь С. Эйзенштейном, и документальное кино — начинание Дзиги Вертова «Киноглаз».

Еще и еще раз подчеркнем высокую ценность иллюстративного материала (фото документов и проч.), обогащающего книгу.

Татьяна НИКОЛЕСКУ.

Милан.



КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА

+7

Андрей Арьев. Царская ветка. СПб., Издательство журнала «Звезда», 2000, 192 стр.

Андрея Арьева не отнесешь к плодовитым авторам, библиография его печатных работ невелика. Не отнесешь его и к *литературным критикам* в современном смысле этого слова. Литпроцесс он не «отслеживает», мест не распределяет, иерархий не создает. Он скорее эссеист, но не в новейшем духе — борхесианском, честертоновском, бартовском, а, пожалуй, в дореволюционных русских литературных традициях. В его жанровой родословной — князь П. А. Вяземский (прежде всего как автор книги о Фонвизине), И. Анненский (не поэт, конечно, а создатель «Отражений»), В. Розанов. И безусловно, эмигрант Ходасевич. Да, еще один эмигрант — Кончеев; только влияние последнего не жанровое, а стилистическое.

Книгу составляют два больших эссе, опубликованные в свое время в журнале «Звезда»; оба посвящены поэзии; в первом случае объект описания предстает географически-поэтическим («Царское Село в русской поэтической традиции и „Царскосельская ода“ Ахматовой»), оборачиваясь в итоге поэтико-философским, во втором он кажется чисто поэтическим («Маленькие тайны, или Явление Александра Кушнера»), но трансформируется в географически-поэтический (Кушнер — поэт нормы¹, антиромантик, «культурный поэт», а значит, истинно петербургский).

«Царская ветка» написана точным, гибким, изящным языком, ее интонация энергична, многие места хочется просто цитировать без комментария. «Докажет ли свою правоту Кушнер разладом с эпохой и гибелью? Я склонен подозревать чудеса»; «Берет он у культуры много, но ни за чем не следует вполне. Напевая Михаила Кузмина, он прогуливается с томом критики Владислава Ходасевича под мышкой»; «Начинается пора тоскливых по своей сущности сентенций, произносимых на радость вмиг добреющим критикам». Замечателен в своем роде и типично питерский, антимосковский выпад: «К сегодняшнему дню у Кушнера доминирует, становится направляющей ось „Север — Юг” — вместо привычной в XX веке (и для молодого Кушнера) оси „Восток — Запад”. Москва на этой магистрали из конечного пункта превращается в транзитный полустанок с буфетом». Сколько яда в засохших бутербродах этого «буфета»...

Книга написана настолько хорошо, что хочется подражать ее стилю. Вот и рецензент сочинил нечто в том же духе (и тоже про поэта Кушнера): «Но ей-Богу, ей-Богу, я бы подпустил мистического сквознячка... Хотя бы из эстетических соображений... Знаете ли, все эти кровавые зори...»

Андрей Лебедев. Повествователь Дрош. Книга прозы. М., «Глагол», 1999, 127 стр.

Это действительно «книга прозы» — не «рассказов», не «повестей», а просто «прозы». Последнее время в отечественной словесности характеризуется размыванием жанровых границ: не только между социально близкими «рассказами» и «по-

¹ Не в сорокинском смысле, конечно.

вестями» или «повестями» и «романами», но и между антагонистами fiction и non-fiction. В результате мы (и то с определенной долей неуверенности) можем говорить лишь о «прозе»; прочие жанровые классификации все более переходят в компетенцию разного рода комиссий и комитетов, раздающих премии.

Итак, перед нами «проза»: изобретательная, ориентированная на медленное чтение с припоминанием. Последнее же, если верить Платону, и есть суть знания, точнее, познания. Любое литературное произведение «читаешь», «узнаешь», «познаешь» лишь в той мере, в какой «припоминаешь»; причем «припоминаешь» не только (и не столько) соответствующий авторскому собственный экзистенциальный или бытовой опыт, сколько «традицию» — культурную, литературную, — за ним, произведением, стоящую. Что бы там ни говорили любители «первичной литературы», не бывает прозы или поэзии «культурной» и «не-(а-)культурной». Есть разные традиции, есть разные родословные.

Негромкая «культурность» прозы Андрея Лебедева подчеркивается его авторепредисловием, где нарратор предлагает читателю свой вариант литературных и культурных источников семи текстов «Повествователя Дроша». Добавлю свое скромное наблюдение: Бог, говорящий голосом ведущего детской радиопередачи, беседовал еще с сэлинджеровскими героями, а настойку из пестиков из сарабанды вкупе с отваром из взглядов на тополя всюду попивают в сочинениях Милорада Павича.

Зондберг. Нугатов. Соколовский. Б. м. и., б. г., 116 стр.

Строгий дендизм этого издания заставляет рецензента эстетически подобраться, сесть прямо, подтянуть живот и сочинить нечто «в этом роде». Замечу лишь, что книга состоит из трех проз: Ольги Зондберг («Всенеприметно»), Валерия Нугатова («Дама и Некто») и Сергея Соколовского («Утренние прогулки»).

...потому что «Зондберг — Нугатов — Соколовский» звучит восхитительно. Дает первый звонкий аккорд «зо!» и исчезает с шуршанием в фонетических камышах — «офский.....». Потому что бессолнечный мир этой прозы, нет, потому что черно-белый мир этой прозы. Вот. Как обложка самой книги — черно-белая. Мир строг, потому и авторы серьезны.

Ну, соблаговолите-таки объясниться, милсдары! О чем это написано? В частности, о Даме, которая уже являлась нашим честным (не шибко) глазам — на рисунках чахоточного британского юноши сто лет назад: обнаженная, в окружении карликов, уродцев, пьеро и арлекинов, она занималась туалетом, листала журнал «Савой», лениво смотрелась в зеркало. Декадентская Венера. Шубу ей, шубу!

Засасывающее погружение в эту книгу, длившееся несколько дней, после подробного изучения ее на предмет обнаружения сколько-нибудь внятных библиографических, выходных данных, во время которого я постоянно вспоминал, нет, даже не библиофильские кошмары Борхеса, а восхитительный двухтомник Шарля Нодье, выпущенный в самом конце андроповской эпохи в переводе Веры Аркадьевны Мильчиной, в котором много говорилось о подобных изданиях XVI — XVIII веков, в них тоже отсутствовали, намеренно отсутствовали выходные данные и вообще было все не ясно, где и когда что вышло и кем написано, но здесь-то все было ясно по поводу того, кем это написано и как называются сами произведения, так что я вспоминал еще черную толстую книгу, изданную примерно в то же время, что и двухтомник Нодье, там было несколько французских романов, точнее, «новых романов», и кто-то из этих французов примерно так и писал. Кто? Бютор? Симон? Саррот?

Р. К. Боязнь темноты (письма сумасшедшего). Публикация текстов под редакцией Владимира Токмакова. Художник Александр Карпов. Барнаул, 1999, 40 стр.

В Барнауле издают хорошие книги. «Боязнь темноты» попала мне в руки совершенно случайно. Подзаголовок «Письма сумасшедшего» не обещал ничего хорошего: провинциальный сюр, сдобренный хармсинкой с невероятно назойливым вкусом, чего еще ждать? Слава Богу, полистал.

Авторская (пардон) стратегия этого сочинения весьма любопытна. Некий Р. К., новосибирский художник-дизайнер и поэт, в приступе ревности убивает² собственную жену и ее любовника. Преступление раскрывают, Р. К. признают невменяемым, в психушке он кончает жизнь самоубийством (весьма заковыристым способом — съев электрическую лампочку). Дневник Р. К. попадает в руки Владимира Токмакова, который перелагает его верлибром. Художник Александр Карпов, некогда знакомый с Р. К., прочитав сочинение Токмакова, сочиняет концептуальный дизайн издания.

Перед нами — не обычная мистификация: X умер, Y нашел его рукописи и публикует их, Z все это дело оформляет. Отличие в том, что Y *переписывает* дневниковую прозу X стихами; он не отказывается от литературного авторства, отстраняя от себя авторство лишь экзистенциальное. Жизнь и искусство разведены по углам, будто боксеры на ринге во время перерыва. Сейчас звякнет гонг, и они опять примутся мутузить друг друга по мордасам. Воспользуемся этим перерывом и спокойно прочтем книгу из Барнаула.

Яков Гордин. Мистики и охранители. Дело о масонском заговоре. СПб., Издательство «Пушкинского фонда», 1999, 288 стр.

Александр Пятигорский учит: «История — неотрефлексированная структура сознания». Может быть, оно и лучше, что неотрефлексированная. Каждая новая эпоха моделирует свою историю; у каждой из них свой Рим, свой Карфаген, своя Французская революция, свой «Новый курс». Как говорил Мао: «Пусть расцветает сто цветов». Для человека русской культуры одна из таких вечных моделей — «пушкинское время»: период между 1815 и 1840 годами. Она каждый раз разная — «пушкинская эпоха» — в мемориях князя П. А. Вяземского, в пламенных сочинениях Михаила Гершензона, в суховатой эссеистике Ходасевича, в модернистски обстоятельных трудах Ю. М. Лотмана. Яков Аркадьевич Гордин относится к тем авторам, которые создали свою модель «пушкинского времени».

Эта модель может показаться сейчас неактуальной; нынче в чести супостаты либо аутсайдеры предыдущей историографии — Фаддей Булгарин, граф Сергей Уваров³, М. Дмитриев и другие. Однако мода на стрижку «под ноль» не исключает возможности существования парикмахерского мастерства; «Хаджи-Мурат» написан тогда, когда «актуальным направлением» был символизм.

Книга Я. А. Гордина посвящена одной довольно запутанной и серьезной политической провокации времен царствования Николая I. Донос князя Андрея Голицына всколыхнул на время петербургскую бюрократию и обозначил линии противостояния различных властных групп, окружавших трон. Читая «Мистиков и охранителей», ловишь себя на мысли, что не только для либералов, но и для царей было бы лучше, если бы Россия стала конституционной страной с легальными политическими партиями. Тогда бы вся эта (довольно противная и опасная) возня приобрела бы более благородный (и, в сущности, менее деструктивный) характер. И еще: насколько безумные люди властвовали над Россией в первой половине XIX века; тихий сумасшедший, почти отцеубийца Александр I, не перенесший свалившегося на него счастья — быть невольным победителем великого Наполеона, другой сумасшедший — «громкий» и деятельный — Николай I, навсегда напуганный 14 декабря, интригующий против собственных государственных учреждений, создающий параллельные структуры власти, трусливый мачо. И при них мы выиграли несколько войн, захватили Польшу и Кавказ, начали строить железные дороги... Который раз убеждаешься: в этой стране все происходит не благодаря власти, а вопреки.

² С сопутствующей делу расчлененкой.

³ См. ниже рецензию на его биографию.

Алвин Рис, Бринли Рис. Наследие кельтов. Древняя традиция в Ирландии и Уэльсе. Перевод с английского и послесловие Т. А. Михайловой. М., «Энигма», 1999, 480 стр.

В западной историографической традиции (к ней, конечно, принадлежит и русская) есть несколько книг, ценность которых не уменьшилась (по крайней мере, *качественно* не уменьшилась) от появления совершенно новых данных: открытия неких источников, «археологических революций», применения ультрасовременных методик. Их называют обычно «фундаментальными работами», «классикой жанра», на них ссылаются без обстоятельного библиографического инструментария: «по мнению Соловьева», «как писал Стаббс», «Буркхардт считал, что», «Моммзен ввел в оборот», «Хейзинга обратил внимание». При этом несмотря на сотни, даже тысячи наиновейших работ, на иронические недомолвки специалистов, на общую исчерпанность культурной парадигмы, породившей ту «классику», именно эти книги рекомендуют неопиту: хочешь изучать русскую историю — начни с Соловьева, английскую — со Стаббса, историю Рима — с Моммзена. «Наследие кельтов» Алвина и Бринли Рисов принадлежит именно к таким книгам.

Не буду пересказывать ее содержание. Любой, кто хочет приступить к изучению кельтской культуры, письменности, литературы, может спокойно брать в руки сочинение Алвина и Бринли Рисов. Тем более, что в нем содержится и обширная библиография (ограниченная, впрочем, началом шестидесятых). Отмечу также высочайший уровень перевода — как по корректности, так и по удобочитаемости — замечательного отечественного кельтолога Т. А. Михайловой.

Только внимательно изучив эту книгу, следует приниматься за ее опровержение.

Омри Ронен. Серебряный век как умысел и вымысел. М., О.Г.И., 2000, 152 стр.

Для всяческих колкостей-резкостей всегда находишь больше слов, интонаций, риторических ухищрений. Ругань темпераментна, ирония — изящна. Хвалить сложно, так как неизменно впадаешь в банальности и общие места. Пусть так. Книга Омри Ронена — лучшая иллюстрация довольно избитых сравнений истинной филологии с детективом и с исследованиями медиевиста (из таковых сравнений вырос даже целый роман под названием «Имя розы», поминать который, кажется, тоже уже стало дурным тоном). Элегантность ее сюжета, благородная точность избранного предмета, кропотливость и безукоризненная окончательность фактологии — все это делает «Серебряный век как умысел и вымысел» одной из лучших книг именно русской словесности («словесности», понимаемой в широком смысле) сегодня.

Метод, избранный автором, прост и прозрачен. «Критика понятия» «серебряный век» подразумевает «историю этого понятия» (включая и историко-культурные, и мифологические ассоциации, но не в качестве основного блюда, как сделал бы структуралист, а как приправу, пряность), «контекст появления понятия», «трансформацию понятия», «последующее интерпретационное поле понятия». Так и получается, что никакого Александра Ивановича не было.

Книга Омри Ронена превосходно переведена⁴ и издана. Обращу внимание на две вещи: на элегантный перевод изначального английского заглавия «The Fallacy of the Silver Age in Twentieth-Century Russian Literature»⁵ и на оформление обложки фотографиями двух значимых для содержания *серебряных* монет: юбилейного года династии Романовых и года смерти Владимира Ульянова. «Вымысел» «серебряного века» надежно помещен в хронологические рамки — между бородами царями и мышцатыми молотобойцами на серебряных рублях.

Честно говоря, я давно не испытывал такого наслаждения от чтения книги⁶.

⁴ Им самим.

⁵ На форзаце досадная опечатка: «Literatury».

⁶ Странное, мягко говоря, «Предисловие редактора английского издания» не в счет

-3

Цинтия Х. Виттекер. Граф Сергей Семенович Уваров и его время. Перевод с английского Н. П. Лужецкой. СПб., «Академический проект», 1999, 350 стр. (Серия «Современная западная русистика», т. 22).

Черные переплеты этой серии заставляют благоговеть. Золотое тиснение побуждает к трепету. «Современная западная русистика»; под ней — ставший уже знаменитым гондольер «Академического проекта»: лодка его будто направляется к солнцу истинных знаний, строгой научности, бестрепетного профессионализма. Название книги на обложке глядит эдаким масонским глазом в обрамлении сияющего треугольника, каждая из сторон которого есть одна из частей заветной формулы: «Православие, самодержавие, народность».

Вообще же прекрасно, когда о твоей культуре пишет кто-то, к этой культуре не принадлежащий. Кто-то любящий чужую (твою) культуру, как свою, а то и больше. Книга Цинтии Х. Виттекер открывается следующим посвящением: «Моим русским друзьям и коллегам — теперешним носителям и хранителям той культуры, изучению прошлого которой отдана моя жизнь». Книга действительно полна любви: не только к русской культуре, но и к герою — графу Сергею Семеновичу Уварову. Я бы ее издал в другой серии — «ЖЗЛ». Нет, действительно: если уж пересматривать политические (и культурные) репутации деятелей (и делателей) истории нашего переменчивого Отечества, то только так. Радикально: «И если Жуковский, Батюшков и их „наследник“ Пушкин представляли „дух Арзамаса“ в литературе, то Уваров олицетворял его в политике». В этой книге царит устойчивый информативный дух обстоятельных биографий XIX века: «Он (Уваров. — К. К.) по-прежнему страдал от ревматизма, геморроя, последствий перенесенного удара, которые истощали его силы. К тому же его беспокоили глаза. Доктора-англичане и французы прописали таблетки с железом, бессолевую диету, портвейн⁷ и умеренную верховую езду...»

Русская культура, как это часто бывает, ответила на любовь черной (под цвет обложки этой книги) неблагодарностью. Многочисленные, обремененные степенями и заслуженной славой, специалисты, составляющие редакционную коллегию серии «Современная западная русистика», «высокопрофессиональный научный редактор» из Пушкинского дома, переводчик — никто из них не удосужился предостеречь автора от невозможных ляпов вроде: «Арзамас, унылый городишко, располагался в родовых владениях Уварова» (стр. 41) или «дополнение к только что опубликованной работе немецких классиков Г. Германна и Ф. Крейцера, содержащей переписку Гомера с Гесиодом» (стр. 39). Самое странное: никто из вышеперечисленных лиц не обратил внимания даже на чудовищный пассаж во «Введении»: «Уваров служил при двух царях, Александре I (1801 — 1825) и Николае I (1825 — 1856). Александр, „Гамлет на троне“...»

Антон Платов. В поисках святого Грааля. Король Артур и мистерии древних кельтов. М., 1999, 160 стр.

В продолжение темы. Всяческие кельтские сказки и друидические древности у нас, в России, любят столь же благоговейно, как еще недавно любили русскую словесность и культуру иностранные слависты. Политический контекст этой любви вполне понятен во втором случае: многие буржуазные изыскания в Мандельштаме или Достоевском были освещены ровным ледяным пламенем «холодной войны». Пора внести ясность и во всенародную русскую любовь к кельтам.

По большей части эта любовь питает всевозможные прото- и парафашистские идеологические построения. Отчаявшись извлечь из местной мифологии скольнибудь сильную, концентрированную эссенцию — пропитать ею черные мундиры

⁷ Держу пари на десяток гиней, что портвейн прописал Уварову именно англичанин-доктор.

будущих борцов за Порядок, — принялись за более развитую кельтскую; к германской после Альфреда Розенберга подходить еще страшновато. Не тот полет.

Я бы эту книгу цитировал и цитировал. Одно «Слово к читателю» чего стоит: «Люди добрые, други честные, здравы будьте — вы и сородичи ваши! Новой книгой Антона Платова, чье имя вряд ли нуждается в представлении читателю, серьезно интересующемуся индоевропейской Сакральной Традицией, *Русско-Славянская Родноверческая Община „Родолубие“* открывает новую серию изданий, объединенных одной темой: *Сакральные Традиции Севера*. И далее в том же квасно-бражном духе: «...непосредственное расселение ариев по Земному шару началось примерно⁸ с территории нынешней России... именно наша Родная Земля является древней Арийской прародиной, а образы Гиперборейских (Северных) Богов возникли под влиянием образов наших Родных Богов». Сие писано, други честные, «редактором серии И. Черкасовым (Велеславом)».

Сам А. Платов вещает менее витиевато, но не менее безответственно. Я бы назвал метод его книги (его книг) «бульварным структурализмом». Как и достопочтенные мэтры структурализма, он манипулирует разнообразными феноменами различных культур (от ирландской до японской), некритически почерпнутыми из преимущественно переводных исследований и публикаций. Аналогична и практика необъяснимых сближений, сомнительных аналогий, беспочвенных моделирований. Только в отличие от Леви-Строса или Вяч. Вс. Иванова Платов (и им подобные) работают не в гордом жанре «высокая наука», а в низких жанрах, предназначенных для читателей газеты «Чудеса и приключения». Побольше сенсаций — вот их принцип; заморочив простаку обывателю голову разными «арканами», «граалями» и «мандалами», бульварные структуралисты охмуряют его бреднями о том, что он — Иван Иванович Пупкин — есть потомок древнего ария и потому он должен плясать с ними в белом балахоне вокруг костра где-нибудь на окском пляже, а затем и приобщиться к главному символу всех ариев, дзэн-буддистов и ацтеков, вышедших (примерно) из России, — к могучей свастике, этому чистому солярному символу (ударение на предпоследний слог).

Давать фактологическую критику сочинения Платова — невыносимо.

Наталья Романова. Публичные песни. СПб., 1999, 48 стр.

Эстетство бывает разное, худший его вариант — вовсе не капризные стишки под Кузмина и не картавые рулады Лени Федорова из группы «Аукцион». Хуже всего — неожиданный блатной прищур книжного червя, умение ловко ввернуть урканскую присказку промеж разных дискурсов и коннотаций, знаменитый бас, воодушевленно распеваящий «Мурку» в два голоса с авангардным режиссером. Мол, знай наших, без меня народ неполный. Рецензируемая книга есть продукт именно такого рода эстетизма, к тому же имеющего и местный — питерский — колорит. Некоторая божжеватость первоапостольной, проявленная в изумительных романах Вагинова, в добротной и остроумной довлатовской прозе, во вполне посредственных стихах Олега Григорьева и, наконец, в омерзительной пошлости всевозможного митьковства, в сочинениях Натальи Романовой доходит до предела. «Публичные песни» — неуклюжая попытка филолога сконструировать эпос пролетарских окраин, так сказать, быдловскую «Калевалу».

Как стихи «Публичные песни», безусловно, слабы. Не знаю, может быть, их нужно петь? И в этом случае автор несколько опоздал: «старый Питер» уже спел голосом Майка Науменко и Федора Чистякова.

Огорчительно было встретить забредшего в это гетто (к кому он только не забредал) Николая Олейникова: «Все иначе с Василием: я жила у него, / три недели любила я в разных позах его».

⁸ Как хорошо это «примерно!» Россия невелика есть — можно и ошибиться...



БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГИ



Виктор Астафьев. Веселый солдат. Повесть, рассказы. СПб., «Лимбус-Пресс», 2000, 544 стр., 5000 экз.

Павел Афанасьев. Тексты. Рассказы, эссе. СПб., «Геликон Плюс», 2000, 132 стр.

Книга автора, дебютировавшего со своей прозой в Интернете на сайте «Арт-Лито». (Подробнее об издательском проекте куратора сайта Александра Житинского смотри в «Сетевой литературе» в этом номере.)

И. Бабель. Дневник 1920 (конармейский). М., МИК, 2000, 96 стр., 500 экз.

Николай Гумилев. Антология английской поэзии. Составление, предисловие, комментарии Л. Володарской. М., «АРТ-ФЛЕКС», 2000, 400 стр., 3000 экз.

Издание, над которым работал в начале века Гумилев и которое включает в себя также переводы из народных баллад, Каупера, Вордсворта, Мура, Китса, Байрона, Россетти, сделанные Георгием Адамовичем, Георгием Ивановым, Всеволодом Рождественским, Николаем Оцупом, Татьяной Кладо, Михаилом Фроловским, Николаем Брянским, Николаем Вентцелем.

Деревенская проза. В. Солоухин, А. Яшин, С. Залыгин, В. Белов, В. Лихоносов, Б. Можаяев, М. Алексеев. Составитель П. В. Басинский. М., «СЛОВО/SLOVO», 2000, 680 стр., 4000 экз.

Александр Жолковский. Мемуарные виньетки и другие non-fictions. СПб., «Urbī». Литературный альманах. Выпуск тринадцатый. Серия «Новые записные книжки». СПб., АОЗТ «Журнал „Звезда”», 2000, 244 стр., 2000 экз.

Собрание автобиографических рассказов и эссе известного структуралиста и культуролога, ставших явлением скорее художественной, нежели мемуарной прозы. В описаниях стиля советской жизни 60 — 70-х, быта молодой гуманитарной интеллигенции тех лет психологическая дистанция, определенная многолетней жизнью автора в США, помогает ему передать некое «угрюмое обаяние» и скрытую теплоту ушедшего образа жизни и одновременно — непреодоленная внутренняя дистанция эмигранта со своей нынешней «средой обитания» определяет удобную — и плодотворную для Жолковского-прозаика — точку обзора реалий и стиля американской жизни.

Яков Кумок. Страна, где берегут следы... Роман, повести, рассказы. М., «Когелет», 2000, 391 стр., 1000 экз.

Станислав Лем. Футурологический конгресс. Повесть. Перевод с польского К. Душенко. СПб., «Амфора», 2000, 270 стр., 6000 экз.

В. Парнах. Жирафовидный истукан. 50 стихотворений. Переводы. Очерки, статьи, заметки. Составление, вступительная статья, комментарии Е. Р. Арензона. М., «Пятая страна», «Гилея», 2000, 222 стр., 1500 экз.

Октавио Пас. Освящение мига. Поэзия. Философская эссеистика. Перевод с испанского, составление и предисловие В. Резник. Комментарии Б. Дубина. СПб., М., «Симпозиум», 2000, 411 стр., 4000 экз.

М. Пророков. БГА. М., «Грантъ», 2000, 3000 экз. Том 1. БГА. Части 1 — 3. 608 стр. Том 2. БГА. Части 4 — 6: Письма полярнику. Рассказы. Эссе. 580 стр.

Алексей Пурин. Сентиментальное путешествие. Книга стихов. СПб., «Urbī». Литературный альманах. Выпуск двадцать седьмой. СПб., АОЗТ «Журнал „Звезда”», 2000, 104 стр., 400 экз.

Новые стихи Алексея Пурина и сделанный им перевод одной из вершинных в творчестве Райнера Марии Рильке книг «Сонеты к Орфею».

Алан Роб-Грийе. Проект революции в Нью-Йорке. Роман. Перевод с французского Е. Мурашкинцевой. СПб., «Амфора», 2000, 267 стр., 6000 экз.

Сто одна поэтесса Серебряного века. Антология. Составление и биографические статьи М. Л. Гаспарова, О. Б. Кушлиной, Т. Л. Никольской. СПб., «ДЕАН», 2000, 240 стр., 5000 экз.

Г.-К. Честертон. Собрание сочинений. В 5-ти томах. Том 1. Наполеон Ноттингхилльский. Человек, который был Четвергом. Жив-человек. Составление, общая редакция Н. Л. Трауберг. СПб., «Амфора», 2000, 539 стр., 5000 экз.

Параллельно на русском и английском языках.

Бруно Шульц. Трактат о манекенах. Проза, переписка, эссе. Перевод с польского Леонида Цывьяна. СПб., «ИНАПРЕСС», 2000, 436 стр., 2000 экз.

Повести «Коричные лавочки» и «Санаторий под Клепсидрой», рассказы и письма польского писателя.

Михаил Шолохов. Поднятая целина. Составление, предисловие, справки, методические материалы Т. А. Касаткиной. М., «Олимп», «АСТ», 2000, 752 стр., 5000 экз.

Издание готовилось в помощь учителю и особый интерес представляет развернутой исторической справкой о коллективизации в России, по сути, самостоятельным микроисследованием, проделанным Татьяной Касаткиной.

Галина Щербакова. Подробности мелких чувств. Роман, повести, рассказы. М., «Вагриус», 2000, 412 стр. 11 000 экз.

Т.-С. Элиот. Книга о котях. В переводе В. Бетаки. М., «Захаров», 2000, 79 стр., 1000 экз.



Ю. В. Андронов, А. Г. Мячин, А. А. Шириняц. Русская социально-политическая мысль XIX — начала XX века: К. Н. Леонтьев. Под редакцией Д. В. Ермашова. М., Книжный дом «Университет», издатель А. В. Воробьев, 2000, 228 стр., 1000 экз.

В. Э. Вацуро. Пушкинская пора. СПб., «Академический проект», 2000, 623 стр., 2000 экз.

Б. Гаспаров. Поэтика «Слова о полку Игореве». М., «Аграф», 2000, 608 стр., 2000 экз.

Вольфганг Амадей Моцарт. Письма. Составление и введение А. Розинкина. Предисловие и общая редакция А. Парина. М., «Аграф», 2000, 448 стр., 2000 экз.

Талкотт Парсонс. О структуре социального действия. Перевод с английского под общей редакцией В. Ф. Чесноковой и С. А. Белановского. Предисловие В. Ф. Чесноковой. М., «Академический проект», 2000, 880 стр., 3000 экз.

Собрание работ известного социолога, в которое вошли: «Структура социального действия», «К общей теории действия», «Новый аналитический подход к теории социальной стратификации» и шесть статей.

Борис Пастернак. Биография в письмах. Составители Е. В. Пастернак, Е. Б. Пастернак. М., «АРТ-ФЛЕКС», 2000, 463 стр., 3000 экз.

Петр Великий в преданиях, легендах, анекдотах, сказках, песнях. Составление, подготовка текста, вступительная статья, примечания Б. Н. Путилова. СПб., «Академический проект», 2000, 303 стр., 1000 экз.

В. В. Розанов. О Пушкине. Эссе и фрагменты. Составление, вступительная статья, комментарии и указатель В. Г. Сукача. М., Издательство гуманитарной литературы, 2000, 414 стр.

«...антологический сборник статей и фрагментов, выбранных из творческого наследия В. В. Розанова за 1886 — 1918 годы. Композиция сборника построена по принципу содержательной значимости текстов. В первый раздел поставлены все зрелые тексты, прямо посвященные творчеству поэта. Во втором разделе расположены статьи второго ряда. В разделе «Фрагменты» собраны отрывки текстов из других статей, посвященные Пушкину, его эпохе, отношению Розанова к имени поэта. За пределами этого

сборника остались только незначительные упоминания пушкинского имени, весьма частые в многочисленных письмах Розанова, или же отрывки, не удобные для помещения в нашем сборнике. Таким образом, Пушкин Розанова представлен читателю в полной мере» (от составителя).

В. С. Соловьев. Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Сочинения в пятнадцати томах. Сочинения. Том второй. 1875 — 1877. Ответственный редактор А. А. Носов. Составители А. П. Козырев, Н. В. Котрелев. Подготовка текстов и комментарии А. П. Козырева, Н. В. Котрелева, А. А. Носова. М., «Наука», 2000, 394 стр., 2000 экз.

Продолжается издание Полного собрания сочинений русского философа, выход первого тома отмечен в нашей рубрике (2000, № 5). Основу второго тома составили две работы Соловьева, рассматривавшиеся им как подступы к докторской диссертации. Первая по хронологии — незавершенный трактат, или, если быть точным, совокупность незавершенных и не предназначавшихся для печати фрагментов-черновики, написанных по-французски и известных в узком кругу почитателей Соловьева под названием «София». Этот текст впервые становится доступен заинтересованному читателю в текстологической редакции А. П. Козырева и Н. В. Котрелева. Текст трактата печатается на языке оригинала и в переводе на русский А. П. Козырева в параллельной верстке; в комментарии подробно изложена история работы Соловьева над текстом, выявленные герметические и гностические источники; убедительно доказано, что идеи трактата оставались актуальны для философа вплоть до конца 1880-х годов. За текстом «Софии» следуют планы и черновики, большинство из которых публикуется впервые.

Далее печатается известное сочинение «Философские начала цельного знания», а завершает том коротенькая заметка «Из Свиштово», написанная Соловьевым для газеты «Московские ведомости», когда философ, увлеченный патриотическим порывом, охватившим русское общество в начале русско-турецкой войны, отправился на театр военных действий в качестве военного корреспондента названной газеты.

В томе имеется указатель имен и список опечаток, допущенных в первом томе. Издание продолжает осуществляться при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).

Сталинградская эпопея. Впервые публикуемые документы, рассекреченные ФСБ РФ. Воспоминания фельдмаршала Паулюса. Дневники и письма солдат РККА и вермахта. Агентурные донесения. Протоколы допросов. Докладные записки особых отделов фронтов и армий. Составители В. К. Виноградов и другие. М., «Звонница-МГ», 2000, 480 стр., 7000 экз.

Дмитрий Шушарин. Две реформации. Очерки по истории Германии и России. М., «Дом интеллектуальной книги», 2000, 278 стр., 600 экз.

Книга современного историка и публициста, соединяющая исследование Реформации в средневековой Германии с публицистическими размышлениями над актуальными проблемами современной России. «Германия и Россия — две страны, пережившие в XX веке тоталитаризм. Это их объединяет. Хотя модели тоталитаризма были различны. Атавистическая сущность фашизма — особенно его нацистского варианта — и коммунизма очевидна». «В России произошло то, что было обусловлено самой природой фашизма и коммунизма как сил, противостоящих иудео-христианской цивилизации, отрицающих ее основополагающие нормы и принципы... в своем развитии большевизм... привел к тому же, к чему стремились и стремятся крайне правые, — к сохранению и укреплению русской империи как центра мировых антицивилизационных сил, независимо от идеологической ориентации этих сил и этой империи».

Составитель Сергей Костырко.

«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:

Сто одна поэтесса Серебряного века.

ПЕРИОДИКА



«Великая художественная воля», «Время МН», «Вторжение»,
 «Гуманитарный экологический журнал», «День литературы», «Ex libris НГ»,
 «Завтра», «Звезда», «Известия», «Иностранная литература», «Искусство кино»,
 «Исторический вестник», «Книжное обозрение», «Литература»,
 «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературная учеба»,
 «Московские новости», «НГ-Наука», «НГ-Сценарии», «Независимая газета»,
 «Новая газета», «Новая русская книга», «Новое литературное обозрение»,
 «Новые Известия», «Огонек», «Октябрь», «Петербургский книжный вестник»,
 «Подъем», «Полит.Ру», «Российская газета», «Русская литература/Lettres russes»,
 «Сегодня», «Содружество НГ», «Субботник НГ», «Труд», «Художественный журнал»

Александр Агеев. Песнь о квалификации. — «Время МН», 2000, № 108, 15 июля. Электронная версия: <http://www.vremyamn.ru>

Критик думает, что *пока еще* — из-за неизбежности моральной оценки — невозможно написать жанрово строгий «производственный роман» про «советских разведчиков» (имеется в виду роман Анатолия Азольского «Монахи» — «Новый мир», 2000, № 6).

Галина Аграновская. Михаил Анчаров, каким я его помню. 10 июля писателю и барду исполнилось бы 80 лет. — «Время МН», 2000, № 104, 11 июля.

Анчаров и его женщины.

Василий Аксенов. «Владимир Высоцкий сегодня стал бы романистом». Интервью брала Александра Толстихина. — «Сегодня», 2000, № 161, 25 июля. Электронная версия: <http://www.segodnya.ru>

К 20-летию со дня смерти Высоцкого. «Я почти уверен, что он стал бы серьезным романистом или драматургом. Пение на самом деле повергало его в своего рода истерику. А он жаждал вырваться в какую-то более спокойную сферу... Он цеплялся за эти формы деятельности, исключая непосредственный контакт с публикой. Контакт с огромными массами людей его дико выбивал из колеи... Но диссидентом он никогда не был. Он был типичный фрондёрствующий московский артист».

В большом интервью «Известиям» (2000, № 139, 28 июля) Аксенов делится, в частности, впечатлениями от московского конгресса Пен-клуба: «Особенно меня раздражило выступление Гюнтера Грасса (о Чечне. — А. В.). Он явно приехал с идеей просветить дремотные умы варварского царства... На конгрессе Пен-клуба я выступал не против Гюнтера Грасса, он в данном случае был для меня олицетворением этого лицемерия... Ему все равно, какой флаг развевается над Москвой: красный или трехцветный. А для нас это — содержание жизни».

Спустя месяц в беседе с Александром Гавриловым Аксенов еще раз высказался о Грассе («Книжное обозрение», 2000, № 34, 21 августа): «Люди свободного ума считают себя обязанными выступать против правительства. А если вдруг какое-то действие правительства тебе неожиданно понравилось, сказать ты этого не можешь. Абсолютно невозможно... И фельдмаршал Грасс, «фельдфебель» даже лучше сказать, он определенно сторонник этой классификации. Все проблемы уже классифицированы, выработана точка зрения „Нашей Интеллигенции“, он — ее лидер и всех гонит туда, куда надо *marschieren*. Он знает, куда *marschieren*. Он властитель дум. И не любит высвободителей дум».

Александр Монсевиц. Подготовила Надежда Григорьева. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 6. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/zvezda>

Рубрика: «Разговоры современников». Фрагмент диалога — о *семейной жизни и половом акте* — с философом Александром Пятигорским, который состоялся в Риге, где А. М. Пятигорский читал лекции о философии в «Бхагаватгите».

Сергей Баймухаметов. Эхо океанных дней. — «Литературная газета», 2000, № 28 — 29, 12 — 18 июля. Электронная версия: <http://www.lgz.ru>

«Вдумаемся: в Лондоне в 1860 году уже метро строили. А мы (? — А. В.) грудных детей от родителей отрывали (в 1860 году? — А. В.), мы целые села в карты проигрывали, человеческих детенышей на борзых щенков обменивали (в 1860 году? — А. В.), право первой ночи использовали (в 1860 году? — А. В.). При этом изображали просвещенность, одной рукой пытались писать (и хорошо писали. — А. В.) исторические трактаты».

ты, а другой заливали расплавленный свинец в глотки крепостных мужиков (в 1860 году? — А. В.)».

Уважаемая «Литературная газета» могла бы, я уверен, изыскать возможность для оказания С. Баймухаметову материальной помощи на лечение расстроенных нервов, но — печатать-то зачем?

Павел Басинский. Солженицын — критик? — «Литературная газета», 2000, № 30, 19 — 25 июля.

Критика поразила *по тону* статья Александра Солженицына о курском прозаике Евгении Носове («Новый мир», 2000, № 7): «большой» Солженицын каким-то чудом растворяется в «маленьком» Носове, «делая это без натуги, без высокомерия, с каким-то даже наслаждением».

Бегство от «хорошей жизни». Беседу вела Наталья Иванова-Гладильщикова. — «Известия», 2000, № 129, 14 июля. Электронная версия: <http://www.izvestia.ru>

Беседа с Анной Саакянц к 25-летию со дня смерти Ариадны Эфрон: «Она (Ариадна Эфрон. — А. В.) говорила: „На маму я совсем не похожа, я совсем другой породы — отцовской, и не лучший ее представитель...“ См. также публикацию Владимира Дядичева и Владимира Лобыцына «Капитан Эфрон» («Субботник НГ», 2000, № 26, 8 июля) — комментированные отрывки писем Сергея Эфрона 1918 — 1921 годов к Максимилиану Волошину и Марине Цветаевой.

Николай Бенуа о Пикассо. — «Великая художественная воля». Ежегодник Музея Новой Академии Изящных Искусств. Санкт-Петербург, 1999.

Николай Бенуа говорит о «Гернике» Пикассо: «Ну, заведомо человек глумился над своим близким. Чепуха на чепухе. Нет, оказывается, там трагические события воплощены в этих страшных глазах. Какие там страшные глаза — просто карикатура какая-то, и очень даже посредственная...» (из разговора, состоявшегося в ноябре 1981 года в ресторане парижской гостиницы «Интерконтиненталь» и записанного на магнитофон присутствовавшим Джоном Боултом). К стыду своему, ни составитель «Периодики», ни его коллеги не знают Николая Бенуа, нашего современника.

Александр Большев. Шаламов и отцеубийство. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 6.

«До сих пор творческая биография Варлама Шаламова не привлекала внимания психоаналитиков...» Но все хорошее когда-нибудь кончается.

В. Е. Борейко. Божественное в дикой природе: попытка анализа и религия охраны природы. — «Гуманитарный экологический журнал». Издатели: Киевский эколого-культурный центр, Всемирная комиссия по охраняемым территориям МСОП (WCPA/IUCN). Журнал издан при поддержке Фонда МакАртуров. Киев, 1999, т. 1, вып. 2. E-mail: vladimir@kekz.freenet.viaduk.net

О существовании особой, еще не идентифицированной обществом, *религии природоохраны*, основанной на *почитании участков дикой природы как священных мест*. Автор, главный редактор «Гуманитарного экологического журнала», считает, что статья приверженцем этой религии невозможно без своего рода откровения, случающегося чаще всего в детстве на лоне дикой природы: «Эту божественную вспышку не заменит никакое экологическое образование».

Андрей Букин, Дмитрий Шушарин. Заговор против демократии. — «Известия», 2000, № 129, 14 июля.

О том, что наиболее серьезная угроза российской демократии исходит не от коммунистов, а *от так называемых демократов и правозащитников*.

Д. Быков. Герман *versus* Михалков. — «Искусство кино», 2000, № 6. Электронная версия: <http://www.kinoart.ru>

О том, почему после всей горько-сладкой михалковской фальши («Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник») *хочется жить* больше, чем после всей мужественной германовской правды («Хрусталева, машину!»). Среди прочего: «Какой Фрейд объяснит нам этот комплекс сострадания к изнасилованному отцу, комплекс, определивший позднее творчество Михалкова и Германа?»

Тут же напечатана статья В. Подороги «Молох и Хрусталева. Материалы к новейшей истории „петербургского текста“» — о Германе и Сокурове, которые не только идейные антиподы, но и «сообщники, ибо совместно следуют в своем творчестве основным линиям напряжения, что уже два века пронизывают универсальный отечественный культурный опыт».

Александр Вальцев. Когда хор покидает оркестру. — «Литературная учеба». Литературно-философский журнал. 2000, № 3, май — июнь.

Пригов, Иртеньев, Кибиров, Гандлевский — (несимпатичное автору статьи) лицо современной поэзии.

Игорь Гетманский. Загадки и отгадки Виктора Пелевина. — «Литературная Россия», 2000, № 27, 7 июля. Электронная версия: <http://www.litrossia.ru>

Пелевин — во-первых, буддист, во-вторых, плохой буддист.

Борис Горобец. Секретный сотрудник рядом с академиком Ландау. Мог ли КГБ иметь своих информаторов в ближайшем окружении выдающегося советского физика. — «НГ-Наука». Ежемесячное приложение к «Независимой газете». 2000, № 7, 19 июля. Электронная версия: <http://science.ng.ru>

Доктор геолого-минералогических наук Б. С. Горобец составляет статью в журнале «Исторический архив» (1993, № 3) под названием «По данным агентуры и оперативной техники. Справка КГБ СССР об академике Л. Д. Ландау» и мемуарную книгу жены Ландау Конкордии Терентьевны Ландау-Дробанцевой «Академик Ландау. Как мы жили» (М., «Захаров», «АСТ», 1999). Цитирую: «Прочтение обоих источников совместно дает удивительный „эффект сборки“. Не собираюсь никому навязывать это „решение“ и даже называть главного героя или героиню этой заметки... Постараюсь объективно изложить имеющиеся факты в виде документов и свидетельств, и пусть читатель сделает выводы сам».

Гасан Гусейнов. Заметки к антропологии русского Интернета: особенности языка и литературы сетевых людей. — «Новое литературное обозрение», № 43 (2000). Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine/nlo> См. также сайт «Нового литературного обозрения»: <http://www.nlo.magazine.ru>

Автор интересно рассуждает о всякого рода компьютерности, не имея, по его признанию, собственного компьютера и будучи ознакомлен с компьютерными проблемами со слов других.

См. также в «Литературной газете» (2000, № 28-29, 12 — 18 июля) разговор о «сетевой литературе», в котором участвуют организаторы лучших литературных сайтов Сергей Костырко, Дмитрий Кузьмин, Вячеслав Курицын, Кирилл Куталов, Лев Пирогов, Макс Фрай. Там же напечатана полемическая статья Дмитрия Быкова «Детигатура» о том, что никакой «сетературы» нет, а есть прогресс, в том числе технологический, одним из следствий которого становится увеличение числа стихов и рассказов, ставших достоянием общественности.

Алла Демидова. «Меня спасает классика». Беседу вела Лидия Новикова. — «Труд-7», 2000, № 118, 29 июня. Электронная версия: <http://www.trud.ru>

«Когда я была в жюри премии Букера, то прочитала более 60 романов. И явно перенасытила себя, хотя поняла, что современная литература существует. Но беллетристику мне меньше всего хочется читать. Я — в классике, в поэзии, в мемуарах. С удовольствием прочитала дневники и письма Пушкина — мужа Ахматовой (Пушкин Н. Мир светел любовью. М., «Артист. Режиссер. Театр», 2000. — А. В.). Они свидетельствуют о том, как всякие компромиссы убивают талант».

О русском и американском (*The Diaries of Nikolay Punin 1904 — 1953. Austin, University of Texas Press, 1999*) изданиях дневников Пушкина см. рецензию Романа Тищенко в «Новой русской книге» (2000, № 4); в частности, он отмечает, что сближение «футуриста» Пушкина и Ахматовой воспринималось со стороны как своего рода концептуальный союз со скандальным оттенком.

Добро и зло от троянской до чеченской войны. Как выжить и сохранить моральность? — «НГ-Сценарии». Ежемесячное приложение к «Независимой газете». 2000, № 7, 12 июля. Электронная версия: <http://scenario.ng.ru>

В мае 2000 года в Институте философии РАН состоялось заседание большого «круглого стола» на тему: «Что происходит в России с моралью», организованное клубом «Свободное слово» и редакцией «Независимой газеты». Вот, в частности, фрагмент выступления В. Третьякова: «Сейчас у нас постоянно говорят о том, что моральных авторитетов нет, — ну, может, только Солженицына называют, а вот еще недавно были. Но это моральные авторитеты, которые с точки зрения хронологии были советскими, а на самом деле вроде бы существовали вопреки этой системе. Я просто перебираю фамилии этих моральных авторитетов. Итак: академик Лихачев — моральный авторитет, все об этом говорят публично... Но я отчетливо вижу, что рождение феномена академика Лихачева — я, конечно, не ставлю под сомнение его профессиональные качества — связано с тем, что в тот период в противовес авторитету академика Сахарова и Солже-

нищина для русской, для советской интеллигенции нужно было выдвинуть какую-то официальную альтернативу. И такая альтернатива в лице академика Лихачева была найдена и раскрыта советскими средствами массовой информации. Осознавал ли он роль, отведенную ему, или не осознавал — я не знаю, я с ним никогда не встречался. И, кстати, не хотел встречаться именно потому, что я бы ему обязательно задал этот вопрос, а вопрос неприличный...»

Тамара Дубинская-Джалилова. Горький на службе у Сталина. — «Литературная газета», 2000, № 30, 19 — 25 июля.

Опираясь на недавно введенную в оборот переписку М. Горького и И. В. Сталина (напечатана в двух номерах «Нового мира» — 1997, № 9; 1998, № 9 и в «Новом литературном обозрении» — 1999, № 40), автор утверждает, что лукавый Горький до последних своих дней был *понимающим соратником* и надежным помощником лукавого Сталина. Иную точку зрения на эту проблематику и на комментарии Т. Дубинской-Джалиловой к переписке Горького и Сталина неоднократно высказывал Вадим Баранов («Новый мир», 1998, № 12; «Субботник НГ», 2000, № 23, 17 июня).

Александр Дугин. Асимметрия. — «Вторжение», 2000, № 44, июль. Электронная версия: <http://www.arctogaia.com/public/1index.htm>

Признать печальную реальность однополярного мира (реальность, но печальную; печальную, но признать; признать, но бороться; бороться, но асимметрично; синонимом такой «философии асимметрии» является неоевразийство). См. эту же статью в газете «Завтра» (2000, № 27, 4 июля).

Виктор Ерофеев. «Продаваться не стыдно». Интервью брал Ян Шенкман. — «Огонек», 2000, № 25, июль. Электронная версия: <http://www.ropnet.ru/ogonyok>

«У меня иногда возникает мысль, что Пелевин — это такой Булгаков для бедных. Но в моих устах это не шпилька, а скорее комплимент: бедным тоже нужен Булгаков. Маринина, кстати, говорила мне, что Булгакова она не понимает, он ей недоступен. А любит она только „Алые паруса“ Грина. Она, быть может, как раз и занимает эту нишу: пишет для людей, которым не нужен Булгаков».

Игорь Ефимов. Дуэль с царем. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 6.

Снова об амурном интересе царя к Наталье Николаевне Пушкиной; но предположение автора, что Николай использовал голландского посла в роли тайного сводника, даже редакции «Звезды» представляется фантастическим.

Славой Жижек. «Матрица», или Две стороны извращения. Перевод с английского Нины Цыркун. — «Искусство кино», 2000, № 6.

Материалы научной конференции *In the Matrix* («В Матрице»), организованной Центром искусств и медиальных технологий города Карлсруэ (Германия) в ноябре 1999 года. Кроме сокращенной стенограммы выступления Жижека напечатаны дайджесты докладов Бориса Гройса «Экранизация философии» и Питера Слотердайка «Кибернетическая ирония» (оба в переводе с немецкого Максима Райскина). О фильме «Матрица» и его создателях, братьях Вачовски, см. в журнале «Искусство кино» (1999, № 10; 2000, № 3).

Виктория Загоровская. Певец русской скорби и слез. — «Литературная учеба». Литературно-философский журнал. 2000, № 3, май — июнь.

О Сергее Сергеевиче Бехтееве, авторе известного стихотворения, обнаруженного среди царских бумаг в доме Ипатьева и приписываемого одно время Великой княжне Ольге Николаевне: «Пошли нам, Господи, терпенье / В году буйных мрачных дней / Вносить народное гоненье / И пытки наших палачей... / И у преддверия могилы / Вдохни в уста Твоих рабов / Нечеловеческие силы / Молиться кротко за врагов».

Зло, увь, двигатель вечный. Интервью с французским философом и правозащитником Андре Глюксманом. Интервью взяла Галина Аккерман. — «Новая газета», 2000, № 28, 10 июля. Электронная версия: <http://www.novayagazeta.ru>

Не получив въездную визу в Россию, он «не отказал себе в удовольствии показать кукиш российским властям, проведя более месяца без их позволения» в Чечне. Ну, не давать же визу человеку, умудрившемуся назвать свою последнюю книгу «Третья смерть Бога»?

Михаил Золотоносов. Карусель, или За что я люблю Войновича. — «Московские новости», 2000, № 26, 4 — 10 июля. Электронная версия: <http://www.mn.ru>

По мнению критика, в случае с «Монументальной пропагандой» Владимира Войновича («Знамя», 2000, № 2, 3) мы имеем перерастание пародийного романа в «серьезный» исторический: «Рискуя заявить, что Войнович первым попытался выполнить уже

повисший в воздухе социальный заказ на исторический роман, в котором современность последнего десятилетия была бы описана генетически».

Андрей Иконников-Галицкий. Сон разума. — «Петербургский книжный вестник», 2000, № 1-2. Электронная версия журнала: <http://www.bookman.spb.ru>

«Судя по всему, он (академик А. Фоменко. — А. В.) — честный фанатик. Человек, просидевший всю жизнь над числами и формулами и потому не знающий, что такое жизнь, птицы, деревья, что такое реальные люди, совокупностью своих движений создающие действительный ход истории». См. также статью Владимира Дегоева «Отрезвление от гипноза. Книги Фоменко обманывают лишь тех, кто хочет обмануться» («Книжное обозрение», 2000, № 29, 17 июля). См. содержательную антифоменковскую «Фоменкологию» по адресу: <http://hbar.phys.msu/gorm/fomenko.htm>

Борис Кагарлицкий. Навстречу «органическому интеллектуалу». Материал подготовил Виктор Мизиано. — «Художественный журнал», № 30/31 (2000). Электронная версия: <http://www.guelman.ru/hz>

В России интеллигенция *старше* буржуазии. Феномен постоянного перепроизводства интеллигенции (и в XVIII, и в XIX, и в XX веках). Для сложившегося в сегодняшней России периферийного капитализма эта страна слишком культурная и образованная. Либо образованные люди должны смириться с тем, что образование им не нужно, и морально девальвировать его значимость, либо они должны попытаться переделать общество так, чтобы оно начало испытывать в них потребность.

Какую Россию мы строим. — «Российская газета», 2000, № 133, 11 июля. Электронная версия: <http://www.rg.ru>

Выступление В. В. Путина при представлении ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 8 июля 2000 года. «В становлении гражданского общества исключительную роль играют средства массовой информации. Так много и так часто мы говорим об этой проблеме. Отстаивая право на свободу, российские журналисты часто рисковали собственной карьерой, что там карьерой — и жизнью рисковали! Многие из них погибли. Свободная пресса в России тем не менее состоялась. Однако российские средства массовой информации, как и общество в целом, пока еще находятся в стадии становления. Надо сказать об этом прямо. В них, как в зеркале, отражаются все проблемы и „болезни роста“ страны. Ведь они работают здесь, у нас в стране, а не наблюдают за событиями с какого-то острова. Какое общество, какая власть — такая у нас и журналистика. Поэтому, когда мне часто говорят: „Вы займитесь СМИ, сделайте то и то“, — отвечаю: давайте обществом в целом будем заниматься, тогда и средства массовой информации изменятся. Но без действительно свободных СМИ российской демократии просто не выжить, а гражданского общества — не создать. К сожалению, пока не удалось выработать четкие демократические правила, гарантирующие подлинную независимость „четвертой власти“. Хочу это подчеркнуть, подлинную. Журналистская свобода превратилась в лакомый кусок для политиков и крупнейших финансовых групп, стала удобным инструментом межклассовой борьбы. Как Президент страны считаю своим долгом обратить внимание общественности на это. Цензура и вмешательство в деятельность средств массовой информации запрещены законом. Власть строго придерживается этого принципа. Но цензура может быть не только государственной, а вмешательство — не только административным. Ведь экономическая неэффективность значительной части средств массовой информации делает их зависимыми от коммерческих и политических интересов хозяев и спонсоров этих средств массовой информации. Позволяет использовать СМИ для сведения счетов с конкурентами, а иногда — даже превращать их в средства массовой дезинформации, средства борьбы с государством. Поэтому мы обязаны гарантировать журналистам реальную, а не показную свободу, создать в стране правовые и экономические условия для цивилизованного информационного бизнеса. Свобода слова была и останется незыблемой ценностью российской демократии. Это — наша принципиальная позиция».

Виктор Калашников, Марина Калашникова. «Мы противостояем злу в человеке и мире». Глава Великой Ложи России рассказывает о современном масонстве. — «Независимая газета», 2000, № 127, 12 июля. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

В Москве прошла ежегодная ассамблея Великой Ложи России, в которой участвовали также зарубежные «братья». Великий Мастер Великой Ложи России — некий анонимный Георгий Борисович — в интервью «НГ» говорит, что внимание лож нацелено лишь на проблемы нравственного совершенствования: «Не задача масонства выстраивать концепцию, по которой должна развиваться страна. Хочу вместе с тем отметить, что если первая клятва масона принадлежит Богу, то вторая — Отечеству. Мы безоговорочно привержены принципам целостности нашего государства, нерушимости его границ и поддерживаем законную власть... На собраниях Великой Ложи России обяза-

тельно звучит российский гимн и присутствует наш российский флаг. Мы — убежденные и последовательные патриоты».

Сергей Кара-Мурза. В защиту противника. — «День литературы», 2000, № 13, июль. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

«Я думаю, западная поп-музыка оболванивает сильно — но только англоязычную молодежь. А для нашей молодежи, слов не понимающей, эти песни — лишь странные, чарующие звуки, полные страсти. Образы, которые этой музыкой порождаются, возникают в нашем воображении, мы их сами домысливаем, из подручного русского материала. Эта музыка для нас — шаманство, а вовсе не попса, как для американского тинейджера. Это для нас — явление духовное, хотя и слегка еретическое». См. также мой краткий отклик («Новый мир», 2000, № 10) на занимательную книгу слишком оригинального для нашей патриотической оппозиции политолога С. Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием» (М., «Алгоритм», 2000).

Константин Кедров. Пионерский костер немолодых каннибалов. — «Новые Известия», 2000, № 120, 8 июля.

«Сорокин — осиновый кол в могилу соцреализма. Но ему-то хотелось бы стать таковым на могиле Ахматовой или Пастернака и конечно же особо ненавистного Василия Аксенова».

Вадим Кожин. Лики и маски истории. Беседу вел Владимир Винников. — «Завтра», 2000, № 27, 4 июля; № 28, 11 июля. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

Кожин не считает сербов «нашими братьями», это совсем другой народ, очень гордый, даже эгоистический, со своими интересами, которые значительно отличаются от интересов русского народа.

Сергей Константинов. Grimасы современной «дерусификации» истории Украины. — «Содружество НГ». Ежемесячное приложение к «Независимой газете». 2000, № 7, 26 июля. Электронная версия: <http://cis.ng.ru>

Рубрика «Русофобия». «Эта задача (поставленная в начале 40-х А. Розенбергом. — А. В.) успешно реализована современными украинскими историками и педагогами как в научном, так и в методическом плане».

Светлана Лакшина. Память Лакшина. — «Независимая газета», 2000, № 137, 26 июля.

К семилетию со дня смерти известного критика и литературоведа В. Я. Лакшина печатается его стихотворение «Третья Нида» (1983): «...Вдруг — видение. Пучина / Белопенной стеной / Хлынет в мирную долину, / Яростью дыша большой. / Ветра зловонные порывы / Черепицу сдуют с крыш, / И маяк повиснет криво, / Сосны срежет, как камыш. / Дюн белесые овалы / В смерч закрутит до небес, / Недр откроются провалы, / Сгинут мол, дома и лес. / А над городом сомкнется / Море черной полосой, / И победно пронесется / Ветер смерти над косой...»

Самуил Лурье. Ларчик и сверло. — «Петербургский книжный вестник», 2000, № 3.

Об «Учебнике по русской литературе для средней школы» Юрия Лотмана («Языки русской культуры», 2000): «Не та это книга, которую мы с вами вообразили, взглянув на обложку». Цитаты чудовищны (Рылеев назван *одним из крупнейших деятелей русской поэзии вообще*).

Виктор Мануйлов. Жернова. Роман. Предисловие Вадима Кожина. — «Подъем», Воронеж, 2000, № 7, 8, продолжение следует.

20-е. Иосиф Виссарионович, Наденька (Аллилуева), революционеры, крестьяне.

А. Ю. Минаков. Охранитель народной нравственности: православный консерватор М. Л. Магницкий. — «Исторический вестник». Научный журнал. Главный редактор иеромонах Митрофан (Шкурин). Москва — Воронеж, 2000, № 3-4 (7-8). Тираж 990 экз.

Либеральный реформатор — государственный преступник — православный реформатор. В приложении напечатана статья М. Магницкого «Судьба России» (впервые — «Радуга», Ревель, 1833, № 8).

А. Р. Небольсин. Декларация прав произведения искусства. — «Великая художественная воля». Ежегодник Музея Новой Академии Изящных Искусств. Санкт-Петербург, 1999.

«Признавая превосходство Прав человека, нужно заметить, что произведение искусства обладает, в некоторой степени, человеческими качествами. Оно является жи-

вым существом, подобно растениям и животным. Оно рождается, живет, дышит, созревает, стареет, привлекает и отталкивает. Оно может быть повреждено или уничтожено».

Людмила Николаенко. Я люблю «да». — «Литературная учеба». Литературно-философский журнал. 2000, № 3, май — июнь.

29 писем К. И. Чуковского 50-х годов к Л. Николаенко — о ее стихах, *литературная учеба*.

Олег Павлов. Повесть последних дней. — «Литературная Россия», 2000, № 27, 28, 29, 30.

«Сашка не чувствовал, что был отдан в услужение...» См. Полное собрание ссылок Олега Павлова в Интернете по адресу: <http://www.pavlov.nm.ru>

Памяти Е. Г. Эткинда (1918 — 1999). — «Иностранная литература», 2000, № 6. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/inostran>

«Два русских француза», «Две смерти Ромена Гари», «Возвращение великого Астролога» — три эссе филолога и переводчика Ефима Эткинда, а также статьи Михаила Яснова и К. Долинина об Эткинде. См. также выступление Е. Эткинда на вечере из цикла «Былое и думы» и три автобиографические новеллы в журнале «Звезда» (2000, № 6).

Борис Парамонов. Шпенглер о России. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 6.

«Вышел в России второй том Шпенглера — ровно через три четверти века после появления на русском первого тома „Заката Европы“...» См. об этом культурном событии также статью Валерия Сендерова «Заклясть судьбу? Злободневность Освальда Шпенглера» («Новый мир», 1999, № 11).

Николай Переяслов. «По былинам сего времени...» (Обновление художественных критериев как необходимый шаг выживания русской литературы). — «Литературная учеба». Литературно-философский журнал. 2000, № 3, май — июнь.

О том, что сама по себе прекрасная проза Распутина, Личутина и других сегодня способна резонировать с душами только тех читателей, которые выросли на тех же нравственных критериях, что проповедают эти писатели. Как в церкви, где проповеди доходят только до тех, кто пришли на литургию, то есть уже являются людьми воцерковленными.

Наталья Покровская, С. Максудов. Десять лет спустя. — «Ex libris НГ», 2000, № 27, 20 июля. Электронная версия: <http://exlibris.ng.ru>

«Собаچه сердце» глазами студентов Гарварда в 1989 и в 1999 годах. Разительное несходство восприятия одной и той же булгаковской повести в конце 80-х и в конце 90-х годов отражает серьезные изменения в общественном сознании США.

Поэт и шансонье. Ахматова не разделяла восторгов поклонниц Вертинского. Публикацию подготовила Ольга Фигурнова. — «Время MN», 2000, № 113, 22 июля.

Публикуемые впервые воспоминания Татьяны Александровны Осмеркиной. «8 декабря 52-го года... Он — наш „марсианин“, кусок Европы... А она — эта совершенно нищая, замученная женщина — так небрежно, величественно его слушает. Он спрашивает: „Аня, ты была на моих концертах?“ — „Нет“. — „Ты знаешь, Анечка, я там пою твою вещь — „Сероглазого короля“. А она ему так спокойно, даже как-то строго: „И не надо петь“. И Вертинский совершенно теряет».

Мария Ремизова. Не взрыв, но всхлип. — «Независимая газета», 2000, № 120, 1 июля.

О повести «Удавшийся рассказ о любви» («Знамя», 2000, № 5), ее авторе — Владимире Макашине — и его госпремии известный своей суровостью критик высказывается столь решительно, что я... нет, не смею процитировать.

Русская эмиграция о И. С. Тургеневе. Публикация, подготовка текста, вступление В. А. Александрова. — «Литературная учеба». Литературно-философский журнал. 2000, № 2, 3.

Впервые публикуемые в России статьи П. Б. Струве, П. Н. Милюкова, Льва Шестова, М. Л. Гофмана, В. И. Ильина, И. И. Тхоржевского.

Бенедикт Сарнов. Наш советский новояз. Из новой книги. — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 2000, № 27, июль. Электронная версия: <http://www.1september.ru>

«Пламенный привет», «чувство глубокого удовлетворения», «разоружиться перед партией» и прочий оруэлловский *речекряк*.

Л. А. Сердобольская. Кавказ. Военные годы (1941 — 1943). Воспоминания. Подготовка текста и публикация Т. И. Галич, С. В. Захарова. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 6.

«В центр Карачаевской области город Микояншахар мы с мужем и крошечной дочкой Таней приехали в 1940 году, незадолго, следовательно, до начала войны...»

Ольга Славникова. Призрак Лермонтова. — «Октябрь», 2000, № 7. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/October>

«Добровольная затажная молодость в писательском деле выражается: а) в стремлении жить на дивиденд со всей вообще литературы, что воплощается уже в самом „позиционировании” себя как писателя; б) в неприменном желании спихнуть кого-нибудь с корабля современности, равнодушие в этом смысле к так называемым традиционалистам; в) в решительном отмежевании от тех родов литературы, где по старинке признается гамбургский счет; г) в понимании Сети как механизма отмывания текстов; д) в стирании граней между литературой и тусовкой. Витальность данной популяции во многом обеспечивается присутствием общего врага: крупных обломков советской литературной атлантиды. Для последних характерно: а) стремление еще раз написать то, что уже было ими когда-то написано; б) понимание корабля современности как пришедшего за ними под флагом сказочной страны спасательного судна; в) тайное неравнодушие к порождаемой неприятелем литературной моде, попытки самолечения отдельными ее приемами; г) вера в своего читателя, соприродная вере в духов, чертей и домовых; д) требование продолжения банкета. Между этими двумя популяциями — черта».

Максим Соколов. Величие и падение постперестроечной элиты. — «Огонек», 2000, № 26, июль.

«Скажи они: „Не троньте его (Гусинского. — А. В.), это сукин сын, но это наш сукин сын” — это произвело бы по крайней мере впечатление твердой решимости отстаивать корпоративную солидарность, являющуюся необходимым качеством всякой состоявшейся элиты. Но когда олигархи, знающие Гуся как облупленного, объявляют его „символом свободы”, можно ли воспринимать их голос как голос серьезных людей?»

Социология чувств: запахи. — «Новое литературное обозрение», № 43 (2000).

В тематическую подборку вошли статьи: Алексей Левинсон, «Пять писем о запахе»; Марсель Детьен, «Священные благоволия и пифагорейская кухня»; Ален Корбен, «Ароматы частной жизни»; Ольга Кушлина, «От слова к запаху. Русская литература, прочитанная носом. Антология» и другие забавные материалы.

Игорь Сухих. Евангелие от Михаила (1928 — 1940. «Мастер и Маргарита» М. Булгакова). — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 6.

Рубрика «Книги XX века». В письме П. С. Попову от 14 — 21 апреля 1932 года Булгаков признавался: «В прошлом же я совершил пять роковых ошибок... Но теперь уже делать нечего, ничего не вернуть. Проклинаю я только те два припадка неожиданной, налетевшей как обморок робости, из-за которой я совершил две ошибки из пяти. Оправдание у меня есть: эта робость была случайна — плод утомления. Я устал за годы моей литературной работы. Оправдание есть, но утешения нет». Автор статьи считает, что такие определения, как «роковая ошибка», «обморок робости», вполне можно отнести к булгаковскому Пилату, то есть личная тема сублимируется и воплощается во вроде бы абсолютно далеком от автора персонаже.

Игорь Сухих. <Рецензия>. — «Новая русская книга», Санкт-Петербург, 2000, № 4. Электронная версия: <http://guelman.ru/slava/nrk/nrk.html>

«Закрытая книга» Андрея Дмитриева («Знамя», 1999, № 4) — не филологический роман, а семейная сага; это такие «Будденброки», но раза в три короче и не в линейной, а в ассоциативно-рваной композиционной манере.

К. Тарханова. Рожать будешь в муках. — «Искусство кино», 2000, № 5.

Люк Бессон — кинематографический *гувернер* поколения «X». «Жанна д'Арк» — фильм для тех, кто ничего не знает о Жанне д'Арк. Жанна — посланница поколения «X» в Средние века. «Жанна д'Арк» и Интернет. См. также рецензию Максима Шевченко «Сердце Орлеанской девы. Жанна д'Арк в XXI веке, или „Священная война” Люка Бессона» («НГ-Религии», 2000, № 5, 7 марта).

Виктор Топоров. В семье не без компрадора. — «Петербургский книжный вестник», Санкт-Петербург, 2000, № 4.

«Придуривается, разумеется, и Курицын (в качестве автора книги „Русский литературный постмодернизм”. — А. В.). Но придуривается с таким вдохновением, что порой кажется, будто и сам верит в то, что пишет. А может, они, с Урала, все такие — взять хоть Ельцина».

Мария Трещанская. СПИДа нет. — «Огонек», 2000, № 26, июль.

На прошедшей в ЮАР XIII Международной конференции по проблеме СПИДа «традиционалисты» докладывали, что со СПИДом в мире все хорошо, то есть он есть, а «диссиденты» утверждали, что СПИДа нет, а есть *миф* о нем, оборачивающийся преступлением против человечества. В любом случае в сфере борьбы с «чумой XX века» уже возвращаются такие сумасшедшие деньги, что пытаться препятствовать этому опасно для здоровья.

Лев Усыскин. <Рецензия>. — «Новая русская книга», Санкт-Петербург, 2000, № 4.

О сборнике рассказов Асара Эппеля «Шампиньон моей жизни» (М., «Вагриус», 2000): «В рассказе „Разрушить пирамиду“ присутствует совершенно гениальное описание драки, одно из двух или трех такого уровня описаний, должно быть, во всей русской словесности. Уже ради этого одного книгу стоит взять в руки».

Антон Уткин. Самоучки. Отрывок. — «Русская литература/Lettres russes». Revue bilingue. Paris, 2000, № 27.

Фрагмент романа «Самоучки» («Новый мир», 1998, № 12) напечатан сначала во французском переводе *d'Antonina Roubichou Stretz*, а потом на языке оригинала. Подобным же образом представлены тексты Георгия Чулкова, Валерия Попова, Владимира Рыбакова, Марины Вишневецкой, Александра Введенского, Игоря Холина, Генриха Сапгира и Елены Ушаковой. Гонорар авторам и переводчикам этого двуязычного парижского журнала не выплачивается.

Елена Фанайлова. <Рецензия>. — «Новая русская книга», Санкт-Петербург, 2000, № 4.

«Подобную книгу (роман Николая Кононова „Похороны кузничика“. — А. В.) я предпочла бы читать (точнее: писать) уродливым и жестоким языком, в отвратительной стилистике. Язык же Кононова с его внутренней поэтической ритмикой, повторами, обилием прилагательных и придаточных предназначен для заговаривания ран. То есть это очень культурологическая книга, несмотря на ее экзистенциальный темперамент. И весьма культурологическими (или коммерческими) соображениями можно объяснить ее публикацию в серии „Цветы зла“. Проблематика романа давно благоухает цветочками св. Франциска Ассизского. Это роман морали, роман воспитания — если рассуждать во французском, опять же, духе. Он мне интересен. Но возможна и другая литература». Ср. с мнениями сразу трех рецензентов в настоящем номере «Нового мира».

ЧЕБУРУSSIA. Заметки на полях западной славистики. Подготовил Глеб Шульпяков. — «Ex libris НГ», 2000, № 28, 27 июля.

Большая беседа Драгана Куюнджича, завкафедрой сравнительного литературоведения и славистики Калифорнского университета в Ирвайне, и Александра Иванова, директора издательства *«Ad marginem»*. Вспоминает А. Иванов: «Итак, в 90-м году в Россию впервые приехал Деррида. Он читал открытую лекцию в МГУ, в самой большой аудитории первого корпуса. Была вся профессура, куча студентов, а Деррида поднимал вопросы, связанные с Марксом. И вот упоминание Маркса вызывало чудовищную неприязнь всей аудитории. Аудитория просто стонала от ненависти к слову „Маркс“. Деррида был в шоке! Он не знал, что в Советском Союзе имя Маркса будет вызывать такую реакцию. У меня, грешного, сразу мелькает в голове: *а что же он знал?*»

Мариэтта Чудакова. Патрия и патриофия в начале XXI века. — Информационно-политический канал ПОЛИТ.РУ: <http://www.polit.ru>

«Собственно, речь о том, что если римское право легло в фундамент современных разработанных и детализированных представлений о правах человека, то римские добродетели (*romane virtus*), главнейшая из которых — обязанность гражданина перед своим государством, оценивавшаяся в давние времена как доблесть, хождения больше не имеют».

Игорь Шевелев. Понять себя как партитуру... — «Время MN», 2000, № 108, 15 июля.

Беседа с Верой Павловой («Я себя называю „метафизиолог Павлова, она же его собака“...») и ее стихи. «И долго буду тем любезна, / что на краю гудящей бездны / я подтыкала одеяла / и милость к спящим / призывала».

Ф. Р. Штильмарк (Институт проблем экологии и эволюции РАН). Эволюция представлений об охране природы в советской литературе. — «Гуманитарный экологический журнал», Киев, 1999, т. 1, вып. 2.

«Вышедший в год смерти Сталина (1953) роман Л. М. Леонова „Русский лес“ не выдержал испытания временем и справедливо осужден ныне (? — А. В.) за тенденциоз-

ное отношение к русской интеллигенции (не говоря уже о том, что карикатурный образ профессора Тараканцева явно намекает на весьма достойную фигуру академика В. Н. Сукачева, главного борца с лысенковщиной, а прототипом положительного героя Вихрова служил теоретик лесохозяйства проф. Н. П. Анучин)...» Статья доктора биологических наук была опубликована на английском языке в журнале *Journal of History of Biology*, Vol. 25, No. 3, 1992.

Валерий Шубинский. <Рецензия>. — «Новая русская книга», Санкт-Петербург, 2000, № 4.

«Пожалуй, единственное, что придает стихам Рыжего некое своеобразие, — это непонятные сложности, существующие у него с русскими ударениями: арбузА, из фанерЫ, облакО — так никто, кроме него, по-моему, не пишет». О книге Бориса Рыжего «И все такое...» (СПб., 2000) см. рецензию Ольги Славниковой в настоящем номере «Нового мира».

Александр Щуплов. Борис Годунов не был виновен в смерти Ивана Грозного. — «Субботник НГ», 2000, № 26, 8 июля. Электронная версия: <http://saturday.ng.ru>

Профессор Московской медицинской академии имени Сеченова, судебно-медицинский эксперт Александр Васильевич Маслов исследовал причины гибели государственных деятелей, поэтов и писателей — Ивана Грозного, Бориса Годунова, Надежды Крупской, Владимира Маяковского, Максима Горького и других. «Возможно, некоторых разочарует неподтверждение версии об убийстве Фрунзе (отразившейся в известной повести Пильняка. — А. В.). Но истину не опровергнешь».

Михаил Эпштейн. Хроноцид. Пролог к воскрешению времени. — «Октябрь», 2000, № 7.

«Первой жертвой революции оказывается время. Современная история превратила суффикс „цид” — „убийство” — в один из самых продуктивных способов словообразования...»

С. Ясюнас, Л. Сугай. Был ли Аким Волинский избран почетным гражданином города Милана? — «Литературная учеба», 2000, № 3, май — июнь.

Не был.



АДРЕСА: литературовед и историк Всеволод Сахаров: <http://www.gts.nsk.su/~serge/saharov>



ДАТЫ: 7 (20) ноября исполняется 90 лет со дня смерти Льва Николаевича Толстого (1828 — 1910); 16 (28) ноября исполняется 120 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1880 — 1921).

Составитель Андрей Василевский.

«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:

Петербургский книжный вестник. Информационно-аналитическое издание для тех, кто хочет ориентироваться в новинках книжного рынка, проблемах книгоиздательского и полиграфического бизнеса. Главный редактор Алексей Виноградов. Исполнительный редактор Светлана Лисицина. E-mail: vestnik@atlant.ru Электронная версия журнала: <http://www.bookman.spb.ru>

СЕТЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА

О романе Алтаэра Магди «Собрание утонченных» и о «статусе кроны» русской литературы. О «виртуальной Фергане». Об Интернете как книгоиздателе

Не раз ловил себя вот на чем: вместо того, чтобы бегло и по возможности «изящно» пробежаться по страницам представляемого мною читателям нового сайта, я безнадежно «забуриваюсь» в какой-нибудь из вывешенных там текстов. Не хватает мне обозрательской легкости. Это, конечно, недостаток. Постараюсь исправить. Но — попозже. А в данном случае текст, обнаруженный мною в Интернете, точнее, проблема, связанная с ним, требует, на мой взгляд, подробного разговора.

В этом обзоре я был намерен подробно описать один из самых интересных сегодня в Интернете проектов — проект независимой творческой группы «Фергана»: сайты «Ферганское сообщество» и «Библиотека ферганской школы». Однако, перелистывая их страницы, я обнаружил текст романа, поначалу оттолкнувшего претенциозностью названия — «Собрание утонченных, или Элитарный роман литературного сознания» (и удивившего уж совсем неподъемным для интернетовского чтения объемом), ну а потом, после прочтения первых же страниц, роман этот затянул меня настолько, что от первоначального намерения устроить читателю необременительную прогулку по «виртуальной Фергане» пришлось отказаться. Ограничусь беглой справкой в конце обзора, а основной разговор все-таки будет о романе «Собрание утонченных» (<http://www.ferghana.ru/index.html>).

Автором его на титульной странице значится Алтаэр Магди. Имя мне незнакомое. На первых же страницах романа появляется имя еще одного его автора — поэта, эссеиста и прозаика Хамида Исмаилова (это имя реально существующего литератора), тексты которого легли в основу романа Алтаэра Магди. А чуть позже возникает в тексте и фигура третьего автора — русско-узбекского философа с «философским» именем — Сократа Шаркиева, чья книга «Очерки узбекского сознания», написанная в соавторстве с Исмаиловым, «утоплена» в содержании романа Магди. Сведений об авторе (авторах) романа на сайте я не нашел. Единственная ссылка на Исмаилова не работает (29 июля 2000, утро), а что касается Сократа Шаркиева и Алтаэра Магди, то на странице «Абдулхамид Исмоили представляет...» с вывешенной возле этих имен фотографии глянула на меня группа людей в восточных папахах и халатах, перепоясанных пулеметными лентами (фотография исполнена в, так сказать, этнографическом стиле начала века, подпись: «Х. Исмаилов со товарищи»). Ничего не проясняют и справки об авторах, подвешенные тут же: для знакомства с Сократом Шаркиевым нужно открыть его с Исмаиловым «совместную книжицу» «Очерки узбекского сознания»; Алтаэр Магди представлен как писатель, скандально прославившийся как раз вот этим романом «литературного сознания», а также среди всего прочего как автор романа «Хай-ибн-Якзан» («Живой, сын Бодрствующего»), который Исмаилов уже перевел с французского на узбекский. И так далее.

Ну что ж, если автор захотел укрыться в трех именах — его право. Это отнюдь не мешает тексту романа выступать от имени вполне реальной творческой личности и литературной судьбы. Из «выходных данных» романа можно предположить, что нам представлен своеобразный итог десятилетнего творческого пути: «Ташкент — Москва — Лондон. 1986 — 1996».

Занудство, с которым я так подробно перечисляю элементы этой литературной игры, вызвано не только желанием продемонстрировать возможности «интернетовской эстетики», но и внутренней связью этой игры с содержанием самого романа.

«Собрание утонченных» начинается рассказом об истории замысла романа: автора (в данном случае Магди) заинтересовали статьи Хамида Исмаилова, публиковавшиеся в конце 80-х — 90-х годах, автор собрал их, расположил хронологически, перечитал, и вот тут у него возникла идея: «А что, если взять эти статьи как продукт достаточно „типического литературного сознания“ в довольно интересное — как бы мы его ни называли: перестройкой, неореабилитансом, новой оттепелью

и т. д. — время и попытаться дорисовать это сознание как героя... Есть романы производственные, событийные, актуальные, словом, те, что описывают осознание того или иного бытия. Но почему бы, думал я, не попытаться сделать роман о бытии этого самого сознания, то есть своего рода роман мысли, вернее, роман литературного сознания». «Как бы... ни были отвлеченны, наукообразны некоторые из... статей, их писал человек... в голове у которого наверняка водились мысли не только о некоем поэте Нишоти или Хлебникове, но и об очереди за сосисками или дне похода в прачечную-автомат».

Повествование (и основной сюжет) начинается фразой: «Итак, что мы такое, узбеки, и что мы думаем о мире?» Забегая вперед, скажу, что все дальнейшее является, по сути, своеобразной попыткой самоидентификации автора в литературном и — шире — общекультурном пространстве.

Свой сюжет автор развивает как бы параллельно на нескольких ярусах: в историко-философской эссеистике (чувствуется увлечение автора гео-культурно-национальными штудиями Гачева, но в отличие от Гачева авторские формулировки, лишённые категоричности научного суждения, не вызвали у меня внутреннего сопротивления); в исследованиях классики узбекской и мировой поэзии, исполненных отчасти с привлечением борхесовской стилистики; и уже в собственно прозе, лирико-биографической, «бытописательской», с вкраплением дневниковых записей и стихов.

(Скажу сразу, чтобы потом не возвращаться к теме художественных достоинств и недостатков романа: как правило, хороша проза. Часто бывают хороши эссеистика и стихи. Но у автора не всегда получается органично сочетать одну жанровую стилистику с другой, необходимость переключаться с одного «дискурса» на другой затрудняет чтение.)

Основные мотивы и тональность повествования определены в эссе об узбекском менталитете, которым начинается роман. Приведу две цитаты: «...мир для узбека начинается как Дом, Лад и Семья», «Дитя растёт и, однажды зашагав, в самом начале пути обнаруживает САД. Мир — как Сад — вот во имя чего живёт узбек посреди двух гигантских Пустынь...» (прошу поверить на слово — выпренность этих фраз появляется только при цитировании, в контексте она не ощущается). Новая история, определившая необходимость «внутреннего взрыва патриархальности узбекского бытия», рушит привычный национальный уклад и мироощущение. Мы живём в другом мире, в котором судьба этих жизненных начал выглядит порой драматично («Дом рушится. Лад исчезает. Семья на пороге распада — но нам ещё далеко до конца нашей узбекской фразы, мы ещё только в начале пути...»).

Обозначенные здесь темы, повторяю, разрабатываются автором на разных уровнях и материале. Скажем, утрата Дома дана не только как метафизическая проблема, но и на уровне почти буквальном, бытовом. Один из лучших прозаических фрагментов первой части книги — рассказ «Снимем квартиру...» с зауряднейшим, слишком хорошо знакомым многим из нас сюжетом: молодой русско-узбекский писатель с женой и дочкой ищет в Москве жильё. Мотив бездомности разрабатывается не на внешнем, событийном уровне, а через нарастающее ощущение изгойства. Характерна, скажем, проработка эпизодов с шестилетней дочерью автора, кочующей из одной школы в другую. «И сегодня, когда я приеду к 14.00 в школу, она выйдет молчаливая и терпеливая и только перед самым трамваем совсем по-взрослому скажет: „Папа, а знаете, как мне грустно...“» — ещё в одном месте отслоился для девочки мир, ещё одна дистанция, ещё одно одиночество. Девочка только начинает, отец же — на середине этого пути.

В чувство, на котором выстроен рассказ, практически уже не примешивается традиционный для этой темы в нашей литературе мотив обиды (вспомним хотя бы «Мать и мачеху» Солоухина или беловские «Целуются зори»). Здесь другое — почти спокойное, мужественное и жесткое констатирование утраты Дома и Уклада.

Но это не самое тяжёлое для повествователя, тяжелее другая давняя (и как бы длящаяся до сего дня) утрата — утрата Сада. «Сад» — название его первой поэтической книги, с которой он — русский поэт и этнический узбек — приезжает из Ташкента на семинар молодых поэтов в Москву. Это один из ключевых для романа эпизодов (здесь автору удалось «вплavить» лирическую документальную прозу в

художественный строй своего романа). Май 1984 года. Одно из помещений издательства «Молодая гвардия». Автор представляет для обсуждения на семинаре книгу своих стихов. Стихи производят впечатление. Геворк Эмин: «Нам не надо его обсуждать. Это — готовый сложившийся поэт. Надо думать, что мы будем делать с рукописью „Сада“, куда рекомендовать книгу?» (имена руководителей семинара приводятся подлинными). Однако итог обсуждения подведен совсем другим человеком и в другой тональности — известным поэтом и редактором толстого молодежного литературного журнала Д.: «Я признаю за Хамидом несомненный литературный талант, дар, но мне кажется, что все же... он должен писать на своем родном языке, а не на русском. Так будет лучше». После этих слов, вспоминает повествователь, «гробовое молчание».

Эта сцена — почти метафора некоей болезненно проживаемой нами сегодня общекультурной ситуации. Ситуации, сложившейся, как видим, отнюдь не в годы перестройки, когда многие из нас избавились от иллюзии советских времен — от убеждения, что проявления великодержавного шовинизма были свойственны тоталитарному режиму, и только. Поэт Д. никогда не числился в ряду оголтелых националистов, а журнал его был отнюдь не официозным изданием.

Здесь я отойду от текста романа (не для беглых обзорных заметок его сложнейшая архитектура и по-восточному прихотливое плетение мысли) и обращусь к обозначившейся проблеме, на мой взгляд, очень важной для нас сегодня.

...Мое поколение было свидетелем уникального культурного явления — обретения русской литературой некоего нового качества. Можно сказать — нового статуса. Я бы назвал его «статусом кроны» — единой кроны, образованной множественством деревьев, каждое из которых имеет свой ствол, свои корни. Именно на ее, русской литературы, просторстве начало полноценно оформляться многоголосие страны, которая называлась тогда СССР. Я не о политике. Я о человеческой и культурной составной нашего сообщества, нашей общей жизни. О русской литературе второй половины XX века, создаваемой еще и этническими узбеками, абхазами, киргизами, казахами и т. д. Русская культура оплодотворяла национальные культуры и одновременно расширяла свои возможности. Возникшее вначале как бы по идеологической разрядке, это явление стало органичной, живой плотью русской культуры. «Сандро из Чегема», абхазский эпос Фазиля Искандера, — это чья литература? Напиши Искандер своего Сандро по-абхазски, это был бы другой роман, с другим внутренним наполнением, с другими точками обзора и отсчета. Или Анатолий Ким — он чей писатель, русский или корейский? Наша «внутренняя Корея», корейское мироощущение, осмысливается не просто на русском языке, но на русском литературном, то есть осмысливается из системы этических и эстетических ценностей русской литературы. Образно выражаясь, пером этих и многих других писателей русская литература продолжила свои «Подражания Корану». (Здесь можно было бы оглянуться в начало века и назвать имена некоторых дореволюционных писателей, но те писатели в большинстве своем изначально воспитывались в русской культуре, так активно они не вносили в русскую литературу другие национальные традиции.)

Процесс это естественный, он не поддается и не может поддаваться какому-то управлению извне, он развивается по своим внутренним законам. Его можно затормозить, но уже невозможно остановить. Мои заметки — это заметки о болезненных явлениях «торможения», но никак не отходная по недавнему нашему общему культурному прошлому.

Увы, была и осталась сегодня, может быть, еще и заострившаяся, враждебная настороженность ко всем этим «инородцам» в русской культуре — не только на обывательском уровне, но и среди как бы вполне интеллигентных литераторов, озаботившихся защитой самовитости русского литературного слова от чуждых влияний.

Есть и другая составляющая этой проблемы, не менее, а может, и более значимая: русские писатели Средней Азии, Кавказа, Украины, Прибалтики вдруг обнаружили себя в новой культурной резервации, созданной идеологами их новых независимых государств. Национальные движения многих союзных республик, в со-

ветские времена внушавшие большинству из нас безусловные симпатии своим позитивным, созидательным пафосом: сохранить, возродить свою культуру (а подлинная культура не бывает богатством только одного народа), — так вот, национальные движения многих (не говорю: «всех» — у меня, скажем, самые лучшие воспоминания остались от поездки в Армению) республик после отделения их от СССР поменяли свой пафос на прямо противоположный, агрессивно-оборонительный: оградиться, очиститься от «чуждых» элементов.

Однако как ни серьезна эта тема, я все-таки — о ситуации в русской культуре (и обществе), о старых и новых охранительных умонастроениях, предлагающих, по сути, замораживание живой, естественной жизни русского литературного слова. Причем здесь одинаково потрудились и так называемые «патриоты», и особо продвинутые интеллектуалы — упомяну хотя бы статьи (лично меня удручавшие полным отсутствием эстетического чутья у их автора) культуролога Л. Кациса, пытающегося отлучить поэзию Мандельштама от русской литературы.

Ситуация, в которой оказался автор «Собрания утонченных», — это, если называть вещи своими именами, ситуация отречения русской культуры от выращенного ею же самой явления. Отказ от собственного богатства, от собственной «всемирной отзывчивости», от собственных перспектив. (Интересно, чем была бы сегодня русская литература без ее внутреннего взаимодействия с мировой культурой последних двух веков?) Страх перед «чуждыми» русской культуре традициями, которые она вбирает и перерабатывает, внутренне связан с еще одним страхом некоторых наших «природно русских» литераторов, убежденных в крайнем вреде — для творческого человека — усвоения культуры вообще. В конечном счете защита русского языка и русской культуры от воспитанных ею же самой «инородцев» — свидетельство глубочайшего неуважения к возможностям собственной культуры.

Ситуация эта, сама по себе тяжелая и болезненная, становится необыкновенно плодотворной для Алтаэра Магди, выстраивающего сюжеты своего повествования. «...этот роман „Собрание утонченных“, для кого он? — Для узбеков? — Отнюдь. Ведь им и на узбекском все это до фени и без романа. Хорошо, для русских? — Могут предположить одного-двух востоковедов...» Иными словами, повествователь в этом романе предстает перед нами как художник, обладающий некой новой «литературной ментальностью». Я бы определил ее так: это ментальность художника, чувствующего себя наследником древней, изощренной восточной культуры, естественным путем исчерпавшей возможности продолжать свои традиции в прежних формах и потому воссоздающего эти традиции на языке новой для них культуры. Холодок пустоты, над которой завис обладатель новой литературной ментальности, и дает энергию повествованию романа. Культура, обретенная автором, подлинная, принадлежит уже не только ему и потому требует усилия для своего сохранения в новой, не самой благоприятной духовной и общественно-политической ситуации (еще раз напомним строку из выходных данных романа: «Ташкент — Москва — Лондон»).

Ну а теперь об Интернете, о его неожиданно обозначившейся новой функции, а можно сказать и с некоторым вполне уместным здесь пафосом, о его культурной миссии: похоже, что именно Интернету и суждено стать на ближайшее будущее нашим общим Домом, нашим Садам. Литературный Интернет не разделен границами, его пространство исключает возможность возникновения культурно-национальных резерваций. Это идеальное место сегодня для обнародования текстов, подобных роману Магди. (Ну кто возьмется его сегодня опубликовать? Для журнала — неподъемный размер, для издательства — экономический риск: издать не сложно, проблема — распространить, ведь это действительно «собрание утонченных», а не коммерческий боевик.)

И получается, что сегодня только Интернет способен на реализацию таких проектов, как «виртуальная Фергана» или, например, «Крымский клуб» — сайты русских писателей Узбекистана и Украины и соответственно узбекских и украинских писателей, чувствующих свое внутреннее родство с русской литературой, с русским читателем.

О «Крымском клубе» — в следующем обзоре, а пока — обещанная справка о проекте независимой творческой группы «Фергана» в Интернете.

«Фергана» ведет два сайта: сайт «Ферганское сообщество» (<http://www.ferghana.ru/index.html>), существующий с 23 июля 1999 года и ежедневно обновляющийся, и сайт «Библиотека ферганской школы» (<http://www.ferghana.ru/library/index.html>), целиком посвященный культуре (под эстетической декларацией «Ферганской школы», помещенной на титульной странице сайта, поставлен 1998 год). Оба сайта оформлены в единой (удачной, на мой взгляд) стилистике.

«Ферганское сообщество» в отдельных разделах представляет «Центральноазиатские новости» (информационный блок), «О Фергане и ферганцах» (историко-культурный) с подразделами «Древняя Фергана», «Современная Фергана», «Народное творчество», «Коллекция тубетеек», «Евреи и русские в Фергане», «Жозеф Н. Мартен» и др. В разделе «Галерея искусств» помещены персональные страницы художников Анатолия Капцана, Вячеслава Усеинова, Сергея Алибекова, Григория Козлета. В разделе «Центральноазиатский фотоархив» — соответственно отцифрованные фотографии.

Ну а стержневыми, на мой взгляд, страницами, так сказать, «несущими опоры» ферганского сервера являются две содержащиеся на его страницах виртуальные библиотеки: «Библиотека-1» и «Библиотека-2».

В «Библиотеке-1» представлены авторы так называемой «ферганской школы» — современные писатели Ферганы (и уже не важно в данном случае — виртуальной или реальной Ферганы): Шамшад Абдуллаев, Хамдам Закиров, Ольга Гребенникова, Александр Гутин, Даниил Кислов, Александр Куприн, Григорий Козлет, Ренат Тазиев, Вячеслав Усеинов. Это литературное сообщество имеет свой обширный раздел на сервере, как бы выделенный в самостоятельный сайт «Библиотеки ферганской школы»

«Библиотека-2» — это авторы, чьи произведения повлияли на поэтику современной «ферганской школы», имена, частично уже упоминавшиеся в этом обзоре: Хамид Исмаилов «со товарищи» — Алтаэр Магди, Сократ Шаркиев, Белги, С. Тимофеев, В. Кондратьев.

И в завершение нашего краткого обзора цитата со страницы «Фергана. Несколько слов о виртуальном проекте» — руководитель творческого объединения «Фергана» Анастасия Патлай рассказывает о концепции «Виртуальной Ферганы»:

«Главной целью данного проекта является создание мультикультурного сообщества, открытого информационному пространству и способного объединить как бывших ферганцев, так и всех интересующихся русскофонной культурой, выросшей на азиатской почве».

«С началом распада СССР и обретения Узбекистаном государственной независимости начинается процесс уничтожения ферганского культурного феномена. Республику покидают как представители русскоязычного населения, так и местные кадры, не нашедшие себя в новых исторических и культурных условиях. Экспозиция Ферганского краеведческого музея, насчитывающая несколько тысяч уникальных единиц хранения, в условиях нового идеологического заказа практически не экспонируется; исторический центр города, включающий уникальные архитектурные сооружения, относящиеся к эпохе русского колониального зодчества, полностью или частично разрушен. Город, а вместе с ним и память о его достойном прошлом постепенно умирают. Свообразным эпитафием к данному проекту могли бы стать слова Дж. Джойса о том, что, если Дублин будет разрушен и сметен с лица Земли, его можно будет восстановить по роману „Улисс“».

Авторы проекта надеются на возрождение, реанимацию Ферганы хотя бы в дигитальном пространстве. Представители ферганской интеллигенции, разбросанные ныне по миру от Монреаля до Иерусалима, от Амстердама до Москвы, представляют собой последних носителей ферганского культурного духа, многие из которых обладают уникальными историческими и культурными документами. Среди них — аниматор и художник Сергей Алибеков (мультипликационный фильм „Будет ласковый дождь“ удостоен призов в Лейпциге /1984/ и Билябао /1985/); поэт, прозаик и эссеист Шамшад Абдуллаев (лауреат премии им. Андрея Белого за вклад в русскую литературу, 1993 год); всемирно известный джаз-музыкант и композитор Энвер Измаилов...» (<http://www.ferghana.ru/koncept.html>).

Приложение

В этом приложении я хочу вернуться к спорам (сильно поднадоевшим, честно говоря) о том, погубит Интернет книгу или не погубит. Тема эта породила огромное количество публичных дискуссий, очень быстро превратившихся в некое бессмысленное ритуальное действо, на котором вполне уважаемые писатели не первый год повторяют одни и те же аргументы и контраргументы, не обнаруживая ни малейшего желания узнать, а что там на самом деле происходит в этом ужасном и притягательном Интернете. Комичность ситуации я собираюсь прокомментировать выдержками из статьи питерского прозаика и активнейшего организатора литературной жизни в Интернете Александра Житинского.

Но вначале хочу повторить то, что уже не раз и не два писал в этих обзорах: литературный Интернет — это информационное пространство, обслуживающее литературу, а никак не порождающее ее. Интернет — это место прямой встречи писателя с читателем, это самое удобное сегодня средство оповещения публики о существовании того или иного текста. А уж дальше, если текст по-настоящему заинтересует читателя, виртуальная книга превращается в обычную, в «бумажную». Сошлюсь на «Щель обетованья» Наума Ваймана, которая появилась в Интернете (в сетевом «Новом мире»), а через год вышла в издательстве «ИНАПРЕСС» под названием «Ханаанские хроники», или на роман Сергея Болмата «Сами по себе», появившийся на сервере «Русского Журнала», и ныне изданный в «Ad marginem»; наконец, изданный питерской «Азбукой» «Идеальный роман» Макса Фрая был просто написан в Интернете. Никакого антагонизма между книгоиздательской деятельностью и Интернетом нет. Но об этом лучше скажет сам Житинский, представляющий в статье «Самиздат XXI» свой, уже не первый год успешно реализуемый интернет-издательский проект:

«Print-on-demand (печать по требованию) стремительно входит в моду, пока еще как иностранное словосочетание, обещающее невиданный прогресс в книгоиздании. Однако никто толком не знает — выгодно ли это, что сулит этот способ авторам и издателям и при чем здесь Интернет.

POD буквально означает следующее. Каждому читателю нужна лишь одна книга. Его не интересует тираж. Ему нужно, чтобы книгу можно было купить, когда она ему потребуется. Бывает, что читатель узнает об авторе или книге через несколько лет после ее издания. Он бросается в магазин — книги нет. Он идет к букинистам — там тоже мимо. Остается ждать переиздания. Но если издателю невыгодно это переиздание сколько-нибудь коммерческим тиражом, такого праздника можно и не дожидаться. Особенно это касается книг немассового спроса.

При методе POD книга в идеале есть на рынке всегда. При этом ее нет на складе у издателя или в кладовке у автора. Она существует в компьютере в виде макета и на сайте в Интернете в виде аннотации, отрывка текста и выходных данных. Она может быть изготовлена в один-два дня, как только это кому-нибудь понадобится, и отправлена покупателю.

Идея простая до неприличия. Тираж не нужен. Итоговый тираж будет такой, каково количество читателей у этой книги. Никто не будет хвастаться, что, мол, моя книга издана сотысячным тиражом, поскольку может оказаться, что девяносто пять тысяч сгнили на складе и сданы в макулатуру, ибо издатель сильно просчитался с тиражом.

Интернет при этом — дешевый и повсеместно протянутый, как известно, способ информировать потенциального читателя, что книжка его ждет.

«Сегодня существуют средства офисной полиграфии, позволяющие изготовить книгу тиражом от одного экземпляра, при этом качество ее будет не ниже полиграфического. Речь идет о текстовой и черно-белой печати, но развитие цифрового офсета делает возможным и скорое издание полноцветных книг».

«Два слова о технологии. Естественно, офсетная печать для таких тиражей не проходит. Остаются принтеры, ксероксы, ризографы. Наиболее экономичен и производителен ризограф при вполне приемлемом качестве. Наличие расходной мастер-пленки не дает возможности печатать от одного экземпляра, наиболее распространен начальный тираж в 100 — 200 экз. Бумага на блок офисная, 80 г/кв. м.

Обложки мягкие, часто с ламинированием и тиснением цветной фольгой. Изготавливаются и книги в твердых переплетах.

С осени я, вероятно, объявлю об услуге издания и распространения книги от одного экземпляра. При этом издательство будет готовить для автора профессиональный макет с оформлением и страницами в Интернете, где эта книга будет выставлена со своей ценой. При поступлении заказа книга изготавливается и высылается читателю. Издательство возмещает свои издержки и получает расчетную прибыль (25 — 30%), автор же получает все, что сверху. Цену он назначает сам, исходя из себестоимости издания и собственных представлений о необходимости этой книги для человечества» (<http://www.russ.ru/netcult/99-07-08/zhitinsk.htm>).

Составитель Сергей Костырко.



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Ноябрь

20 лет назад — в № 11 за 1980 год напечатан роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день».

35 лет назад — в № 11 за 1965 год напечатан рассказ Виталия Сёмина «Ася Александровна».

55 лет назад — в № 11 — 12 за 1945 год напечатаны переводы С. Маршака «Из Вильяма Шекспира. Сонеты».

70 лет назад — в № 11 за 1930 год напечатаны стихи Э. Багрицкого «Происхождение», «Итак — бумаге терпеть невмочь», «Весна, ветеринария».

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ SMIRNOFF/БУКЕР—2000

**Мы рады сообщить нашим читателям,
что из шести произведений,
попавших в шорт-лист литературной премии
Smirnoff/Букер,
два были напечатаны в нашем журнале:**

ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Последний коммунист. —
«Новый мир», 2000, № 1, 2; М., «Вагриус», 2000;

НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Похороны кузнечика. —
СПб., «ИНАПРЕСС», 2000;

МАРИНА ПАЛЕЙ. Ланч. — «Волга», Саратов,
2000, № 4;

АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. День денег. — «Но-
вый мир», 1999, № 6; М., «Вагриус», 2000;

СВЕТЛАНА ШЕНБРУНН. Розы и хризантемы. —
«Дружба народов», 1999, № 10; М., «Текст», 2000;

МИХАИЛ ШИШКИН. Взятие Измаила. — «Зна-
мя», 1999, № 10, 11, 12.

**Поздравляем всех финалистов,
желаем им творческих успехов
и надеемся на их плодотворное сотрудничество
с «Новым миром»!**

SUMMARY



This Issue publishes the end of the Aleksey Varlamov's novel «Kupavna», the narrative «Horror of the Victory» by Valery Popov and the story «Altynay» by Ilya Kochergin. The poetry section features new poems by Olga Sulchinskaya, Ilya Plokhikh, Marina Tarasova, Sergey Novikov.

Under the heading «From Heritage» are published «Old Man's notes» by Sergey Zalygin.

In the section «Close Remote Past» our Magazine continues the publishing of Diaries of Igor Dedkov, a literary critic.

Under the heading «Essays» you can read the article «The Rome Junction» by Lyubov Summ.

The constant heading «Along the Course of Events» is represented by the culturologist Yury Kagramanov.

The literary critique is represented in this Issue by the Nikita Eliseyev's article «K. R. or Farewell to Youth», dedicated to the genre of short or «supershort» story.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.07.2000 г. Подписано к печати 28.09.2000 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 16,0 печ. л., 22,4 усл. печ. л., 28,0 уч.-изд. л.

Тираж 13 300 экз. Зак. 2527. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»
Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**В год 75-летия журнала «Новый мир»
Благотворительный Резервный Фонд
и редакция журнала «Новый мир»
учредили литературную премию
имени Юрия Казакова
за лучший русский рассказ года.**

Премия присуждается автору, живущему и работающему в России, за рассказ, впервые напечатанный на русском языке в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, сетевые публикации и рукописи не рассматриваются).

Правом выдвижения произведений на премию обладают авторы, издатели и критики.

Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир» с пометкой «На премию» до 1 декабря 2000 года.

Состав жюри:

МИХАИЛ БУТОВ, председатель жюри,
ответственный секретарь журнала «Новый мир»,
РУСЛАН КИРЕЕВ, зав. отделом прозы журнала «Новый мир»,
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ, президент АКБ «Национальный Резервный банк», президент Благотворительного Резервного Фонда,
АНДРЕЙ НЕМЗЕР, литературный обозреватель газеты «Время новостей»,
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА (Екатеринбург), прозаик, эссеист.

Координаторы премии:

главный редактор журнала «Новый мир»
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,
генеральный директор Благотворительного Резервного Фонда
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

СУММА ПРЕМИИ — 3000 \$.

Объявление лауреата и торжественное вручение премии произойдет в декабре 2000 — январе 2001 года (дата будет уточнена позднее).

Телефоны: (095) 209-57-02, (095) 209-91-81.

Факс: (095) 200-08-29.

E-mail: butov@aha.ru или seva@mail.cnt.ru